ИСААК БАБЕЛЬ



# Конармия




## ИСААК БАБЕЛЬ

# КОНАРМИЯ

РАССКАЗЫ
ДНЕВНИКИ
ПУБЛИЦИСТИКА

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
1990

84 Р 7
Б 12

Составитель
А. Н. Пирожкова-Бабель

На обложке рисунок
В. Л. Гальдяева

Б $\frac{4702010200-2170}{080(02)-90}$ 2170—90

ISBN 5—253—00059—3

# КОНАРМИЯ

## ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЗБРУЧ

Начдив шесть донес о том, что Новоград-Волынск взят сегодня на рассвете. Штаб выступил из Крапивно, и наш обоз шумливым арьергардом растянулся по шоссе, идущему от Бреста до Варшавы и построенному на мужичьих костях Николаем Первым.

Поля пурпурного мака цветут вокруг нас, полуденный ветер играет в желтеющей ржи, девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего монастыря. Тихая Волынь изгибается, Волынь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ, она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими руками путается в зарослях хмеля. Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова, нежный свет загорается в ущельях туч, штандарты заката веют над нашими головами. Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу. Почерневший Збруч шумит и закручивает пенистые узлы своих порогов. Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд. Величавая луна лежит на волнах. Лошади по спину уходят в воду, звучные потоки сочатся между сотнями лошадиных ног. Кто-то тонет и звонко порочит богородицу. Река усеяна черными квадратами телег, она полна гула, свиста и песен, гремящих поверх лунных змей и сияющих ям.

Поздней ночью приезжаем мы в Новоград. Я нахожу беременную женщину на отведенной мне квартире и двух рыжих евреев с тонкими шеями; третий спит, укрывшись с головой и приткнувшись к стене. Я нахожу развороченные шкафы в отведенной мне комнате, обрывки женских шуб на полу, человеческий кал и черепки сокровенной посуды, употребляющейся у евреев раз в году — на пасху.

— Уберите,— говорю я женщине.— Как вы грязно живете, хозяева...

Два еврея снимаются с места. Они прыгают на войлочных подошвах и убирают обломки с полу, они прыгают в безмолвии, по-обезьяньи, как японцы в цирке, их шеи пухнут и вертятся. Они кладут на пол распоротую перину, и я ложусь к стенке, рядом с третьим, заснувшим евреем. Пугливая нищета смыкается над моим ложем.

Все убито тишиной, и только луна, обхватив синими руками свою круглую, блещущую, беспечную голову, бродяжит под окном.

Я разминаю затекшие ноги, я лежу на распоротой перине и засыпаю. Начдив шесть снится мне. Он гонится на тяжелом жеребце за комбригом и всаживает ему две пули в глаза. Пули пробивают голову комбрига, и оба глаза его падают наземь. «Зачем ты поворотил бригаду?» — кричит раненому Савицкий, начдив шесть,— и тут я просыпаюсь, потому что беременная женщина шарит пальцами по моему лицу.

— Пане,— говорит она мне,— вы кричите со сна и вы бросаетесь. Я постелю вам в другом углу, потому что вы толкаете моего папашу...

Она поднимает с полу худые свои ноги и круглый живот и снимает одеяло с заснувшего человека. Мертвый старик лежит там, закинувшись навзничь. Глотка его вырвана, лицо разрублено пополам, синяя кровь лежит в его бороде, как кусок свинца.

— Пане,— говорит еврейка и встряхивает перину,— поляки резали его, и он молился им: убейте меня на черном дворе, чтобы моя дочь не видела, как я умру. Но они сделали так, как им было нужно,— он кончался в этой комнате и думал обо мне... И теперь я хочу знать,— сказала вдруг женщина с ужасной силой,— я хочу знать, где еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой отец...

## КОСТЕЛ В НОВОГРАДЕ

Я отправился вчера с докладом к военкому, остановившемуся в доме бежавшего ксендза. На кухне встретила меня пани Элиза, экономка иезуита. Она

дала мне янтарного чаю с бисквитами. Бисквиты ее пахли, как распятие. Лукавый сок был заключен в них и благовонная ярость Ватикана.

Рядом с домом в костеле ревели колокола, заведенные обезумевшим звонарем. Был вечер, полный июльских звезд. Пани Элиза, тряся внимательными сединами, подсыпала мне печенья, я насладился пищей иезуитов.

Старая полька называла меня «паном», у порога стояли навытяжку серые старики с окостеневшими ушами, и где-то в змеином сумраке извивалась сутана монаха. Патер бежал, но он оставил помощника — пана Ромуальда.

Гнусавый скопец с телом исполина, Ромуальд величал нас «товарищами». Желтым пальцем водил он по карте, указывая круги польского разгрома. Охваченный хриплым восторгом, пересчитывал он раны своей родины. Пусть кроткое забвение поглотит память о Ромуальде, предавшем нас без сожаления и расстрелянном мимоходом. Но в тот вечер его узкая сутана шевелилась у всех портьер, яростно мела все дороги и усмехалась всем, кто хотел пить водку. В тот вечер тень монаха кралась за мной неотступно. Он стал бы епископом — пан Ромуальд, если бы он не был шпионом.

Я пил с ним ром, дыхание невиданного уклада мерцало под развалинами дома ксендза, и вкрадчивые его соблазны обессилили меня. О распятия, крохотные, как талисманы куртизанки, пергамент папских булл и атлас женских писем, истлевших в синем шелку жилетов!..

Я вижу тебя отсюда, неверный монах в лиловой рясе, припухлость твоих рук, твою душу, нежную и безжалостную, как душа кошки, я вижу раны твоего бога, сочащиеся семенем, благоуханным ядом, опьяняющим девственниц.

Мы пили ром, дожидаясь военкома, но он все не возвращался из штаба. Ромуальд упал в углу и заснул. Он спит и трепещет, а за окном в саду под черной страстью неба переливается аллея. Жаждущие розы колышутся во тьме. Зеленые молнии пылают в куполах. Раздетый труп валяется под откосом. И лунный блеск струится по мертвым ногам, торчащим врозь.

Вот Польша, вот надменная скорбь Речи Посполитой! Насильственный пришелец, я раскидываю вшивый тюфяк в храме, оставленном священнослужителем, подкладываю под голову фолианты, в которых напечатана осанна ясновельможному и пресветлому Начальнику Панства, Иозефу Пилсудскому.

Нищие орды катятся на твои древние города, о Польша, песнь об единении всех холопов гремит над ними, и горе тебе, Речь Посполитая, горе тебе, князь Радзивилл, и тебе, князь Сапега, вставшие на час!..

Все нет моего военкома. Я ищу его в штабе, в саду, в костеле. Ворота костела раскрыты, я вхожу, мне навстречу два серебряных черепа разгораются на крышке сломанного гроба. В испуге я бросаюсь вниз, в подземелье. Дубовая лестница ведет оттуда к алтарю. И я вижу множество огней, бегущих в высоте, у самого купола. Я вижу военкома, начальника особого отдела и казаков со свечами в руках. Они отзываются на слабый мой крик и выводят меня из подвала.

Черепа, оказавшиеся резьбой церковного катафалка, не пугают меня больше, и все вместе мы продолжаем обыск, потому что это был обыск, начатый после того, как в квартире ксендза нашли груды военного обмундирования.

Сверкая расшитыми конскими мордами наших обшлагов, перешептываясь и гремя шпорами, мы кружимся по гулкому зданию с оплывающим воском в руках. Богоматери, унизанные драгоценными камнями, следят наш путь розовыми, как у мышей, зрачками, пламя бьется в наших пальцах, и квадратные тени корчатся на статуях святого Петра, святого Франциска, святого Винцента, на их румяных щечках и курчавых бородах, раскрашенных кармином.

Мы кружимся и ищем. Под нашими пальцами прыгают костяные кнопки, раздвигаются разрезанные пополам иконы, открывая подземелья в зацветающие плесенью пещеры. Храм этот древен и полон тайны. Он скрывает в своих глянцевитых стенах потайные ходы, ниши и створки, распахивающиеся бесшумно.

О глупый ксендз, развесивший на гвоздях спасителя лифчики своих прихожанок. За царскими вратами мы нашли чемодан с золотыми монетами, сафьяно-

вый мешок с кредитками и футляры парижских ювелиров с изумрудными перстнями.

А потом мы считали деньги в комнате военкома. Столбы золота, ковры из денег, порывистый ветер, дующий на пламя свечей, воронье безумье в глазах панн Элизы, громовый хохот Ромуальда и нескончаемый рев колоколов, заведенных паном Робацким, обезумевшим звонарем.

— Прочь,— сказал я себе,— прочь от этих подмигивающих мадонн, обманутых солдатами...

## ПИСЬМО

Вот письмо на родину, продиктованное мне мальчиком нашей экспедиции Курдюковым. Оно не заслуживает забвения. Я переписал его, не приукрашивая, и передаю дословно, в согласии с истиной.

*«Любезная мама Евдокия Федоровна. В первых строках сего письма спешу вас уведомить, что, благодаря господа, я есть жив и здоров, чего желаю от вас слыхать то же самое. А также нижающе вам кланяюсь от бела лица до сырой земли...»* (Следует перечисление родственников, крестных, кумовьев. Опустим это. Перейдем ко второму абзацу.)

*«Любезная мама Евдокия Федоровна Курдюкова. Спешу вам написать, что я нахожусь в красной Конной армии товарища Буденного, а также тут находится ваш кум Никон Васильич, который есть в настоящее время красный герой. Они взяли меня к себе, в экспедицию Политотдела, где мы развозим на позиции литературу и газеты — Московские Известия ЦИК, Московская Правда и родную беспощадную газету Красный кавалерист, которую всякий боец на передовой позиции желает прочитать, и опосля этого он с геройским духом рубает подлую шляхту, и я живу при Никон Васильиче очень великолепно.*

*Любезная мама Евдокия Федоровна. Пришлите чего можете от вашей силы-возможности. Прошу вас заколоть рябого кабанчика и сделать мне посылку в Политотдел товарища Буденного, получить Василию Курдюкову. Каждые сутки я ложусь отдыхать не евши и безо всякой одежды, так что дюже холодно.*

*Напишите мне письмо за моего Степу, живой он или нет, прошу вас досматривайте до него и напишите мне за него — засекается он еще или перестал, а также насчет чесотки в передних ногах, подковали его или нет? Прошу вас, любезная мама Евдокия Федоровна, обмывайте ему беспременно передние ноги с мылом, которое я оставил за образами, а если папаша мыло истребили, так купите в Краснодаре, и бог вас не оставит. Могу вам описать также, что здеся страна совсем бедная, мужики со своими конями хоронятся от наших красных орлов по лесам, пшеницы, видать, мало и она ужасно мелкая, мы с нее смеемся. Хозяева сеют рожь и то же самое овес. На палках здесь растет хмель, так что выходит очень аккуратно; из него гонют самогон.*

*Во-вторых строках сего письма спешу вам описать за папашу, что они порубали брата Федора Тимофеича Курдюкова тому назад с год времени. Наша красная бригада товарища Павличенки наступала на город Ростов, когда в наших рядах произошла измена. А папаша были в тое время у Деникина за командира роты. Которые люди их видали,— то говорили, что они носили на себе медали, как при старом режиме. И по случаю той измены, всех нас побрали в плен и брат Федор Тимофеич попались папаше на глаза. И папаша начали Федю резать, говоря — шкура, красная собака, сукин сын и разно, и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеич не кончился. Я написал тогда до вас письмо, как ваш Федя лежит без креста. Но папаша пымали меня с письмом и говорили: вы — материны дети, вы — ейный корень, потаскухин, я вашу матку брюхатил и буду брюхатить, моя жизнь погибшая, изведу я за правду свое семя, и еще разно. Я принимал от них страдания как спаситель Иисус Христос. Только вскорости я от папаши убег и прибился до своей части товарища Павличенки. И наша бригада получила приказание идти в город Воронеж пополняться, и мы получили там пополнение, а также коней, сумки, наганы, и все, что до нас принадлежало. За Воронеж могу вам описать, любезная мама Евдокия Федоровна, что это городок очень великолепный, будет поболе Краснодара, люди в ем очень красивые, речка способная до купанья. Давали нам хлеба по два фунта в день, мяса полфун-*

*та и сахару подходяще, так что вставши пили сладкий чай, то же самое вечеряли и про голод забыли, а в обед я ходил к брату Семен Тимофеичу за блинами или гусятиной и опосля этого лягал отдыхать. В тое время Семен Тимофеича за его отчаянность весь полк желал иметь за командира и от товарища Буденного вышло такое приказание, и он получил двух коней, справную одежу, телегу для барахла отдельно и орден Красного Знамени, а я при ем считался братом. Таперича какой сосед вас начнет забижать — то Семен Тимофеич может его вполне зарезать. Потом мы начали гнать генерала Деникина, порезали их тыщи и загнали в Черное море, но только папаши нигде не было видать, и Семен Тимофеич их разыскивали по всех позициях, потому что они очень скучали за братом Федей. Но только, любезная мама, как вы знаете за папашу и за его упорный характер, так он что сделал — нахально покрасил себе бороду с рыжей на вороную и находился в городе Майкопе, в вольной одеже, так что никто из жителей не знали, что он есть самый что ни на есть стражник при старом режиме. Но только правда — она себе окажет, кум ваш Никон Васильич случаем увидал его в хате у жителя и написал до Семен Тимофеича письмо. Мы посидали на коней и пробегли двести верст — я, брат Сенька и желающие ребята из станицы.*

*И что же мы увидали в городе Майкопе? Мы увидали, что тыл никак не сочувствует фронту и в ем повсюду измена и полно жидов, как при старом режиме. И Семен Тимофеич в городе Майкопе с жидами здорово спорился, которые не выпущали от себя папашу и засадили его в тюрьму под замок, говоря — пришел приказ не рубать пленных, мы сами его будем судить, не серчайте, он свое получит. Но только Семен Тимофеич свое взял и доказал, что он есть командир полка и имеет от товарища Буденного все ордена Красного Знамени, и грозился всех порубать, которые спорятся за папашину личность и не выдают ее, а также грозились ребята со станицы. Но только Семен Тимофеич папашу получили, и они стали папашу плетить и выстроили во дворе всех бойцов, как принадлежит к военному порядку. И тогда Сенька плеснул папаше Тимофей Родионычу воды на*

*бороду, и с бороды потекла краска. И Сенька спросил Тимофей Родионыча:*

*— Хорошо вам, папаша, в моих руках?*

*— Нет,— сказал папаша,— худо мне.*

*Тогда Сенька спросил:*

*— А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?*

*— Нет,— сказал папаша,— худо было Феде.*

*Тогда Сенька спросил:*

*— А думали вы, папаша, что и вам худо будет?*

*— Нет,— сказал папаша,— не думал я, что мне худо будет.*

*Тогда Сенька поворотился к народу и сказал:*

*— А я так думаю, что если попадусь я к вашим, то не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать...*

*И Тимофей Родионыч зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в богородицу и бить Сеньку по морде, и Семен Тимофеич услали меня со двора, так что я не могу, любезная мама Евдокия Федоровна, описать вам за то, как кончали папашу, потому я был усланный со двора.*

*Опосля этого мы получили стоянку в городе в Новороссийском. За этот город можно рассказать, что за ним никакой суши больше нет, а одна вода, Черное море, и мы там оставались до самого мая, когда выступили на польский фронт и треплем шляхту почем зря...*

*Остаюсь ваш любезный сын Василий Тимофеич Курдюков. Мамка, доглядайте до Степки, и бог вас не оставит».*

Вот письмо Курдюкова, ни в одном слове не измененное. Когда я кончил, он взял исписанный листок и спрятал его за пазуху, на голое тело.

— Курдюков,— спросил я мальчика,— злой у тебя был отец?

— Отец у меня был кобель,— ответил он угрюмо.

— А мать лучше?

— Мать подходящая. Если желаешь — вот наша фамилия...

Он протянул мне сломанную фотографию. На ней был изображен Тимофей Курдюков, плечистый стражник в форменном картузе и с расчесанной бородой, недвижный, скуластый, со сверкающим взглядом бес-

цветных и бессмысленных глаз. Рядом с ним, в бамбуковом креслице, сидела крохотная крестьянка в выпущенной кофте, с чахлыми светлыми и застенчивыми чертами лица. А у стены, у этого жалкого провинциального фотографического фона, с цветами и голубями, высились два парня — чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученье, два брата Курдюковых — Федор и Семен.

### НАЧАЛЬНИК КОНЗАПАСА

На деревне стон стоит. Конница травит хлеб и меняет лошадей. Взамен приставших кляч кавалеристы забирают рабочую скотину. Бранить тут некого. Без лошади нет армии.

Но крестьянам не легче от этого сознания. Крестьяне неотступно толпятся у здания штаба.

Они тащат на веревках упирающихся, скользящих от слабости одров. Лишенные кормильцев, мужики, чувствуя в себе прилив горькой храбрости и зная, что храбрости ненадолго хватит, спешат безо всякой надежды надерзить начальству, богу и своей жалкой доле.

Начальник штаба Ж. в полной форме стоит на крыльце. Прикрыв воспаленные веки, он с видимым вниманием слушает мужичьи жалобы. Но внимание его не более как прием. Как всякий вышколенный и переутомившийся работник, он умеет в пустые минуты существования полностью прекратить мозговую работу. В эти немногие минуты блаженного бессмыслия начальник нашего штаба встряхивает изношенную машину.

Так и на этот раз с мужиками.

Под успокоительный аккомпанемент их бессвязного и отчаянного гула Ж. следит со стороны за той мягкой толкотней в мозгу, которая предвещает чистоту и энергию мысли. Дождавшись нужного перебоя, он ухватывает последнюю мужичью слезу, начальственно огрызается и уходит к себе в штаб работать.

На этот раз и огрызнуться не пришлось. На огненном англоарабе подскакал к крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского

запаса — краснокожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар.

— Честным стервам игуменье благословенье! — прокричал он, осаживая коня на карьере, и в то же мгновенье к нему под стремя подвалилась облезлая лошаденка, одна из обмененных казаками.

— Вон, товарищ начальник,— завопил мужик, хлопая себя по штанам,— вон чего ваш брат дает нашему брату... Видал, чего дают? Хозяйствуй на ей...

— А за этого коня,— раздельно и веско начал тогда Дьяков,— за этого коня, почтенный друг, ты в полном своем праве получить в конском запасе пятнадцать тысяч рублей, а ежели этот конь был бы повеселее, то в ефтим случае ты получил бы, желанный друг, в конском запасе двадцать тысяч рублей. Но, однако, что конь упал,— это не хвакт. Ежели конь упал и подымается, то это — конь; ежели он, обратно сказать, не подымается, тогда это не конь. Но, между прочим, эта справная кобылка у меня подымется...

— О господи, мамуня же ты моя всемилостивая! — взмахнул руками мужик.— Где ей, сироте, подняться... Она, сирота, подохнет...

— Обижаешь коня, кум,— с глубоким убеждением ответил Дьяков,— прямо-таки богохульствуешь, кум,— и он ловко снял с седла свое статное тело атлета. Расправляя прекрасные ноги, схваченные в коленях ремешком, пышный и ловкий, как на сцене, он двинулся к издыхающему животному. Оно уныло уставилось на Дьякова своим крутым глубоким глазом, слизнуло с его малиновой ладони невидимое какое-то повеление, и тотчас же обессиленная лошадь почувствовала умелую силу, истекавшую от этого седого, цветущего и молодцеватого Ромео. Поводя мордой и скользя подламывающимися ногами, ощущая нетерпеливое и властное щекотание хлыста под брюхом, кляча медленно, внимательно становилась на ноги. И вот все мы увидели, как тонкая кисть в развевающемся рукаве потрепала грязную гриву и хлыст со стоном прильнул к кровоточащим бокам. Дрожа всем телом, кляча стояла на своих на четырех и не сводила с Дьякова собачьих, боязливых, влюбляющихся глаз.

— Значит, что конь,— сказал Дьяков мужику и добавил мягко: — а ты жалился, желанный друг...

Бросив ординарцу поводья, начальник конзапаса взял с маху четыре ступеньки и, взметнув оперным плащом, исчез в здании штаба.

## ПАН АПОЛЕК

Прелестная и мудрая жизнь пана Аполека ударила мне в голову, как старое вино. В Новоград-Волынске, в наспех смятом городе, среди скрюченных развалин, судьба бросила мне под ноги укрытое от мира евангелие. Окруженный простодушным сиянием нимбов, я дал тогда обет следовать примеру пана Аполека. И сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения — я принес их в жертву новому обету.

В квартире бежавшего новоградского ксендза висела высоко на стене икона. На ней была надпись: «Смерть Крестителя». Не колеблясь, признал я в Иоанне изображение человека, мною виденного когда-то.

Я помню: между прямых и светлых стен стояла паутинная тишина летнего утра. У подножия картины был положен солнцем прямой луч. В нем роилась блещущая пыль. Прямо на меня из синей глубины ниши спускалась длинная фигура Иоанна. Черный плащ торжественно висел на этом неумолимом теле, отвратительно худом. Капли крови блистали в круглых застежках плаща. Голова Иоанна была косо срезана с ободранной шеи. Она лежала на глиняном блюде, крепко взятом большими желтыми пальцами воина. Лицо мертвеца показалось мне знакомым. Предвестие тайны коснулось меня. На глиняном блюде лежала мертвая голова, списанная с пана Ромуальда, помощника бежавшего ксендза. Из оскаленного рта его, цветисто сверкая чешуей, свисало крохотное туловище змеи. Ее головка, нежно-розовая, полная оживления, могущественно оттеняла глубокий фон плаща.

Я подивился искусству живописца, мрачной его выдумке. Тем удивительнее показалась мие иа следующий день краснощекая богоматерь, висевшая над супружеской кроватью пани Элизы, экономки старого ксендза. На обоих полотнах лежала печать одной кисти. Мясистое лицо богоматери — это был портрет пани Элизы. И тут я приблизился к разгадке новоградских икои. Разгадка вела на кухню к пани Элизе, где душистыми вечерами собирались тени старой холопской Польши, с юродивым художником во главе. Но был ли юродивым пан Аполек, населивший ангелами пригородные села и произведший в святые хромого выкреста Янека?

Он пришел сюда со слепым Готфридом тридцать лет тому назад в невидный летний день. Приятели — Аполек и Готфрид — подошли к корчме Шмереля, что стоит на Ровиеиском шоссе, в двух верстах от городской черты. В правой руке у Аполека был ящик с красками, левой он вел слепого гармониста. Певучий шаг их немецких башмаков, окованных гвоздями, звучал спокойствием и надеждой. С тонкой шеи Аполека свисал канареечный шарф, три шоколадных перышка покачивались на тирольской шляпе слепого.

В корчме на подоконнике пришельцы разложили краски и гармонику. Художник размотал свой шарф, нескончаемый, как лента ярмарочного фокусника. Потом он вышел во двор, разделся донага и облил студеною водой свое розовое, узкое, хилое тело. Жена Шмереля принесла гостям изюмиой водки и миску зразы. Насытившись, Готфрид положил гармонию на острые свои колени. Он вздохиул, откинул голову и пошевелил худыми пальцами. Звуки гейдельбергских песен огласили стены еврейского шинка. Аполек подпевал слепцу дребезжащим голосом. Все это выглядело так, как будто из костела святой Индегильды принесли к Шмерелю орган и на органе рядышком уселись музы в пестрых ватных шарфах и подкованных немецких башмаках.

Гости пели до заката, потом они уложили в холщовые мешки гармонику и краски, и пан Аполек с низким поклоном передал Брайне, жене корчмаря, лист бумаги.

— Милостивая пани Брайна,— сказал он,— примите от бродячего художника, крещенного христиаи-

ским именем Аполлинария, этот ваш портрет — как знак холопской нашей признательности, как свидетельство роскошного вашего гостеприимства. Если бог Иисус продлит мои дни и укрепит мое искусство, я вернусь, чтобы переписать красками этот портрет. К волосам вашим подойдут жемчуга, а на груди мы припишем изумрудное ожерелье...

На небольшом листе бумаги красным карандашом, карандашом красным и мягким, как глина, было изображено смеющееся лицо пани Брайны, обведенное медными кудрями.

— Мои деньги! — вскричал Шмерель, увидев портрет жены. Он схватил палку и пустился за постояльцами в погоню. Но по дороге Шмерель вспомнил розовое тело Аполека, залитое водой, и солнце на своем дворике, и тихий звон гармоники. Корчмарь смутился духом и, отложив палку, вернулся домой.

На следующее утро Аполек представил новоградскому ксендзу диплом об окончании мюнхенской академии и разложил перед ним двенадцать картин на темы из священного писания. Картины эти были написаны маслом на тонких пластинках кипарисового дерева. Патер увидал на своем столе горящий пурпур мантий, блеск смарагдовых полей и цветистые покрывала, накинутые на равнины Палестины.

Святые пана Аполека, весь этот набор ликующих и простоватых старцев, седобородых, краснолицых, был втиснут в потоки шелка и могучих вечеров.

В тот же день пан Аполек получил заказ на роспись нового костела. И за бенедиктином патер сказал художнику.

— Санта Мария,— сказал он,— желанный пан Аполлинарий, из каких чудесных областей снизошла к нам ваша столь радостная благодать?..

Аполек работал с усердием, и уже через месяц новый храм был полон блеяния стад, пыльного золота закатов и палевых коровьих сосцов. Буйволы с истертой кожей влеклись в упряжке, собаки с розовыми мордами бежали впереди отары, и в колыбелях, подвешенных к прямым стволам пальм, качались тучные младенцы. Коричневые рубища францисканцев окружали колыбель. Толпа волхвов была изрезана сверкающими лысинами и морщинами, кровавыми, как раны. В толпе волхвов мерцало лисьей усмешкой

старушечье личико Льва XIII, и сам новоградский ксендз, перебирая одной рукой китайские резные четки, благословлял другой, свободной, новорожденного Иисуса.

Пять месяцев ползал Аполек, заключенный в свое деревянное сиденье, вдоль стен, вдоль купола и на хорах.

— У вас пристрастие к знакомым лицам, желанный пан Аполек,— сказал однажды ксендз, узнав себя в одном из волхвов и пана Ромуальда — в отрубленной голове Иоанна. Он улыбнулся, старый патер, и послал бокал коньяку художнику, работавшему под куполом.

Потом Аполек закончил тайную вечерю и побиение камнями Марии из Магдалы. В одно из воскресений он открыл расписанные стены. Именитые граждане, приглашенные ксендзом, узнали в апостоле Павле Янека, хромого выкреста, и в Марии Магдалине — еврейскую девушку Эльку, дочь неведомых родителей и мать многих подзаборных детей. Именитые граждане приказали закрыть кощунственные изображения. Ксендз обрушил угрозы на богохульника. Но Аполек не закрыл расписанных стен.

Так началась неслыханная война между могущественным телом католической церкви, с одной стороны, и беспечным богомазом — с другой. Она длилась три десятилетия. Случай едва не возвел кроткого гуляку в основатели новой ереси. И тогда это был бы самый замысловатый и смехотворный боец из всех, каких знала уклончивая и мятежная история римской церкви, боец, в блаженном хмелю обходивший землю с двумя белыми мышами за пазухой и с набором тончайших кисточек в кармане.

— Пятнадцать злотых за богоматерь, двадцать пять злотых за святое семейство и пятьдесят злотых за тайную вечерю с изображением всех родственников заказчика. Враг заказчика может быть изображен в образе Иуды Искариота, и за это добавляется лишних десять злотых,— так объявил Аполек окрестным крестьянам, после того как его выгнали из строившегося храма.

В заказах он не знал недостатка. И когда через год, вызванная исступленными посланиями новоградского ксендза, прибыла комиссия от епископа в Жи-

томире, она иашла в самых захудалых и зловонных хатах эти чудовищные семейиые портреты, святотатственные, наивные и живописные. Иосифы с расчесаииой иадвое сивой головой, иапомаженные Иисусы, миогорожавшие деревенские Марии с поставлениымн врозь колеиями — эти икоиы висели в красиых углах, окруженные веицами из бумажных цветов.

— Ои произвел вас прн жизии в святые! — воскликнул викарий дубеиский и иовоконстаитииовский, отвечая толпе, защищавшей Аполека.— Ои окружил вас иеизречеииыми прииадлежиостями святыни, вас, трижды впадавших в грех ослушаиия, тайных виииокуров, безжалостных заимодавцев, делателей фальшивых весов н продавцов иевинности собствеииых дочерей!

— Ваше священство,— сказал тогда викарию колченогий Витольд, скупщик крадеиого и кладбищеиский сторож,— в чем видит правду всемилостивейший паи бог, кто скажет об этом темиому иароду? И ие больше ли истииы в картинах пана Аполека, угодившего нашей гордостн, чем в ваших словах, полных хулы и барского гнева?

Возгласы толпы обратилн викария в бегство. Состояиие умов в пригородах угрожало безопасности служителей церкви. Художник, приглашеиный иа место Аполека, ие решался замазать Эльку и хромого Яиека. Их можио видеть и сейчас в боковом прнделе иовоградского костела: Яиека — апостола Павла, боязливого хромца с чериой клочковатой бородой, деревенского отщепеица, и ее, блудиицу из Магдалы, хилую и безумиую, с таицующим телом н впалыми щеками.

Борьба с ксеидзом длилась три десятилетия. Потом казацкий разлив изгнал старого монаха из его камениого и пахучего гнезда, и Аполек — о превратности судьбы! — водворился в кухне паии Элизы. И вот я, мгиовеиный гость, пью по вечерам виио его беседы.

Беседы — о чем? О ромаитических временах шляхетства, о ярости бабьего фанатизма, о художиике Луке дель Раббио и о семье плотинка из Вифлеема.

— Имею сказать паиу писарю...— таииственио сообщает мне Аполек перед ужином.

— Да,— отвечаю я,— да, Аполек, я слушаю вас...

Но костельный служка, пан Робацкий, суровый и серый, костлявый и ушастый, сидит слишком близко от нас. Он развешивает перед нами поблекшие полотна молчания и неприязни.

— Имею сказать пану,— шепчет Аполек и уводит меня в сторону,— что Иисус, сын Марии, был женат на Деборе, иерусалимской девице незнатного рода...

— О, тен члòвек! — кричит в отчаянии пан Робацкий.— Тен члòвек не умрет на своей постели... Тего чловека забиют людове...

— После ужина,— упавшим голосом шелестит Аполек,— после ужина, если пану писарю будет угодно...

Мне угодно. Зажженный началом Аполековой истории, я расхаживаю по кухне и жду заветного часа. А за окном стоит ночь, как черная колонна. За окном окоченел живой и темный сад. Млечным и блещущим потоком льется под луной дорога к костелу. Земля выложена сумрачным сияньем, ожерелья светящихся плодов повисли на кустах. Запах лилий чист и крепок, как спирт. Этот свежий яд впивается в жирное бурливое дыхание плиты и мертвит смолистую духоту ели, разбросанной по кухне.

Аполек в розовом банте и истертых розовых штанах копошится в своем углу, как доброе и грациозное животное. Стол его измазан клеем и красками. Старик работает мелкими и частыми движениями, тишайшая мелодическая дробь доносится из его угла. Старый Готфрид выбивает ее своими трепещущими пальцами. Слепец сидит недвижимо в желтом и масляном блеске лампы. Склонив лысый лоб, он слушает нескончаемую музыку своей слепоты и бормотание Аполека, вечного друга.

— ...И то, что говорят пану попы и евангелист Марк и евангелист Матфей,— то не есть правда... Но правду можно открыть пану писарю, которому за пятьдесят марок я готов сделать портрет под видом блаженного Франциска на фоне зелени и неба. То был совсем простой святой, пан Франциск. И если у пана писаря есть в России невеста... Женщины любят блаженного Франциска, хотя не все женщины, пан...

Так началась в углу, пахнувшем елью, история о браке Иисуса и Деборы. Эта девушка имела жени-

ха, по словам Аполека. Ее жених был молодой израильтянин, торговавший слоновыми бивиями. Но брачиая ночь Деборы кончилась иедоумеием и слезами. Жеищиной овладел страх, когда она увидела мужа, приблизившегося к ее ложу. Икота раздула ее глотку. Оиа изрыгиула все съедеиное ею за свадебиой трапезой. Позор пал иа Дебору, иа отца ее, иа мать и иа весь род ее. Жеиих оставил ее, глумясь, и созвал всех гостей. Тогда Иисус, видя томлеиие женщииы, жаждавшей мужа и боявшейся его, возложил на себя одежду иовобрачиого и, полный сострадаиия, соединился с Деборой, лежавшей в блевотине. Потом оиа вышла к гостям, шумио торжествуя, как женщина, которая гордится своим падением. И только Иисус стоял в стороне. Смертельная испарииа выступила на его теле, пчела скорби укусила его в сердце. Никем не замеченый, ои вышел из пиршествеиного зала и удалился в пустыниую страиу, иа восток от Иудеи, где ждал его Иоани. И родился у Деборы первенец...

— Где же ои? — вскричал я.

— Его скрыли попы,— произиес Аполек с важиостью и приблизил легкий и зябкий палец к своему иосу пьяиицы.

— Паи художиик,— вскричал вдруг Робацкий, подиимаясь из тьмы, и серые уши его задвигались,— цо вы мувите? То же есть немыслимо...

— Так, так,— съежился Аполек и схватил Готфрида,— так, так, пане...

Он потащил слепца к выходу, ио на пороге помедлил и поманил меня пальцем.

— Блажеииый Франциск,— прошептал он, мигая глазами,— с птицей иа рукаве, с голубем или щеглом, как паиу писарю будет угодно...

И он исчез со слепым и вечиым своим другом.

— О, дурацтво! — произиес тогда Робацкий, костельиый служка.— Теи члóвек ие умрет иа своей постели...

Паи Робацкий широко раскрыл рот и зевиул, как кошка. Я распрощался и ушел иочевать к себе домой, к моим обворованиым евреям.

По городу слоиялась бездомная луна. И я шел с ией вместе, отогревая в себе иеисполимые мечты и нестройиые песни.

## СОЛНЦЕ ИТАЛИИ

Я снова сидел вчера в людской у пани Элизы под нагретым венцом из зеленых ветвей ели. Я сидел у теплой, живой, ворчливой печи и потом возвращался к себе глубокой ночью. Внизу, у обрыва, бесшумный Збруч катил стеклянную темную волну.

Обгорелый город — переломленные колонны и врытые в землю крючки злых старушечьих мизинцев — казался мне поднятым на воздух, удобным и небывалым, как сновиденье. Голый блеск луны лился на него с неиссякаемой силой. Сырая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи. И я ждал потревоженной душой выхода Ромео из-за туч, атласного Ромео, поющего о любви, в то время как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключателе луны.

Голубые дороги текли мимо меня, как струи молока, брызнувшие из многих грудей. Возвращаясь домой, я страшился встречи с Сидоровым, моим соседом, опускавшим на меня по ночам волосатую лапу своей тоски. По счастью, в эту ночь, растерзанную молоком луны, Сидоров не проронил ни слова. Обложившись книгами, он писал. На столе дымилась горбатая свеча — зловещий костер мечтателей. Я сидел в стороне, дремал, сны прыгали вокруг меня, как котята. И только поздней ночью меня разбудил ординарец, вызвавший Сидорова в штаб. Они ушли вместе. Я подбежал тогда к столу, на котором писал Сидоров, и перелистал книги. Это был самоучитель итальянского языка, изображение римского форума и план города Рима. План был весь размечен крестами и точками. Я наклонился над исписанным листом и с замирающим сердцем, ломая пальцы, прочитал чужое письмо. Сидоров, тоскующий убийца, изорвал в клочья розовую вату моего воображения и потащил меня в коридоры здравомыслящего своего безумия. Письмо начиналось со второй страницы, я не осмелился искать начала:

*«...пробито легкое и маленько рехнулся или, как говорит Сергей, с ума слетел. Не сходить же с него, в самом деле, с дурака этого с ума. Впрочем, хвост*

*набок и шутки в сторону... Обратимся к повестке дня, друг мой Виктория...*

*Я проделал трехмесячный махновский поход — утомительное жульничество, и ничего более... И только Волин все еще там. Волин рядится в апостольские ризы и карабкается в Ленины от анархизма. Ужасно. А батько слушает его, поглаживает пыльную проволоку своих кудрей и пропускает сквозь гнилые зубы мужицкую свою усмешку. И я теперь не знаю, есть ли во всем этом не сорное зерно анархии и утрем ли мы вам ваши благополучные носы, самодельные цекисты из самодельного цека,* made in *Харьков, в самодельной столице. Ваши рубахи-парни не любят теперь вспоминать грехи анархической их юности и смеются над ними с высоты государственной мудрости,— черт с ними...*

*А потом я попал в Москву. Как попал я в Москву? Ребята кого-то обижали в смысле реквизиционном и ином. Я, слюнтяй, вступился. Меня расчесали — и за дело. Рана была пустяковая, но в Москве, ах, Виктория, в Москве я онемел от несчастий. Каждый день госпитальные сиделки приносили мне крупицу каши. Взнузданные благоговением, они тащили ее на большом подносе, и я возненавидел эту ударную кашу, внеплановое снабжение и плановую Москву. В совете встретился потом с горсточкой анархистов. Они пижоны или полупомешанные старички. Сунулся в Кремль с планом настоящей работы. Меня погладили по головке и обещали сделать замом, если исправлюсь. Я не исправился. Что было дальше? Дальше был фронт, Конармия и солдатня, пахнущая сырой кровью и человеческим прахом.*

*Спасите меня, Виктория. Государственная мудрость сводит меня с ума, скука пьянит. Вы не поможете — и я издохну безо всякого плана. Кто же захочет, чтобы работник подох столь неорганизованно, не вы ведь, Виктория, невеста, которая никогда не будет женой. Вот и сентиментальность, ну ее к распроэтакой матери...*

*Теперь будем говорить дело. В армии мне скучно. Ездить верхом из-за раны я не могу, значит не могу и драться. Употребите ваше влияние, Виктория,— пусть отправят меня в Италию. Язык я изучаю и через два месяца буду на нем говорить. В Италии*

*земля тлеет. Многое там готово. Недостает пары выстрелов. Один из них я произведу. Там нужно отправить короля к праотцам. Это очень важно. Король у них славный дядя, он играет в популярность и снимается с ручными социалистами для воспроизведения в журналах семейного чтения.*

*В цека, в Наркоминделе вы не говорите о выстреле, о королях. Вас погладят по головке и промямлят: «романтик». Скажите просто,— он болен, зол, пьян от тоски, он хочет солнца Италии и бананов. Заслужил ведь или, может, не заслужил? Лечиться — и баста. А если нет — пусть отправят в одесское Чека... Оно очень толковое и...*

*Как глупо, как незаслуженно и глупо пишу я, друг мой Виктория...*

*Италия вошла в сердце как наваждение. Мысль об этой стране, никогда не виданной, сладка мне, как имя женщины, как ваше имя, Виктория...»*

Я прочитал письмо и стал укладываться на моем продавленном нечистом ложе, но сон не шел. За стеной искренне плакала беременная еврейка, ей отвечало стонущее бормотание долговязого мужа. Они вспоминали об ограбленных вещах и злобствовали друг на друга за незадачливость. Потом, перед рассветом, вернулся Сидоров. На столе задыхалась догоревшая свеча. Сидоров вынул из сапога другой огарок и с необыкновенной задумчивостью придавил им оплывший фитилек. Наша комната была темна, мрачна, все дышало в ней ночной сырой вонью, и только окно, заполненное лунным огнем, сияло как избавление.

Он пришел и спрятал письмо, мой томительный сосед. Сутулясь, сел он за стол и раскрыл альбом города Рима. Пышная книга с золотым обрезом стояла перед его оливковым невыразительным лицом. Над круглой его спиной блестели зубчатые развалины Капитолия и арена цирка, освещенная закатом. Снимок королевской семьи был заложен тут же, между большими глянцевитыми листами. На клочке бумаги, вырванном из календаря, был изображен приветливый тщедушный король Виктор-Эммануил со своей черноволосой женой, с наследным принцем Умберто и целым выводком принцесс.

...И вот ночь, полная далеких и тягостных звонов, квадрат света в сырой тьме — и в нем мертвенное лицо Сидорова, безжизненная маска, нависшая над желтым пламенем свечи.

## ГЕДАЛИ

В субботние кануны меня томит густая печаль воспоминаний. Когда-то в эти вечера мой дед поглаживал желтой бородой томы Ибн-Эзра. Старуха в кружевной наколке ворожила узловатыми пальцами над субботней свечой и сладко рыдала. Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как кораблик на заколдованных волнах...

Я кружу по Житомиру и ищу робкой звезды. У древней синагоги, у ее желтых и равнодушных стен старые евреи продают мел, синьку, фитили,— евреи с бородами пророков, со страстными лохмотьями на впалой груди...

Вот предо мной базар и смерть базара. Убита жирная душа изобилия. Немые замки висят на лотках, и гранит мостовой чист, как лысина мертвеца. Она мигает и гаснет — робкая звезда...

Удача пришла ко мне позже, удача пришла перед самым заходом солнца. Лавка Гедали спряталась в наглухо закрытых торговых рядах. Диккенс, где была в тот вечер твоя тень? Ты увидел бы в этой лавке древностей золоченые туфли и корабельные канаты, старинный компас и чучело орла, охотничий винчестер с выгравированной датой «1810» и сломанную кастрюлю.

Старый Гедали расхаживает вокруг своих сокровищ в розовой пустоте вечера — маленький хозяин в дымчатых очках и в зеленом сюртуке до полу. Он потирает белые ручки, он щиплет сивую бороденку и, склонив голову, слушает невидимые голоса, слетевшиеся к нему.

Эта лавка — как коробочка любознательного и важного мальчика, из которого выйдет профессор ботаники. В этой лавке есть и пуговицы и мертвая бабочка. Маленького хозяина ее зовут Гедали. Все ушли с базара, Гедали остался. Он вьется в лабиринте из

глобусов, черепов и мертвых цветов, помахивает пестрой метелкой из петушиных перьев и сдувает пыль с умерших цветов.

Мы сидим на бочонках из-под пива. Гедали свертывает и разматывает узкую бороду. Его цилиндр покачивается над нами, как черная башенка. Теплый воздух течет мимо нас. Небо меняет цвета. Нежная кровь льется из опрокинутой бутылки там, вверху, и меня обволакивает легкий запах тления.

— Революция — скажем ей «да», но разве субботе мы скажем «нет»? — так начинает Гедали и обвивает меня шелковыми ремнями своих дымчатых глаз.— «Да», кричу я революции, «да», кричу я ей, но она прячется от Гедали и высылает вперед только стрельбу...

— В закрывшиеся глаза не входит солнце,— отвечаю я старику,— но мы распорем закрывшиеся глаза...

— Поляк закрыл мне глаза,— шепчет старик чуть слышно.— Поляк — злая собака. Он берет еврея и вырывает ему бороду,— ах, пес! И вот его бьют, злую собаку. Это замечательно, это революция! И потом тот, который бил поляка, говорит мне: «Отдай на учет твой граммофон, Гедали...» — «Я люблю музыку, пани»,— отвечаю я революции.— «Ты не знаешь, что ты любишь, Гедали, я стрелять в тебя буду, тогда ты это узнаешь, и я не могу не стрелять, потому что я — революция...»

— Она не может не стрелять, Гедали,— говорю я старику,— потому что она — революция...

— Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому что он — контрреволюция. Вы стреляете потому, что вы — революция. А революция — это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек. Революция — это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди. Но поляки тоже злые люди. Кто же скажет Гедали, где революция и где контрреволюция? Я учил когда-то талмуд, я люблю комментарии Раше и книги Маймонида. И еще другие понимающие люди есть в Житомире. И вот мы все, ученые люди, мы падаем на лицо и кричим на-голос: горе нам, где сладкая революция?..

Старик умолк. И мы увидели первую звезду, пробивавшуюся вдоль Млечного Пути.

— Заходит суббота,— с важностью произнес Гедали,— евреям надо в синагогу... Пане товарищ,— сказал он, вставая, и цилиндр, как черная башенка, закачался на его голове,— привезите в Житомир немножко хороших людей. Ай, в нашем городе недостача, ай, недостача! Привезите добрых людей, и мы отдадим им все граммофоны. Мы не невежды. Интернационал... мы знаем, что такое Интернационал. И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот, душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни свое удовольствие. Интернационал, пане товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают...

— Его кушают с порохом,— ответил я старику,— и приправляют лучшей кровью...

И вот она взошла на свое кресло из синей тьмы, юная суббота.

— Гедали,— говорю я,— сегодня пятница и уже настал вечер. Где можно достать еврейский коржик, еврейский стакан чаю и немножко этого отставного бога в стакане чаю?..

— Нету,— отвечает мне Гедали, навешивая замок на свою коробочку,— нету. Есть рядом харчевня, и хорошие люди торговали в ней, но там уже не кушают, там плачут...

Он застегнул свой зеленый сюртук на три костяные пуговицы. Он обмахал себя петушиными перьями, поплескал водицы на мягкие ладони и удалился — крохотный, одинокий, мечтательный, в черном цилиндре и с большим молитвенником под мышкой.

Наступает суббота. Гедали — основатель несбыточного Интернационала — ушел в синагогу молиться.

## МОЙ ПЕРВЫЙ ГУСЬ

Савицкий, начдив шесть, встал, завидев меня, и я удивился красоте гигантского его тела. Он встал и пурпуром своих рейтуз, малиновой шапочкой, сбитой набок, орденами, вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо. От него

пахло духами и приторной прохладой мыла. Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты.

Он улыбнулся мне, ударил хлыстом по столу и потянул к себе приказ, только что отдиктованный начальником штаба. Это был приказ Ивану Чеснокову выступить с вверенным ему полком в направлении Чугунов — Добрыводка и, войдя в соприкосновение с неприятелем, такового уничтожить...

«...*Каковое уничтожение,* — стал писать начдив и измазал весь лист, — *возлагаю на ответственность того же Чеснокова вплоть до высшей меры, которого и шлепну на месте, в чем вы, товарищ Чесноков, работая со мною на фронте не первый месяц, не можете сомневаться...*»

Начдив шесть подписал приказ с завитушкой, бросил его ординарцам и повернул ко мне серые глаза, в которых танцевало веселье.

Я подал ему бумагу о прикомандировании меня к штабу дивизии.

— Провести приказом! — сказал начдив.— Провести приказом и зачислить на всякое удовольствие, кроме переднего. Ты грамотный?

— Грамотный,— ответил я, завидуя железу и цветам этой юности,— кандидат прав Петербургского университета...

— Ты из киндербальзамов,— закричал он, смеясь,— и очки на носу. Какой паршивенький!.. Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки. Поживешь с нами, што ль?

— Поживу,— ответил я и пошел с квартирьером на село искать ночлега.

Квартирьер нес на плечах мой сундучок, деревенская улица лежала перед нами, круглая и желтая, как тыква, умирающее солнце испускало на небе свой розовый дух.

Мы подошли к хате с расписными венцами, квартирьер остановился и сказал вдруг с виноватой улыбкой:

— Канитель тут у нас с очками и унять нельзя. Человек высшего отличия — из него здесь душа вон. А испорть вы даму, самую чистенькую даму, тогда вам от бойцов ласка...

Он помялся с моим сундучком на плечах, подошел ко мне совсем близко, потом отскочил в отчаянии и побежал в первый двор. Казаки сидели там на сене и брили друг друга.

— Вот, бойцы,— сказал квартирьер и поставил на землю мой сундучок.— Согласно приказания товарища Савицкого, обязаны вы принять этого человека к себе в помещение и без глупостев, потому этот человек пострадавший по ученой части...

Квартирьер побагровел и ушел, не оборачиваясь. Я приложил руку к козырьку и отдал честь казакам. Молодой парень с льняным висячим волосом и прекрасным рязанским лицом подошел к моему сундучку и выбросил его за ворота. Потом он повернулся ко мне задом и с особенной сноровкой стал издавать постыдные звуки.

— Орудия номер два нуля,— крикнул ему казак постарше и засмеялся,— крой беглым...

Парень истощил нехитрое свое умение и отошел. Тогда, ползая по земле, я стал собирать рукописи и дырявые мои обноски, вывалившиеся из сундучка. Я собрал их и отнес на другой конец двора. У хаты, на кирпичиках, стоял котел, в нем варилась свинина, она дымилась, как дымится издалека родной дом в деревне, и путала во мне голод с одиночеством без примера. Я покрыл сеном разбитый мой сундучок, сделал из него изголовье и лег на землю, чтобы прочесть в «Правде» речь Ленина на Втором конгрессе Коминтерна. Солнце падало на меня из-за зубчатых пригорков, казаки ходили по моим ногам, парень потешался надо мной без устали, излюбленные строчки шли ко мне тернистою дорогой и не могли дойти. Тогда я отложил газету и пошел к хозяйке, сучившей пряжу на крыльце.

— Хозяйка,— сказал я,— мне жрать надо...

Старуха подняла на меня разлившиеся белки полуослепших глаз и опустила их снова.

— Товарищ,— сказала она, помолчав,— от этих дел я желаю повеситься.

— Господа бога душу мать,— пробормотал я тогда с досадой, и толкнул старуху кулаком в грудь,— толковать тут мне с вами...

И, отвернувшись, я увидел чужую саблю, валявшуюся неподалеку. Строгий гусь шатался по двору

и безмятежно чистил перья. Я догнал его и пригнул к земле, гусиная голова треснула под моим сапогом, треснула и потекла. Белая шея была разостлана в навозе, и крылья заходили над убитой птицей.

— Господа бога душу мать! — сказал я, копаясь в гусе саблей.— Изжарь мне его, хозяйка.

Старуха, блестя слепотой и очками, подняла птицу, завернула ее в передник и потащила к кухне.

— Товарищ,— сказала она, помолчав,— я желаю повеситься,— и закрыла за собой дверь.

А на дворе казаки сидели уже вокруг своего котелка. Они сидели недвижимо, прямые, как жрецы, и не смотрели на гуся.

— Парень нам подходящий,— сказал обо мне один из них, мигнул и зачерпнул ложкой щи.

Казаки стали ужинать со сдержанным изяществом мужиков, уважающих друг друга, а я вытер саблю песком, вышел за ворота и вернулся снова, томясь. Луна висела над двором, как дешевая серьга.

— Братишка,— сказал мне вдруг Суровков, старший из казаков,— садись с нами снедать, покеле твой гусь доспеет...

Он вынул из сапога запасную ложку и подал ее мне. Мы похлебали самодельных щей и съели свинину.

— В газете-то что пишут? — спросил парень с льняным волосом и опростал мне место.

— В газете Ленин пишет,— сказал я, вытаскивая «Правду»,— Ленин пишет, что во всем у нас недостача...

И громко, как торжествующий глухой, я прочитал казакам ленинскую речь.

Вечер завернул меня в живительную влагу сумеречных своих простынь, вечер приложил материнские ладони к пылающему моему лбу.

Я читал и ликовал и подстерегал, ликуя, таинственную кривую ленинской прямой.

— Правда всякую ноздрю щекочет,— сказал Суровков, когда я кончил,— да как ее из кучи вытащить, а он бьет сразу, как курица по зерну.

Это сказал о Ленине Суровков, взводный штабного эскадрона, и потом мы пошли спать на сеновал. Мы спали шестеро там, согреваясь друг от друга,

с перепутанными ногами, под дырявой крышей, пропускавшей звезды.

Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло.

## РАББИ

— ...Все смертно. Вечная жизнь суждена только матери. И когда матери нет в живых, она оставляет по себе воспоминание, которое никто еще не решился осквернить. Память о матери питает в нас сострадание, как океан, безмерный океан питает реки, рассекающие вселенную...

Слова эти принадлежали Гедали. Он произнес их с важностью. Угасающий вечер окружал его розовым дымом своей печали. Старик сказал:

— В страстном здании хасидизма вышиблены окна и двери, но оно бессмертно, как душа матери... С вытекшими глазницами хасидизм все еще стоит на перекрестке ветров истории.

Так сказал Гедали и, помолившись в синагоге, он повел меня к рабби Моталэ, к последнему рабби из Чернобыльской династии.

Мы поднялись с Гедали вверх по главной улице. Белые костелы блеснули вдали, как гречишные поля. Орудийное колесо простонало за углом. Две беременные хохлушки вышли из ворот, зазвенели монистами и сели на скамью. Робкая звезда зажглась в оранжевых боях заката, и покой, субботний покой, сел на кривые крыши житомирского гетто.

— Здесь,— прошептал Гедали и указал мне на длинный дом с разбитым фронтоном.

Мы вошли в комнату — каменную и пустую, как морг. Рабби Моталэ сидел у стола, окруженный бесноватыми и лжецами. На нем была соболья шапка и белый халат, стянутый веревкой. Рабби сидел с закрытыми глазами и рылся худыми пальцами в желтом пухе своей бороды.

— Откуда приехал еврей? — спросил он и приподнял веки.

— Из Одессы,— ответил я.

— Благочестивый город,— сказал рабби,— звезда

нашего изгнания, невольный колодезь наших бедствий!.. Чем занимается еврей?

— Я перекладываю в стихи похождения Герша из Острополя.

— Великий труд,— прошептал рабби и сомкнул веки.— Шакал стонет, когда он голоден, у каждого глупца хватает глупости для уныния, и только мудрец раздирает смехом завесу бытия... Чему учился еврей?

— Библии.

— Чего ищет еврей?

— Веселья.

— Реб Мордхэ,— сказал цадик и затряс бородой,— пусть молодой человек займет место за столом, пусть он ест в этот субботний вечер вместе с остальными евреями, пусть он радуется тому, что он жив, а не мертв, пусть он хлопает в ладоши, когда его соседи танцуют, пусть он пьет вино, если ему дадут вина...

И ко мне подскочил реб Мордхэ, давнишний шут с вывороченными веками, горбатый старикашка, ростом не выше десятилетнего мальчика.

— Ах, мой дорогой и такой молодой человек! — сказал оборванный реб Мордхэ и подмигнул мне.— Ах, сколько богатых дураков знал я в Одессе, сколько нищих мудрецов знал я в Одессе! Садитесь же за стол, молодой человек, и пейте вино, которого вам не дадут...

Мы уселись все рядом — бесноватые, лжецы и ротозеи. В углу стонали над молитвенниками плечистые евреи, похожие на рыбаков и на апостолов. Гедали в зеленом сюртуке дремал у стены, как пестрая птичка. И вдруг я увидел юношу за спиной Гедали, юношу с лицом Спинозы, с могущественным лбом Спинозы, с чахлым лицом монахини. Он курил и вздрагивал, как беглец, приведенный в тюрьму после погони. Оборванный Мордхэ подкрался к нему сзади, вырвал папиросу изо рта и отбежал ко мне.

— Это — сын равви, Илья,— прохрипел Мордхэ и придвинул ко мне кровоточащее мясо развороченных век,— проклятый сын, последний сын, непокорный сын...

И Мордхэ погрозил юноше кулачком и плюнул ему в лицо.

— Благословен господь,— раздался тогда голос рабби Моталэ Брацлавского, и он переломил хлеб своими монашескими пальцами,— благословен бог Израиля, избравший нас между всеми народами земли...

Рабби благословил пищу, и мы сели за трапезу. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном. Сын рабби курил одну папиросу за другой среди молчания и молитвы. Когда кончился ужин, я поднялся первый.

— Мой дорогой и такой молодой человек,— забормотал Мордхэ за моей спиной и дернул меня за пояс,— если бы на свете не было никого, кроме злых богачей и нищих бродяг, как жили бы тогда святые люди?

Я дал старику денег и вышел на улицу. Мы расстались с Гедали, я ушел к себе на вокзал. Там, на вокзале, в агитпоезде Первой Конной армии меня ждало сияние сотен огней, волшебный блеск радиостанции, упорный бег машин в типографии и недописанная статья в газету «Красный кавалерист».

## ПУТЬ В БРОДЫ

Я скорблю о пчелах. Они истерзаны враждующими армиями. На Волыни нет больше пчел.

Мы осквернили ульи. Мы морили их серой и взрывали порохом. Чадившее тряпье издавало зловонье в священных республиках пчел. Умирая, они летали медленно и жужжали чуть слышно. Лишенные хлеба, мы саблями добывали мед. На Волыни нет больше пчел.

Летопись будничных злодеяний теснит меня неутомимо, как порок сердца. Вчера был день первого побоища под Бродами. Заблудившись на голубой земле, мы не подозревали об этом — ни я, ни Афонька Бида, мой друг. Лошади получили с утра зерно. Рожь была высока, солнце было прекрасно, и душа, не заслужившая этих сияющих и улетающих небес, жаждала неторопливых болей.

— За пчелу и ее душевность рассказывают бабы по станицах,— начал взводный, мой друг,— рассказы-

вают всяко. Обидели люди Христа или не было такой обиды,— об этом все прочие дознаются по происшествии времени. Но вот,— рассказывают бабы по станицах,— скучает Христос на кресте. И подлетает к Христу всякая мошка, чтобы его тиранить! И он глядит на нее глазами и падает духом. Но только неисчислимой мошке не видно евоных глаз. И то же самое летает вокруг Христа пчела. «Бей его,— кричит мошка пчеле,— бей его на наш ответ!..» — «Не умею,— говорит пчела, поднимая крылья над Христом,— не умею, он плотницкого классу...» Пчелу понимать надо,— заключает Афонька, мой взводный.— Нехай пчела перетерпит. И для нее небось ковыряемся...

И, махнув руками, Афонька затянул песню. Это была песня о соловом жеребчике. Восемь казаков — Афонькин взвод — стали ему подпевать.

— Соловый жеребчик, по имени Джигит, принадлежал подъесаулу, упившемуся водкой в день усекновения главы.— Так пел Афонька, вытягивая голос, как струну, и засыпая.— Джигит был верный конь, а подъесаул по праздникам не знал предела своим желаниям. Было пять штофов в день усекновения главы. После четвертого подъесаул сел на коня и стал править в небо. Подъем был долог, но Джигит был верный конь. Они приехали на небо, и подъесаул хватился пятого штофа. Но он был оставлен на земле — последний штоф. Тогда подъесаул заплакал о тщете своих усилий. Он плакал, и Джигит прядал ушами, глядя на хозяина...

Так пел Афонька, звеня и засыпая. Песня плыла, как дым. И мы двигались навстречу закату. Его кипящие реки стекали по расшитым полотенцам крестьянских полей. Тишина розовела. Земля лежала, как кошачья спина, поросшая мерцающим мехом хлебов. На пригорке сутулилась мазаная деревушка Клекотов. За перевалом нас ждало видение мертвенных и зубчатых Брод. Но у Клекотова нам в лицо звучно лопнул выстрел. Из-за хаты выглянули два польских солдата. Их кони были привязаны к столбам. На пригорок деловито въезжала легкая батарея неприятеля. Пули нитями протянулись по дороге.

— Ходу! — сказал Афонька.

И мы бежали.

О Броды! Мумии твоих раздавленных страстей дышали на меня непреоборимым ядом. Я ощущал уже смертельный холод глазниц, налитых стынувшей слезой. И вот — трясущийся галоп уносит меня от выщербленного камня твоих синагог...

## УЧЕНИЕ О ТАЧАНКЕ

Мне прислали из штаба кучера, или, как принято у нас говорить, повозочного. Фамилия его Грищук. Ему тридцать девять лет.

Пробыл он пять лет в германском плену, несколько месяцев тому назад бежал, прошел Литву, северо-запад России, достиг Волыни и в Белеве был пойман самой безмозглой в мире мобилизационной комиссией и водворен на военную службу. До Кременецкого уезда, откуда Грищук родом, ему осталось пятьдесят верст. В Кременецком уезде у него жена и дети. Он не был дома пять лет и два месяца. Мобилизационная комиссия сделала его моим повозочным, и я перестал быть парием среди казаков.

Я — обладатель тачанки и кучера в ней. Тачанка! Это слово сделалось основой треугольника, на котором зиждется наш обычай: рубить — тачанка — кровь...

Поповская, заседательская ординарнейшая бричка по капризу гражданской распри вошла в случа́й, сделалась грозным и подвижным боевым средством, создала новую стратегию и новую тактику, исказила привычное лицо войны, родила героев и гениев от тачанки. Таков Махно, сделавший тачанку осью своей таинственной и лукавой стратегии, упразднивший пехоту, артиллерию и даже конницу и взамен этих неуклюжих громад привинтивший к бричкам триста пулеметов. Таков Махно, многообразный, как природа. Возы с сеном, построившись в боевом порядке, овладевают городами. Свадебный кортеж, подъезжая к волостному исполкому, открывает сосредоточенный огонь, и чахлый попик, развеяв над собою черное знамя анархии, требует от властей выдачи буржуев, выдачи пролетариев, вина и музыки.

Армия из тачанок обладает неслыханной маневренной способностью.

Буденный показал это не хуже Махно. Рубить эту армию трудно, выловить — немыслимо. Пулемет, закопанный под скирдой, тачанка, отведенная в крестьянскую клуню,— они перестают быть боевыми единицами. Эти схоронившиеся точки, предполагаемые, но не ощутимые слагаемые, дают в сумме строение недавнего украинского села — свирепого, мятежного и корыстолюбивого. Такую армию, с растыканной по углам амуницией, Махно в один час приводит в боевое состояние; еще меньше времени требуется, чтобы демобилизовать ее.

У нас, в регулярной коннице Буденного, тачанка не властвует столь исключительно. Однако все наши пулеметные команды разъезжают только на бричках. Казачья выдумка различает два вида тачанок: колонистскую и заседательскую. Да это и не выдумка, а разделение, истинно существующее.

На заседательских бричках, на этих расхлябанных, без любви и изобретательности сделанных возках, тряслось по кубанским пшеничным степям убогое красноносое чиновничество, невыспавшаяся кучка людей, спешивших на вскрытия и на следствия, а колонистские тачанки пришли к нам из самарских и уральских, приволжских урочищ, из тучных немецких колоний. На дубовых просторных спинках колонистской тачанки рассыпана домовитая живопись — пухлые гирлянды розовых немецких цветов. Крепкие днища окованы железом. Ход поставлен на незабываемые рессоры. Жар многих поколений чувствую я в этих рессорах, бьющихся теперь по развороченному волынскому шляху.

Я испытываю восторг первого обладания. Каждый день после обеда мы запрягаем. Грищук выводит из конюшни лошадей. Они поправляются день ото дня. Я нахожу уже с гордой радостью тусклый блеск на их начищенных боках. Мы растираем коням припухшие ноги, стрижем гривы, накидываем на спины казацкую упряжь — запутанную ссохшуюся сеть из тонких ремней — и выезжаем со двора рысью. Грищук боком сидит на козлах; мое сиденье устлано цветистым рядном и сеном, пахнущим духами и безмятежностью. Высокие колеса скрипят в зернистом белом пес-

ке. Квадраты цветущего мака раскрашивают землю, разрушенные костелы светятся на пригорках. Высоко над дорогой, в разбитой ядром нише стоит коричневая статуя святой Урсулы с обнаженными круглыми руками. И узкие древние буквы вяжут неровную цепь на почерневшем золоте фронтона... «Во славу Иисуса и его божественной матери...»

Безжизненные еврейские местечки лепятся у подножия панских фольварков. На кирпичных заборах мерцает вещий павлин, бесстрастное видение в голубых просторах. Прикрытая раскидистыми хибарками, присела к нищей земле синагога, безглазая, щербатая, круглая, как хасидская шляпа. Узкоплечие евреи грустно торчат на перекрестках. И в памяти зажигается образ южных евреев, жовиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино. Несравнима с ними горькая надменность этих длинных и костлявых спин, этих желтых и трагических бород. В страстных чертах, вырезанных мучительно, нет жира и теплого биения крови. Движения галицийского и волынского еврея несдержанны, порывисты, оскорбительны для вкуса, но сила их скорби полна сумрачного величия, и тайное презрение к пану безгранично. Глядя на них, я понял жгучую историю этой окраины, повествование о талмудистах, державших на откупу кабаки, о раввинах, занимавшихся ростовщичеством, о девушках, которых насиловали польские жолнеры и из-за которых стрелялись польские магнаты.

## СМЕРТЬ ДОЛГУШОВА

Завесы боя продвигались к городу. В полдень пролетел мимо нас Корочаев в черной бурке — опальный начдив четыре, сражающийся в одиночку и ищущий смерти. Он крикнул мне на бегу:

— Коммуникации наши прорваны, Радзивиллов и Броды в огне!..

И ускакал — развевающийся, весь черный, с угольными зрачками.

На равнине, гладкой, как доска, перестраивались бригады. Солнце катилось в багровой пыли. Раненые закусывали в канавах. Сестры милосердия лежали на

траве и вполголоса пели. Афонькины разведчики рыскали по полю, выискивая мертвецов и обмундирование. Афонька проехал в двух шагах от меня и сказал, не поворачивая головы:

— Набили нам ряшку. Дважды два. Есть думка за начдива, смещают. Сомневаются бойцы...

Поляки подошли к лесу, верстах в трех от нас, и поставили пулеметы где-то близко. Пули скулят и взвизгивают. Жалоба их нарастает невыносимо. Пули подстреливают землю и роются в ней, дрожа от нетерпения. Вытягайченко, командир полка, храпевший на солнцепеке, закричал во сне и проснулся. Он сел на коня и поехал к головному эскадрону. Лицо его было мятое, в красных полосах от неудобного сна, а карманы полны слив.

— Сукиного сына,— сказал он сердито и выплюнул изо рта косточку,— вот гадкая канитель. Тимошка, выкидай флаг!

— Пойдем, што ль? — спросил Тимошка, вынимая древко из стремян, и размотал знамя, на котором была нарисована звезда и написано про III Интернационал.

— Там видать будет,— сказал Вытягайченко и вдруг закричал дико: — Девки, сидай на коников! Скликай людей, эскадронные!..

Трубачи проиграли тревогу. Эскадроны построились в колонну. Из канавы вылез раненый и, прикрываясь ладонью, сказал Вытягайченке:

— Тарас Григорьевич, я есть делегат. Видать, вроде того, что останемся мы...

— Отобьетесь...— пробормотал Вытягайченко и поднял коня на дыбы.

— Есть такая надея у нас, Тарас Григорьевич, что не отобьемся,— сказал раненый ему вслед.

— Не канючь,— обернулся Вытягайченко, — небось не оставлю, и скомандовал повод.

И тотчас же зазвенел плачущий бабий голос Афоньки Биды, моего друга:

— Не переводи ты с места на рыся, Тарас Григорьевич, до его пять верст бежать. Как будешь рубать, когда у нас лошади заморенные... Хапать нечего — поспеешь к богородице груши околачивать...

— Шагом! — скомандовал Вытягайченко, не поднимая глаз.

Полк ушел.

— Если думка за начдива правильная,— прошептал Афонька, задерживаясь,— если смещают, тогда мыли холку и выбивай подпорки. Точка.

Слезы потекли у него из глаз. Я уставился на Афоньку в изумлении. Он закрутился волчком, схватился за шапку, захрипел, гикнул и умчался.

Грищук со своей глупой тачанкой да я — мы остались одни и до вечера мотались между огневых стен. Штаб дивизии исчез. Чужие части не принимали нас. Полки вошли в Броды и были выбиты контратакой. Мы подъехали к городскому кладбищу. Из-за могил выскочил польский разъезд и, вскинув винтовки, стал бить по нас. Грищук повернул. Тачанка его вопила всеми четырьмя своими колесами.

— Грищук! — крикнул я сквозь свист и ветер.

— Баловство,— ответил он печально.

— Пропадаем,— воскликнул я, охваченный гибельным восторгом,— пропадаем, отец!

— Зачем бабы трудаются,— ответил он еще печальнее,— зачем сватання, венчання, зачем кумы на свадьбах гуляют...

В небе засиял розовый хвост и погас. Млечный Путь проступил между звездами.

— Смеха мне,— сказал Грищук горестно и показал кнутом на человека, сидевшего при дороге,— смеха мне, зачем бабы трудаются...

Человек, сидевший при дороге, был Долгушов, телефонист. Разбросав ноги, он смотрел на нас в упор.

— Я вот что,— сказал Долгушов, когда мы подъехали,— кончусь... Понятно?

— Понятно,— ответил Грищук, останавливая лошадей.

— Патрон на меня надо стратить,— сказал Долгушов.

Он сидел, прислонившись к дереву. Сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени, и удары сердца были видны.

— Наскочит шляхта — насмешку сделает. Вот документ, матери отпишешь, как и что...

— Нет,— ответил я и дал коню шпоры.

Долгушов разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво.

— Бежишь? — пробормотал он, сползая.— Бежишь, гад...

Испарина ползла по моему телу. Пулеметы отстукивали все быстрее, с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката, к нам скакал Афонька Бида.

— По малости чешем,— закричал он весело.— Что у вас тут за ярмарка?

Я показал ему на Долгушова и отъехал.

Они говорили коротко,— я не слышал слов. Долгушов протянул взводному свою книжку. Афонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушову в рот.

— Афоня,— сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к казаку,— а я вот не смог.

— Уйди,— ответил он, бледнея,— убью! Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку...

И взвел курок.

Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной холод и смерть.

— Вона,— закричал сзади Грищук,— ан дури! — и схватил Афоньку за руку.

— Холуйская кровь! — крикнул Афонька.— Он от моей руки не уйдет...

Грищук нагнал меня у поворота. Афоньки не было. Он уехал в другую сторону.

— Вот видишь, Грищук,— сказал я,— сегодня я потерял Афоньку, первого моего друга...

Грищук вынул из сиденья сморщенное яблоко.

— Кушай,— сказал он мне,— кушай, пожалуйста...

## КАМБРИГ ДВА

Буденный в красных штанах с серебряным лампасом стоял у дерева. Только что убили комбрига два. На его место командарм назначил Колесникова.

Час тому назад Колесников был командиром полка. Неделю тому назад Колесников был командиром эскадрона.

Нового бригадного вызвали к Буденному. Командарм ждал его, стоя у дерева. Колесников приехал с Алмазовым, своим комиссаром.

— Жмет нас гад,— сказал командарм с ослепительной своей усмешкой.— Победим или подохнем. Иначе — никак. Понял?

— Понял,— ответил Колесников, выпучив глаза.

— А побежишь — расстреляю,— сказал командарм, улыбнулся и отвел глаза в сторону начальника особого отдела.

— Слушаю,— сказал начальник особого отдела.

— Катись, Колесо! — бодро крикнул какой-то казак со стороны.

Буденный стремительно повернулся на каблуках и отдал честь новому комбригу. Тот растопырил у козырька пять красных юношеских пальцев, вспотел и ушел по распаханной меже. Лошади ждали его в ста саженях. Он шел, опустив голову, и с томительной медленностью перебирал кривыми, длинными ногами. Пылание заката разлилось над ним, малиновое и неправдоподобное, как надвигающаяся смерть.

И вдруг на распростершейся земле, на развороченной и желтой наготе полей мы увидели ее одну — узкую спину Колесникова с болтающимися руками и упавшей головой в сером картузе.

Ординарец подвел ему коня.

Он вскочил в седло и поскакал к своей бригаде, не оборачиваясь. Эскадроны ждали его у большой дороги, у Бродского шляха.

Стонущее «ура», разорванное ветром, доносилось до нас.

Наведя бинокль, я увидел комбрига, вертевшегося на лошади в столбах густой пыли.

— Колесников повел бригаду,— сказал наблюдатель, сидевший над нашими головами на дереве.

— Есть,— ответил Буденный, закурил папиросу и закрыл глаза.

«Ура» смолкло. Канонада задохлась. Ненужная шрапнель лопнула над лесом. И мы услышали великое безмолвие рубки.

— Душевный малый,— сказал командарм, вставая.— Ищет чести. Надо полагать — вытянет.

И, потребовав лошадей, Буденный уехал к месту боя. Штаб двинулся за ним.

Колесникова мне довелось увидеть в тот же вечер, через час после того, как поляки были уничтожены. Он ехал впереди своей бригады, один, на буланом

жеребце и дремал. Правая рука его висела на перевязи. В десяти шагах от него конный казак вез развернутое знамя. Головной эскадрон лениво запевал похабные куплеты. Бригада тянулась пыльная и бесконечная, как крестьянские возы на ярмарку. В хвосте пыхтели усталые оркестры.

В тот вечер в посадке Колесникова я увидел властительное равнодушие татарского хана и распознал выучку прославленного Книги, своевольного Павличенки, пленительного Савицкого.

## САШКА ХРИСТОС

Сашка — это было его имя, а Христом прозвали его за кротость. Он был общественный пастух в станице и не работал тяжелой работы с четырнадцати лет, с той поры, когда заболел дурной болезнью. Это все так было:

Тараканыч, Сашкин отчим, ушел на зиму в город Грозный и пристал там к артели. Артель сбилась успешная, из рязанских мужиков. Тараканыч делал для них плотницкую работу, и достатку у него прибывало. Он не управлялся с делами и выписал к себе мальчика подручным: зимой станица и без Сашки проживет. Сашка проработал при отчиме неделю. Потом настала суббота, они пошабашили и сели чай пить. На дворе стоял октябрь, но воздух был легкий. Они открыли окно и согрели второй самовар. Под окнами шлялась побирушка. Она стукнула в раму и сказала:

— Здравствуйте, иногородние крестьяне. Обратите внимание на мое положение.

— Какое там положение? — сказал Тараканыч.— Заходи, калечка.

Побирушка завозилась за стеной и потом вскочила в комнату. Она прошла к столу и поклонилась в пояс. Тараканыч схватил ее за косынку, кинул косынку долой и почесал в волосах. У побирушки волосы были серые, седые, в клочьях и в пыли.

— Фу ты, какой мужик занозистый и стройный,— сказала она,— чистый цирк с тобой... Пожалуйста, не

побрезгуйте мной, старушкой,— прошептала она с поспешностью и вскарабкалась на лавку.

Тараканыч лег с ней. Побирушка закидывала голову набок и смеялась.

— Дождик на старуху,— смеялась она,— двести пудов с десятины дам...

И сказавши это, она увидела Сашку, который пил чай у стола и не поднимал глаз на божий мир.

— Твой хлопец? — спросила она Тараканыча.

— Вроде моего,— ответил Тараканыч,— женин.

— Вот, деточка, глазенапы выкатил,— сказала баба.— Ну, иди сюда.

Сашка подошел к ней — и захватил дурную болезнь. Но об дурной болезни в тот час никто не думал. Тараканыч дал побирушке костей с обеда и серебряный пятачок, очень блесткий.

— Начисть его, молитвенница, песком,— сказал Тараканыч,— он еще более вида получит. В темную ночь ссудишь его господу богу, пятачок заместо луны светить будет...

Калечка обвязалась косынкой, забрала кости и ушла. А через две недели все сделалось для мужиков явно. Они много страдали от дурной болезни, перемогались всю зиму и лечились травами. А весной уехали в станицу на свою крестьянскую работу.

Станица отстояла от железной дороги на девять верст. Тараканыч и Сашка шли полями. Земля лежала в апрельской сырости. В черных ямах блистали изумруды. Зеленая поросль прошивала землю хитрой строчкой. И от земли пахло кисло, как от солдатки на рассвете. Первые стада стекали с курганов, жеребята играли в голубых просторах горизонта.

Тараканыч и Сашка шли тропками, чуть заметными.

— Отпусти меня, Тараканыч, к обществу в пастухи,— сказал Сашка.

— Что так?

— Не могу я терпеть, что у пастухов такая жизнь великолепная.

— Я не согласен,— сказал Тараканыч.

— Отпусти меня, ради бога, Тараканыч,— повторил Сашка,— все святители из пастухов вышли.

— Сашка-святитель,— захохотал отчим,— у богородицы сифилис захватил.

Они прошли перегиб у Красного моста, миновали рощицу, выгон и увидели крест на станичной церкви.

Бабы ковырялись еще на огородах, а казаки, рассевшись в сирени, пили водку и пели. До Тараканычевой избы было с полверсты ходу.

— Давай бог, чтобы благополучно,— сказал он и перекрестился.

Они подошли к хате и заглянули в окошко. Никого в хате не было. Сашкина мать доила корову на конюшне. Мужики подкрались неслышно. Тараканыч засмеялся и закричал у бабы за спиной:

— Мотя, ваше высокоблагородие, собирай гостям ужинать...

Баба обернулась, затрепетала, побежала из конюшни и закружилась по двору. Потом она вернулась к своему месту, кинулась к Тараканычу на грудь и забилась.

— Вот какая ты дурная и незамаичивая,— сказал Тараканыч и отстранил ее ласково.— Кажи детей...

— Ушли дети со двора,— сказала баба, вся белая, снова побежала по двору и упала на землю.— Ах, Алешенька,— закричала она дико,— ушли наши детки ногами вперед...

Тараканыч махнул рукой и пошел к соседям. Соседи рассказали, что мальчика и девочку бог прибрал на прошлой неделе в тифу. Мотя писала ему, но он, верно, не успел получить письма. Тараканыч вернулся в хату. Баба его растапливала печь.

— Отделалась ты, Мотя, вчистую,— сказал Тараканыч,— терзать тебя надо.

Он сел к столу и затосковал,— и тосковал до самого сна, ел мясо и пил водку и не пошел по хозяйству. Он храпел у стола и просыпался и снова храпел. Мотя постелила себе и мужу на кровати, а Сашке в стороне. Она задула лампу и легла с мужем. Сашка ворочался на сене в своем углу, глаза его были раскрыты, он не спал и видел, как бы во сне, хату, звезду в окне и край стола и хомуты под материной кроватью. Насильственное видение побеждало его, он поддавался мечтам и радовался своему сну наяву. Ему чудилось, что с неба свешиваются два серебряных шнура, крученных в толстую нитку, к ним приделана колыска, колыска из розового дерева, с разводами. Она качается высоко над землей и да-

леко от неба, и серебряные шнуры движутся и блестят. Сашка лежит в колыске, и воздух его обвевает. Воздух, громкий, как музыка, идет с полей, радуга цветет на незрелых хлебах.

Сашка радовался своему сну наяву и закрывал глаза, чтобы не видеть хомутов под материной кроватью. Потом он услышал сопение на Мотиной лежанке и подумал о том, что Тараканыч мнет мать.

— Тараканыч,— сказал он громко,— до тебя дело есть.

— Какие дела ночью? — сердито отозвался Тараканыч.— Спи, стервяга...

— Я крест приму, что дело есть,— ответил Сашка,— выдь во двор.

И во дворе, под немеркнущей звездой, Сашка сказал отчиму:

— Не обижай мать, Тараканыч, ты порченый.

— А ты мой характер знаешь? — спросил Тараканыч.

— Я твой характер знаю, но только ты видал мать, при каком она теле? У нее и ноги чистые и грудь чистая. Не обижай ее, Тараканыч. Мы порченые.

— Мил человек,— ответил отчим,— уйди от крови и от моего характера. На вот двугривенный, проспи ночь, вытрезвись...

— Мне двугривенный без пользы,— пробормотал Сашка,— отпусти меня к обществу в пастухи...

— С этим я не согласен,— сказал Тараканыч.

— Отпусти меня в пастухи,— пробормотал Сашка,— а то я матери откроюсь, какие мы. За что ей страдать при таком теле...

Тараканыч отвернулся, пошел в сарай и принес топор.

— Святитель,— сказал он шепотом,— вот и вся недолга... я порубаю тебя, Сашка...

— Ты не станешь меня рубить за бабу,— сказал мальчик чуть слышно и наклонился к отчиму,— ты меня жалеешь, отпусти меня в пастухи...

— Шут с тобой,— сказал Тараканыч и кинул топор,— иди в пастухи.

И он вернулся в хату и переспал со своей женой.

В то же утро Сашка пошел к казакам наниматься и с той поры стал жить у общества в пастухах. Он

прославился на весь округ простодушием, получил от станичников прозвище «Сашка Христос» и прожил в пастухах бессменно до призыва. Старые мужики, какие поплоше, приходили к нему на выгон чесать языки, бабы прибегали к Сашке опоминаться от безумных мужичьих повадок и не сердились на Сашку за его любовь и за его болезнь. С призывом своим Сашка угодил в первый год войны. Он пробыл на войне четыре года и вернулся в станицу, когда там своевольничали белые. Сашку подбили идти в станицу Платовскую, где собирался отряд против белых. Выслужившийся вахмистр — Семен Михайлович Буденный — заправлял делами в этом отряде, и при нем были три брата: Емельян, Лукьян и Денис. Сашка пошел в Платовскую, и там решилась его судьба. Он был в полку Буденного, в бригаде его, в дивизии и в Первой Конной армии. Он ходил выручать героический Царицын, соединился с Десятой армией Ворошилова, бился под Воронежем, под Касторной и у Генеральского моста на Донце. В польскую кампанию Сашка вступил обозным, потому что был поранен и считался инвалидом.

Вот как все это было. С недавних пор стал я водить знакомство с Сашкой Христом и переложил свой сундучок на его телегу. Нередко встречали мы утреннюю зорю и сопутствовали закатам. И когда своевольное хотение боя соединяло нас — мы садились по вечерам у блещущей завалинки или кипятили в лесах чай в закопченном котелке, или спали рядом на скошенных полях, привязав к ноге голодного коня.

## ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПАВЛИЧЕНКИ, МАТВЕЯ РОДИОНЫЧА

Земляки, товарищи, родные мои братья! Так осознайте же во имя человечества жизнеописание красного генерала Матвея Павличенки. Он был пастух, тот генерал, пастух в усадьбе Лидино, у барина Никитинского, и пас барину свиней, пока не вышла ему от жизни нашивка на погоны, и тогда с нашивкой этой стал Матюшка пасти рогатую скотину. И кто его знает,— уродись он в Австралии, Матвей наш, свет

Родионыч, то возможная вещь, друзья, он и до слонов возвысился бы, слонов стал бы пастн Матюшка, кабы не это мое горе, что неоткуда взяться слонам в Ставропольской нашей губернии. Крупнее буйвола, откровенно вам выскажу, нет у нас животной в Ставропольской раскидистой нашей стороне. А от буйвола бедняк утехи себе не добудет, русскому человеку над буйволами издеваться скучно, нам, сиротам, лошадку на вечный суд подай, лошадку, чтобы душа у нее на меже с боками бы повылазила...

И вот пасу я рогатую мою скотину, коровами со всех сторон обставился, молоком меня навылет прохватило, воняю я, как разрезанное вымя, бычки вокруг меня для порядку ходят, мышастые бычки серого цвета. Воля кругом меня полегла на поля, трава во всем мире хрустит, небеса надо мной разворачиваются, как многорядная гармонь, а небеса, ребята, бывают в Ставропольской губернии очень синие. И пасу я этаким манером, с ветрами от нечего делать на дудках переигрываюсь, покеда один старец не говорит мне:

— Явись,— говорит,— Матвей, к Насте.

— Зачем,— говорю.— Или вы, старец, надо мной надсмехаетесь?..

— Явись,— говорит,— она желает.

И вот я являюсь.

— Настя! — говорю я и всей моей кровью чернею.— Настя,— говорю,— или вы надо мной надсмехаетесь?

Но она не дает мне себя слыхать, а пускается от меня бегом и бежит из последних силов, и мы бежим с нею вместе, пока не стали на выгоне, мертвые, красные и без дыхания.

— Матвей,— говорит мне тут Настя,— третье воскресенье от этого, когда весенняя путина была и рыбалки к берегу шли,— вы то же самое с ними шли и голову опустили. Зачем же вы голову опускали, Матвей, или вам какая думка сердце жмет? Отвечайте мне...

И я отвечаю ей:

— Настя,— отвечаю,— мне отвечать вам нечего, голова моя не ружье, на ней мушки нету и прицельной камеры нету, а сердце мое вам известно, Настя, оно от всего пустое, оно небось молоком прохвачено, это ужасное дело, как я молоком воняю...

И Настя, вижу, заходится от этих моих слов.

— Я крест приму,— заходится она, смеется напропалую, смеется во весь голос, на всю степь, как будто на барабане играет,— я крест приму, вы с барышнями перемаргиваетесь...

И поговоривши короткое время глупости, мы с ней вскорости женились. И стали мы жить с Настей, как умели, а уметь мы умели. Всю ночь нам жарко было, зимой нам жарко было, всю долгую ночь мы голые ходили и шкуру друг с дружки обрывали. Хорошо жили, как черти, и все до той поры, пока не заявляется ко мне старец во второй раз.

— Матвей,— говорит он,— барин давеча твою жену за все места трогал, он ее достигнет, барин...

А я:

— Нет,— говорю,— нет, и простите меня, старец, или я пришью вас на этом месте.

И старец, безусловно, пустился от меня ходом, а я обошел в тот день моими ногами двадцать верст земли, большой кусок земли обошел я в тот день моими ногами и вечером вырос в усадьбе Лидино у веселого барина моего Никитинского. Он сидел в горнице, старый старик, и разбирал три седла: английское, драгунское и казацкое,— а я рос у его двери, как лопух, цельный час рос, и все без последствий. Но потом он кинул на меня глаза.

— Чего ты желаешь? — говорит.

— Желаю расчета.

— Умысел на меня имеешь?

— Умысла не имею, но желаю.

Тут он свернул глаза на сторону, свернул с большака в переулочек, настелил на пол малиновых потничков, они малиновей царских флагов были, потнички его, встал над ними старикашка и запетушился.

— Вольному воля,— говорит он мне и петушится,— я мамашей ваших, православные христиане, всех тараканил, расчет можешь получить, только не должен ли ты мне, дружок мой Матюша, какой-нибудь пустяковины?

— Хи-хи,— отвечаю,— вот затейники вы, в самделе, убей меня бог, вот затейники! Мне небось с вас зажитое следует...

— Зажитое,— скрыгочет тут мой барин, и кидает меня на колюшки, и сучит ногами, и лепит мне в ухо

отца и сына и святого духа,— зажитое тебе, а ярмо забыл, в прошлом годе ты мне ярмо от быков сломал,— где оно, мое ярмо?

— Ярмо я тебе отдам,— отвечаю я моему барину и возвожу к нему простые мои глаза и стою перед ним на колюшках ниже всякой земной низины,— отдам тебе ярмо, но ты не тесни меня с долгами, старый человек, а подожди на мне малость...

И что же, ребята вы ставропольские, земляки мои, товарищи, ро̀дные мои братья, пять годов барин на мне долги жал, пять пропащих годов пропадал я, покуда ко мне, к пропащему, не прибыл в гости восемнадцатый годок. На веселых жеребцах прибыл он, на кабардинских своих лошадках. Большой обоз вел он за собой и всякие песни. И эх, люба ж ты моя, восемнадцатый годок! И неужели не погулять нам с тобой еще разок, кровиночка ты моя, восемнадцатый годок... Расточили мы твои песни, выпили твое вино, постановили твою правду, одни писаря нам от тебя остались. И эх, люба моя! Не писаря летели в те дни по Кубани и выпущали на воздух генеральскую душу с одного шагу дистанции, Матвей Родионыч лежал тогда на крови под Прикумском, и оставалось от Матвея Родионыча до усадьбы Лидино пять верст последнего перехода. Я и поехал туда один, без отряда, и, взойдя в горницу, взошел в нее смирно. Земельная власть сидела там, в горнице, Никитинский чаем ее обносил и ласкался до людей, но увидев меня, сошел со своего лица, а я кубанку перед ним снял.

— Здравствуйте,— сказал я людям,— здравствуйте, пожалуйста. Принимайте, барин, гостя или как там у нас будет?

— Будет у нас тихо, благородно,— отвечает мне тут один человек, по выговору, замечаю, землемер,— будет у нас тихо, благородно, но ты, товарищ Павличенко, скакал, видать, издалека, грязь пересекает твой образ. Мы, земельная власть, ужасаемся такого образа, почему это такое?

— Потому это,— отвечаю,— земельная вы и холоднокровная власть, потому оно, что в образе моем щека одна пять годков горит, в окопе горит, при бабе горит, на последнем суде гореть будет. На последнем суде,— говорю и смотрю на Никитинского вроде как весело, а у него уже и глаз нету, только шары посре-

ди лица стоят, как будто вкатили ему шары под лоб на позицию, и он хрустальными этими шарами мне примаргивает тоже вроде как весело, но очень ужасно.

— Матюша,— говорит он мне,— мы ведь знавались когда-то, и вот супруга моя, Надежда Васильевна, по причине происходящих времен рассудку лишившись, она ведь к тебе хороша была, Надежда Васильевна, ты ее, Матюша, больше всех уважал, неужели ты не пожелаешь ее увидеть, когда она свету лишилась?

— Можно,— говорю, и мы входим с ним в другую комнату, и там он руки стал у меня трогать, правую руку, потом левую.

— Матюша,— говорит,— ты судьба моя или нет?

— Нет,— говорю,— и брось эти слова. Бог от нас, холуев, ушился: судьба наша индейка, жисть наша копейка, брось эти слова и послушай, коли хочешь, письмо Ленина.

— Мне письмо, Никитинскому?

— Тебе,— и вынимаю я книгу приказов, раскрываю на чистом листе и читаю, хотя сам неграмотный до глубины души. «Именем народа,— читаю,— и для основания будущей светлой жизни, приказываю Павличенко, Матвею Родионычу, лишать разных людей жизни согласно его усмотрению...» Вот,— говорю,— это оно и есть, ленинское к тебе письмо...

А он мне: нет!

— Нет,— говорит,— Матюша, хоть жизнь наша на чертову сторону схилилась и кровь в российской равноапостольной державе дешева стала, но тебе сколько крови полагается — ты ее все равно достанешь и мои смертные взоры забудешь, и не лучше ли будет, если я тебе половицу покажу?

— Кажи,— говорю,— может, оно лучше будет.

И опять мы с ним по комнате пошли, в винный погреб спустились, там он кирпич один отвалил и нашел шкатулку за этим кирпичиком. В ней были перстни, в шкатулке, ожерелья, ордена и жемчужная святыня. Он кинул ее мне и обомлел.

— Твое,— говорит,— владей никитинской святыней и шагай прочь, Матвей, в прикумское твое логово...

И тут я взял его за тело, за глотку, за волосы.

— С щекой-то что мне делать,— говорю,— с щекой как мне быть, люди-братья?

И тогда он сам с себя посмеялся слишком громко и вырываться не стал.

— Шакалья совесть,— говорит и не вырывается.— Я с тобой, как с российской империи офицером говорю, а вы, хамы, волчицу сосали... Стреляй в меня, сукин сын...

Но я стрелять в него не стал, стрельбы я ему не должен был никак, а только потащил наверх в залу. Там в зале Надежда Васильевна, совершенно сумасшедшие, сидели, они с шашкой наголо, по зале прохаживались и в зеркало гляделись. А когда я Никитинского в залу притащил, Надежда Васильевна побежали в кресло садиться, на них бархатная корона перьями убрана была, они в кресло бойко сели и шашкой мне на караул сделали. И тогда я потоптал барина моего Никитинского. Я час его топтал или более часу, и за это время я жизнь сполна узнал. Стрельбой,— я так выскажу,— от человека только отделаться можно: стрельба — это ему помилование, а себе гнусная легкость, стрельбой до души не дойдешь, где она у человека есть и как она показывается. Но я, бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часу, мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть...

## КЛАДБИЩЕ В КОЗИНЕ

Кладбище в еврейском местечке. Ассирия и таинственное тление Востока на поросших бурьяном волынских полях.

Обточенные серые камни с трехсотлетними письменами. Грубое тиснение горельефов, высеченных на граните. Изображение рыбы и овцы над мертвой человеческой головой. Изображения раввинов в меховых шапках. Раввины подпоясаны ремнем на узких чреслах. Под безглазыми лицами волнистая каменная линия завитых бород. В стороне, под дубом, размозженным молнией, стоит склеп рабби Азриила, убитого казаками Богдана Хмельницкого. Четыре поколения лежат в этой усыпальнице, нищей, как жилище

водоноса, и скрижали, зазеленевшие скрижали, поют о них молитвой бедуина:

«Азриил, сын Анании, уста Еговы.

Илия, сын Азриила, мозг, вступивший в единоборство с забвением.

Вольф, сын Илии, принц, похищенный у Торы на девятнадцатой весне.

Иуда, сын Вольфа, раввин краковский и пражский.

О смерть, о корыстолюбец, о жадный вор, отчего ты не пожалел нас, хотя бы однажды?»

## ПРИЩЕПА

Пробираюсь в Лешнюв, где расположился штаб дивизии. Попутчик мой по-прежнему Прищепа — молодой кубанец, неутомительный хам, вычищенный коммунист, будущий барахольщик, беспечный сифилитик, неторопливый враль. На нем малиновая черкеска из тонкого сукна и пуховый башлык, закинутый за спину. По дороге он рассказывал о себе...

Год тому назад Прищепа бежал от белых. В отместку они взяли заложниками его родителей и убили их в контрразведке. Имущество расхитили соседи. Когда белых прогнали с Кубани, Прищепа вернулся в родную станицу.

Было утро, рассвет, мужичий сон вздыхал в прокисшей духоте. Прищепа подрядил казенную телегу и пошел по станице собирать свои граммофоны, жбаны для кваса и расшитые матерью полотенца. Он вышел на улицу в черной бурке, с кривым кинжалом за поясом; телега плелась сзади. Прищепа ходил от одного соседа к другому, кровавая печать его подошв тянулась за ним следом. В тех хатах, где казак находил вещи матери или чубук отца, он оставлял подколотых старух, собак, повешенных над колодцем, иконы, загаженные пометом. Станичники, раскуривая трубки, угрюмо следили его путь. Молодые казаки рассыпались в степи и вели счет. Счет разбухал, и станица молчала. Кончив, Прищепа вернулся в опустошенный отчий дом. Он расставил отбитую мебель в порядке, который был ему памятен с детства, и по-

слал за водкой. Запершнсь в хате, он пнл двое суток, пел, плакал и рубил шашкой столы.

На третью ночь стаиица увидела дым иад избой Прищепы. Опаленный и рваный, виляя ногами, он вывел из стойла корову, вложил ей в рот револьвер и выстрелил. Земля курилась под ним, голубое кольцо пламени вылетело из трубы и растаяло, в конюшне зарыдал оставлеиный бычок. Пожар сиял, как воскресенье. Прнщепа отвязал коня, прыгиул в седло, бросил в огонь прядь своих волос н сгииул.

## ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛОШАДИ

Савицкий, наш начдив, забрал когда-то у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Это была лошадь пышного экстерьера, ио с сырыми формами, которые мне тогда казалнсь тяжеловатымн. Хлебников получил взамен вороиую кобыленку иеплохих кровей, с гладкой рысью. Но он держал кобыленку в черном теле, жаждал мести, ждал своего часу н дождался его.

После июльских неудачных боев, когда Савицкого сместили и заслали в резерв чннов командного запаса, Хлебников написал в штаб армии прошение о возвращенни ему лошади. Начальннк штаба наложил на прошеиии резолюцию: «Возворотить нзложеиного жеребца в первобытное состояние», и Хлебнников, ликуя, сделал сто верст для того, чтобы найти Савицкого, жнвшего тогда в Радзивилове, в изувеченном городишке, похожем на оборваиную салопницу. Он жил один, смещенный иачдив, лизуиы из штабов не узнавали его больше. Лизуны из штабов удили жареных курнц в улыбках командарма, и, холопствуя, онн отвернулись от прославлеиного начдива.

Облитый духами и похожий иа Петра Великого, ои жил в опале, с казачкой Павлой, отбитой им у евреяинтенданта, и с двадцатью кровнымн лошадьми, которых мы считали его собствеииостью. Солнце на его дворе напрягалось и томилось слепотой своих лучей, жеребята на его дворе бурно сосалн маток, конюхи с взмокшими спинами просеивалн овес на выцветшнх веялках. Израиенный истиной н ведомый местью,

Хлебников шел напрямик к забаррикадированному двору.

— Личность моя вам знакомая? — спросил он у Савицкого, лежавшего на сене.

— Видал я тебя как будто,— ответил Савицкий и зевнул.

— Тогда получайте резолюцию начштаба,— сказал Хлебников твердо,— и прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом...

— Можно,— примирительно пробормотал Савицкий, взял бумагу и стал читать ее необыкновенно долго. Потом он позвал вдруг казачку, чесавшую себе волосы в холодку, под навесом.

— Павла,— сказал он,— с утра, слава тебе, господи, чешемся... Направила бы самоварчик...

Казачка отложила гребень и, взяв в руки волосы, перебросила их за спину.

— Целый день сегодня, Константин Васильевич, цепляемся,— сказала она с ленивой и повелительной усмешкой,— то того вам, то другого...

И она пошла к начдиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь, шевелившуюся, как животное в мешке.

— Целый день цепляемся,— повторила женщина, сияя, и застегнула начдиву рубаху на груди.

— То этого мне, а то того,— засмеялся начдив, вставая, обнял Павлины отдавшиеся плечи и обернул вдруг к Хлебникову помертвевшее лицо.

— Я еще живой, Хлебников,— сказал он, обнимаясь с казачкой,— еще ноги мои ходют, еще кони мои скачут, еще руки мои тебя достанут и пушка моя греется около моего тела...

Он вынул револьвер, лежавший у него на голом животе, и подступил к командиру первого эскадрона.

Тот повернулся на каблуках, шпоры его застонали, он вышел со двора, как ординарец, получивший эстафету, и снова сделал сто верст для того, чтобы найти начальника штаба, но тот прогнал от себя Хлебникова.

— Твое дело, командир, решенное,— сказал начальник штаба.— Жеребец тебе мною возворочен, а докуки мне без тебя хватает...

Он не стал слушать Хлебникова и возвратил, наконец, первому эскадрону сбежавшего командира.

Хлебников целую неделю был в отлучке. За это время нас перегнали на стоянку в Дубенские леса. Мы разбили там палатки и жили хорошо. Хлебников вернулся, я помню, в воскресенье утром, двенадцатого числа. Он потребовал у меня бумаги больше дести и чернил. Казаки обстругали ему пень, он положил на пень револьвер и бумаги и писал до вечера, перемарывая множество листов.

— Чистый Карл Маркс,— сказал ему вечером военком эскадрона.— Чего ты пишешь, хрен с тобой?

— Описываю разные мысли согласно присяге,— ответил Хлебников и подал военкому заявление о выходе из коммунистической партии большевиков.

«*Коммунистическая партия,*— было сказано в этом заявлении,— *основана, палагаю для радости и твердой правды без предела и должна также осматриваться на малых. Теперь коснусь до белого жеребца, которого я отбил у неимоверных по своей контре крестьян, имевший захудалый вид, и многие товарищи беззастенчиво надсмехались над этим видом, но я имел силы выдержать тот резкий смех, и, сжав зубы за общее дело, выходил жеребца до желаемой перемены, потому я есть, товарищи, до серых коней охотник и положил на них силы, в малом количестве оставшиеся мне от империалистической и гражданской войны, и таковые жеребцы чувствуют мою руку, и я также могу чувствовать его бессловесную нужду и что ему требуется, но несправедливая вороная кобылица мне без надобности, я не могу ее чувствовать и не могу ее переносить, что все товарищи могут подтвердить, как бы не дошло до беды. И вот партия не может мне возворотить, согласно розолюции, мое кровное, то я не имею выхода как писать это заявление со слезами, которые не подобают бойцу, но текут бесперечь и секут сердце, засекая сердце в кровь...*»

Вот это и еще много другого было написано в заявлении Хлебникова. Он писал его целый день, и оно было очень длинно. Мы с военкомом бились над ним с час и разобрали до конца.

— Вот и дурак,— сказал военком, разрывая бумагу,— приходи после ужина, будешь иметь беседу со мной.

— Не надо мне твоей беседы,— ответил Хлебников, вздрагивая,— проиграл ты меня, военком.

Он стоял, сложив руки по швам, дрожал, не сходя с места, и озирался по сторонам, как будто примериваясь, по какой дороге бежать. Военком подошел к нему вплотную, но не доглядел. Хлебников рванулся и побежал изо всех сил.

— Проиграл! — закричал он дико, влез на пень и стал обрывать на себе куртку и царапать грудь.

— Бей, Савицкий,— закричал он, падая на землю,— бей враз!

Мы потащили его в палатку, казаки нам помогли. Мы вскипятили ему чай и набили папирос. Он курил и все дрожал. И только к вечеру успокоился наш командир. Он не заговаривал больше о сумасбродном своем заявлении, но через неделю поехал в Ровно, освидетельствовался во врачебной комиссии и был демобилизован как инвалид, имеющий шесть поранений.

Так лишились мы Хлебникова. Я был этим опечален, потому что Хлебников был тихий человек, похожий на меня характером. У него одного в эскадроне был самовар. В дни затишья мы пили с ним горячий чай. Нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони.

## КОНКИН

Крошили мы шляхту по-за Белой Церковью. Крошили вдосталь, аж деревья гнулись. Я с утра отметину получил, но выкомаривал ничего себе, подходяще. Денек, помню, к вечеру пригибался. От комбрига я отбился, пролетариату всего казачишек пяток за мной увязалось. Кругом в обнимку рубаются, как поп с попадьей, юшка из меня помаленьку капает, конь мой передом мочится... Одним словом — два слова.

Вынеслись мы со Спирькой Забутым подальше от леска, глядим — подходящая арифметика... Сажнях в трехстах, ну не более, не то штаб пылит, не то обоз. Штаб —хорошо, обоз— того лучше. Барахло у ребятишек пооборвалось, рубашонки такие, что половой зрелости не достигают.

— Забутый,— говорю я Спирьке,— мать твою и так, и этак, и всяко, предоставляю тебе слово, как записавшемуся оратору,— ведь это штаб ихний уходит...

— Свободная вещь, что штаб,— говорит Спирька,— но только — нас двое, а их восемь...

— Дуй ветер, Спирька,— говорю,— все равно я им ризы испачкаю... Помрем за кислый огурец и мировую революцию...

И пустились. Было их восемь сабель. Двоих сняли мы винтами на корню. Третьего, вижу, Спирька ведет в штаб Духонина для проверки документов. А я в туза целюсь. Малиновый, ребята, туз, при цепке и золотых часах. Прижал я его к хуторку. Хуторок там был весь в яблоне и вишне. Конь под моим тузом как купцова дочка, но пристал. Бросает тогда пан генерал поводья, примеряется ко мне маузером и делает мне в ноге дырку.

«Ладно,—думаю,—будешь моя, раскинешь ноги..»

Нажал я колеса и вкладываю в конника два заряда. Жалко было жеребца. Большевичок был жеребец, чистый большевичок. Сам рыжий, как монета, хвост пулей, нога струной. Думал — живую Ленину свезу, ан не вышло. Ликвидировал я эту лошадку. Рухнула она, как невеста, и туз мой с седла снялся. Подорвал он в сторону, потом еще разок обернулся и еще один сквозняк мне в фигуре сделал. Имею я, значит, при себе три отличия в делах против неприятеля.

«Исусе,— думаю,— он, чего доброго, убьет меня нечаянным порядком...»

Подскакал я к нему, а он уже шашку выхватил, и по щекам его слезы текут, белые слезы, человечье молоко.

— Даешь орден Красного Знамени! — кричу.— Сдавайся, ясновельможный, покуда я жив!..

— Не могу, пан,— отвечает старик,— ты зарежешь меня...

А тут Спиридон передо мной, как лист перед травой. Личность его в мыле, глаза от морды на нитках висят.

— Вася,— кричит он мне,— страсть сказать, сколько я людей кончил! А ведь это генерал у тебя, на нем шитье, мне желательно его кончить.

— Иди к турку,— говорю я Забутому и серчаю,— мне шитье его крови стоит.

И кобылой моей загоняю я генерала в клуню, сено там было или так. Тишина там была, темнота, прохлада.

— Пан,— говорю,— утихомирь свою старость, сдайся мне за ради бога, и мы отдохнем с тобой, пан...

А он дышит у стенки грудью и трет лоб красным пальцем.

— Не моге,— говорит,— ты зарежешь меня, только Буденному отдам я мою саблю...

Буденного ему подавай. Эх, горе ты мое! И вижу — пропадает старый.

— Пан,— кричу я и плачу и зубами скрегочу,— слово пролетария, я сам высший начальник. Ты шитья на мне не ищи, а титул есть. Титул, вон он — музыкальный эксцентрик и салонный чревовещатель из города Нижнего... Нижний город на Волге-реке...

И бес меня взмыл. Генеральские глаза передо мной, как фонари, мигнули. Красное море передо мной открылось. Обида солью вошла мне в рану, потому, вижу, не верит мне дед. Замкнул я тогда рот, ребята, поджал брюхо, взял воздух и понес по старинке, по-нашенскому, по-бойцовски, по-нижегородски и доказал шляхте мое чревовещание.

Побелел тут старик, взялся за сердце и сел на землю.

— Веришь теперь Ваське-эксцентрику, третьей непобедимой кавбригады комиссару?..

— Комиссар? — кричит он.

— Комиссар,— говорю я.

— Коммунист? — кричит он.

— Коммунист,— говорю я.

— В смертельный мой час,— кричит он,— в последнее мое воздыхание скажи мне, друг мой казак,— коммунист ты или врешь?

— Коммунист,— говорю.

Садится тут мой дед на землю, целует какую-то ладанку, ломает надвое саблю и зажигает две плошки в своих глазах, два фонаря над темной степью.

— Прости,— говорит,— не могу сдаться коммунисту,— и здоровается со мной за руку.— Прости,— говорит,— и руби меня по-солдатски...

Эту историю со всегдашним своим шутовством рассказал иам однажды на привале Конкин, политический комиссар N...ской кавбригады и троекратиый кавалер ордена Красного Знамени.

— И до чего же ты, Васька, с паном договорился?

— Договоришься ли с ним?.. Гоноровый выдался. Покланялся я ему еще, а он упирается. Бумаги мы тогда у него взяли, какие были, маузер взяли, седелка его, чудака, и по сей час подо мной. А потом, вижу, каплет из меня все сильней, ужасный сон на меня иападает, сапоги мои полны крови, ие до него...

— Облегчили, значит, старика?

— Был грех.

### БЕРЕСТЕЧКО

Мы делали переход из Хотина в Берестечко. Бойцы дремали в высоких седлах. Песня журчала, как пересыхающий ручей. Чудовищные трупы валялись на тысячелетних кургаиах. Мужики в белых рубахах ломали шапки перед нами. Бурка начдива Павличенки веяла над штабом, как мрачный флаг. Пуховый башлык его был перекинут через бурку, кривая сабля лежала сбоку.

Мы проехали казачьи курганы и вышку Богдаиа Хмельницкого. Из-за могильного камня выполз дед с бандурой и детским голосом спел про былую казачью славу. Мы прослушали песню молча, потом развернули штандарты и под звуки гремящего марша ворвались в Берестечко. Жители заложили ставни железными палками, и тишина, полновластная тишина взошла на местечковый свой трон.

Квартира мне попалась у рыжей вдовы, пропахшей вдовьим горем. Я умылся с дороги и вышел на улицу. На столбах висели объявления о том, что военкомдив Виноградов прочтет вечером доклад о Втором конгрессе Коминтерна. Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряиой бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя под мышкой. Еврей затих и расставил ноги. Кудря правой рукой вы-

тащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись. Потом он стукнул в закрытую раму.

— Если кто интересуется,— сказал он,— нехай приберет. Это свободно...

И казаки завернули за угол. Я пошел за ними следом и стал бродить по Берестечку. Больше всего здесь евреев, а на окраинах расселились русские мещане-кожевники. Они живут чисто, в белых домиках за зелеными ставнями. Вместо водки мещане пьют пиво или мед, разводят табак в палисадничках и курят его из длинных гнутых чубуков, как галицийские крестьяне.

Соседство трех племен, деятельных и деловитых, разбудило в них упрямое трудолюбие, свойственное иногда русскому человеку, когда он еще не обовшивел, не отчаялся и не упился.

Быт выветрился в Берестечке, а он был прочен здесь. Отростки, которым перевалило за три столетия, все еще зеленели на Волыни теплой гнилью старины. Евреи связывали здесь нитями наживы русского мужика с польским паном, чешского колониста с лодзинской фабрикой. Это были контрабандисты, лучшие на границе, и почти всегда воители за веру. Хасидизм держал в удушливом плену это суетливое население из корчмарей, разносчиков и маклеров. Мальчики в капотиках все еще топтали вековую дорогу к хасидскому хедеру, и старухи по-прежнему возили невесток к цадику с яростной мольбой о плодородии.

Евреи живут здесь в просторных домах, вымазанных белой или водянисто-голубой краской. Традиционное убожество этой архитектуры насчитывает столетия. За домом тянется сарай в два, иногда в три этажа. В нем никогда не бывает солнца. Сараи эти, неописуемо мрачные, заменяют наши дворы. Потайные ходы ведут в подвалы и конюшни. Во время войны в этих катакомбах спасаются от пуль и грабежей. Здесь скопляются за много дней человечьи отбросы и навоз скотины. Уныние и ужас заполняют катакомбы едкой вонью и протухшей кислотой испражнений.

Берестечко нерушимо воняет и до сих пор, от всех людей несет запахом гнилой селедки. Местечко смердит в ожидании новой эры, и вместо людей по нему ходят слинявшие схемы пограничных несчастий. Они надоели мне к концу дня, я ушел за городскую черту,

поднялся в гору и проник в опустошенный замок графов Рациборских, недавних владетелей Берестечка.

Спокойствие заката сделало траву у замка голубой. Над прудом взошла луна, зеленая, как ящерица. Из окна мне видно поместье графов Рациборских — луга и плантации из хмеля, скрытые муаровыми лентами сумерек.

В замке жила раньше помешанная девяностолетняя графиня с сыном. Она досаждала сыну за то, что он не дал наследников угасающему роду, и — мужики рассказывали мне — графиня била сына кучерским кнутом.

Внизу на площадке собрался митинг. Пришли крестьяне, евреи и кожевники из предместья. Над ними разгорелся восторженный голос Виноградова и звон его шпор. Он говорил о Втором конгрессе Коминтерна, а я бродил вдоль стен, где нимфы с выколотыми глазами водят старинный хоровод. Потом в углу, на затоптанном полу я нашел обрывок пожелтевшего письма. На нем выцвевшими чернилами было написано:

«Berestetchko, 1820. Paul, mon bien aimé, on dit que l'empereur Napoléon est mort, est-ce vrai? Moi, je me sens bien, les couches ont été faciles, notre petit héros achève sept semaines...» [1].

Внизу не умолкает голос военкомдива. Он страстно убеждает озадаченных мещан и обворованных евреев:

— Вы — власть. Все, что здесь,— ваше. Нет панов. Приступаю к выборам Ревкома...

## СОЛЬ

«Дорогой товарищ редактор. Хочу описать вам за несознательность женщин, которые нам вредные. Надеются на вас, что вы, объезжая гражданские фронты, которые брали под заметку, не миновали закоренелую станцию Фастов, находящуюся за тридевять земель, в некотором государстве, на неведомом про-

[1] «Берестечко, 1820. Поль, мой любимый, говорят, что император Наполеон умер, правда ли это? Я чувствую себя хорошо, роды были легкие, нашему маленькому герою исполняется семь недель» *(фр.)*.

странстве, я там, конешно, был, самогон-пиво пил, усы обмочил, в рот не заскочило. Про эту вышеизложенную станцию есть много кой-чего писать, но как говорится в нашем простом быту,— господнего дерьма не перетаскать. Поэтому опишу вам только за то, что мои глаза собственноручно видели.

Была тихая, славная ночка семь ден тому назад, когда наш заслуженный поезд Конармии остановился там, груженный бойцами. Все мы горели способствовать общему делу и имели направление на Бердичев. Но только замечаем, что поезд наш никак не отваливает, Гаврилка наш не курит, и бойцы стали сомневаться, переговариваясь между собой,— в чем тут остановка? И действительно, остановка для общего дела вышла громадная по случаю того, что мешочники, эти злые враги, среди которых находилась также несметная сила женского полу, нахальным образом поступали с железнодорожной властью. Безбоязненно ухватились они за поручни, эти злые враги, на рысях пробегали по железным крышам, коловоротили, мутили, и в каждых руках фигурировала небезызвестная соль, доходя до пяти пудов в мешке. Но недолго длилось торжество капитала мешочников. Инициатива бойцов, повылазивших из вагона, дала возможность поруганной власти железнодорожников вздохнуть грудью. Один только женский пол со своими торбами остался в окрестностях. Имея сожаление, бойцы которых женщин посадили по теплушкам, а которых не посадили. Так же и в нашем вагоне второго взвода оказались налицо две девицы, а пробивши первый звонок, подходит к нам представительная женщина с дитем, говоря:

— Пустите меня, любезные казачки, всю войну я страдаю по вокзалам с грудным дитем на руках и теперь хочу иметь свидание с мужем, но по причине железной дороги ехать никак невозможно, неужели я у вас, казачки, не заслужила?

— Между прочим, женщина,— говорю я ей,— какое будет согласие у взвода, такая получится ваша судьба.— И, обратившись к взводу, я им доказываю, что представительная женщина просится ехать к мужу на место назначения и дите действительно при ней находится и какое будет ваше согласие — пускать ее или нет?

— Пускай ее,— кричат ребята,— опосля нас она и мужа не захочет!..

— Нет,— говорю я ребятам довольно вежливо,— кланяюсь вам, взвод, но только удивляет меня слышать от вас такую жеребятину. Вспомните, взвод, вашу жизнь и как вы сами были детями при ваших матерях, и получается вроде того, что не годится так говорить...

И казаки, проговоривши между собой, какой он, стало быть, Балмашев, убедительный, начали пускать женщину в вагон, и она с благодарностью лезет. И кажный, раскипятившись моей правдой, подсаживает ее, говоря наперебой:

— Садитесь, женщина, в куток, ласкайте ваше дитё, как водится с матерями, никто вас в кутке не тронет, и приедете вы, нетронутая, к вашему мужу, как это вам желательно, и надеемся на вашу совесть, что вы вырастите нам смену, потому что старое старится, а молодняка, видать, мало. Горя мы видели, женщина, и на действительной и на сверхсрочной, голодом нас давнуло, холодом обожгло. А вы сидите здесь, женщина, без сомнения...

И пробивши третий звонок, поезд двинулся. И славная ночка раскинулась шатром. И в том шатре были звезды-каганцы. И бойцы вспоминали кубанскую ночь и зеленую кубанскую звезду. И думка пролетела, как птица. А колеса тарахтят, тарахтят...

По прошествии времени, когда ночь сменилась со своего поста и красные барабанщики заиграли зорю на своих красных барабанах, тогда подступили ко мне казаки, видя, что я сижу без сна и скучаю до последнего.

— Балмашев,— говорят мне казаки,— отчего ты ужасно скучный и сидишь без сна?

— Низко кланяюсь вам, бойцы, и прошу маленького прощения, но только дозвольте мне переговорить с этой гражданкой пару слов...

И, задрожав всем корпусом, я поднимаюсь со своей лежанки, от которой сон бежал, как волк от своры злодейских псов, и подхожу до нее, и беру у нее с рук дите, и рву с него пеленки, и вижу по-за пеленками добрый пудовик соли.

— Вот антиресное дите, товарищи, которое титек не просит, на подол не мочится и людей со сна не беспокоит...

— Простите, любезные казачки,— встревает женщина в наш разговор очень хладнокровно,— не я обманула, лихо мое обмануло...

— Балмашев простит твоему лиху,— отвечаю я женщине,— Балмашеву оно немногого стоит, Балмашев за что купил, за то и продает. Но оборотись к казакам, женщина, которые тебя возвысили как трудящуюся мать в республике. Оборотись на этих двух девиц, которые плачут в настоящее время, как пострадавшие от нас этой ночью. Оборотись на жен наших на пшеничной Кубани, которые исходят женской силой без мужей, и те, тоже самое одинокие, по злой неволе насильничают проходящих в их жизни девушек... А тебя не трогали, хотя тебя, неподобную, только и трогать. Оборотись на Расею, задавленную болью...

А она мне:

— Я соли своей решилась, я правды не боюсь. Вы за Расею не думаете, вы жидов Ленина и Троцкого спасаете...

— За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка. Жиды сюда не касаются. Между прочим, за Ленина не скажу, но Троцкий есть отчаянный сын тамбовского губернатора и вступился, хотя другого звания, за трудящийся класс. Как присужденные каторжане вытягают они нас — Ленин и Троцкий — на вольную дорогу жизни, а вы, гнусная гражданка, есть более контрреволюционерка, чем тот белый генерал, который с вострой шашкой грозится нам на своем тысячном коне... Его видать, того генерала, со всех дорог, и трудящийся имеет свою думку-мечту его порезать, а вас, несчетная гражданка, с вашими антиресными детками, которые хлеба не просят и до ветра не бегают — вас не видать, как блоху, и вы точите, точите, точите...

И я действительно признаю, что выбросил эту гражданку на ходу под откос, но она, как очень грубая, посидела, махнула юбками и пошла своей подлой дорожкой. И, увидев эту невредимую женщину, и несказанную Расею вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девиц, и товарищей, которые много ездют на фронт, но мало возвращаются, я захотел спрыгнуть с вагона и себе кончить или ее кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали:

— Ударь ее из винта.

И сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики.

И мы, бойцы второго взвода, клянемся перед вами, дорогой товарищ редактор, и перед вами, дорогие товарищи из редакции, беспощадно поступать со всеми изменниками, которые тащат нас в яму и хотят повернуть речку обратно и выстелить Расею трупами и мертвой травой...

За всех бойцов второго взвода — Никита Балмашев, солдат революции».

### ВЕЧЕР

О устав РКП! Сквозь кислое тесто русских повестей ты проложил стремительные рельсы. Три холостые сердца со страстями рязанских Иисусов ты обратил в сотрудников «Красного кавалериста», ты обратил их для того, чтобы каждый день могли они сочинять залихватскую газету, полную мужества и грубого веселья.

Галин с бельмом, чахоточный Слинкин, Сычев с объеденными кишками — они бредут в бесплодной пыли тыла и продирают бунт и огонь своих листовок сквозь строй молодцеватых казаков на покое, резервных жуликов, числящихся польскими переводчиками, и девиц, присланных к нам в поезд политотдела на поправку из Москвы.

Только к ночи бывает готова газета — динамитный шнур, подкладываемый под армию. На небе гаснет косоглазый фонарь провинциального солнца, огни типографии, разлетаясь, пылают неудержимо, как страсть машины. И тогда, к полуночи, из вагона выходил Галин для того, чтобы содрогнуться от укусов неразделенной любви к поездной нашей прачке Ирине.

— В прошлый раз,— говорит Галин, узкий в плечах, бледный и слепой,— в прошлый раз мы рассмотрели, Ирина, расстрел Николая Кровавого, казненного екатеринбургским пролетариатом. Теперь перейдем к другим тиранам, умершим собачьей смертью. Петра Третьего задушил Орлов, любовник его жены. Павла растерзали придворные и собственный сын. Николай

Палкнн отравился, его сын пал первого марта, его внук умер от пьянства... Об этом вам надо знать, Ирина...

И, подняв на прачку голый глаз, полный обожания, Галин неутомимо ворошит склепы погибших императоров. Сутулый — он облнт луной, торчащей там, наверху, как дерзкая заноза, тнпографские станки стучат от него где-то близко, и чистым светом сияет радностанция. Прнтираясь к плечу повара Василия, Ирина слушает глухое и нелепое бормотание любви, над ней в черных водорослях неба тащатся звезды, прачка дремлет, крестит запухший рот и смотрнт на Галина во все глаза...

Рядом с Ириной зевает мордатый Василий, пренебрегающий человечеством, как и все повара. Повара — онн имеют много дела с мясом мертвых жнвотных и с жадностью живых, поэтому в политике повара ищут вещей, их не касающихся. Так и Василий. Подтягнвая штаны к соскам, он спрашивает Галнна о цивильном листе разных королей, о приданом для царской дочери и потом говорит, зевая.

— Ночное время, Ариша,— говорит он.— И завтра у людей день. Айда блох давить...

И они закрыли дверь, кухни, оставив Галнна наедине с луной, торчавшей там, вверху, как дерзкая заноза... Против луны, на откосе, у заснувшего пруда, сидел я в очках, с чнрьями на шее и забннтованными ногами. Смутнымн поэтическими мозгами переваривал я борьбу классов, когда ко мне подошел Галин в блнстающнх бельмах.

— Галнн,— сказал я, пораженный жалостью и одиночеством,— я болен, мне, видно, конец пришел, и я устал жить в нашей Конармни...

— Вы слюнтяй,— ответил Галнн, и часы на тощей его кнсти показали час ночн.— Вы слюнтяй, и нам суждено терпеть вас, слюнтяев... Мы чистим для вас ядро от скорлупы. Пройдет немного времени, вы увидите очищенное это ядро, выймете тогда палец из носу и воспоете новую жизнь необыкновенной прозой, а пока сидите тихо, слюнтяй, и не скулите нам под руку.

Он придвинулся ко мне ближе, поправил бинты, распустившиеся на чесоточных моих язвах, и опустил голову на цыплячью грудь. Ночь утешала нас в наших

печалях, легкий ветер обвевал нас, как юбка матери, и травы внизу блестели свежестью и влагой.

Машины, гремевшие в поездной типографии, заскрипели и умолкли, рассвет провел черту у края земли, дверь в кухне свистнула и приоткрылась. Четыре ноги с толстыми пятками высунулись в прохладу, и мы увидели любящие икры Ирины и большой палец Василия с кривым и черным ногтем.

— Василек,— прошептала баба тесным, замирающим голосом,— уйдите с моей лежанки, баламут...

Но Василий только дернул пяткой и придвинулся ближе.

— Конармия,— сказал мне тогда Галин,— Конармия есть социальный фокус, производимый ЦК нашей партии. Кривая революции бросила в первый ряд казачью вольницу, пропитанную многими предрассудками, но ЦК, маневрируя, продерет их железною щеткой...

И Галин заговорил о политическом воспитании Первой Конной. Он говорил долго, глухо, с полной ясностью. Веко его билось над бельмом.

## АФОНЬКА БИДА

Мы дрались под Лешнювом. Стена неприятельской кавалерии появлялась всюду. Пружина окрепшей польской стратегии вытягивалась со зловещим свистом. Нас теснили. Впервые за всю кампанию мы испытали на своей спине дьявольскую остроту фланговых ударов и прорывов тыла — укусы того самого оружия, которое так счастливо служило нам.

Фронт под Лешнювом держала пехота. Вдоль криво накопанных ямок склонялось белесое, босое, волынское мужичье. Пехоту эту взяли вчера от сохи для того, чтобы образовать при Конармии пехотный резерв. Крестьяне пошли с охотою. Они дрались с величайшей старательностью. Их сопящая мужицкая свирепость изумила даже буденновцев. Ненависть их к польскому помещику была построена из невидного, но добротного материала.

Во второй период войны, когда гиканье перестало действовать на воображение неприятеля и конные

атаки на окопавшегося противника сделались невозможными,— эта самодельная пехота принесла бы Конармии величайшую пользу. Но нищета наша превозмогла. Мужикам дали по одному ружью на троих и патроны, которые не подходили к винтовкам. Затею пришлось оставить, и подлинное это народное ополчение распустили по домам.

Теперь обратимся к лешнювским боям. Пешка окопалась в трех верстах от местечка. Впереди их фронта расхаживал сутулый юноша в очках. Сбоку у него волочилась сабля. Он передвигался вприпрыжку, с недовольным видом, как будто ему жали сапоги. Этот мужицкий атаман, выбранный ими и любимый, был еврей, подслеповатый еврейский юноша, с чахлым и сосредоточенным лицом талмудиста. В бою он выказывал осмотрительное мужество и хладнокровие, которое походило на рассеянность мечтателя.

Шел третий час июльского просторного дня. В воздухе сияла радужная паутина зноя. За холмами сверкнула праздничная полоса мундиров и гривы лошадей, заплетенные лентами. Юноша дал знак приготовиться. Мужики, шлепая лаптями, побежали по местам и взяли на изготовку. Но тревога оказалась ложной. На лешнювское шоссе выходили цветистые эскадроны Маслака [1]. Их отощавшие, но бодрые кони шли крупным шагом. На золоченых древках, отягощенных бархатными кистями, в огненных столбах пыли колебались пышные знамена. Всадники ехали с величественной и дерзкой холодностью. Лохматая пешка вылезла из своих ям и, разинув рты, следила за упругим изяществом этого небыстрого потока.

Впереди полка, на степной раскоряченной лошаденке ехал комбриг Маслак, налитый пьяной кровью и гнилью жирных своих соков. Живот его, как большой кот, лежал на луке, окованной серебром. Завидев пешку, Маслак весело побагровел и поманил к себе взводного Афоньку Биду. Взводный носил у нас прозвище «Махно» за сходство свое с батьком. Они пошептались с минуту — командир и Афонька. Потом взводный обернулся к первому эскадрону, наклонился и скомандовал негромко: «Повод!» Казаки повзводно

[1] Масляков — командир первой бригады четвертой дивизии, неисправимый партизан, изменивший вскоре Советской власти.

перешли на рысь. Они горячили лошадей и мчались на окопы, из которых глазела обрадованная зрелищем пешка.

— К бою готовьсь! — пропел заунывный и как бы отдаленный Афонькин голос.

Маслак, хрипя, кашляя и наслаждаясь, отъехал в сторону, казаки бросились в атаку. Бедная пешка побежала, но поздно. Казацкие плети прошлись уже по их драным свиткам. Всадники кружились по полю и с необыкновенным искусством вертели в руках нагайки.

— Зачем балуетесь? — крикнул я Афоньке.

— Для смеху,— ответил он мне, ерзая в седле и доставая из кустов схоронившегося парня.

— Для смеху! — прокричал он, ковыряясь в обеспамятевшем парне.

Потеха кончилась, когда Маслак, размякший и величавый, махнул своей пухлой рукой.

— Пешка, не зевай! — прокричал Афонька и надменно выпрямил тщедушное тело.— Пошла блох ловить, пешка...

Казаки, пересмеиваясь, съезжались в ряды. Пешки след простыл. Окопы были пусты. И только сутулый еврей стоял на прежнем месте и сквозь очки всматривался в казаков внимательно и высокомерно.

Со стороны Лешнюва не утихала перестрелка. Поляки охватывали нас. В бинокль были видны отдельные фигуры конных разведчиков. Они выскакивали из местечка и проваливались, как ваньки-встаньки. Маслак построил эскадрон и рассыпал его по обе стороны шоссе. Над Лешнювом встало блещущее небо, невыразимо пустое, как всегда в часы опасности. Еврей, закинув голову, горестно и сильно свистел в металлическую дудку. И пешка, высеченная пешка, возвращалась на свои места.

Пули густо летели в нашу сторону. Штаб бригады попал в полосу пулеметного обстрела. Мы бросились в лес и стали продираться сквозь кустарник, что по правую сторону шоссе. Расстрелянные ветви кряхтели над нами. Когда мы выбрались из кустов — казаков уже не было на прежнем месте. По приказанию начдива они отходили к Бродам. Только мужики огрызались из своих окопов редкими ружейными

выстрелами, да отставший Афонька догонял свой взвод.

Он ехал по самой обочине дороги, оглядывая и обнюхивая воздух. Стрельба на мгновение ослабла. Казак вздумал воспользоваться передышкой и двинулся карьером. В это мгновение пуля пробила шею его лошади. Афонька проехал еще шагов сто, и здесь, в наших рядах, конь круто согнул передние ноги и повалился на землю.

Афонька не спеша вынул из стремени подмятую ногу. Он сел на корточки и поковырял в ране медным пальцем. Потом Бида выпрямился и обвел блестящий горизонт томительным взглядом.

— Прощай, Степан,— сказал он деревянным голосом, отступив от издыхающего животного, и поклонился ему в пояс,— как ворочуся без тебя в тихую станицу?.. Куда подеваю с-под тебя расшитое седелко? Прощай, Степан,— повторил он сильнее, задохся, пискнул, как пойманная мышь, и завыл. Клокочущий вой достиг нашего слуха, и мы увидели Афоньку, бьющего поклоны, как кликуша в церкви.— Ну, не покорюсь же судьбе-шкуре,— закричал он, отнимая руки от помертвевшего лица,— ну, беспощадно же буду рубать несказанную шляхту! До сердечного вздоха дойду, до вздоха ейного и богоматериной крови... При станичниках, дорогих братьях, обещаюся тебе, Степан...

Афонька лег лицом в рану и затих. Устремив на хозяина сияющий глубокий фиолетовый глаз, конь слушал рвущееся Афонькино хрипение. Он в нежном забытьи поводил по земле упавшей мордой, и струи крови, как две рубиновые шлеи, стекали по его груди, выложенной белыми мускулами.

Афонька лежал, не шевелясь. Мелко перебирая толстыми ногами, к лошади подошел Маслак, вставил револьвер ей в ухо и выстрелил. Афонька вскочил и повернул к Маслаку рябое лицо.

— Сбирай сбрую, Афанасий,— сказал Маслак ласково,— иди до части...

И мы с пригорка увидели, как Афонька, согбенный под тяжестью седла, с лицом сырым и красным, как рассеченное мясо, брел к своему эскадрону, беспредельно одинокий в пыльной, пылающей пустыне полей.

Поздним вечером я встретил его в обозе. Он спал на возу, хранившем его добро — сабли, френчи и золотые проколотые монеты. Запекшаяся голова взводного с перекошенным мертвым ртом валялась, как распятая, на сгибе седла. Рядом была положена сбруя убитой лошади, затейливая и вычурная одежда казацкого скакуна — нагрудники с черными кистями, гибкие ремни нахвостников, унизанные цветными камнями, и уздечка с серебряным тиснением.

Тьма надвигалась на нас все гуще. Обоз тягуче кружился по Бродскому шляху; простенькие звезды катились по млечным путям неба, и дальние деревни горели в прохладной глубине ночи. Помощник эскадронного Орлов и длинноусый Биценко сидели тут же, на Афонькином возу, и обсуждали Афонькино горе.

— С дому коня ведет,— сказал длинноусый Биценко,— такого коня, где его найдешь?

— Конь — он друг,— ответил Орлов.

— Конь — он отец,— вздохнул Биценко,— бесчисленно раз жизню спасает. Пропасть Биде без коня...

А наутро Афонька исчез. Начались и кончились бои под Бродами. Поражение сменилось временной победой, мы пережили смену начдива, а Афоньки все не было. И только грозный ропот на деревнях, злой и хищный след Афонькиного разбоя указывал нам трудный его путь.

— Добывает коня,— говорили о взводном в эскадроне, и в необозримые вечера наших скитаний я немало наслушался историй о глухой этой, свирепой добыче.

Бойцы из других частей натыкались на Афоньку в десятках верст от нашего расположения. Он сидел в засаде на отставших польских кавалеристов или рыскал по лесам, отыскивая схороненные крестьянские табуны. Он поджигал деревни и расстреливал польских старост за укрывательство. До нашего слуха доносились отголоски этого яростного единоборства, отголоски воровского нападения одинокого волка на громаду.

Прошла еще неделя. Горькая злоба дня выжгла из нашего обихода рассказы о мрачном Афонькином удальстве, и «Махно» стали забывать. Потом пронесся слух, что где-то в лесах его закололи галицийские

крестьяне. И в день вступления нашего в Берестечко Емельян Будяк из первого эскадрона пошел уже к начдиву выпрашивать Афонькино седло с желтым потником. Емельян хотел выехать на парад с новым седлом, но не пришлось ему.

Мы вступили в Берестечко 6 августа. Впереди нашей дивизии двигался азиатский бешмет и красный казакин нового начдива. Левка, бешеный холуй, вел за начдивом заводскую кобылицу. Боевой марш, полный протяжной угрозы, летел вдоль вычурных и нищих улиц. Ветхие тупики, расписной лес дряхлых и судорожных перекладин пролегал по местечку. Сердцевина его, выеденная временами, дышала на нас грустным тлением. Контрабандисты и ханжи укрылись в своих просторных сумрачных избах. Один только пан Людомирский, звонарь в зеленом сюртуке, встретил нас у костела.

Мы перешли реку и углубились в мещанскую слободу. Мы приближались к дому ксендза, когда из-за поворота на рослом жеребце выехал Афонька.

— Почтение,— произнес он лающим голосом и, расталкивая бойцов, занял в рядах свое место.

Маслак уставился в бесцветную даль и прохрипел, не оборачиваясь:

— Откуда коня взял?

— Собственный,— ответил Афонька, свернул папиросу и коротким движением языка заслюнил ее.

Казаки подъезжали к нему один за другим и здоровались. Вместо левого глаза на его обуглившемся лице отвратительно зияла чудовищная розовая опухоль.

А на другое утро Бида гулял. Он разбил в костеле раку святого Валента и пытался играть на органе. На нем была выкроенная из голубого ковра куртка с вышитой на спине лилией, и потный чуб его был расчесан поверх вытекшего глаза.

После обеда он заседлал коня и стрелял из винтовки в выбитые окна замка графов Рациборских. Казаки полукругом стояли вокруг него... Они задирали жеребцу хвост, щупали ноги и считали зубы.

— Фигуральный конь,— сказал Орлов, помощник эскадронного.

— Лошадь справная,— подтвердил длинноусый Биценко.

## У СВЯТОГО ВАЛЕНТА

Дивизия наша заняла Берестечко вчера вечером. Штаб остановился в доме ксендза Тузинкевича. Переодевшись бабой, Тузинкевич бежал из Берестечка перед вступлением наших войск. О нем я знаю, что он сорок пять лет возился с богом в Берестечке и был хорошим ксендзом. Когда жители хотят, чтобы мы это поняли, они говорят: его любили евреи. При Тузинкевиче обновили древний костел. Ремонт кончили в день трехсотлетия храма. Из Житомира приехал тогда епископ. Прелаты в шелковых рясах служили перед костелом молебен. Пузатые и благостные — они стояли, как колокола в росистой траве. Из окрестных сел текли покорные реки. Мужичье преклоняло колени, целовало руки, и на небесах в тот же день пламенели невиданные облака. Небесные флаги веяли в честь старого костела. Сам епископ поцеловал Тузинкевича в лоб и назвал его отцом Берестечка, pater Berestecka.

Эту историю я узнал утром в штабе, где разбирал донесение обходной колонны нашей, ведшей разведку на Львов в районе Радзихова. Я читал бумаги, храп вестовых за моей спиной говорил о нескончаемой нашей бездомности. Писаря, отсыревшие от бессонницы, писали приказы по дивизии, ели огурцы и чихали. Только к полудню я освободился, подошел к окну и увидел храм Берестечка — могущественный и белый. Он светился в нежарком солнце, как фаянсовая башня. Молнии полудня блистали в его глянцевитых боках. Выпуклая их линия начиналась у древней зелени куполов и легко сбегала книзу. Розовые жилы тлели в белом камне фронтона, а на вершине были колонны, тонкие, как свечи.

Потом пение органа поразило мой слух, и тотчас же в дверях штаба появилась старуха с распущенными желтыми волосами. Она двигалась, как собака с перебитой лапой, кружась и припадая к земле. Зрачки ее были налиты белой влагой слепоты и брызгали слезами. Звуки органа, то тягостные, то поспешные, подплывали к нам. Полет их был труден, след звенел жалобно и долго. Старуха вытерла слезы желтыми своими волосами, села на землю и стала целовать сапоги мои у колена. Орган умолк и потом

захохотал на басовых нотах. Я схватил старуху за руку и оглянулся. Писаря стучали на машинках, вестовые храпели все заливистей, шпоры их резали войлок под бархатной обивкой диванов. Старуха целовала мои сапоги с нежностью, обняв их, как младенца. Я потащил ее к выходу и запер за собой дверь. Костел встал перед нами ослепительный, как декорация. Боковые ворота его были раскрыты, и на могилах польских офицеров валялись конские черепа.

Мы вбежали во двор, прошли сумрачный коридор и попали в квадратную комнату, пристроенную к алтарю. Там хозяйничала Сашка, сестра 31-го полка. Она копалась в шелках, брошенных кем-то на пол. Мертвенный аромат парчи, рассыпавшихся цветов, душистого тления лился в ее трепещущие ноздри, щекоча и отравляя. Потом в комнату вошли казаки. Они захохотали, схватили Сашку за руку и кинули с размаху на гору материй и книг. Тело Сашки, цветущее и вонючее, как мясо только что зарезанной коровы, заголилось, поднявшиеся юбки открыли ее ноги эскадронной дамы, чугунные стройные ноги, и Курдюков, придурковатый малый, усевшись на Сашке верхом и трясясь, как в седле, притворился объятым страстью. Она сбросила его и кинулась к дверям. И только тогда, пройдя алтарь, мы проникли в костел.

Он был полон света, этот костел, полон танцующих лучей, воздушных столбов, какого-то прохладного веселья. Как забыть мне картину, висевшую у правого придела и написанную Аполеком? На этой картине двенадцать розовых патеров качали в люльке, перевитой лентами, пухлого младенца Иисуса. Пальцы ног его оттопырены, тело отлакировано утренним жарким потом. Дитя барахтается на жирной спинке, собранной в складки, двенадцать апостолов в кардинальских тиарах склонились над колыбелью. Их лица выбриты до синевы, пламенные плащи оттопыриваются на животах. Глаза апостолов сверкают мудростью, решимостью, весельем, в углах их ртов бродит тонкая усмешка, на двойные подбородки посажены огненные бородавки, малиновые бородавки, как редиска в мае.

В этом храме Берестечка была своя, была обольстительная точка зрения на смертные страдания сы-

нов человеческих. В этом храме святые шли на казнь с картинностью итальянских певцов и черные волосы палачей лоснились, как борода Олоферна. Тут же над царскими вратами я увидел кощунственное изображение Иоанна, принадлежащего еретической и упоительной кисти Аполека. На изображении этом Креститель был красив той двусмысленной, недоговоренной красотой, ради которой наложницы королей теряют свою наполовину потерянную честь и расцветающую жизнь.

Вначале я не заметил следов разрушения в храме, или они показались мне невелики. Была сломана только рака святого Валента. Куски истлевшей ваты валялись под ней и смехотворные кости святого, похожие больше всего на кости курицы. Да Афонька Бида играл еще на органе. Он был пьян, Афонька, дик и изрублен. Только вчера вернулся он к нам с отбитым у мужиков конем. Афонька упрямо пытался подобрать на органе марш, и кто-то уговаривал его сонным голосом: «Брось, Афоня, идем снедать». Но казак не бросал: их было множество — Афонькиных песен. Каждый звук был песня, и все звуки были оторваны друг от друга. Песня — ее густой напев — длилась мгновение и переходила в другую... Я слушал, озирался, следы разрушения казались мне невелики. Но не так думал пан Людомирский, звонарь церкви святого Валента и муж слепой старухи.

Людомирский выполз неизвестно откуда. Он вошел в костел ровным шагом с опущенной головой. Старик не решился накинуть покрывала на выброшенные мощи, потому что человеку простого звания не дозволено касаться святыни. Звонарь упал на голубые плиты пола, поднял голову, и синий нос его стал над ним, как флаг над мертвецом. Синий нос трепетал над ним, и в это мгновение у алтаря заколебалась бархатная завеса и, трепеща, отползла в сторону. В глубине открывшейся ниши, на фоне неба, изборожденного тучами, бежала бородатая фигурка в оранжевом кунтуше — босая, с разодранным и кровоточащим ртом. Хриплый вой разорвал тогда наш слух. Человека в оранжевом кунтуше преследовала ненависть и настигала погоня. Он выгнул руку, чтобы отвести занесенный удар, из руки пурпурным током вылилась кровь. Казачонок, стоявший со мной

рядом, закричал и, опустив голову, бросился бежать, хотя бежать было не от чего, потому что фигура в нише была всего только Иисус Христос — самое необыкновенное изображение бога из всех виденных мною в жизни.

Спаситель пана Людомирского был курчавый еврей с клочковатой бородкой и низким, сморщенным лбом. Впалые щеки его были накрашены кармином, над закрывшимися от боли глазами выгнулись тонкие рыжие брови.

Рот его был разодран, как губа лошади, польский кунтуш его был охвачен драгоценным поясом, и под кафтаном корчились фарфоровые ножки, накрашенные, босые, изрезанные серебристыми гвоздями.

Пан Людомирский в зеленом сюртуке стоял под статуей. Он простер над нами иссохшую руку и проклял нас. Казаки выпучили глаза и развесили соломенные чубы. Громовым голосом звонарь церкви святого Валента предал нас анафеме на чистейшей латыни. Потом он отвернулся, упал на колени и обнял ноги спасителя.

Придя к себе в штаб, я написал рапорт начальнику дивизии об оскорблении религиозного чувства местного населения. Костел было приказано закрыть, а виновных, подвергнув дисциплинарному взысканию, предать суду военного трибунала.

## ЭСКАДРОННЫЙ ТРУНОВ

В полдень мы привезли в Сокаль простреленное тело Трунова, эскадронного нашего командира. Он был убит утром в бою с неприятельскими аэропланами. Все попадания у Трунова были в лицо, щеки его были усеяны ранами, язык вырван. Мы обмыли, как умели, лицо мертвеца для того, чтобы вид его был менее ужасен, мы положили кавказское седло у изголовья гроба и вырыли Трунову могилу на торжественном месте — в общественном саду, посреди города, у самого забора. Туда явился наш эскадрон на конях, штаб полка и военком дивизии. И в два часа, по соборным часам, дряхлая наша пушчонка дала

первый выстрел. Она салютовала мертвому командиру во все старые свои три дюйма, она сделала полный салют, и мы поднесли гроб к открытой яме. Крышка гроба была открыта, полуденное чистое солнце освещало длинный труп, и рот его, набитый разломанными зубами, и вычищенные сапоги, сложенные в пятках, как на ученье.

— Бойцы! — сказал тогда, глядя на покойника, Пугачов, командир полка, и стал у края ямы.— Бойцы! — сказал он, дрожа и вытягиваясь по швам.— Хороним Пашу Трунова, всемирного героя, отдаем Паше последнюю честь...

И, подняв к небу глаза, раскаленные бессонницей, Пугачов прокричал речь о мертвых бойцах из Первой Конной, о гордой этой фаланге, бьющей молотом истории по наковальне будущих веков. Пугачов громко прокричал свою речь, он сжимал рукоять кривой чеченской шашки и рыл землю ободранными сапогами в серебряных шпорах. Оркестр после его речи сыграл «Интернационал», и казаки простились с Пашкой Труновым. Весь эскадрон вскочил на коней и дал залп в воздух, трехдюймовка наша прошамкала во второй раз, и мы послали трех казаков за венком. Они помчались, стреляя на карьере, выпадая из седел и джигитуя, и привезли красных цветов целые пригоршни. Пугачев рассыпал эти цветы у могилы, и мы стали подходить к Трунову с последним целованием. Я тронул губами прояснившийся лоб, обложенный седлом, и ушел в город, в готический Сокаль, лежавший в синей пыли и галицийском унынии.

Большая площадь простиралась налево от сада, площадь, застроенная древними синагогами. Евреи в рваных лапсердаках бранились на этой площади и таскали друг друга. Одни из них — ортодоксы — превозносили учение Адасии, раввина из Белза; за это на ортодоксов наступали хасиды умеренного толка, ученики гуссятинского раввина Иуды. Евреи спорили о Каббале и поминали в своих спорах имя Ильи, виленского гаона, гонителя хасидов...

Забыв войну и залпы, хасиды поносили самое имя Ильи, виленского первосвященника, и я, томясь печалью по Трунову, я тоже толкался среди них и для облегчения моего горланил вместе с ними, пока не

увидел перед собой галичанина, мертвенного и длинного, как Дон-Кихот.

Галичанин этот был одет в белую холщовую рубаху до пят. Он был одет как бы для погребения или для причастия и вел на веревке взлохмаченную коровенку. На гигантское его туловище была посажена подвижная, крохотная, пробитая головка змеи; она была прикрыта широкополой шляпой из деревенской соломы и пошатывалась. Жалкая коровенка шла за галичанином на поводу; он вел ее с важностью и виселицей длинных своих костей пересекал горячий блеск небес.

Торжественным шагом миновал он площадь и вошел в кривой переулок, обкуренный тошнотворными густыми дымами. В обугленных домишках, в нищих кухнях возились еврейки, похожие на старых негритянок, еврейки с непомерными грудями. Галичанин прошел мимо них и остановился в конце переулка у фронтона разбитого здания.

Там, у фронтона, у белой покоробленной колонны сидел цыган-кузнец и ковал лошадей. Цыган бил молотом по копытам, потряхивая жирными волосами, свистел и улыбался. Несколько казаков с лошадьми стояли вокруг него. Мой галичанин подошел к кузнецу, безмолвно отдал ему с дюжину печеных картофелин и, ни на кого не глядя, повернул назад. Я зашагал было за ним, но тут меня остановил казак, державший наготове некованую лошадь. Фамилия этому казаку была Селиверстов. Он ушел от Махно когда-то и служил в 33-м кавполку.

— Лютов,— сказал он, поздоровавшись со мной за руку,— ты всех людей задираешь, в тебе черт сидит, Лютов,— зачем ты Трунова покалечил сегодняшнее утро?

И с глупых чужих слов Селиверстов закричал мне сущую нелепицу о том, будто я в нынешнее утро побил Трунова, моего эскадронного. Селиверстов укорял меня всячески за это, он укорял меня при всех казаках, но в истории его не было ничего верного. Мы побранились, правда, в это утро с Труновым, потому что Трунов заводил всегда с пленными нескончаемую канитель, мы побранились с ним, но он умер, Пашка, ему нет больше судей в мире, и я ему последний судья из всех. У нас вот почему вышла ссора.

Сегодняшних пленных мы взяли на рассвете у станции Заводы. Их было десять человек. Они были в нижнем белье, когда мы их брали. Куча одежды валялась возле поляков, это была их уловка для того, чтобы мы не отличили по обмундированию офицеров от рядовых. Они сами бросали свою одежду, но на этот раз Трунов решил добыть истину.

— Офицера, выходи! — скомандовал он, подходя к пленным, и вытащил револьвер.

Трунов был уже ранен в голову в это утро, голова его была обмотана тряпкой, кровь стекала с нее, как дождь со скирды.

— Офицера, сознавайся! — повторил он и стал толкать поляков рукояткой револьвера.

Тогда из толпы выступил худой и старый человек, с большими голыми костями на спине, с желтыми скулами и висячими усами.

— ...Край той войне,— сказал старик с непонятным восторгом,— всн офицер утик, край той войне...

И поляк протянул эскадронному синие руки.

— Пять пальцев,— сказал он, рыдая и вертя вялой громадной рукой,— цими пятью пальцами я выховал мою семейству...

Старик задохся, закачался, истек восторженными слезами и упал перед Труновым на колени, но Трунов отвел его саблей.

— Офицера ваши гады,— сказал эскадронный,— офицера ваши побросали здесь одежду... На кого придется — тому крышка, я пробу сделаю...

И тут же эскадронный выбрал из кучи тряпья фуражку с кантом и надвинул ее на старого.

— Впору,— пробормотал Трунов, придвигаясь и пришептывая,— впору...— и всунул пленному саблю в глотку. Старик упал, повел ногами, из горла его вылился пенистый коралловый ручей. Тогда к нему подобрался, блестя серьгой и круглой деревенской шеей, Андрюшка Восьмилетов. Андрюшка расстегнул у поляка пуговицы, встряхнул его легонько и стал стаскивать с умирающего штаны. Он перебросил их к себе на седло, взял еще два мундира из кучи, потом отъехал от нас и заиграл плетью. Солнце в это мгновение вышло из туч. Оно стремительно окружило Андрюшкину лошадь, веселый ее бег, беспечные качанья ее куцего хвоста. Андрюшка ехал по тропинке

к лесу, в лесу стоял наш обоз, кучера из обоза бесновались, свистели и делали Восьмилетову знаки, как немому.

Казак доехал уже до середины пути, но тут Трунов, упавший вдруг на колени, прохрипел ему вслед:

— Андрей,— сказал эскадронный, глядя в землю,— Андрей,— повторил он, не поднимая глаз от земли,— республика наша советская живая еще, рано дележку ей делать, скидай барахло, Андрей.

Но Восьмилетов не обернулся даже. Он ехал казацкой удивительной своей рысью, лошаденка его бойко выкидывала из-под себя хвост, точно отмахивалась от нас.

— Измена! — пробормотал тогда Трунов и удивился.— Измена! — сказал он, торопливо вскинул карабин на плечо, выстрелил и промахнулся второпях. Но Андрей остановился на этот раз. Он повернул к нам коня, запрыгал в седле по-бабьи, лицо его стало красно и сердито, он задрыгал ногами.

— Слышь, земляк,— закричал он, подъезжая, и тут же успокоился от звука глубокого и сильного своего голоса,— как бы я не стукнул тебя, земляк, к такой-то свет матери... Тебе десяток шляхты прибрать — ты вона каку панику делаешь, мы по сотне прибирали — тебя не звали... Рабочий ты если — так сполняй свое дело...

И, выбросив из седла штаны и два мундира, Андрюшка засопел носом и, отворачиваясь от эскадронного, взялся помогать мне составлять список на оставшихся пленных. Он терся возле меня, сопел необыкновенно шумно. Пленные выли и бежали от Андрюшки, он гнался за ними и брал в охапку, как охотник берет в охапку камыши для того, чтобы рассмотреть стаю, тянущую к речке на заре.

Возясь с пленными, я истощил все проклятия и кое-как записал восемь человек, номера их частей, род оружия и перешел к девятому. Девятый этот был юноша, похожий на немецкого гимнаста из хорошего цирка, юноша с белой немецкой грудью и с бачками, в триковой фуфайке и в егеревских кальсонах. Он повернул ко мне два соска на высокой груди, откинул вспотевшие белые волосы и назвал свою часть. Тогда Андрюшка схватил его за кальсоны и спросил строго:

— Откуда сподники достал?

— Матка вязала,— ответил пленный и покачнулся.

— Фабричная у тебя матка,— сказал Андрюшка, все приглядываясь, и подушечками пальцев потрогал у поляка холеные ногти,— фабричная у тебя матка, наш брат таких не нашивал...

Он еще раз пощупал егеревские кальсоны и взял за руку девятого, для того чтобы отвести к остальным пленным, уже записанным. Но в это мгновение я увидел Трунова, вылезающего из-за бугра. Кровь стекала с головы эскадронного, как дождь со скирды, грязная тряпка его размоталась и повисла, он полз на животе и держал карабин в руках. Это был японский карабин, отлакированный и с сильным боем. С двадцати шагов Пашка разнес юноше череп, и мозги поляка посыпались мне на руки. Тогда Трунов выбросил гильзы из ружья и подошел ко мне.

— Вымарай одного,— сказал он, указывая на список.

— Не стану вымарывать,— ответил я, содрогаясь,— Троцкий, видно, не для тебя приказы пишет, Павел...

— Вымарай одного! — повторил Трунов и ткнул в бумажку черным пальцем.

— Не стану вымарывать! — закричал я изо всех сил.— Было десять, стало восемь, в штабе не посмотрят на тебя, Пашка...

— В штабе через несчастную нашу жизнь посмотрят,— ответил Трунов и стал подвигаться ко мне, весь разодранный, охрипший и в дыму, но потом остановился, поднял к небесам окровавленную голову и сказал с горьким упреком: — Гуди, гуди,— сказал он,— эвон еще и другой гудит...

И эскадронный показал нам четыре точки в небе, четыре бомбовоза, заплывавшие за сияющие лебединые облака. Это были машины из воздушной эскадрильи майора Фаунт-Ле-Ро, просторные бронированные машины.

— По коням! — закричали взводные, увидев их, и на рысях отвели эскадрон к лесу, но Трунов не поехал со своим эскадроном. Он остался у станционного здания, прижался к стене и затих. Андрюшка Восьмилетов и два пулеметчика, два босых парня в малиновых рейтузах, стояли возле него и тревожились.

— Нарезай винты, ребята,— сказал им Трунов, и кровь стала уходить из его лица,— вот донесение Пугачову от меня...

И гигантскими мужицкими буквами Трунов написал на косо выдранном листке бумаги:

*«Имея погибнуть сего числа,*— написал он,— *нахожу долгом приставить двух номеров к возможному сбитию неприятеля и в то же время отдаю командование Семену Голову, взводному...»*

Он запечатал письмо, сел на землю и, понатужившись, стянул с себя сапоги.

— Пользовайся,— сказал он, отдавая пулеметчикам донесение и сапоги,— пользовайся, сапоги новые...

— Счастливо вам, командир,— пробормотали ему в ответ пулеметчики, переступили с ноги на ногу и мешкали уходить.

— И вам счастливо,— сказал Трунов,— как-нибудь, ребята...— и пошел к пулемету, стоявшему на холмике у станционной будки. Там ждал его Андрюшка Восьмилетов, барахольщик.

— Как-нибудь,— сказал ему Трунов и взялся наводить пулемет.— Ты со мной, што ль, побудешь, Андрей?..

— Господа Исуса,— испуганно ответил Андрюшка, всхлипнул, побелел и засмеялся,— господа Исуса хоругву мать!..

И стал наводить на аэроплан второй пулемет.

Машины залетали над станцией все круче, они хлопотливо трещали в вышине, снижались, описывали дуги, и солнце розовым лучом ложилось на блеск их крыльев.

В это время мы, четвертый эскадрон, сидели в лесу. Там, в лесу, мы дождались неравного боя между Пашкой Труновым и майором американской службы Реджинальдом Фаунт-Ле-Ро. Майор и три его бомбометчика выказали уменье в этом бою. Они снизились на триста метров и расстреляли из пулеметов сначала Андрюшку, потом Трунова. Все ленты, выпущенные нашими, не причинили американцам вреда; аэропланы улетели в сторону, не заметив эскадрона, спрятанного в лесу. И поэтому, выждав с полчаса, мы смогли поехать за трупами. Тело Андрюшки Восьмилетова забрали два его родича, служившие в нашем эс-

кадроне, а Трунова, покойного нашего командира, мы отвезли в готический Сокаль и похоронили его там на торжественном месте — в общественном саду, в цветнике, посредине города.

### ИВАНЫ

Дьякон Аггеев бежал с фронта дважды. Его отдали за это в Московский клейменый полк. Главком Каменев, Сергей Сергеевич, смотрел этот полк в Можайске перед отправкой на позиции.

— Не надо их мне,— сказал главком,— обратно их в Москву, отхожие чистить...

В Москве кое-как сбили из клейменых маршевую роту. В числе других попал дьякон. Он прибыл на польский фронт и сказался там глухим. Лекпом Барсуцкий из перевязочного отряда, провозившись с ним неделю, не сломил его упорства.

— Шут с ним, с глухарем,— сказал Барсуцкий санитару Сойченко,— подыщи в обозе телегу, отправим дьякона в Ровно на испытание...

Сойченко ушел в обоз и добыл три телеги: на первой из них сидел кучером Акинфиев.

— Иван,— сказал ему Сойченко,— отвезешь глухаря в Ровно.

— Отвезти можно,— ответил Акинфиев.

— И расписку мне доставишь в получении...

— Ясно,— сказал Акинфиев,— а какая в ней причина, в глухоте его?..

— Своя рогожа чужой рожи дороже,— сказал Сойченко, санитар.— Тут вся причина. Фармазонщик он, а не глухарь...

— Отвезти можно,— повторил Акинфиев и поехал следом за другими подводами.

Всего собралось у перевязочного пункта три телеги. На первую посадили сестру, откомандированную в тыл, вторую отвели для казака, больного воспалением почек, на третью сел Иван Аггеев, дьякон.

Исполнив все дела, Сойченко позвал лекпома.

— Поехал наш фармазонщик,— сказал он,— погрузил на ревтрибунальных под расписку. Сейчас трогают...

Барсуцкий выглянул в окошко, увидел телеги и кинулся из дому, весь красный и без шапки.

— Ох, да ты его зарежешь! — закричал он Акинфиеву.— Пересадить надо дьякона.

— Куда его пересадишь,— ответили казаки, стоявшие поблизости, и засмеялись.— Ваня наш везде достанет...

Акинфиев с кнутом в руках стоял тут же, возле своих лошадей. Он снял шапку и сказал вежливо:

— Здравствуйте, товарищ лекпом.

— Здравствуй, друг,— ответил Барсуцкий,— ты ведь зверь, пересадить надо дьякона...

— Поинтересуюсь узнать,— визгливо сказал тогда казак, и верхняя губа его вздрогнула, поползла и затрепетала над ослепительными зубами,— поинтересуюсь узнать, подходяще ли оно нам, или неподходяще, что когда враг тиранит нас невыразимо, когда враг бьет нас под самый вздох, когда он виснет грузом на ногах и вяжет змеями наши руки, подходяще ли оно нам — законопачивать уши в смертельный этот час?

— Стоит Ваня за комиссариков,— прокричал Коротков, кучер с первой телеги,— ох, стоит...

— Чего там «стоит»! — пробормотал Барсуцкий и отвернулся.— Все мы стоим. Только дела надо делать форменно...

— А ведь он слышит, глухарь-то наш,— перебил вдруг Акинфиев, повертел кнут в толстых пальцах, засмеялся и подмигнул дьякону. Тот сидел на возу, опустив громадные плечи, и двигал головой.

— Ну, трогай с богом! — закричал лекарь с отчаянием.— Ты мне за все ответчик, Иван...

— Ответить я согласен,— задумчиво произнес Акинфиев и наклонил голову.— Сидай удобне́й,— сказал он дьякону, не оборачиваясь,— еще удобне́й седай,— повторил казак и собрал в руке вожжи.

Телеги выстроились в ряд и одна за другой помчались по шоссе. Впереди ехал Коротков, Акинфиев был третьим, он свистел песню и помахивал вожжей. Так отъехали они верст пятнадцать и к вечеру были опрокинуты внезапным разливом неприятеля.

В этот день, двадцать второго июля, поляки быстрым маневром исковеркали тыл нашей армии, ворвались с налета в местечко Козин и пленили многих

бойцов из состава одиннадцатой дивизии. Эскадроны шестой дивизии были брошены в район Козина для противодействия противнику. Молниеносное маневрирование частей искромсало движение обозов, ревтрибунальские телеги двое суток блуждали по кипящим выступам боя, и только на третью ночь они выбились на дорогу, по которой уходили тыловые штабы. На этой дороге в полночь я и встретил их.

Окоченевший от отчаяния, я встретил их после боя под Хотином. В бою под Хотином убили моего коня. Потеряв его, я пересел на санитарную линейку и до вечера подбирал раненых. Потом здоровых сбросили с линейки, и я остался один у развалившейся халупы. Ночь летела ко мне на резвых лошадях. Вопль обозов оглашал вселенную. На земле, опоясанной визгом, потухали дороги. Звезды выползли из прохладного брюха ночи, и брошенные села воспламенялись над горизонтом. Взвалив на себя седло, я пошел по развороченной меже и у поворота остановился по своей нужде. Облегчившись, я застегнулся и почувствовал брызги на моей руке. Я зажег фонарик, обернулся и увидел на земле труп поляка, залитый моей мочой. Записная книжка и обрывки воззваний Пилсудского валялись рядом с трупом. В тетрадке поляка были записаны карманные расходы, порядок спектаклей в краковском драматическом театре и день рождения женщины по имени Мария-Луиза. Воззванием Пилсудского, маршала и главнокомандующего, я стер вонючую жидкость с черепа неведомого моего брата и ушел, сгибаясь под тяжестью седла.

В это время где-то близко простонали колеса.

— Стой! — закричал я.— Кто идет?

Ночь летела ко мне на резвых лошадях, пожары извивались на горизонте.

— Ревтрибунальские,— ответил голос, задавленный тьмой.

Я побежал вперед и наткнулся на телегу.

— Коня у меня убили,— сказал я громко,— Лаврком коня звали...

Никто не ответил мне. Я взобрался на телегу, подложил седло под голову, заснул и проспал до рассвета, согреваемый прелым сеном и телом Ивана Акинфиева, случайного моего соседа. Утром казак проснулся позже меня.

— Развиднялось, слава богу,— сказал он, вытащил из-под сундучка револьвер и выстрелил над ухом дьякона. Тот сидел прямо перед ним и правил лошадьми. Над громадой лысеющего его черепа летал легкий серый волос. Акинфиев выстрелил еще раз над другим ухом и спрятал револьвер в кобуру.

— С добрым утром, Ваня! — сказал он дьякону, кряхтя и обуваясь.— Снедать будем, что ли?

— Парень,— закричал я,— чего ты делаешь?

— Чего делаю, все мало,— ответил Акинфиев, доставая пищу,— он симулирует надо мной третьи сутки...

Тогда с первой телеги отозвался Коротков, знакомый мне по 31-му полку, рассказал всю историю дьякона сначала. Акинфиев слушал его внимательно, отогнув ухо, потом вытащил из-под седла жареную воловью ногу. Она была прикрыта рядном и обвалялась в соломе.

Дьякон перелез к нам с козел, подрезал ножичком зеленое мясо и раздал всем по куску. Кончив завтрак, Акинфиев завязал воловью ногу в мешок и сунул его в сено.

— Ваня,— сказал он Аггееву,— айда беса выгонять. Стоянка все равно, коней напувают...

Он вынул из кармана пузырек с лекарством, шприц Тарновского и передал их дьякону. Они слезли с телеги и отошли в поле шагов на двадцать.

— Сестра,— закричал Коротков на первой телеге,— переставь очи на дальнюю дистанцию, ослепнешь от акинфиевых достатков.

— Положила я на вас с прибором,— пробормотала женщина и отвернулась.

Акинфиев завернул тогда рубаху. Дьякон стал перед ним на колени и сделал спринцевание. Потом вытер спринцовку тряпкой и посмотрел на свет. Акинфиев подтянул штаны; улучив минуту, он зашел дьякону за спину и снова выстрелил у него над самым ухом.

— Наше вам, Ваня,— сказал он, застегиваясь.

Дьякон отложил пузырек на траву и встал с колен. Легкий волос его взлетел кверху.

— Меня высший суд судить будет,— сказал он глухо,— ты надо мною, Иван, не поставлен...

— Таперя кажный кажного судит,— перебил ку-

чер со второй телеги, похожий на бойкого горбуна.— И на смерть присуждает, очень просто...

— Или того лучше,— произнес Аггеев и выпрямился,— убей меня, Иван...

— Не балуй, дьякон,— подошел к нему Коротков, знакомый мне по прежним временам.— Ты понимай, с каким человеком едешь. Другой пришил бы тебя, как утку, и не крякнул, а он правду из тебя удит и учит тебя, расстригу...

— Или того лучше,— упрямо повторил дьякон и выступил вперед,— убей меня, Иван.

— Ты сам себя убьешь, стерва,— ответил Акинфиев, бледнея и шепелявя,— ты сам яму себе выроешь, сам себя в нее закопаешь...

Он взмахнул руками, разорвал на себе ворот и повалился на землю в припадке.

— Эх, кровиночка ты моя! — закричал он дико и стал засыпать себе песком лицо.— Эх, кровиночка ты моя горькая, власть ты моя совецкая...

— Вань,— подошел к нему Коротков и с нежностью положил ему руку на плечо,— не бейся, милый друг, не скучай. Ехать надо, Вань...

Коротков набрал в рот воды и прыснул ею на Акинфиева, потом он перенес его на подводу. Дьякон снова сел на козлы, и мы поехали.

До местечка Вербы оставалось нам не более двух верст. В местечке сгрудились в то утро неисчислимые обозы. Тут была одиннадцатая дивизия и четырнадцатая, и четвертая. Евреи в жилетах, с поднятыми плечами, стояли у своих порогов, как ободранные птицы. Казаки ходили по дворам, собирали полотенца и ели неспелые сливы. Акинфиев, как только приехали, забрался в сено и заснул, а я взял одеяло с его телеги и пошел искать места в тени. Но поле по обе стороны дороги было усеяно испражнениями. Бородатый мужик в медных очках и в тирольской шляпке, читавший в сторонке газету, перехватил мой взгляд и сказал:

— Человеки зовемся, а гадим хуже шакалов. Земли стыдно...

И, отвернувшись, он снова стал читать газету через большие очки.

Я взял тогда к леску влево и увидел дьякона, подходившего ко мне все ближе.

— Куды котишься, земляк? — кричал ему Коротков с первой телеги.

— Оправиться,— пробормотал дьякон, схватил мою руку и поцеловал ее.— Вы славный господин,— прошептал он, гримасничая, дрожа и хватая воздух.— Прошу вас свободною минутой отписать в город Касимов, пущай моя супруга плачет обо мне...

— Вы глухи, отец дьякон,— закричал я в упор,— или нет?

— Виноват,— сказал он,— виноват,— и наставил ухо.

— Вы глухи, Аггеев, или нет?

— Так точно, глух,— сказал он поспешно.— Третьего дня я имел слух в совершенстве, но товарищ Акинфиев стрельбою покалечил мой слух. Они в Ровно обязаны были меня предоставить, товарищ Акинфиев, но полагаю, что они вряд ли меня доставят...

И, упав на колени, дьякон пополз между телегами головой вперед, весь опутанный поповским всклокоченным волосом. Потом он поднялся с колен, вывернулся между вожжами и подошел к Короткову. Тот отсыпал ему табак, они скрутили папиросы и закурили друг у друга.

— Так-то вернее,— сказал Коротков и опростал возле себя место.

Дьякон сел с ним рядом, и они замолчали.

Потом проснулся Акинфиев. Он вывалил воловью ногу из мешка, подрезал ножиком зеленое мясо и раздал всем по куску. Увидев загнившую эту ногу, я почувствовал слабость и отчаяние и отдал обратно свое мясо.

— Прощайте, ребята,— сказал я,— счастливо вам...

— Прощай,— ответил Коротков.

Я взял седло с телеги и ушел, и, уходя, слышал нескончаемое бормотание Ивана Акинфиева.

— Вань,— говорил он дьякону,— большую ты, Вань, промашку дал. Тебе бы имени моего ужаснуться, а ты в мою телегу сел. Ну, если мог ты еще прыгать, покеле меня не встренул, так теперь надругаюсь я над тобой, Вань, как пить дам надругаюсь...

## ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ОДНОЙ ЛОШАДИ

Четыре месяца тому назад Савицкий, бывший наш начдив, забрал у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Хлебников ушел тогда из армии, а сегодня Савицкий получил от него письмо.

*Хлебников — Савицкому*

*«И никакой злобы на Буденную армию больше иметь не могу, страдания мои посередь той армии понимаю и содержу их в сердце чище святыни. А вам, товарищ Савицкий, как всемирному герою, трудящаяся масса Витебщины, где нахожусь председателем уревкома, шлет пролетарский клич — «Даешь мировую революцию!» — и желает, чтобы тот белый жеребец ходил под вами долгие годы по мягким тропкам для пользы всеми любимой свободы и братских республик, в которых особенный глаз должны мы иметь за властью на местах и за волостными единицами в административном отношении...»*

*Савицкий — Хлебникову*

*«Неизменный товарищ Хлебников! Которое письмо ты написал для меня, то оно очень похвально для общего дела, тем более сказать, после твоей дурости, когда ты застелил глаза собственной шкурой и выступил из коммунистической нашей партии большевиков. Коммунистическая наша партия есть, товарищ Хлебников, железная шеренга бойцов, отдающих кровь в первом ряду, и когда из железа вытекает кровь, то это вам, товарищ, не шутки, а победа или смерть. То же самое относительно общего дела, которого не дожидаю увидеть расцвет, так как бои тяжелые и командный состав сменяю в две недели раз. Тридцатые сутки бьюсь арьергардом, заграждая непобедимую Первую Конную и находясь под действительным ружейным, артиллерийским и аэропланным огнем неприятеля. Убит Тардый, убит Лухманников, убит Лыкошенко, убит Гулевой, убит Трунов, и белого жеребца нет подо мной, так что согласно перемене военного счастья не дожидай увидеть любимого начдива Савицкого, товарищ Хлебников, а увидимся, прямо сказать, в царствии небесном, но, как по слухам, у старика на небесах не царствие, а бордель по*

*всей форме, а трипперов и на земле хватает, то, может, и не увидимся. С тем прощай, товарищ Хлебников».*

## ВДОВА

На санитарной линейке умирает Шевелев, полковой командир. Женщина сидит у его ног. Ночь, пронзенная отблесками канонады, выгнулась над умирающим. Левка, кучер начдива, подогревает в котелке пищу. Левкин чуб висит над костром, стреноженные кони хрустят в кустах. Левка размешивает веткой в котелке и говорит Шевелеву, вытянувшемуся на санитарной линейке:

— Работал я, товарищок, в Тюмреке в городе, работал парфорсную езду, а также атлет легкого веса. Городок, конечно, для женщины утомительный, завидели меня дамочки, стены рушат... Лев Гаврилыч, не откажите принять закуску по карте, не пожалеете безвозвратно потерянного временн... Подались мы с одной в трактир. Требуем телятины две порции, требуем полштофа, сидим с ней совершенно тихо, выпиваем... Гляжу — суется ко мне некоторый господин, одет ничего, чисто, но в личности его я замечаю большое воображение, и сам он под мухой...

«Извиняюсь,— говорит,— какая у вас, между прочим, национальность?»

«По какой причине,— спрашиваю,— вы меня, господин, за национальность трогаете, когда я тем более нахожусь в дамском обществе?»

...А он:

«Какой вы,— говорит,— есть атлет... Во французской борьбе из таких бессрочную подкладку делают. Докажите мне свою нацию...»

...Ну, однако, еще не рубаю.

«Зачем вы,— не знаю вашего имени-отчества,— такое недоразумение вызываете, что здесь обязательно должен кто-нибудь в настоящее время погибнуть, иначе говоря, лечь до последнего издыхания?» До последнего лечь...— повторяет Левка с восторгом и протягивает руки к небу, окружая себя ночью, как нимбом. Неутомимый ветер, чистый ветер ночи поет, наливает-

ся звоном и колышет души. Звезды пылают во тьме, как обручальные кольца, они падают на Левку, путаются в волосах и гаснут в лохматой его голове.

— Лев,— шепчет ему вдруг Шевелев синими губами,— иди сюда. Золото, какое есть — Сашке,— говорит раненый,— кольца, сбрую, все ей. Жили, как умели... вознагражу. Одежду, сподники, орден за беззаветное геройство — матери на Терек. Отошли с письмом и напиши в письме: «Кланялся командир, и не плачь. Хата — тебе, старуха, живи. Кто тронет, скачи к Буденному: я — Шевелева матка...» Коня Абрамку жертвую полку, коня жертвую на помин моей души...

— Понял про коня,— бормочет Левка и взмахивает руками.— Саш,— кричит он женщине,— слыхала, чего говорит?.. При ем сознавайся — отдашь старухе ейное аль не отдашь?..

— Мать вашу в пять,— отвечает Сашка и отходит в кусты, прямая, как слепец.

— Отдашь сиротскую долю? — догоняет ее Левка и хватает за горло.— При ем говори...

— Отдам. Пусти!

И тогда, вынудив признание, Левка снял котелок с огня и стал лить варево умирающему в окостеневший рот. Щи стекали с Шевелева, ложка гремела в его сверкающих мертвых зубах, и пули все тоскливее, все сильнее пели в густых просторах ночи.

— Винтовками бьет, гад,— сказал Левка.

— Вот холуйское знатье,— ответил Шевелев.— Пулеметами вскрывает нас на правом фланге...

И, закрыв глаза, торжественно, как мертвец на столе, Шевелев стал слушать бой большими восковыми своими ушами. Рядом с ним Левка жевал мясо, хрустя и задыхаясь. Кончив мясо, Левка облизал губы и потащил Сашку в ложбинку.

— Саш,— сказал он, дрожа, отрыгиваясь и вертя руками,— Саш, как перед богом, все одно в грехах как в репьях... Раз жить, раз подыхать. Поддайся, Саш, отслужу хучь бы кровью... Век его прошел, Саш, а дней у бога не убыло...

Они сели на высокую траву. Медлительная луна выползла из-за туч и остановилась на обнаженном Сашкином колене.

— Греетесь,— пробормотал Шевелев,— а он, гляди, четырнадцатую дивизию погнал...

Левка хрустел и задыхался в кустах. Мглистая луна шлялась по небу, как побирушка. Далекая пальба плыла в воздухе. Ковыль шелестел на потревоженной земле, и в траву падали августовские звезды.

Потом Сашка вернулась на прежнее место. Она стала менять раненому бинты и подняла фонарик над загнивающей раной.

— К завтрему уйдешь,— сказала Сашка, обтирая Шевелева, вспотевшего прохладным потом.— К завтрему уйдешь, она в кишках у тебя, смерть...

И в это мгновение многоголосый плотный удар повалился на землю. Четыре свежие бригады, введенные в бой объединенным командованием неприятеля, выпустили по Буску первый снаряд и, разрывая наши коммуникации, зажгли водораздел Буга. Послушные пожары встали на горизонте, тяжелые птицы канонады вылетели из огня. Буск горел, и Левка полетел по лесу в качающемся экипаже начдива шесть. Он натянул малиновые вожжи и бился о пни лакированными колесами. Шевелевская линейка неслась за ним, внимательная Сашка правила лошадьми, прыгавшими из упряжки.

Так приехали они к опушке, где стоял перевязочный пункт. Левка выпряг лошадей и пошел к заведующему просить попону. Он пошел по лесу, заставленному телегами. Тела санитарок торчали под телегами, несмелая заря билась над солдатскими овчинами. Сапоги спящих были брошены врозь, зрачки заведены к небу, черные ямы ртов перекошены.

Попона нашлась у заведующего; Левка вернулся к Шевелеву, поцеловал его в лоб и покрыл с головой. Тогда к линейке приблизилась Сашка. Она вывязала себе платок под подбородком и отряхнула платье от соломы.

— Павлик,— сказала она.— Иисус Христос мой,— легла на мертвеца боком, прикрыв его своим непомерным телом.

— Убивается,— сказал тогда Левка,— ничего не скажешь, хорошо жили. Теперь ей снова под всем эскадроном хлопотать. Несладко...

И он проехал дальше в Буск, где расположился штаб шестой кавдивизии.

Там, в десяти верстах от города, шел бой с савинковскими казаками. Предатели сражались под командой есаула Яковлева, передавшегося полякам. Они сражались мужественно. Начдив вторые сутки был с войсками, и Левка, не найдя его в штабе, вернулся к себе в хату, почистил лошадей, облил водой колеса экипажа и лег спать в клуне. Сарай был набит свежим сеном, зажигательным, как духи. Левка выспался и сел обедать. Хозяйка сварила ему картошки, залила ее простоквашей. Левка сидел уже у стола, когда на улице раздался траурный вопль труб и топот многих копыт. Эскадрон с трубачами и штандартами проходил по извилистой галицийской улице. Тело Шевелева, положенное на лафет, было перекрыто знаменами. Сашка ехала за гробом на шевелевском жеребце, казацкая песня сочилась из задних рядов.

Эскадрон прошел по главной улице и повернул к реке. Тогда Левка, босой, без шапки, пустился бегом за уходящим отрядом и схватил за поводья лошадь командира эскадрона.

Ни начдив, остановившийся у перекрестка и отдававший честь мертвому командиру, ни штаб его не слышали, что сказал Левка эскадронному.

— Сподники...— донес к нам ветер обрывки слов,— мать на Тереке...— услышали мы Левкины бессвязные крики. Эскадронный, не дослушав до конца, высвободил свои поводья и показал рукой на Сашку. Женщина помотала головой и проехала дальше. Тогда Левка вскочил к ней на седло, схватил за волосы, отогнул голову и разбил ей кулаком лицо. Сашка вытерла подолом кровь и поехала дальше. Левка слез с седла, откинул чуб и завязал на бедрах красный шарф. И завывающие трубачи повели эскадрон дальше, к сияющей линии Буга.

Левка скоро вернулся к нам и закричал, блестя глазами:

— Распатронил ее вчистую... Отошлю, говорит, матери, когда нужно. Евоную память, говорит, сама помню. А помнишь, так не забывай, гадючья кость... А забудешь — мы еще разок напомним. Второй раз забудешь — второй раз напомним.

Начдив и штаб его лежали на скошенном поле в трех верстах от Замостья. Войскам предстояла ночная атака города. Приказ по армии требовал, чтобы мы ночевали в Замостьи, и начдив ждал донесений о победе.

Шел дождь. Над залитой землей летели ветер и тьма. Звезды были потушены раздувшимися чернилами туч. Изнеможенные лошади вздыхали и переминались во мраке. Им нечего было дать. Я привязал повод коня к моей ноге, завернулся в плащ и лег в яму, полную воды. Размокшая земля открыла мне успокоительные объятия могилы. Лошадь натянула повод и потащила меня за ногу. Она нашла пучок травы и стала щипать его. Тогда я заснул и увидел во сне клуню, засыпанную сеном. Над клуней гудело пыльное золото молотьбы. Снопы пшеницы летали по небу, июльский день переходил в вечер, чащи заката запрокидывались над селом.

Я был простерт на безмолвном ложе, и ласка сена под затылком сводила меня с ума. Потом двери сарая разошлись со свистом. Женщина, одетая для бала, приблизилась ко мне. Она вынула грудь из черных кружев корсажа и понесла ее мне с осторожностью, как кормилица пищу. Она приложила свою грудь к моей. Томительная теплота потрясла основы моей души, и капли пота, живого, движущегося пота, закипели между нашими сосками.

«Марго,— хотел я крикнуть,— земля тащит меня на веревке своих бедствий, как упирающегося пса, но все же я увидел вас, Марго...»

Я хотел это крикнуть, но челюсти мои, сведенные внезапным холодом, не разжимались.

Тогда женщина отстранилась от меня и упала на колени.

— Иисусе,— сказала она,— прими душу усопшего раба твоего...

Она укрепила два истертых пятака на моих веках и забила благовонным сеном отверстие рта. Вопль тщетно метался по кругу закованных моих челюстей, потухающие зрачки медленно повернулись под медяками, я не мог разомкнуть моих рук и... проснулся.

Мужик с свалявшейся бородой лежал передо мной. Он держал в руках ружье. Спина лошади черной перекладиной резала небо. Повод тугой петлей сжимал мою ногу, торчавшую кверху.

— Заснул, земляк,— сказал мужик и улыбнулся ночными, бессонными глазами,— лошадь тебя с полверсты протащила...

Я распутал ремень и встал. По лицу, разодранному бурьяном, лилась кровь.

Тут же, в двух шагах от нас, лежала передовая цепь. Мне видны были трубы Замостья, вороватые огни в теснинах его гетто и каланча с разбитым фонарем. Сырой рассвет стекал на нас, как волны хлороформа. Зеленые ракеты взвивались над польским лагерем. Они трепетали в воздухе, осыпались, как розы под луной, и угасали.

И в тишине я услышал отдаленное дуновение стона. Дым потаенного убийства бродил вокруг нас.

— Бьют кого-то,— сказал я.— Кого это бьют?..

— Поляк тревожится,— ответил мне мужик,— поляк жидов режет...

Мужик переложил ружье из правой руки в левую. Борода его свернулась совсем набок, он посмотрел на меня с любовью и сказал:

— Длинные эти ночи в цепу, конца этим ночам нет. И вот приходит человеку охота поговорить с другим человеком, а где его возьмешь, другого человека-то?..

Мужик заставил меня прикурить от его огонька.

— Жид всякому виноват,— сказал он,— и нашему и вашему. Их после войны самое малое количество останется. Сколько в свете жидов считается?

— Десяток миллионов,— ответил я и стал взнуздывать коня.

— Их двести тысяч останется,— вскричал мужик и тронул меня за руку, боясь, что я уйду. Но я взобрался на седло и поскакал к тому месту, где был штаб.

Начдив готовился уже уезжать. Ординарцы стояли перед ним навытяжку и спали стоя. Спешенные эскадроны ползли по мокрым буграм.

— Прижалась наша гайка,— прошептал начдив и уехал.

Мы последовали за ним по дороге в Ситанец.

Снова пошел дождь. Мертвые мыши поплыли по дорогам. Осень окружила засадой наши сердца, и деревья, голые мертвецы, поставленные на обе ноги, закачались на перекрестках.

Мы приехали в Ситанец утром. Я был с Волковым, квартирьером штаба. Он нашел для нас свободную хату у края деревни.

— Вина,— сказал я хозяйке,— вина, мяса и хлеба!

Старуха сидела на полу и кормила из рук спрятанную под кровать телку.

— Ниц нема,— ответила она равнодушно.— И того времени не упомню, когда было...

Я сел за стол, снял с себя револьвер и заснул. Через четверть часа я открыл глаза и увидел Волкова, согнувшегося над подоконником. Он писал письмо к невесте.

«Многоуважаемая Валя,— писал он,— помните ли вы меня?»

Я прочитал первую строчку, потом вынул спички из кармана и поджег кучу соломы на полу. Освобожденное пламя заблестело и кинулось ко мне. Старуха легла на огонь грудью и затушила его.

— Что ты делаешь, пан? — сказала старуха и отступила в ужасе.

Волков обернулся, устремил на хозяйку пустые глаза и снова принялся за письмо.

— Я спалю тебя, старая,— пробормотал я, засыпая,— тебя спалю и твою краденую телку.

— Чекай! — закричала хозяйка высоким голосом. Она побежала в сени и вернулась с кувшином молока и хлебом.

Мы не успели съесть и половины, как во дворе застучали выстрелы. Их было множество. Они стучали долго и надоели нам. Мы кончили молоко, и Волков ушел во двор для того, чтобы узнать, в чем дело.

— Я заседлал твоего коня,— сказал он мне в окошко,— моего прострочили, лучше не надо. Поляки ставят пулеметы в ста шагах.

И вот на двоих у нас осталась одна лошадь. Она едва вынесла нас из Ситанца. Я сел в седло, Волков пристроился сзади.

Обозы бежали, ревели и тонули в грязи. Утро сочилось из нас, как хлороформ сочится на госпитальный стол.

— Ты женат, Лютов? — сказал вдруг Волков, сидевший сзади.

— Меня бросила жена,— ответил я, задремал на несколько мгновений, и мне приснилось, что я сплю на кровати.

Молчание.

Лошадь наша шатается.

— Кобыла пристанет через две версты,— говорит Волков, сидящий сзади.

Молчание.

— Мы проиграли кампанию,— бормочет Волков и всхрапывает.

— Да,— говорю я.

## ИЗМЕНА

«Товарищ следователь Бурденко. На вопрос ваш отвечаю, что партийность имею номер двадцать четыре два нуля, выданную Никите Балмашеву Краснодарским комитетом партии. Жизнеописание мое до 1914 года объясняю как домашнее, где занимался при родителях хлебопашеством и перешел от хлебопашества в ряды империалистов защищать гражданина Пуанкаре и палача германской революции Эберта-Носке, которые, надо думать, спали и во сне видели, как бы дать подмогу урожденной моей станице Иван Святой Кубанской области. И так вилась веревочка до тех пор, пока товарищ Ленин совместно с товарищем Троцким не отворотили озверелый мой штык и не указали ему предназначенную кишку и новый сальник поудобнее. С того времени я ношу номер двадцать четыре два нуля на конце зрячего моего штыка, и довольно оно стыдно и слишком мне смешно слыхать теперь от вас, товарищ следователь Бурденко, неподобную эту липу про неизвестный N...ский госпиталь. В госпиталь этот я не стрелял и не нападал, чего и не могло быть. Будучи ранены, мы все трое, а именно: боец Головицын, боец Кустов и я, имели жар в костях и не нападали, а только плакали, стоя в больничных халатах на площади посреди вольного населения по национальности евреев. А коснувшись повреждения трех стекол, которые мы повре-

дили из офицерского нагана, то скажу от всей души, что стекла не соответствовали своему назначению, как будучи в кладовке, которой они без надобности. И доктор Явейн, видя горькую эту нашу стрельбу, только надсмехался разными улыбками, стоя в окошке своего госпиталя, что также могут подтвердить вышеизложенные вольные евреи местечка Козин. На доктора Явейна даю еще, товарищ следователь, тот материал, что он надсмехался, когда мы, трое раненых, а именно: боец Головицын, боец Кустов и я, первоначально поступали на излечение, и с первых слов он заявил нам слишком грубо: вы, бойцы, искупайтесь каждый в ванной, ваше оружие и вашу одежду скидайте этой же минутой, я опасаюсь от них заразы, они пойдут у меня обязательно в цейхгауз... И тогда, видя перед собой зверя, а не человека, боец Кустов выступил вперед своею перебитой ногой и выразился, что какая в ней может быть зараза, в кубанской вострой шашке, кроме как для врагов нашей революции, и также поинтересовался узнать об цейхгаузе, действительно ли там при вещах находится партийный боец или же, напротив, один из беспартийной массы. И тут доктор Явейн, видно, заметил, что мы можем хорошо понимать измену. Он оборотился спиной и без другого слова отослал нас в палату и опять с разными улыбками, куда мы и пошли, ковыляя разбитыми ногами, махая калечеными руками и держась друг за друга, так как мы трое есть земляки из станицы Иван Святой, а именно: товарищ Головицын, товарищ Кустов и я, мы есть земляки с одной судьбой, и у кого разорвана нога, тот держит товарища за руку, а у кого недостает руки, тот опирается на товарищево плечо. Согласно отданного приказания пошли мы в палату, где ожидали увидеть культработу и преданность делу, но интересно узнать, что же мы увидели, взойдя в палату? Мы увидели красноармейцев, исключительно пехоту, сидящих на устланных постелях, играющих в шашки, и при них сестер высокого росту, гладких, стоящих у окошек и разводящих симпатию. Увидев это, мы остановились как громом пораженные.

— Отвоевались, ребята? — восклицаю я раненым.

— Отвоевались,— отвечают раненые и двигают шашками, поделанными из хлеба.

— Рано,— говорю я раненым,— рано ты отвоевалась, пехота, когда враг на мягких лапах ходит в пятнадцати верстах от местечка и когда в газете «Красный кавалерист» можно читать про наше международное положение, что это одна ужасть и на горизонте полно туч.— Но слова мои отскочили от геройской пехоты, как овечий помет от полкового барабана, и заместо всего разговор получился у нас, что милосердные сестры подвели нас к лежанкам и снова начали тереть волынку про сдачу оружия, как будто мы уже были побеждены. Они растревожили этим Кустова нельзя сказать как, и тот стал обрывать свою рану, помещавшуюся у него на левом плече, над кровавым сердцем бойца и пролетария. Видя эту натугу, сиделки поутихли, но только поутихли они на самое малое время, а потом опять завели свое издевательство беспартийной массы и стали подсылать охотников повытаскивать из-под нас, соиных, одежду или заставляли для культработы играть театральную ролю в женском платье, что не подобает.

Немилосердные сиделки... Не одиажды примерялись они к нам ради одежи сонным порошком, так что отдыхать мы стали в очередь, имея один глаз раскрывши, и в отхожее даже по малой нужде ходили в полной форме, с наганами. И отстрадавши так неделю с одним днем, мы стали заговариваться, получили видения и, наконец, проснувшись в обвиняемое утро, 4 августа, заметили в себе ту перемену, что лежим в халатах под номерами, как каторжиики, без оружия и без одежи, вытканной матерями нашими, слабосильными старушками с Кубани... И солнышко, видим, великолепно светит, а окопная пехота, среди которой страдало три красных конника, фулиганит иад нами и с ней немилосердные сиделки, которые всыпавши нам накануне сонного порошку, трясут теперь молодыми грудьями и несут нам иа блюдах какаву, а молока в этом какаве хоть залейся! От развеселой этой карусели пехота стучит костылями громко до ужасти и щиплет нам бока, как купленным девкам, дескать, отвоевалась и она, Первая Конная Буденная армия. Но нет, раскудрявые товарищи, которые наели очень чудные пуза, что ночью играют, как на пулеметах: не отвоевалась она, а только отпросившись вроде как по надобности, сошли мы трое во

двор и со двора пустились мы в жару, в синих язвах к гражданину Бойдерману, к предуревкома, без которого, товарищ следователь Бурденко, этого недоразумения со стрельбой, возможная вещь, и не существовало бы, то есть без того предуревкома, от которого совершенно мы потерялись. И хотя мы не можем дать твердого материала на гражданина Бойдермана, но только, зайдя к предуревкома, мы обратили внимание на гражданина пожилых лет, в тулупе, по национальности еврея, который сидит за столом, стол его набит бумагами, что это некрасота смотреть... Гражданин Бойдерман кидает глазами то туда то сюда, и видно, что он ничего не может понимать в этих бумагах, ему горе с этими бумагами, тем более сказать, что неизвестные, но заслуженные бойцы грозно подступают к гражданину Бойдерману за продовольствием, вперебивку с ними местные работники указывают на контру в окрестных селах, и тут же являются рядовые работники центра, которые желают венчаться в уревкоме в самой скорости и без волокиты... Так же и мы возвышенным голосом изложили случай с изменой в госпитале, но гражданин Бойдерман только пучил на нас глаза и опять кидал их то туда то сюда, и ласкал нам плечи, что уже не есть власть и недостойно власти, резолюции никак не давал, а только заявлял: товарищи бойцы, если вы жалеете советскую власть, то оставьте это помещение, на что мы не могли согласиться, то есть оставить помещение, а потребовали поголовное удостоверение личности, не получив какового потеряли сознание. И, находясь без сознания, мы вышли на площадь, перед госпиталем, где обезоружили милицию в составе одного человека кавалерии и нарушили со слезами три незавидных стекла в вышеописанной кладовке. Доктор Явейн при этом недопустимом факте делал фигуры и смешки, и это в такой момент, когда товарищ Кустов должен был через четыре дня скончаться от своей болезни!

В короткой красной своей жизни товарищ Кустов без края тревожился об измене, которая вот она мигает нам из окошка, вот она насмешничает над грубым пролетариатом, но пролетариат, товарищи, сам знает, что он грубый, нам больно от этого, душа горит и рвет огнем тюрьму тела...

Измена, говорю я вам, товарищ следователь Бурденко, смеется нам из окошка, измена ходит, разувшись, в нашем дому, измена закинула за спину штиблеты, чтобы не скрипели половицы в обворовываемом дому...»

## ЧЕСНИКИ

Шестая дивизия скопилась в лесу, что у деревни Чесники, и ждала сигнала к атаке. Но Павличенко, начдив шесть, поджидал вторую бригаду и не давал сигнала. Тогда к начдиву подъехал Ворошилов. Он толкнул его мордой лошади в грудь и сказал:

— Волыним, начдив шесть, волыним.

— Вторая бригада,— ответил Павличенко глухо,— согласно вашего приказания идет на рысях к месту происшествия.

— Волыним, начдив шесть, волыним,— сказал Ворошилов и рванул на себе ремни.

Павличенко отступил от него на шаг.

— Во имя совести,— закричал он и стал ломать сырые пальцы,— во имя совести, не торопить меня, товарищ Ворошилов...

— Не торопить,— прошептал Клим Ворошилов, член Реввоенсовета, и закрыл глаза. Он сидел на лошади, глаза его были прикрыты, он молчал и шевелил губами. Казак в лаптях и в котелке смотрел на него с недоумением. Скачущие эскадроны шумели в лесу, как шумит ветер, и ломали ветви. Ворошилов расчесывал маузером гриву своей лошади.

— Командарм,— закричал он, оборачиваясь к Буденному,— скажи войскам напутственное слово. Вот он стоит на холмике, поляк, стоит, как картинка, и смеется над тобой...

Поляки, в самом деле, были видны в бинокль. Штаб армии вскочил на коней, и казаки стали стекаться к нему со всех сторон.

Иван Акинфиев, бывший повозочный Ревтрибунала, проехал мимо и толкнул меня стременем.

— Ты в строю, Иван? — сказал я ему.— Ведь у тебя ребер нету...

— Положил я на эти ребра...— ответил Акинфи-

ев, сидевший на лошади бочком.— Дай послухать, что человек рассказывает.

Он проехал вперед и притиснулся к Буденному в упор. Тот вздрогнул и тихо сказал:

— Ребята,— сказал Буденный,— у нас плохая положения, веселей надо, ребята...

— Даешь Варшаву! — закричал казак в лаптях и в котелке, выкатил глаза и рассек саблей воздух.

— Даешь Варшаву! — закричал Ворошилов, поднял коня на дыбы и влетел в середину эскадронов.

— Бойцы и командиры! — сказал он со страстью.— В Москве, в древней столице, борется небывалая власть. Рабоче-крестьянское правительство, первое в мире, приказывает вам, бойцы и командиры, атаковать неприятеля и привезти победу.

— Сабли к бою...— отдаленно запел Павличенко за спиной командарма, и вывороченные малиновые его губы с пеной заблестели в рядах. Красный казакин начдива был оборван, мясистое его лицо искажено. Клинком неоценимой сабли он отдал честь Ворошилову.

— Согласно долгу революционной присяги,— сказал начдив шесть, хрипя и озираясь,— докладаю Реввоенсовету Первой Конной: вторая непобедимая кавбригада на рысях подходит к месту происшествия.

— Делай,— ответил Ворошилов и махнул рукой. Он тронул повод, Буденный поехал с ним рядом. Они ехали на длинных рыжих кобылах, рядом, в одинаковых кителях и в сияющих штанах, расшитых серебром. Бойцы, подвывая, двигались за ними, и бледная сталь мерцала в сукровице осеннего солнца. Но я не услышал единодушия в казацком вое, и, дожидаясь атаки, я ушел в лес, в глубь его, к стоянке питпункта.

Там лежал в бреду раненый красноармеец, и Степка Дуплищев, вздорный казачонок, чистил скребницей Урагана, кровного жеребца, принадлежавшего начдиву и происходившего от Люлюши, ростовской рекордистки. Раненый скороговоркой вспоминал о Шуе, о нетели и каких-то оческах льна, а Дуплищев, заглушая его жалкое бормотанье, пел песню о денщике и толстой генеральше, пел все громче, взмахивал скребницей и гладил коня. Но его прервала Сашка, опухшая Сашка, дама всех эскад-

ронов. Она подъехала к мальчику и прыгнула на землю.

— Сделаемся, што ль? — сказала Сашка.

— Отваливай,— ответил Дуплищев, повернулся к ней спиной и стал заплетать ленточки в гриву Урагану.

— Своему слову ты хозяин, Степка,— сказала тогда Сашка,— или ты вакса?

— Отваливай,— ответил Степка,— своему слову я хозяин.

Он вплел все ленточки в гриву и вдруг закричал мне с отчаянием:

— Вот, Кирилл Васильич, обратите маленькое внимание, какое надругание она надо мной делает. Это цельный месяц я от нее вытерпляю несказанно што. Куды ни повернусь — она тут, куды ни кинусь — она загородка путя моего: спусти ей жеребца да спусти ей жеребца. Ну, когда начдив каждодневно мне наказывает: «К тебе,— говорит,— Степка, при таком жеребце много проситься будут, но не моги ты пускать его по четвертому году...»

— Вас небось по пятнадцатому году пускаешь,— пробормотала Сашка и отвернулась.— По пятнадцатому небось, и ничего, молчишь, только пузыри пускаешь...

Она отошла к своей кобыле, укрепила подпруги и изготовилась ехать.

Шпоры на ее туфлях гремели, ажурные чулки были забрызганы грязью и убраны сеном, чудовищная грудь ее закидывалась за спину.

— Целковый-то я привезла,— сказала Сашка в сторону и поставила туфлю со шпорой в стремя.— Привезла, да вот отвозить надо.

Женщина вынула два новеньких полтинника, поиграла ими на ладони и спрятала опять за пазуху.

— Сделаемся, што ль? — сказал тогда Дуплищев, не спуская глаз с серебра, и повел жеребца.

Сашка выбрала покатое место на полянке и поставила кобылу.

— Ты один, видно, на земле с жеребцом ходишь,— сказала она Степке и стала направлять Урагана,— да только кобыленка у меня позиционная, два года не покрыта,— дай, думаю, хороших кровей добуду...

Сашка справнлась с жеребцом и потом отвела в сторонку свою лошадь.

— Вот мы и с начннкой, девочка,— прошептала она, поцеловала свою кобылу в лошадиные пегие мокрые губы с нависшими палочками слюны, потерлась о лошаднную морду и стала вслушиваться в шум, топавшнй по лесу.

— Вторая бригада бежит,— сказала Сашка строго н обернулась ко мне.— Ехать надо, Лютыч...

— Бежит, не бежит,— закричал Дуплищев, н у него перехватнло в горле,— ставь, дьякон, деньгн на кон...

— С деньгами я вся тут,— пробормотала Сашка и вскочнла на кобылу.

Я бросилея за ней, и мы двинулись галопом. Вопль Дуплнщева раздался за нами и легкий стук выстрела.

— Обратнте маленькое вннмание! — кричал казачонок н изо всех снл бежал по лесу.

Ветер прыгал между ветвями, как обезумевшнй заяц, вторая брнгада летела сквозь галнцийские дубы, безмятежная пыль канонады восходила над землей, как над мирной хатой. И по знаку начдива мы пошли в атаку, незабываемую атаку при Чесниках.

## ПОСЛЕ БОЯ

История распри моей с Акинфиевым такова.

Трндцать первого числа случилась атака при Чесннках. Эскадроны скопнлись в лесу возле деревни и в шестом часу вечера кинулись на неприятеля. Он ждал нас на возвышенности, до которой было три версты ходу. Мы проскакалн трн версты на лошадях, беспредельно утомленных, н, вскочнв на холм, увидели мертвенную стену из черных мундиров н бледных лиц. Это были казаки, нзменившие нам в начале польских боев и сведенные в брнгаду есаулом Яковлевым. Построив всадников в каре, есаул ждал нас с шашкой наголо. Во рту его блестел золотой зуб, черная борода лежала на груди, как икона на мертвеце. Пулеметы противника палили с двадцати шагов, раненые упали в наших рядах. Мы растоптали их

и ударились об неприятеля, но каре его не дрогнуло, тогда мы бежали.

Так была одержана савинковцами недолговременная победа над шестой дивизией. Она была одержана потому, что атакуемый не отвратил лица перед лавой налетающих эскадронов. Есаул стоял на этот раз, и мы бежали, не обагрив сабель жалкой кровью изменников.

Пять тысяч человек, вся дивизия наша неслась по склонам, никем не преследуемая. Неприятель остался на холме. Он не поверил неправдоподобной своей победе и не решался на погоню. Поэтому мы остались живы и скатились без ущерба в долину, где встретил нас Виноградов, начподив шесть. Виноградов метался на взбесившемся скакуне и возвращал в бой бегущих казаков.

— Лютов,— крикнул он, завидев меня,— завороти мне бойцов, душа из тебя вон!..

Виноградов колотил рукояткой маузера качавшегося жеребца, взвизгивал и сзывал людей. Я освободился от него и подъехал к киргизу Гулимову, скакавшему неподалеку.

— Наверх, Гулимов,— сказал я,— заворотн коня...

— Кобылячий хвост завороти,— ответил Гулимов и оглянулся. Он оглянулся воровато, выстрелил и опалил мне волосы над ухом.

— Твоя завороти,— прошептал Гулимов, взял меня за плечи и стал вытаскивать саблю другой рукой. Сабля туго сидела в ножнах, киргиз дрожал и озирался. Он обнимал мое плечо и наклонял голову все ближе.

— Твоя вперед,— повторял он чуть слышно,— моя за тобой следом...— легонько стукнул меня в грудь клинком подавшейся сабли. Мне сделалось тошно от близости смерти и от тесноты ее, я отвел ладонью лицо киргиза, горячее, как камень под солнцем, и расцарапал его так глубоко, как только мог. Теплая кровь зашевелилась под моими ногтями, защекотала их, я отъехал от Гулимова, задыхаясь, как после долгого пути. Истерзанный друг мой, лошадь, шла шагом. Я ехал, не видя пути, я ехал, не оборачиваясь, пока не встретил Воробьева, командира первого эскадрона. Воробьев искал своих квартирьеров и не находил их. Мы добрались с ним до деревни Чесники

и сели там на лавочку вместе с Акинфиевым, бывшим повозочным Ревтрибунала. Мимо иас прошла Сашка, сестра 31-го кавполка, и два командира подсели на лавочку. Командиры эти задремывали и молчали, один из них, контуженный, неудержимо качал головой и подмигивал выкатившимся глазом, Сашка пошла сказать об нем в госпиталь и потом вернулась к нам, таща лошадь на поводу. Кобыла ее упиралась и скользила ногами по мокрой глине.

— Куда паруса иадула? — сказал сестре Воробьев.— Посиди с нами, Саш...

— Не сяду я с вами,— ответила Сашка и ударила кобылу в живот,— ие сяду...

— Что так? — закричал Воробьев, смеясь.— Али ты, Саш, передумала с мужчинами чай пить?..

— С тобой передумала,— обернулась баба к командиру и бросила повод далеко от себя.— Передумала я, Воробьев, с тобой чай пить, потому видала я вас сегодня, герои, и твою некрасоту видала, командир...

— А когда видала,— пробормотал Воробьев,— так и стрелять было впору...

— Стрелять?! — с отчаянием сказала Сашка и сорвала с рукава госпитальную повязку.— Этим, что ли, стрелять мне?

И тут придвинулся к нам Акиифиев, бывший повозочный Ревтрибунала, с которым ие сведены были у меня давиие счеты.

— Стрелять тебе нечем, Сашок,— сказал он успокоительио,— тебя ефтим никто не виноватит, но только вииоватить я желаю тех, кто в драке путается, а патроиов в нагаи не залаживает... Ты в атаку шел,— закричал мие вдруг Акинфиев, и судорога облетела его лицо,— ты шел и патронов ие залаживал... где тому причииа?

— Отвяжись, Иван,— сказал я Акинфиеву, но он не отставал и подступал все ближе, весь кособокий, припадочный и без ребер.

— Поляк тебя да, а ты его нет...— бормотал казак, вертясь и ворочая разбитым бедром.— Где тому причина?..

— Поляк меия да,— ответил я дерзко,— а я поляка нет...

— Значит, ты молокан? — прошептал Акинфиев, отступая.

— Значит, молокан,— сказал я громче прежнего.— Чего тебе надо?

— Мне того надо, что ты при сознании,— закричал Иван с диким торжеством,— ты при сознании, а у меня про молокан есть закон писан: их в расход пускать можно, они бога почитают...

Собирая толпу, казак кричал про молокан не переставая. Я стал уходить от него, но он догнал меня и, догнав, ударил по спине кулаком.

— Ты патронов не залаживал,— с замиранием прошептал Акинфиев над самым моим ухом и завозился, пытаясь большими пальцами разодрать мне рот,— ты бога почитаешь, изменник...

Он дергал и рвал мой рот, я отталкивал припадочного и бил его по лицу. Акинфиев боком повалился на землю и, падая, расшибся в кровь.

Тогда к нему подошла Сашка с болтающимися грудями. Женщина облила Ивана водой и вынула у него изо рта длинный зуб, качавшийся в черном рту, как береза на голом большаке.

— У петухов одна забота,— сказала Сашка,— друг дружке в морду стучаться, а мне от делов от этих от сегодняшних глаза прикрыть хочется...

Она сказала это с горестью и увела к себе разбитого Акинфиева, а я поплелся в деревню Чесники, поскользнувшуюся на неутомимом галицийском дожде.

Деревня плыла и распухала, багровая глина текла из ее скучных ран. Первая звезда блеснула надо мной и упала в тучи. Дождь стегнул ветлы и обессилел. Вечер взлетел к небу, как стая птиц, и тьма надела на меня мокрый свой венец. Я изнемог и, согбенный под могильной короной, пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из умений — уменье убить человека.

## ПЕСНЯ

На постое в сельце Будятичах мне пала на долю злая хозяйка. Она была вдова, она была бедна; я отбил много замков у ее чуланов, но не нашел в них живности.

Мне оставалось исхитриться, и вот однажды, вернувшись рано домой, до сумерек, я увидел, как хозяйка приставляла заслонку к неостывшей печи. В хате пахло щами, и, может быть, в этих щах было мясо.

Я услышал мясо в ее щах и положил револьвер на стол, но старуха отпиралась, у нее показались судороги в лице и в черных пальцах, она темнела и смотрела на меня с испугом и удивительной ненавистью. Но ничто не спасло бы ее, я донял бы ее револьвером, кабы мне не помешал в этом Сашка Коняев, или, иначе, Сашка Христос.

Он вошел в избу с гармоникой под мышкой, прекрасные его ноги болтались в растоптанных сапогах.

— Поиграем песни,— сказал он и поднял на меня глаза, заваленные синими сонными льдами.— Поиграем песни,— сказал Сашка, присаживаясь на лавочку, и проиграл вступление.

Задумчивое это вступление шло как бы издалека, казак оборвал его и заскучал синими глазами. Он отвернулся и, зная, чем угодить мне, начал кубанскую песню.

«Звезда полей,— запел он,— звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука...»

Я любил эту песню. Сашка знал об этом, потому что мы оба — он и я — услышали ее в первый раз в девятнадцатом году в гирлах Дона и станицы Кагальницкой.

Один охотник, промышлявший в заповедных водах, научил нас этой песне. Там, в заповедных водах, мечет икру рыба и водятся несметные стаи птиц. Рыба плодится в гирлах в непередаваемом изобилии, ее можно брать ковшами или просто руками, и если поставить в воду весло, то оно будет стоять стоймя,— рыба держит весло и несет его с собой. Мы видели это сами, мы не забудем никогда заповедных вод у Кагальницкой. Все власти запрещали там охоту,— это правильное запрещение, но в девятнадцатом году в гирлах была жестокая война, и охотник Яков, промышлявший у нас на виду неправильный свой промысел, подарил для отвода глаз гармонику эскадронному нашему певцу Сашке Христу. Он научил Сашку своим песням: из них многие были душевного, старинного распева. За это мы все простили лукавому охотнику, потому что песни его были нужны нам: никто не видел тогда конца войне, и один Сашка устилал звоном и слезой утомительные наши пути. Кровавый след шел по этому пути. Песня летела над нашим следом. Так было на Кубани и в зеленых по-

ходах, так было на Уральске н в Кавказскнх предгорьях, н вот до сегодняшиего дня. Песнн нужны иам, никто не видит конца войне, н Сашка Хрнстос, эскадронный певец, не дозрел еще, чтобы умереть...

Вот и в этот вечер, когда я обманулся в хозяйских щах, Сашка смирил меня полузадушениым н качающнмся своим голосом.

«Звезда полей,— пел он,— звезда полей над отчим домом, н матери моей печальная рука...»

И я слушал его, растянувшись в углу на прелой подстилке. Мечта ломала мне кости, мечта трясла подо мной нстлевшее сено, сквозь горячнй ее лнвень я едва различал старуху, подпершую рукой увядшую щеку. Уронив нскусаниую голову, она стояла у стены не шевелясь и не тронулась с места после того, как Сашка кончнл играть. Сашка кончил и отложнл гармоинку в стороиу, он зевиул и засмеялся, как после долгого сна, и потом вндя запустение вдовьей нашей хижнны, смахнул сор с лавки н прнтащнл ведро воды в хату.

— Вишь, сердце мое,— сказала ему хозяйка, поскреблась спнной у дверн н показала на меня,— вот начальннк твой прншел давеча, накричал на меня, натопал, отнял замки у моего хозяйства н оружию мне выложнл... Это грех от бога — мне оружию выкладывать: ведь я жеищина...

Она снова поскреблась о дверь и стала набрасывать кожухи на сына. Сын ее храпел под иконой на большой кроватн, засыпаниой тряпьем. Он был немой мальчик с оплывшей, раздувшейся белой головой и с гигаитскимн ступнями, как у взрослого мужика. Мать вытерла ему нечистый нос н вернулась к столу.

— Хозяюшка,— сказал ей тогда Сашка и тронул ее плечо,— ежели желаете, я вам вииманне окажу...

Но бабка как будто не слыхала его слов.

— Ннкакнх щей я не вндала,— сказала она, подпирая щеку,— ушлн они, мон щн; мне людн одну оружию показывают, а и попадется хороший человек и посластиться бы с ним в пору, да вот такая тошиая стала, что и греху не обрадуюсь...

Она тянула унылые свои жалобы и, бормоча, отодвинула к стене немого мальчнка. Сашка лег с ней на тряпичиую постель, а я попытался заснуть и стал прндумывать себе сны, чтобы мне заснуть с хорошнми мыслями.

...Помнишь ли ты Житомир, Василий? Помнишь ли ты Тетерев, Василий, и ту ночь, когда суббота, юная суббота кралась вдоль заката, придавливая звезды красным каблучком?

Тонкий рог луны купал свои стрелы в черной воде Тетерева. Смешной Гедали, основатель IV Интернационала, вел нас к рабби Моталэ Брацлавскому на вечернюю молитву. Смешной Гедали раскачивал петушиные перышки своего цилиндра в красном дыму вечера. Хищные зрачки свечей мигали в комнате рабби. Склонившись над молитвенниками, глухо стонали плечистые евреи, и старый шут чернобыльских цадиков звякал медяшками в изодранном кармане...

...Помнишь ли ты эту ночь, Василий?.. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном, и рабби Моталэ Брацлавский, вцепившись в талес истлевшими пальцами, молился у восточной стены. Потом раздвинулась завеса шкапа, и в похоронном блеске свечей мы увидели свитки торы, завороченные в рубашки из пурпурного бархата и голубого шелка, и повисшее над торой безжизненное, покорное, прекрасное лицо Ильи, сына рабби, последнего принца в династии...

И вот третьего дня, Василий, полки двенадцатой армии открыли фронт у Ковеля. В городе загремела пренебрежительная канонада победителей. Войска наши дрогнули и перемешались. Поезд политотдела стал уползать по мертвой спине полей. Тифозное мужичье катило перед собой привычный горб солдатской смерти. Оно прыгало на подножки нашего поезда и отваливалось, сбитое ударами прикладов. Оно сопело, скреблось, летело вперед и молчало. А на двенадцатой версте, когда у меня не стало картошки, я швырнул в них грудой листовок Троцкого. Но только один из них протянул за листовкой грязную мертвую руку. И я узнал Илью, сына житомирского рабби. Я узнал его тотчас, Василий. И так томительно было видеть принца, потерявшего штаны, переломанного надвое солдатской котомкой, что мы, переступив правила, втащили его к себе в вагон. Голые колени, неумелые, как у старухи, стукались о ржавое же-

лезо ступенек; две толстогрудые машииистки в матросках волочили по полу длиииое застенчивое тело умирающего. Мы положили его в углу редакции, на полу. Казаки в красных шароварах поправили на ием упавшую одежду. Девицы, уперши в пол кривые иоги незатейливых самок, сухо иаблюдали его половые части, эту чахлую, курчавую мужествеииость исчахшего семита. А я, видевший его в одиу из скитальческих моих ночей, я стал складывать в сундучок рассыпавшиеся вещи красиоармейца Брацлавского.

Здесь все было свалеио вместе — маидаты агитатора и памятиики еврейского поэта. Портреты Ленина и Маймоиида лежали рядом. Узловатое железо лениического черепа и тусклый шелк портретов Маймонида. Прядь женских волос была заложена в книжку постаиовлеиий шестого съезда партии, и на полях коммунистических листовок тесиились кривые строки древнееврейских стихов. Печальиым и скупым дождем падали оии на меня — страиицы «Песни песней» и револьверные патроны. Печальный дождь заката обмыл пыль моих волос, и я сказал юноше, умиравшему в углу на драном тюфяке:

— Четыре месяца тому назад, в пятиицу вечером, старьевщик Гедали привел меня к вашему отцу, рабби Моталэ, но вы ие были тогда в партии, Брацлавский.

— Я был тогда в партии,— ответил мальчик, царапая грудь и корчась в жару,— но я не мог оставить мою мать...

— А теперь, Илья?

— Мать в революции — эпизод,— прошептал он, затихая.— Пришла моя буква, буква Б, и организация услала меня на фроит...

— И вы попали в Ковель, Илья?

— Я попал в Ковель!— закричал он с отчаяиием.— Кулачье открыло фронт. Я принял сводный полк, ио поздно. У меня не хватило артиллерии...

Он умер, не доезжая Ровио. Ои умер, последний прииц, среди стихов, филактерий и портянок. Мы похороиили его на забытой стаиции. И я — едва вмещающий в древнем теле бури моего воображения,— я принял последний вздох моего брата.

Я решил перейти в строй. Начдив поморщился, услышав об этом.

— Куда ты прешься?.. Развесишь губы — тебя враз укontрапупят...

Я настоял на своем. Этого мало. Выбор мой пал на самую боевую дивизию — шестую. Меня определили в 4-й эскадрон 23-го кавполка. Эскадроном командовал слесарь Брянского завода Баулин, по годам мальчик. Для острастки он запустил себе бороду. Пепельные клоки закручивались у него на подбородке. В двадцать два свои года Баулин не знал никакой суеты. Это качество, свойственное тысячам Баулиных, вошло важным слагаемым в победу революции. Баулин был тверд, немногословен, упрям. Путь его жизни был решен. Сомнений в правильности этого пути он не знал. Лишения были ему легки. Он умел спать сидя. Спал он, сжимая одну руку другой, и просыпался так, что незаметен был переход от забытья к бодрствованию.

Ждать себе пощады под командой Баулина нельзя было. Служба моя началась редким предзнаменованием удачи — мне дали лошадь. Лошадей не было ни в конском запасе, ни у крестьян. Помог случай. Казак Тихомолов убил без спросу двух пленных офицеров. Ему поручили сопровождать их до штаба бригады, офицеры могли сообщить важные сведения. Тихомолов не довел их до места. Казака решили судить в Ревтрибунале, потом раздумали. Эскадронный Баулин наложил кару страшнее трибунала — он забрал у Тихомолова жеребца по прозвищу Аргамак, а самого заслал в обоз.

Мука, которую я вынес с Аргамаком, едва ли не превосходила меру человеческих сил. Тихомолов вел лошадь с Терека, из дому. Она была обучена на казацкую рысь, на особый казацкий карьер — сухой, бешеный, внезапный. Шаг Аргамака был длинен, растянут, упрям. Этим дьявольским шагом он выносил меня из рядов, я отбивался от эскадрона и, лишенный чувства ориентировки, блуждал потом по суткам в поисках своей части, попадал в расположение неприятеля, ночевал в оврагах, прибивался к чужим полкам и бывал гоним ими. Кавалерийское мое уме-

ние ограничивалось тем, что в германскую войну я служил в артдивизионе при пятнадцатой пехотной дивизии. Больше всего приходилось восседать на зарядном ящике, изредка мы ездили в орудийной запряжке. Мне негде было привыкнуть к жесткой, в раскачку, рыси Аргамака. Тихомолов оставил в наследство коню всех дьяволов своего падения. Я трясся, как мешок, на длинной сухой спине жеребца. Я сбил ему спину. По ней пошли язвы. Металлические мухи разъедали эти язвы. Обручи запекшейся черной крови опоясали брюхо лошади. От неумелой ковки Аргамак начал засекаться, задние ноги его распухли в путовом суставе и стали слоновыми. Аргамак отощал. Глаза его налились особым огнем мучимой лошади, огнем истерии и упорства. Он не давался седлать.

— Аннулировал ты коня, четырехглазый,— сказал взводный.

При мне казаки молчали, за моей спиной они готовились, как готовятся хищники, в сонливой и вероломной неподвижности. Даже писем не просили меня писать...

Конная армия овладела Новоград-Волынском. В сутки нам приходилось делать по шестьдесят, по восемьдесят километров. Мы приближались к Ровно. Дневки были ничтожны. Из ночи в ночь мне снился тот же сон. Я рысью мчусь на Аргамаке. У дороги горят костры. Казаки варят себе пищу. Я еду мимо них, они не поднимают на меня глаз. Одни здороваются, другие не смотрят, им не до меня. Что это значит? Равнодушие их обозначает, что ничего особенного нет в моей посадке, я езжу, как все, нечего на меня смотреть. Я скачу своей дорогой и счастлив. Жажда покоя и счастья не утолялась наяву, от этого снились мне сны.

Тихомолова не было видно. Он сторожил меня где-то на краях похода, в неповоротливых хвостах телег, забитых тряпьем.

Взводный как-то сказал мне:

— Пашка все домогается, каков ты есть...

— А зачем я ему нужен?

— Видно, нужен...

— Он небось думает, что я его обидел?

— А неужели ж нет, не обидел...

Пашкина ненависть шла ко мне через леса и реки. Я чувствовал ее кожей и ежился. Глаза, налитые кровью, привязаны были к моему пути.

— Зачем ты меня врагом наделил? — спросил я Баулина.

Эскадронный проехал мимо и зевнул.

— Это не моя печаль,— ответил он не оборачиваясь,— это твоя печаль...

Спина Аргамака подсыхала, потом открывалась снова. Я подкладывал под седло по три потника, но езды правильной не было, рубцы не затягивались. От сознания, что я сижу на открытой ране, меня всего зудило.

Один казак из нашего взвода, Бизюков по фамилии, был земляк Тихомолову, он знал Пашкиного отца там, на Тереке.

— Евоный отец, Пашкин,— сказал мне однажды Бизюков,—коней по охоте разводит... Боевитый ездок, дебелый... В табун приедет — ему сейчас коня выбирать... Приводят. Он станет против коня, ноги расставит, смотрит... Чего тебе надо?.. А ему вот чего надо: махнет кулачищем, даст раз промежду глаз — коня нету. Ты зачем, Калистрат, животную решил?.. По моей, говорит, страшенной охоте мне на этом коне не ездить... Меня этот конь не заохотил... У меня, говорит, охота, смертельная... Боевитый ездок, это нечего сказать.

И вот Аргамак, оставленный в живых Пашкиным отцом, выбранный им, достался мне. Как быть дальше? Я прикидывал в уме множество планов. Война избавила меня от забот.

Конная армия атаковала Ровно. Город был взят. Мы пробыли в нем двое суток. На следующую ночь поляки оттеснили нас. Они дали бой для того, чтобы провести отступающие свои части. Маневр удался. Прикрытием для поляков послужили ураган, секущий дождь, летняя тяжелая гроза, опрокинувшаяся на мир в потоках черной воды. Мы очистили город на сутки. В ночном этом бою пал серб Дундич, храбрейший из людей. В этом бою дрался и Пашка Тихомолов. Поляки налетели на его обоз. Место было равнинное, без прикрытия. Пашка построил свои телеги боевым порядком, ему одному ведомым. Так, верно, строили римляне свои колесницы. У Пашки оказался

пулемет. Надо думать, он украл его и спрятал на случай. Этим пулеметом Тихомолов отбился от нападения, спас имущество и вывел весь обоз, за исключением двух подвод, у которых застрелены были лошади.

— Ты что бойцов маринуешь,— сказали Баулину в штабе бригады через несколько дней после этого боя.

— Верно, надо, если мариную...

— Смотри, нарвешься...

Амнистии Пашке объявлено не было, но мы знали, что он придет. Он пришел в калошах на босу ногу. Пальцы его были обрублены, с них свисали ленты черной марли. Ленты волочились за ним, как мантия. Пашка пришел в село Будятичи на площадь перед костелом, где у коновязи поставлены были наши кони. Баулин сидел на ступеньках костела и парил себе в лохани ноги. Пальцы ног у него подгнили. Они были розоватые, как бывает розовым железо в начале закалки. Клочья юношеских соломенных волос налипли Баулину на лоб. Солнце горело на кирпичах и черепице костела. Бизюков, стоявший рядом с эскадронным, сунул ему в рот папиросу и зажег. Тихомолов, волоча рваную свою мантию, прошел к коновязи. Калоши его шлепали. Аргамак вытянул длинную шею и заржал навстречу хозяину, заржал негромко и визгливо, как конь в пустыне. На его спине сукровица загибалась кружевом между полосами рваного мяса. Пашка стал рядом с конем. Грязные ленты лежали на земле неподвижно.

— Знатьця так,— произнес казак едва слышно. Я выступил вперед.

— Помиримся, Паша. Я рад, что конь идет к тебе. Мне с ним не сладить... Помиримся, что ли?..

— Еще пасхи нет, чтобы мириться,— взводный закручивал папиросу за моей спиной. Шаровары его были распущены, рубаха расстегнута на медной груди, он отдыхал на ступеньках костела.

— Похристосуйся с ним, Пашка,— пробормотал Бизюков, тихомоловский земляк, знавший Калистрата, Пашкиного отца,— ему желательно с тобой христосоваться...

Я был один среди этих людей, дружбы которых мне не удалось добиться.

Пашка как вкопанный стоял перед лошадью. Аргамак, сильно и свободно дыша, протягивал ему морду.

— Знатьця так,— повторил казак, резко ко мне повернулся и сказал в упор: — Я не стану с тобой мириться.

Шаркая калошами, он стал уходить по известковой, выжженной зноем дороге, заметая бинтами пыль деревенской площади. Аргамак пошел за ним, как собака. Повод покачивался под его мордой, длинная шея лежала низко. Баулин все тер в лохани железную красноватую гниль своих ног.

— Ты меня врагом наделил,— сказал я ему,— а чем я тут виноват?

Эскадронный поднял голову.

— Я тебя вижу,— сказал он,— я тебя всего вижу... Ты без врагов жить норовишь... Ты к этому все ладишь — без врагов...

— Похристосуйся с ним,— пробормотал Бизюков, отворачиваясь.

На лбу у Баулина отпечаталось огненное пятно. Он задергал щекой.

— Ты знаешь, что это получается? — сказал он, не управляясь со своим дыханием,— это скука получается... Пошел от нас к трепаной матери...

Мне пришлось уйти. Я перевелся в 6-й эскадрон. Там дела пошли лучше. Как бы то ни было, Аргамак научил меня тихомоловской посадке. Прошли месяцы. Сон мой исполнился. Казаки перестали провожать глазами меня и мою лошадь.

## ПОЦЕЛУЙ

В начале августа штаб армии отправил нас для переформирования в Будятичи. Захваченное поляками в начале войны — оно вскоре было отбито нами. Бригада втянулась в местечко на рассвете; я приехал днем. Лучшие квартиры были заняты, мне достался школьный учитель. В низкой комнате, среди кадок с плодоносящими лимонными деревьями, сидел в кресле парализованный старик. На нем была тирольская шляпа с перышком; серая борода спускалась на грудь, осыпанную пеплом. Моргая глазами, он пролепетал

какую-то просьбу. Умывшись, я ушел в штаб и вернулся ночью. Мишка Суровцев, ординарец, оренбургский казак, доложил мне обстановку: кроме парализованного старика в наличности оказалась дочь его, Томилина Елизавета Алексеевна, и пятилетний сынок Миша, тезка Суровцева; дочь вдовеет после офицера, убитого в германскую войну, ведет себя исправно, но хорошему человеку, по сведениям Суровцева, может себя предоставить.

— Обладим,— сказал он, удалился на кухню и загремел там посудой; учительская дочка помогала ему. Кухаваря, Суровцев рассказал о моей храбрости, о том, как я ссадил в бою двух польских офицеров и как уважает меня советская власть. Ему отвечал сдержанный, негромкий голос Томилиной.

— Ты где отдыхаешь? — спросил ее Суровцев на прощанье.— Ты поближе к нам лягай, мы люди живые...

Он внес в комнату яичницу на гигантской сковороде и поставил ее на стол.

— Согласная,— сказал он, усаживаясь,— только не высказывает...

И в то же мгновенье сдавленный шепот, шуршанье, тяжелая осторожная беготня поднялись в доме. Мы не успели съесть нашего блюда войны, как в дом потянулись старики на костылях, старухи, с головой закутанные в шали. Кровать маленького Миши перетащили в столовую, в лимонную чащу, рядом с креслом деда. Немощные гости, приготовившиеся защитить честь Елизаветы Алексеевны, сбились в кучу, как овцы в непогоду, и, забаррикадировав дверь, всю ночь бесшумно играли в карты, шепотом называя ремизы и замирая при каждом шорохе. За этой дверью я не мог заснуть от неловкости, от смущения и едва дождался света.

— К вашему сведению,— сказал я, встретив Томилину в коридоре,— к вашему сведению должен сообщить, что я окончил юридический факультет и принадлежу к так называемым интеллигентным людям...

Оцепенев, она стояла, опустив руки, в старомодной тальме, словно вылитой на тонкой ее фигуре. Не мигая, прямо на меня смотрели расширившиеся, сиявшие в слезах, голубые глаза.

Через два дня мы стали друзьями. Страх и неведение, в котором жила семья учителя, семья добрых н слабых людей, были безграничны. Польские чиновники внушили им, что в дыму и варварстве кончилась Россия, как когда-то кончился Рим. Детская боязливая радость овладела ими, когда я рассказал о Ленине, о Москве, в которой бушует будущее, о Художественном театре. По вечерам к нам приходили двадцатидвухлетние большевистские генералы со спутанными рыжеватыми бородами. Мы курили московские папиросы, мы съедали ужин, приготовленный Елизаветой Алексеевной из армейских продуктов, и пели студенческие песни. Перегнувшись в кресле, парализованный слушал с жадностью, и тирольская шляпа тряслась в такт нашей песне. Старик жил все эти дни, отдавшись бурной, внезапной, неясной надежде, и, чтобы ничем не омрачить своего счастья, старался не замечать в нас некоторого щегольства кровожадностью и громогласной простоты, с какой мы решали к тому времени все мировые вопросы.

После победы над поляками — так постановлено было на семейном совете — Томилины переедут в Москву: старика мы вылечим у знаменитого профессора, Елизавета Алексеевна поступит учиться на курсы, а Мишку мы отдадим в ту самую школу на Патриарших прудах, где когда-то училась его мать. Будущее казалось никем не оспариваемой нашей собственностью, война — бурной подготовкой к счастью, и самое счастье — свойством нашего характера. Не решенными были только его подробности, и в обсуждении их проходили ночи, могучие ночи, когда огарок свечи отражался в мутной бутыли самогона. Расцветшая Елизавета Алексеевна была безмолвной нашей слушательницей. Никогда не видел я существа более порывистого, свободного и боязливого. По вечерам лукавый Суровцев отвозил нас в реквизированном еще на Кубани плетеном шарабане к холму, где светился в огне заката брошенный дом князей Гонсиоровских. Худые, но длинные и породистые лошади дружно бежали на красных вожжах; беспечная серьга колыхалась в ухе Суровцева, круглые башни вырастали изо рва, заросшего желтой скатертью цветов. Обломанные стены чертили в небе кривую, набухшую рубиновой кровью линию, куст шиповника пря-

тал ягоды, и голубая ступень, остаток лестницы, по которой поднимались когда-то польские короли, блестела в кустарнике. Сидя на ней, я притянул к себе однажды голову Елизаветы Алексеевны и поцеловал ее. Она медленно отстранилась, выпрямилась и, ухватив руками стену, прислонилась к ней. Она стояла неподвижно, вокруг ослепшей ее головы бурлил огненный пыльный луч, потом, вздрогнув и словно вслушиваясь во что-то, Томилина подняла голову; пальцы ее оттолкнулись от стены; путаясь и ускоряя шаги — она побежала вниз. Я окликнул ее, мне не ответили. Внизу, разбросавшись в плетеном шарабане, спал румяный Суровцев. Ночью, когда все уснули, я прокрался в комнату Елизаветы Алексеевны. Она читала, далеко отставив от себя книгу: упавшая на стол рука казалась неживой. Обернувшись на стук, Елизавета Алексеевна поднялась с места.

— Нет,— сказала она, вглядываясь в меня,— нет, дорогой мой,— и, обхватив мое лицо голыми, длинными руками, поцеловала меня все усиливавшимся, нескончаемым, безмолвным поцелуем. Треск телефона в соседней комнате оттолкнул нас друг от друга. Вызывал адъютант штаба.

— Выступаем,— сказал он в телефон,— приказание явиться к командиру бригады...

Я побежал без шапки, на ходу рассовывая бумаги. Из дворов выводили лошадей, во тьме, крича, мчались всадники. У комбрига, стоя завязывавшего на себе бурку, мы узнали, что поляки прорвали фронт под Люблиным и что нам поручена обходная операция. Оба полка выступали через час. Разбуженный старик беспокойно следил за мной из-под листвы лимонного дерева.

— Скажите, что вы вернетесь,— повторял он и тряс головой.

Елизавета Алексеевна, накинув полушубок поверх батистовой ночной кофты, вышла провожать нас на улицу. Во мраке бешено промчался невидимый эскадрон. У поворота в поле я оглянулся — Томилина, наклонившись, поправляла куртку на мальчике, стоявшем впереди нее, и прерывистый свет лампы, горевшей на подоконнике, тек по нежному костлявому ее затылку...

Пройдя без дневок сто километров, мы соединились с 14-й кавдивизией и, отбиваясь, стали уходить. Мы спали в седлах. На привалах, сраженные сном, мы падали на землю, и лошади, натягивая повод, тащили нас, спящих, по скошенному полю. Начиналась осень и неслышно сыплющиеся галицийские дожди. Сбившись в молчащее взъерошенное тело, мы петляли и описывали круги, ныряли в мешок, завязанный поляками, и выходили из него. Сознание времени оставило нас. Располагаясь на ночлег в Тощенской церкви, я и не подумал, что мы находимся в девяти верстах от Будятичей. Напомнил Суровцев, мы переглянулись.

— Главное, что кони пристали,— сказал он весело,— а то съездили бы...

— Нельзя,— ответил я,— хватятся ночью...

И мы поехали. К седлам нашим были приторочены гостинцы — голова сахару, ротонда на рыжем меху и живой двухнедельный козленок. Дорога шла качающимся промокшим лесом, стальная звезда плутала в кронах дубов. Меньше чем в час мы доехали до местечка, выгоревшего в центре, заваленного побелевшими от мучной пыли грузовиками, орудийными упряжками и ломаными дышлами. Не слезая с лошади, я стукнул в знакомое окно — белое облако пронеслось по комнате. Все в той же батистовой кофте с обвислым кружевом Томилина выбежала на крыльцо. Горячей рукой она взяла мою руку и ввела в дом. В большой комнате на сломанных лимонных деревьях сушилось мужское белье, незнакомые люди спали на койках, поставленных без промежутков, как в госпитале. Высовывая грязные ступни, с криво окостеневшими ртами, они хрипло кричали со сна и жадно и шумно дышали. Дом был занят нашей трофейной комиссией, Томилины загнаны в одну комнату.

— Когда вы нас увезете отсюда? — стискивая мою руку, спросила Елизавета Алексеевна.

Старик, проснувшись, тряс головой. Маленький Миша, прижимая к себе козленка, заливался счастливым беззвучным смехом. Над ним, надувшись, стоял Суровцев и вытряхивал из карманов казацких шаровар шпоры, пробитые монеты, свисток на желтом витом шнуре. В этом доме, занятом трофейной комиссией, скрыться было негде, и мы ушли с Томилиной

в дощатую пристройку, где на зиму складывали картофель и рамки от ульев. Там, в чулане, я увидел, какой неотвратимый губительный путь был путь поцелуя, начатого у замка князей Гонсиоровских...

Незадолго до рассвета к нам постучался Суровцев.

— Когда вы увезете нас? — глядя в сторону, сказала Елизавета Алексеевна.

Промолчав, я направился в дом проститься со стариком.

— Главное, что время нет,— загородил мне дорогу Суровцев,— сидайте, поедем...

Он вытолкал меня на улицу и подвел лошадь. Томилина подала мне похолодевшую руку. Как всегда, она прямо держала голову. Лошади, отдохнув за ночь, понесли рысью. В черном сплетении дубов поднималось огнистое солнце. Ликование утра переполняло мое существо.

В лесу открылась прогалина, я пустил лошадь и, обернувшись, крикнул Суровцеву:

— Что бы еще побыть... Рано вспугнул...

— И то не рано,— ответил он, подравниваясь и разнимая рукой мокрые, сыплющие искры ветви,— кабы не старик, я и раньше бы вспугнул... А то разговорился старый, разнервничался, крякает и на сторону валиться стал... Я подскочил к нему, смотрю — мертвый, испекся...

Лес кончился. Мы выехали на вспаханное поле без дороги. Привстав, поглядывая по сторонам, подсвистывая, Суровцев вынюхивал правильное направление и, втянув его с воздухом, пригнулся и поскакал.

Мы приехали вовремя. В эскадроне поднимали людей. Обещая жаркий день, пригревало солнце. В это утро наша бригада прошла бывшую государственную границу Царства Польского.

## ГРИЩУК

Вторая поездка в местечко окончилась худо. Мы отправились добывать фуражу, возвращались к полудню. Спина Грищука мирно тряслась перед моими глазами. Не доезжая села, он аккуратно сложил вож-

жи, вздохнул и стал сползать с сиденья. Он сполз ко мне на колени и вытянулся поперек брички. Его стынущая голова покачивалась, лошади шли шагом, и желтеющая ткань покоя оседала на лице Грищука, как саван.

— Не емши,— вежливо ответил он на мой испуганный крик и утомленно опустил веки.

Так мы въехали в село, с кучером, растянувшимся во всю длину экипажа.

Дома я накормил его хлебом и картошкой. Он ел вяло, задремывал и раскачивался. Потом вышел на середину двора и, разбросав руки, лег на землю — лицом кверху.

— Ты все молчишь, Грищук,— сказал я ему, задыхаясь,— как я пойму тебя, томительный Грищук?..

Он смолчал и отвернулся. И только ночью, когда мы, согревая друг друга, лежали на сене, я узнал одну главу из его немой повести.

Русские пленные работали по укреплению сооружений на берегу Северного моря. На время полевых работ их угнали в глубь Германии. Грищука взял к себе одинокий и умалишенный фермер. Безумие его состояло в том, что он молчал. Побоями и голодовкой он выучил Грищука объясняться с ним знаками. Четыре года они молчали и жили мирно. Грищук не выучился языку потому, что не слышал его. После германской революции он пошел в Россию. Хозяин проводил его до края деревни. У большой дороги они остановились. Немец показал на церковь, на свое сердце, на безграничную и пустую синеву горизонта. Он прислонился своей седой взъерошенной безумной головой к плечу Грищука. Они постояли так в безмолвном объятии. И потом немец, взмахнув руками, быстрым, немощным и путаным шагом побежал назад, к себе.

## ИХ БЫЛО ДЕВЯТЬ

Девяти пленных нет в живых. Я знаю это сердцем. Когда Голов, взводный командир из сормовских рабочих, убил длинного поляка, я сказал начальнику штаба:

— Пример взводного развращает бойцов. Надо отправить их в штаб для опроса.

Начальник штаба разрешил. Я вынул из сумки карандаш и бумагу и вызвал Голова.

— Ты через очки смотришь на свет,— сказал он, глядя на меня с ненавистью.

— Через очки,— ответил я.— А ты как смотришь на свет, Голов?

— Я смотрю через несчастную нашу рабочую жизнь,— сказал он и отошел к пленному, держа в руках польский мундир с болтающимися рукавами. Мундир не пришелся по мерке. Рукава едва достигали локтей. Тогда Голов прощупал пальцами егеревские кальсоны пленного.

— Ты офицер,— сказал Голов, закрываясь рукой от солнца.

— Нет,— услышали мы твердый ответ.

— Наш брат таких не носит,— пробормотал Голов и замолчал. Он молчал, вздрагивал, смотрел на пленного, глаза его белели и расширялись.

— Матка вязала,— сказал пленный с твердостью. Я обернулся и взглянул на него. Это был юноша с тонкой талией. На желтых щеках его вились баки.

— Матка вязала,— повторил он и опустил глаза.

— Фабричная у тебя матка,— подхватил Андрюшка Бурак, румяный казачок с шелковыми волосами, тот самый, который стаскивал штаны с умирающего поляка. Штаны эти были переброшены через его седло. Смеясь, Андрюшка подъехал к Голову, осторожно снял у него с руки мундир, кинул к себе на седло поверх штанов и, легонько взмахнув плетью, отъехал от нас.

Солнце вылилось в это мгновение из-за туч. Оно ослепительно окружило Андрюшкину лошадь, веселый ее бег, беспечные качания ее куцого хвоста. Голов с недоумением посмотрел вслед удалявшемуся казаку. Он обернулся и увидел меня, составлявшего пленным список. Потом он увидел юношу с вьющимися баками. Тот поднял на него спокойные глаза снисходительной юности и улыбнулся его растерянности. Тогда Голов сложил руки трубкой и крикнул: Республика наша живая еще, Андрей. Рано дележку делать. Скидай барахло!

Андрей и ухом не повел. Он ехал рысью, и лошаденка его бойко выкидывала из-под себя хвост, точно отмахивалась от нас.

— Измена,— прошептал тогда Голов, произнося это слово по буквам, и стал жалок, и оцепенел. Он опустился на колено, взял прицел и выстрелил, и промахнулся. Андрей немедля повернул коня и поскакал к взводному в упор. Румяное и цветущее лицо его было сердито.

— Слышь, земляк,— закричал он звонко и вдруг обрадовался звуку своего сильного голоса,— «как бы я не стукнул тебя, взводный, к такой-то свет матери. Тебе десяток шляхты прибрать — ты вон каку суету поднял. По сотне прибирали, тебя в подмогу не звали... Рабочий ты если — так сполняй свое дело...

И победоносно поглядев на нас, Андрюшка отъехал галопом. Взводный не поднял на него глаз. Он взялся рукой за лоб. Кровь лилась с него как дождь со скирды. Он лег на живот, пополз к ручью и надолго всунул в пересыхающую воду разбитую свою окровавленную голову...

Девяти пленных нет в живых. Я знаю это сердцем. Сидя на коне, я составил им список, аккуратно разграфленный. В самой первой графе были номера по порядку, в другой — имя и фамилия и в третьей наименование части. Всего вышло девять номеров. И четвертым из них был Адольф Шульмейстер, лодзинский приказчик, еврей. Он притирался все время к моему коню и гладил мой сапог трепещущими нежащими пальцами. Нога его была перебита прикладом. От нее тянулся тонкий след, как от раненой охромевшей собаки, и на щербатой, оранжевой лысине Шульмейстера закипал сияющий на солнце пот.

— Вы Jude, пане,— шептал он, судорожно лаская мое стремя. Вы — Jude,— визжал он, брызгая слюной и корчась от радости.

— Стать в ряды, Шульмейстер,— крикнул я еврею, и вдруг, охваченный смертоносной слабостью, я стал ползти с седла и сказал, задыхаясь: — Почем Вы знаете?

— Еврейский сладкий взгляд,— взвизгнул он, прыгая на одной ноге и волоча за собой собачий тонкий след,— Сладкий взгляд Ваш, пане.

Я едва оторвался от предсмертной его суетливости. Я опоминался медленно, как после контузии.

Начальник штаба приказал мне распорядиться и уехал к частям.

Пулеметы втаскивали на пригорок, как телят, на веревках. Они двигались рядком, как дружное стадо, и успокоительно лязгали. Солнце заиграло на их пыльных дулах. И я увидел радугу на железе. Поляк, юноша с вьющимися баками, смотрел на них с деревенским любопытством. Он подался всем корпусом вперед и открыл мне Голова, выползавшего из канавы, внимательного и бледного, с разбитой головой и винтовкой на отвес. Я протянул к Голову руки и крикнул, но звук задохся и разбух в моей гортани. Голов поспешно выстрелил пленному в затылок и вскочил на ноги. Удивленный поляк повернулся к нему, сделав полный круг, как на ученье. Медленным движением отдающейся женщины поднял он обе руки к затылку, рухнул на землю и умер мгновенно.

Улыбка облегчения и покоя заиграла тогда на лице Голова. К нему легко вернулся румянец.

— Нашему брату матка таких исподников не вяжет,— сказал он мне лукаво.— Вымарай одного, давай записку на восемь штук...

Я отдал ему записку и произнес с отчаянием: Ты за все ответишь, Голов.

— Я отвечу,— закричал он с невыразимым торжеством.— Не тебе, очкастому, а своему брату, сормовскому. Свой брат разберет...

Девяти пленных нет в живых. Я знаю это сердцем. Сегодня утром я решил отслужить панихиду по убитым. В Конармии некому это сделать, кроме меня. Отряд наш сделал привал в разрушенном фольварке. Я взял дневник и пошел в цветник, еще уцелевший. Там росли гиацинты и голубые розы.

Я стал записывать о взводном и девяти покойниках, но шум, знакомый шум прервал меня тотчас. Черкашин, штабной холуй, шел в поход против ульев. Митя, румяный орловец, следовал за ним с чадящим факелом в руках. Головы их были замотаны шинелями. Щелки их глаз горели. Мириады пчел отбивали победителей и умирали у ульев. И я отложил перо. Я ужаснулся множеству панихид, предстоявших мне.

# КОНАРМЕЙСКИЙ ДНЕВНИК 1920 ГОДА

*Весной 1920 года, когда армия Пилсудского, пройдя через Западную Украину, заняла Киев и укрепилась на левом берегу Днепра, а легендарная 1-ая Конная, после успешных боев на деникинском фронте, начала свой более чем 1000-километровый рейд от Майкопа до Умани, в распоряжение Политотдела Армии выехал из Одессы молодой, никому в России не известный литератор Кирилл Лютов. Это был псевдоним Исаака Бабеля, будущего автора «Конармии».*

*Находясь в должности военного корреспондента газеты «Красный кавалерист» по 6-ой кавалерийской дивизии, Бабель вел дневник, отдельные страницы и эпизоды которого послужат в дальнейшем основой для «конармейских» рассказов. Прежде всего записи Бабеля — драгоценный человеческий документ, где нашли отражение мучительные, зачастую противоречивые раздумья писателя о революции, войне и собственной судьбе. Однако, записи эти, сделанные в походной обстановке, менее всего носят характер исповеди. Перед нами скорее более или менее упорядоченная фиксация того, что Бабелю удалось увидеть и пережить, будучи непосредственным участником исторических событий. Именно Конармия, ее бойцы, командиры, а также польские солдаты и представители галицийского еврейства становятся главным предметом изображения в дневнике 1920 года. К автору дневника вполне применимы слова Д. Фурманова, сказанные в романе «Чапаев» о комиссаре Клычкове: «Писал он в дневник свой обычно то, что никак не попадало на столбцы газет или отражалось там жалчайшим образом. Для чего писал — не знал и сам: так, по*

*ественной какой-то, органической потребности, не отдавая себе ясного отчета». Спустя три года органическая потребность записывать трансформировалась у Бабеля в тщательную, упорную отделку сюжетов для книги «Конармия». На юбилейном вечере писателя в ноябре 1964 года, состоявшемся в ЦДЛ им. А. Фадеева, Илья Эренбург отмечал: «Он смягчал все страшные места. Я сравнивал дневник с рассказами. Он почти не менял фамилии, эпизоды те же, он освещал только все какой-то мудростью. Он сказал: «Вот так это было. Вот люди, эти люди бесчинствовали и страдали, глумились и умирали, и была у каждого своя жизнь, своя правда». Из тех же самых фактов, из тех же фраз, которые он впопыхах записывал в тетрадь, он потом писал». (Стенограмма вечера, посвященного 70-летию И. Э. Бабеля. Архив А. Н. Пирожковой.) Действительно, некоторые слова, фразы и даже целые диалоги писатель переносит из дневника в канонический текст «Конармии», но все же справедливости ради следует сказать, что успех книги объясняется в основном энергией стиля: под пером мастера сырой материал действительности становится явлением высокого искусства.*

*Сегодня дневник Бабеля читается не только как своеобразное предисловие к знаменитой книге, события советско-польской войны 1920 года, запечатленные в заметках Бабеля как бы изнутри, неофициально приобретают новый смысл в контексте всеобщего исторического ликбеза. Дневник существенно расширяет наши представления об одном из важнейших этапов гражданской войны в России. Польская кампания в целом и неудача Красной армии в походе на Варшаву нашли в лице Бабеля правдивого летописца. Современные исследователи все чаще обращаются к тем далеким и еще не до конца изученным страницам отечественной истории. Понять их в чем-то существенном помогает дневник Бабеля. Быть может, писатель был в числе первых, кто почувствовал горькую изнанку мифа о «сладкой революции».*

*Человек в нечеловечских условиях — вот центральная тема бабелевского военного дневника. Можно иронизировать над гуманизмом автора, по привычке называя его «абстрактным», можно даже обвинять*

*Бабеля в пацифизме, но все эти стрелы летят мимо цели, потому что высшей ценностью для художника, как точно заметил критик А. Воронский, остается Человек «с большой буквы». Антимилитаристский пафос дневника делает его вечно современным.*

*Дневник является также важным документом для научной биографии писателя. 6-я кавалерийская дивизия, в рядах которой находился Бабель, уже в начале кампании принимала участие в самых ответственных боях с противником, неся значительные потери. Бабель разделял с конармейцами все тяготы боевого похода в знаменитом Житомирском прорыве, в Ровенско-Дубенской операции, в боях за Броды и Львов. Читая дневник, лучше понимаешь «Конармию» и ее автора, по адресу которого неоднократно звучали беспочвенные упреки в том, что он находился «на задворках» героической армии, в «хвосте», и был занят лишь тем, что «рану павшего в бою строкою золотил». В черновой рукописи своего «Критического романса» Виктор Шкловский между прочим так писал о встрече с Бабелем после возвращения того из 1-й Конной: «От него я узнал, что его не убили, а только убивали. Что он ездил и удивлялся с армией Буденного. От других я узнал, что он удивлялся в атаках, испытывал их и выносил». (ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 75).*

*Тетрадь, в которой Бабель вел записи во время польской кампании, сохранили его киевские друзья: сначала М. Я. Овруцкая, затем Б. Е. и Т. О. Стах. Первая запись на 55-й странице сделана в Житомире накануне прорыва конницей Буденного польского фронта и датирована 3 июня. 15 сентября в Клевани записи обрываются. В тетради отсутствуют страницы 69—89, относящиеся к периоду между 6 июня и 11 июля 1920 года. Таким, образом, уцелела лишь часть дневника, правда, охватывающая практически весь активный период действий 1-й Конной на Юго-Западном фронте. В настоящем издании дневник Бабеля публикуется полностью.*

*С. Н. Поварцов*

ДНЕВНИК НАЧИНАЕТСЯ С 55-й СТРАНИЦЫ.
НЕТ ПЕРВЫХ 54-х СТРАНИЦ

*Житомир. 3.6.20*

Утром в поезде, приехал за гимнастеркой и сапогами. Сплю с Жуковым, Топольником, грязно, утром солнце в глаза, вагонная грязь. Длинный Жуков, прожорливый Топольник, вся редакционная коллегия — невообразимо грязные человеки.

Дрянной чай в одолженных котелках. Письма домой, пакеты в Югроста, интервью с Поллаком, операция по овладению Новоградом, дисциплина в польской армии — слабеет, польская белогвардейская литература, книжечки папиросной бумаги, спички, до /украинские/ жиды, комиссары, глупо, зло, бессильно, бездарно и удивительно неубедительно. Выписка Михайлова из польских газет.

Кухня в поезде, толстые солдаты с налитыми кровью лицами, серые души, удушливый зной в кухне, каша, полдень, пот, прачки толстоногие, апатичные бабы — станки — описать солдат и баб, толстых, сытых, сонных.

Любовь на кухне.

После обеда в Житомир. Белый, не сонный, а подбитый, притихший город. Ищу следов польской культуры. Женщины хорошо одеты, белые чулки. Костел.

Купаюсь у Нуськи в Тетереве, скверная речонка, старые евреи в купальне с длинными тощими ногами, обросшими седым волосом. Молодые евреи. Бабы на Тетереве полощут белье. Семья, красивая жена, ребенок у мужа.

Базар в Житомире, старый сапожник, синька, мел, шнурки.

Здания синагог, старинная архитектура, как все это берет меня за душу.

Стекло к часам 1200 р. Рынок. Маленький еврей философ. Невообразимая лавка — Диккенс, метлы и золотые туфли. Его философия — все говорят, что они воюют за правду и все грабят. Если бы хоть какое-нибудь правительство было доброе. Замечательные слова, бороденка, разговариваем, чай и три пирожка с яблоками — 750 р. Интересная старуха, злая,

толковая, неторопливая. Как они все жадны к деньгам. Описать базар, корзины с фруктами вишень, внутренность харчевни. Разговор с русской, пришедшей одолжить лоханку. Пот, чахлый чай, въедаюсь в жизнь, прощайте, мертвецы.

Зять Подольский, заморенный интеллигент, что-то о Профсоюзах, о службе у Буденного, я, конечно, русский, мать еврейка, зачем?

Житомирский погром, устроенный поляками, потом, конечно, казаками.

После появления наших передовых частей поляки вошли в город на 3 дня, еврейский погром, резали бороды, это обычно, собрали на рынке 45 евреев, отвели в помещение скотобойни, истязания, резали языки, вопли на всю площадь. Подожгли 6 домов, дом Конюховского на Кафедральной — осматриваю, кто спасал — из пулеметов, дворника, на руки которому мать сбросила из горящего окна младенца — прикололи, ксендз приставил к задней стене лестницу, таким способом спасались.

Заходит суббота, от тестя идем к цадику. Имени не разобрал. Потрясающая для меня картина, хотя совершенно ясно видно умирание и полный декаданс. Сам цадик — его широкоплечая, тощая фигурка. Сын — благородный мальчик в капотике, видны мещанские, но просторные комнаты. Все чинно, жена — обыкновенная еврейка, даже типа модерн.

Лица старых евреев.

Разговоры в углу о дороговизне.

Я путаюсь в молитвеннике. Подольский поправляет.

Вместо свечи — коптилка.

Я счастлив, огромные лица, горбатые носы, черные с проседью бороды, о многом думаю, до свиданья, мертвецы. Лицо цадика, никелевое пенсне;

— Откуда вы, молодой человек?

— Из Одессы.

— Как там живут?

— Там люди живы.

— А здесь ужас.

Короткий разговор.

Ухожу потрясенный.

Подольский бледный и печальный, дает мне свой адрес, чудесный вечер. Иду, думаю обо всем, тихие,

чужие улицы. Кондратьев с черненькой еврейкой, бедный комендант в папахе, он не имеет успеха.

А потом ночь, поезд, разрисованные лозунги коммунизма (контраст с тем, что я видел у старых евреев).

Стук машин, своя электрическая станция, свои газеты, идет сеанс синематографа, поезд сияет, грохочет, толстомордые солдаты стоят в хвост у прачек. (на два дня)

*Житомир. 4.6.20*

Утром — пакеты в Югроста, сообщение о житомирском погроме, домой, Орешникову, Нарбуту.

Читаю Гамсуна. Собельман рассказывает мне сюжет своего романа.

Новая рукопись Иова, старик живший в столетиях, отсюда унесли ученики, чтобы симулировать вознесение, пресыщенный иностранец, русская революция.

Шульц, вот главное, сластолюбие, коммунизм, как мы берем у хозяев яблоки, Шульц разговаривает, его лысина, яблоки за пазухой, коммунизм, фигура Достоевского, тут что-то есть, тут надо выдумать, это неистощимое любострастие, Шульц на улицах Бердичева.

Хелемская, у которой был плеврит, понос, пожелтела, грязный капот, яблочный мусс. Зачем ты здесь, Хелемская? Тебе надо выйти замуж, муж — техническая контора, инженер, аборт или первый ребенок, вот какова была твоя жизнь, твоя мать, ты брала раз в неделю ванну, твой роман Хелемская, и вот как тебе надо жить и ты приспособишься к революции.

Открытие коммунистического клуба в редакции. Вот он пролетариат — эти из подполья невероятно чахлые еврейки и евреи. Жалкое, страшное племя, иди вперед. Описать потом концерт, женщины поют малороссийские песни.

Купание в Тетереве. Киперман, как мы ищем пищу. Что такое Киперман? Какой я дурак, замотал деньги. Он колеблется как тростина, у него большой нос и он нервен, может быть сумасшедший, однако обжулил, как он оттягивает уплату, заведует клубом. Описать его штаны, нос и неторопливый говор, мучения в тюрьме, страшный человек Киперман.

Ночь на бульваре. Погоня за женщинами. Четыре аллеи, четыре стадии: знакомство, беседа, возникновение желания, удовлетворение желания, внизу Тетерев, лекпом старый, который говорит, что у комиссаров все есть, и вино, но он благожелателен.

Я и украинская редакция.

Гужин, иа которого сегодня пожаловалась Хелемская, ищут чего-нибудь получше. Я устал. И вдруг одиночество, течет передо мною жизнь, а что она обозначает.

*Житомир. 5.6.20*

Получил в поезде сапоги, гимнастерку. Еду на рассвете в Новоград. Машина Thornicroft. Все взято у Деникина. Рассвет на монастырском или школьном дворе. Спал на машине. В 11 часов в Новограде. Дальше иа другом Thornicroft'е. Обходной мост. Город живее, развалины кажутся обычными. Беру мой чемодан. Штаб уехал на Корец. Одна из евреек родила, в лечебнице, конечно. Длинный и горбоносый просит службу, бегает за мной с чемоданом. Обещаю завтра вернуться. Новоград — Звягель.

На грузовике снабженец в белой папахе, еврей и сутуловатый Морган. Ждем Моргана, он в аптеке, у братишки триппер. Машина идет из-под Фастова. Два толстых шофера. Летим, настоящий русский шофер, вытрясло все внутренности. Поспевает рожь, скачут ординарцы, несчастные, огромные запыленные грузовики, раздетые польские пухлые беловолосые мальчики, пленные, польские носы.

Корец, описать, евреи у большого дома, ешиве бохер в очках, о чем они говорят, старики с желтыми бородами, сутуловатые коммерсанты, хилые, одинокие. Хочу остаться, но телефонисты сворачивают провода. Конечно, штаб уехал. Рвем яблоки и вишни. С бешеной скоростью дальше. Потом шофер, красный кушак, ест хлеб пальцами, запачканными машинным маслом. Не доезжая 6 верст — магнето залито маслом. Починка под палящим солнцем, пот и шоферы. Доезжаю на телеге с сеном — (забыл — инспектор артиллерии Тимошенко (?) осматривает орудия в Кореце. Наши генералы). Вечер. Ночь. Парк в Тоще. Мчится Зотов с штабом, скачут обозы, штаб

уехал на Ровно, тьфу, ты пропасть. Евреи, решаю остаться у Дувид Ученик, солдаты отговаривают, евреи просят. Умываюсь, блаженство, много евреев. Братья Ученика — близнецы? Раненые зовут знакомиться. Здоровые черти, ранены в мякоть ноги, сами передвигаются. Настоящий чай, ужинаю. Дети Ученика, маленькая, но многоопытная девочка с прищуренными глазами, трепещущая девушка 6 лет, толстая жена с золотыми зубами. Сидят вокруг меня, в доме тревога. Ученик рассказывает — ограбили поляки, потом эти налетели, с гиканьем и шумом, всё разнесли, вещи жены.

Девочка — вы не еврей? Ученик сидит и смотрит, как я ем, на его коленях дрожит девочка. Она напугана, погреба и стрельба и ваши. Я говорю — будет хорошо, что такое революция, говорю от избытка. С нами плохо, нас будут грабить, не ложитесь спать.

Ночь, фонарь перед окном, еврейская грамматика, болит душа, волосы у меня свежие, свежая тоска. Пот от чаю. Подмога — Цукерман с винтовкой. Радиотелеграфист. Солдаты во дворе, гонят спать, хихикают. Подслушиваю: предчувствуют, становись, скошу косой.

Лови арестованную. Звезды, ночь над местечком. Казак высокий, с серьгой, с белым донышком шапки. Арестовали сумасшедшую Стасовой — тюфяк, поманила пальцем, идем, я тебе дам, у меня бы всю ночь работала, вилась, скакала бы да не бегала. Солдаты гонят спать. Ужинают — яичница, чай, жаркое, невообразимая грубость, развалясь у стола, хозяйка, дай, Ученик перед своим домом, выставили дежурного, комедия, иди спать, я сторожу свой дом. Страшная история с арестованной сумасшедшей. Ищут — убьют.

Не сплю. Я помешал, они сказали — все пропало.

Тяжелая ночь, дурак с поросячьим телом — радиотелеграфист. Грязные ногти и деликатное обхождение. Беседа о еврейском вопросе. Раненый в черной рубашке — молокосос и хам, старые евреи бегают, женщины в разгоне. Никто не спит. Какие-то девушки на крылечке, какой-то солдат спит на диване.

Пишу дневник. Есть лампа. Парк перед окном, проезжает обоз. Никто не ложится спать. Приехала машина. Морган ищет священника, я веду его к евреям.

Горынь, евреи и старухи у крылечек. Тоща ограблена, в Тоще чисто, Тоща молчит. Чистая работа. Шепотом — всё забрали и даже не плачут, специалисты. Горынь, сеть озер и притоков, вечерний свет, здесь был бой перед Ровно. Разговоры с евреями, мое родное, они думают, что я русский, и у меня душа раскрывается. Сидим на высоком берегу. Покой и тихие вздохи за спиной. Иду защищать Ученика. Я им сказал, что у меня мать еврейка, история, Белая Церковь, раввин.

*Ровно. 6.6.20*

Спал тревожно, несколько часов. Просыпаюсь, солнце, мухи, постель хорошая, еврейские розовые подушки, пух. Солдаты стучат костылями. Снова — дай, хозяйка. Жареное мясо, сахар из граненой стопочки, сидят развалясь, чубы свисают, одеты по-походному, красные штаны, папахи, обрубки ног висят молодцевато. У женщин кирпичные лица, бегают, все не спали. Дувид Ученик бледен, в жилетке. Мне — не уезжайте до того, как они здесь. Забирает фура. Солнце, напротив парк, фура ждет, уехали. Конец. Спас.

Вчера вечером прибыла машина. В 1 час едем из Тощи на Ровно. Горынь на солнце сияет. Гуляю утром. Оказывается, хозяйка не ночевала дома, прислуга с подругами сидела с солдатами, хотевшими ее изнасиловать, всю ночь до рассвета, кормила их беспрерывно яблоками, степенные разговоры, надоело воевать, хотим жениться, идите спать. Девочка косоглазая разговорилась, Дувид одел жилет, талес, степенно молится, благодарит, на кухне мука, месяц, зашевелились, прислуга толстоногая, босая, толстая еврейка с мягкой грудью убирает и беспрерывно рассказывает. Речи хозяйки — она за то, чтобы было хорошо. Дом оживает.

Еду на Thornicroft'е в Ровно. Две павших лошади. Сломанные мосты, автомобиль на мостках, все трещит, бесконечные обозы, скопления, ругань, описать обоз в полдень перед сломанным мостом, всадники, грузовики, двуколки со снарядами. Наш грузовик мчится бешено, хотя он весь изломан, пыль.

Не доезжая 8 верст — стал. Вишни, сплю, потею на солнце. Кузицкий, потешная фигурка, моментально

гадает, раскладывает карты, фельдшер из Бородяниц, бабы платили за лечение натурой, жареными курицами и собой, всё тревожится — отпустит ли его начсанчасти, показывает действительные раны, когда сходит хромает, бросил девицу на дороге в 40 верстах от Житомира, иди, она говорила, что за ней ухаживает наштадив. Теряет хлыстик, сидит полуголый, болтает, врет без удержу, карточка брата, бывшего штаб-ротмистра, теперь начдива, женатого на польской княгине, расстрелян деникинцами.

Я медик.

В Ровно пыль, пыльное золото расплавленное течет над скучными домишками.

Проходит бригада, Зотов в окне, ровенцы, вид казаков, изумительное спокойное, уверенное войско. Еврейские девицы и юноши следят с восхищением, старые евреи смотрят равнодушно. Дать воздух Ровно, что-то раздерганное, неустойчивое и есть быт и польские вывески.

Описать вечер.

Хасты, черноволосая и хитрая девица, приехавшая из Варшавы, ведет фельдшер, злое словесное зловоние, кокетство, вы у нас будете есть, умываюсь в проходной комнате, все неудобно, блаженство, я грязен и потен, потом горячий чай с моим сахаром.

Описать тот Хаст, сложная фурия, невыносимый голос, думают, что я не понимаю по-еврейски, ссорятся беспрерывно, животный страх, отец — не простая вещь, улыбающийся фельдшер, лечит от трипперов (?), улыбается, невидим, но кажется вспыльчив, мать — мы интеллигенты, у нас ничего нет, он же фельдшер, работник, пусть будут эти, но тихо, мы измучены, явление ошеломляющее — круглый сын с хитрой и идиотской улыбкой за стеклами круглых очков, вкрадчивая беседа, за мной ухаживают, масса сестер, все сволочи (?). Зубной врач, какой-то внук, с которым все разговаривают так же визгливо и истерически, как со стариками, приходят молодые евреи — ровенцы с плоскими и пожелтевшими от страха лицами и рыбьими глазами, рассказывают о польских издевательствах, показывают паспорта, был торжественный декрет о присоединении к Польше и Волыни, вспоминаю польскую культуру, Сенкевича, женщин, великодер-

жавие, опоздали родиться, теперь классовое самосознание.

Даю стирать белье. Пью чай беспрерывно и потею зверски, и всматриваюсь в Хастов внимательно, пристально. Ночь на диване. В первый раз со дня выезда разделся. Закрывают все ставни, горит электричество, духота страшная, там спит масса людей, рассказы о грабежах буденновцев, трепет и ужас, за окном фыркают лошади, по Школьной улице обозы, ночь.

### ПРОПУЩЕНА (УТЕРЯНА) В ДНЕВНИКЕ 21 СТРАНИЦА

*Белёв. 11.7.20*

Ночевал с солдатами штабного эскадрона, на сене. Спал плохо, думаю о рукописях. Тоска, упадок энергии, знаю, что превозмогу, когда это будет? Думаю о Хастах, гниды, вспоминаю все и эти вонючие души, и бараньи глаза, и высокие скрипучие неожиданные голоса, и улыбающийся отец. Главное — улыбка и он вспыльчивый, и много тайн, смердящих воспоминаний о скандалах. Огромная фигура — мать, она зла, труслива, обжорлива, отвратительна, остановившийся, ожидающий взор. Гнусная и подробная ложь дочери, смеющиеся глаза сына из-под очков.

Слоняюсь по селу. Еду в Клевань, местечко взято вчера 3-ей кавбригадой 6-ой дивизии. Наши разъезды появились на линии шоссе Ровно — Луцк, Луцк эвакуируется.

8—12-го тяжелые бои, убит Дундич, убит Щадилов, командир 36-го полка, пало много лошадей, завтра будем знать точно.

Приказы Буденного об отобрании у нас Ровно, о неимоверной усталости частей, о том, что яростные атаки наших бригад не дают прежних результатов, беспрерывные бои с 27 мая, если не дадут передышки — армия сделается небоеспособной.

Не рано ли издавать такой приказ? Разумно, будят тыл — Клевань. Похороны 6 или 7 красноармейцев. Поехал за тачанкой. Похоронный марш, на обратном пути с кладбища — походный бравурный марш,

процессии не видно. Столяр — бородатый еврей — бегает по местечку, он сколачивает гробы.

Главная улица — тоже Schosowa.

Моя первая реквизиция — записная книга. Со мной ходит служка Менаше. Обедаю у Мудрика, старая песня, евреи разграблены, недоумение, ждали советскую власть как избавителей, вдруг крики, нагайки, жиды. Меня обступил целый круг, я им рассказываю о ноте Вильсону, об армиях труда, еврейчики слушают, хитрые и сочувственные улыбки, еврей в белых штанах лечился в сосновом лесу, хочет домой. Евреи сидят на завалинках, девицы и старики, мертво, знойно, пыльно, крестьянин (Парфентий Мельник, тот самый, что служил на военной службе в Елисаветполе) жалуется, что лошадь распухла от молока, забрали от жеребенка, тоска, рукописи, рукописи, вот что туманит душу.

Полковник Гороз выбран населением,— войт — 60 лет, дореформенная благородная крыса. Говорим об армии, о Брусилове, если Брусилов пошел, чего же нам думать. Седые усы, шамкает, бывший человек, курит самодельный табак, живет в управлении, старика жалко.

Писарь в волостном управлении, красивый хохол, идеальный порядок, переучивался по-польски, показывает мне книги, статистику в волости — 18600 человек, из них 800 человек поляков, хотели присоединить к Польше, торжественный акт о присоединении к польскому государству.

Писарь тоже дореформенный в бархатных штанах, с хохлацкой мовой, тронутый новым временем, усики.

Клевань, его дороги, улицы, крестьяне и коммунизм далеко друг от друга.

Хмелеводство, много рассадников, четырехугольные зеленые стены, сложная культура.

У полковника — голубые глаза, у писаря — шелковистые усы.

Ночь, работа штаба в Белёве. Что такое Жолнаркевич? Поляк? Его чувства? Трогательная дружба двух братьев. Константин и Михайло. Жолнаркевич — старый служака, точный, работоспособный без надрыва, энергичный без шума, польские усы, польские тонкие ноги. Штаб — это Жолнаркевич, еще 3 писаря, заматывающихся к ночи.

Колоссальное дело, расположение бригад, нет припасов, самое главное — операционные направления, делается незаметно. Ординарцы спят на земле у штаба. Горят тонкие свечки, наштадив в шапке отирает лоб и диктует, диктует беспрерывно — оперсводки, приказания, Артдивизиону, Плетарму, держим направление на Луцк.

Ночь, сплю на сене рядом с Лепиным, латышом, бродят оторвавшиеся кони, выхватывают сено из-под головы.

*Белёв. 12.7.20*

Утром — начал журнал военных действий, разбираю оперсводки. Журнал — будет интересная штука.

После обеда еду верхом на лошади ординарца Соколова (больного возвратным тифом, он лежит рядом на земле в кожаной куртке, худой и породистый с плетью в исхудавшей руке, ушел из госпиталя, не кормили и было скучно, лежал больной в эту страшную ночь оставления Ровно, весь был залит водой, длинный, шатается, любопытно разговаривает с хозяевами, но и повелительно, точно все мужики его враги). Шпаков, чешская колония. Богатый край, много овса и пшеницы, еду через деревни — Пересопница, Милостово, Плоски, Шпаково. Есть льнянка, из нее подсолнечное масло, и много гречихи.

Богатые деревни, жаркий полдень, пыльные дороги, прозрачное небо без облака, лошадь ленивая, хлещу — бежит. Первая моя поездка верхом. В Милостове — беру подводу Шпакова — еду за тачанкой и лошадьми с предписанием от штаба дивизии.

Мягкосердечие. С восхищением вглядываюсь в нерусскую, чистую, крепкую жизнь чехов. Хороший староста, по всем направлениям скачут всадники, каждый раз новые требования, сорок подвод сена, 10 свиней, агенты Опродкома — хлеба, квитанция у старосты — овес получили — спасибо. Разведком 34-го полка.

Крепкие избы сияют на солнце, черепица, железо, камень, яблоки, каменное здание школы, полугородского типа женщины, яркие передники. Идем к мельнику Юрипову, самый богатый и интеллигентный, высокий, красивый типичный чех с западноевропейски-

ми усами. Прекрасный двор, голубятня, это умиляет меня, новые мельничные машины, былое благосостояние, белые стены, обширный двор, одноэтажный просторный светлый дом и комната — хорошая, вероятно, семья у этого чеха, отец — жилистый бедняк — все добрые, крепкий сын с золотыми зубами, стройный и широкоплечий. Хорошая, наверное, молодая жена и дети.

Усовершенствованная, конечно, мельница.

Чех набит квитанциями. Забрали четырех лошадей и дали записки в Ровенский уездный комиссариат, забрали фаэтон, дали взамен разломанную тачанку, квитанции три на муку и овес.

Приходит бригада, красные знамена, мощное спаянное тело, уверенные командиры, опытные, спокойные глаза чубатых бойцов, пыль, тишина, порядок, оркестр, рассасываются по квартирам, комбриг кричит мне — ничего не брать отсюда, здесь наш район. Чех беспокойными глазами следит за мотающимся в отдалении молодым ловким комбригом, вежливо разговаривает со мной, отдает сломанную тачанку, но она рассыпается. Я не проявляю энергии. Идем во второй, в третий дом. Староста указывает, где можно взять. У старика, действительно, фаэтон, сын жужжит над ухом, сломано, передок плохой, думаю — есть у тебя невеста или едете по воскресеньям в церковь, жарко, лень, жалко, всадники рыщут, так выглядит сначала свобода. Ничего не взял, хотя и мог, плохой из меня буденновец.

Обратно, вечер, во ржи поймали поляка, как на зверя охотятся, широкие поля, алое солнце, золотой туман, колышутся хлеба, в деревне гонят скот, розовые пыльные дороги, необычайной нежной формы, из краев жемчужных облаков — пламенные языки, оранжевое пламя, телеги поднимают пыль.

Работаю в штабе (лошадь скакала здорово), иду спать рядом с Лепиным. Он латыш, морда туповатая, поросячья, очки, кажется, добр. Генштабист.

Острит тупо и неожиданно. Бабка, когда ты умрешь, и вцепился.

В штабе нет керосина. Он говорит — мы стремимся к свету, у нас нет освещения, буду играть с деревенскими девушками, протянул руку, не пускает, морда напряженная, свинячья губа вздрагивает, очки шевелятся.

*Белёв. 13.7.20*

Я именинник. 26 лет. Думаю о доме, о своей работе, летит моя жизнь. Нет рукописей. Тупая тоска, буду превозмогать. Веду свой журнал, будет интересная вещь.

Писаря красивые, молодые, штабные русские молодые люди поют арии из опереток, развращены немного штабной работой. Описать ординарцев — наштадива и прочих — Черкашин, Тарасов,— барахольщики, лизоблюды, льстецы, обжоры, лентяи, наследие старого, знают господина.

Работа штаба в Белёве. Хорошо налаженная машина, прекрасный начальник штаба, машинная работа и живой человек. Открытие — поляк, убрали его, по требованию начдива вернули, любим всеми, хорошо живет с начдивом, что он чувствует? И не коммунист, и поляк, и служит верно, как цепная собака, разбери.

Об операциях.

Где стоят наши части.

Операция на Луцк.

Состав дивизии, комбриги.

Как протекает работа штаба — директива, потом приказ, потом оперативная сводка, потом разведсводка, тащим политотдел, ревтрибунал, конский запас.

Еду в Ясиневичи обменять экипаж на тачанку и лошадей. Пыль невероятная, жара. Едем через Пересопницу, отрада в полях, 27-ой год, думаю, готова рожь, ячмень, местами очень хорош овес, мак отцветает, вишень нет, яблоки неспелые, много льнянки, гречихи, много вытоптанных полей, хмель.

Богатая, но в меру, земля.

Начальник конского запаса Дьяков — феерическая картина, красные штаны с серебряными лампасами, пояс с насечкой, ставрополец, фигура Аполлона, короткие седые усы, 45 лет, есть сын и племянник, ругань фантастична, привозят из отдела снабжения, разломал стол, но достал. Дьяков, его любит команда, командир у нас геройский, был атлетом, полуграмотен, теперь «я инспектор кавалерии», генерал, Дьяков — коммунист, смелый старый буденновец. Встретился с миллионером, дама под ручкой, что господин Дьяков, не встречался ли я с вами в клубе? Был в 8-ми государствах, выйду на сцену, моргну.

Танцор, гармонист, хитрец, враль, живописнейшая фигура. С трудом читает бумажки, каждый раз теряет их, одолела, говорит, канцелярщина, откажусь, что без меня делать будут, ругань, разговор с мужиками, те разинули рты.

Тачанка и пара тощих лошадей, о лошадях.

К Дьякову с требованиями, уф, заморился, раздавать белье, все в затылок, отношения отеческие, ты будешь (больному) старшим гуртовщиком. Домой. Ночь. Штабная работа.

Живем в доме матери старосты. Веселая хозяйка говорит скороговоркой, подол подоткнут, работает как муравей на своих, да еще на 7 человек. Черкашин (ординарец Лепина), наглый и надоедливый, не дает покоя, всё мы требуем, какие-то дети шляются, сено забираем, в хате, полной мух, детей, стариков, невеста, толкутся солдаты и горланят. Старуха больна. Старики приходят в гости и горестно молчат, лампочка.

Ночь, штаб, выспренний телефонист, К. Карлыч пишет донесения, ординарцы, дежурные писаря спят, на деревне ни зги, сонный писарь стучит приказ, К. Карлыч точный как часы, молчаливо приходят ординарцы.

Операция на Луцк. Ведет 2-ая бригада, пока не взяли. Где наши передовые части?

*Белёв. 14.7.20*

С нами живет Соколов. Лежит на сене, длинный, русский, в кожаных сапогах. Румяный орловец, безобидный парень Миша. Лепин, когда никто не видит, заигрывает с наймичкой, тупое, напряженное лицо, наша хозяйка говорит скороговоркой, присказки, работает без устали, старуха свекровь — высохшая старушонка любит ее, Черкашин, ординарец Лепина понукает, сыпет не замолкая.

Лепин заснул в штабе, совершенно идиотское лицо, никак не может проснуться. На деревне стон, меняют лошадей, дают одров, травят хлеба, забирают скот, жалобы начальнику штаба, Черкашина арестовывают, избил плетью мужика. Лепин 3 часа пишет письмо в Трибунал, Черкашин, мол, находился под влиянием возмутительно провокационных выходок красного

офицера Соколова. Не советую — 7 солдат в одной хате.

Злой и тощий Соколов говорит мне — мы всё уничтожаем, ненавижу войну.

Почему все они — Жолнаркевич, Соколов здесь на войне? Все это бессознательно, инертно, недуманье. Хороша система.

Франк Мошер. Сбитый летчик американец, босой, но элегантен, шея, как колонна, ослепительно белые зубы, костюм в масле и грязи. С тревогой спрашивает меня, неужели я совершил преступление, воюя с советской Россией. Сильно наше дело. Ах, как запахло Европой, кафе, цивилизацией, силой, старой культурой, много мыслей, смотрю, не отпускаю. Письмо майора Фонт-Ле-Ро — в Польше плохо, нет конституции, большевики сильны, социалисты в центре внимания, но не у власти. Надо учиться новым способам войны. Что говорят западноевропейским солдатам? Русский империализм, хотят уничтожить национальности, обычаи — вот главное, захватить все славянские земли, какие старые слова. Нескончаемый разговор с Мошером, погружаюсь в старое, растрясут тебя, Мошер, эх, Конан-Дойль, письма в Нью-Йорк. Лукавит Мошер или нет — судорожно добивается, что такое большевизм. Грустное и сладостное впечатление.

Свыкаюсь со штабом, у меня повозочный 39-летний Грищук, 6 лет в плену в Германии, 50 верст от дому (он из Кременецкого уезда) не пускают, молчит.

Начдив Тимошенко в штабе. Колоритная фигура. Колосс, красные полукожаные штаны, красная фуражка, строен, из взводных, был пулеметчиком, артиллерийский прапорщик в прошлом. Легендарные рассказы. Комиссар 1-ой бригады испугался огня, ребята на коней; начал бить плетью всех начальников. Книгу, полковых, стреляет в комиссара, на коней, суки, гонится, 5 выстрелов, товарищи, помогите, я тебе дам, помогите, прострелил руку, глаз, осечку револьвер, а я комиссара отчитал, электризует казаков, буденновец, с ним ехать на позиции, или поляки убьют или он убьет.

2-ая бригада атакует Луцк, к вечеру отошла, противник контратакует, большие силы, хочет пробиться на Дубно. Дубно занято нами.

Сводка — взят Минск, Бобруйск, Молодечно, Про-

скуров, Свенцяны, Сарны, Старо-Константинов, подходят к Галиции, где будет к. маневр — на Стыри или Буге. Ковель эвакуируется, большие силы во Львове, показание Мошера. Будет удар.

Благодарность начдива за бои перед Ровно. Привести приказ.

Деревня, глухо, огонь в штабе, арестованные евреи. Буденновцы несут коммунизм, бабка плачет. Эх, тускло живут россияне. Где украинская веселость? Начинается жатва. Поспевает мак, где бы взять зерно для лошадей и вареники с вишнями.

Какие дивизии левее?

Мошер босой, полдень, тупой Лепин.

*Белёв. 15.7.20*

Допрос перебежчиков. Показывают наши листовки. Велика их сила, листовки помогают казакам.

Любопытный у нас комиссар — Бахтуров, боевой, толстый, ругатель, всегда на позициях.

Описать должность военного корреспондента, что такое военный корреспондент?

Надо брать оперативные сводки у Лепина, это — мука. Штаб помещается в доме крещеного еврея.

Ординарцы стоят ночью у здания штаба.

Начинают косить. Я учусь распознавать растения. Завтра именины сестры.

Описание Волыни. Гнусно живут мужики, грязно, едим, лирический Матяш, бабник, даже когда со старухой говорит, и то протяжнее.

Лепин ухаживает за наймичкой.

Наши части в $1^1/_2$ верстах от Луцка. Армия готовится к конному наступлению — сосредоточивает силы во Львове, подвозит к Луцку.

Взяли воззвание Пилсудского — Воины Речи Посполитой. Трогательное воззвание. Могилы наши белеют костьми пяти поколений борцов, наши идеалы, наша Польша, наш светлый дом, ваша родина смотрит на вас, трепещет, наша молодая свобода, еще одно усилие, мы помним о вас, всё для вас, солдаты Речи Посполитой.

Трогательно, грустно, нету железных большевистских доводов — нет посулов, и слова — порядок, идеалы, свободная жизнь. Наша берет!

*Новосёлки. 16.7.20*

Получен приказ армии — захватить переправы на реке Стыри на участке Рожище — Яловичи.

Штаб переходит в Новоселки, 25 верст. Еду с начдивом, штабной эскадрон, скачут кони, леса, дубы, тропинки, красная фуражка начдива, его мощная фигура, трубачи, красота, новое войско, начдив и эскадрон — одно тело.

Квартира, молодые хозяева и богатые довольно, есть свиньи, корова, одно слово — немае.

Рассказ Жолнаркевича о хитром фельдшере. Две женщины, надо справиться. Дал одной касторки, когда ее схватило — направился к другой.

Страшный случай, солдатская любовь, двое здоровых казаков сторговались с одной — выдержишь, выдержу, один три раза, другой полез — она завертелась по комнате и загадила весь пол, ее выгнали, денег не заплатили, слишком была старательная.

О буденновских начальниках — кондотьеры или будущие узурпаторы? Вышли из среды казаков, вот главное — описать происхождение этих отрядов, все эти Тимошенки, Буденные сами набирали отряды, главным образом — соседи из станицы, теперь отряды получили организацию от Совввласти.

Приказ по дивизии выполняется, сильная колонна двигается из Луцка на Дубно, эвакуация Луцка, очевидно, отменяется, туда прибывают войска и техника.

У молодых хозяев — она высокая, со следами деревенской красоты, копается среди 5-и детей, валяющихся на лавке. Любопытно — каждый ребенок ухаживает за другим, мама, дай ему цицки. Мать — стройная и красная лежит строго среди этих копошащихся детей. Муж добр. Соколов: этих щенят надо перестрелять, зачем плодить. Муж: из маленьких будут большие.

Описать наших солдат — Черкашина (сегодня явился маленько ущемленный из Трибунала) — наглого, длинного, испорченного, какой он житель коммунистической России, Матяш, хохол, беспредельно ленивый, охочий до баб, всегда в какой-то истоме, с расшнурованными сапогами, ленивые движения, ординарец Соколова — Миша, был в Италии, красивый, неряшливый.

Описать — поездка с начдивом, небольшой эскадрон, свита начдива, Бахтуров, старые буденновцы, при выступлении — марш.

Наштадив сидит на лавке — крестьянин захлебывается от негодования, показывает полумертвого одра, которого ему дали взамен хорошей лошади. Приезжает Дьяков, разговор короток, за такую-то лошадь можешь получить 15 тысяч, за такую — 20 тысяч. Ежели поднимется, значит это лошадь.

Берут свиней, кур, деревня стонет. Описать наше снабжение. Сплю в хате. Ужас их жизни. Мухи. Исследование о мухах, мириады. Пятеро маленьких, кричащих, несчастных.

Продовольствие от нас скрывают.

*Новосёлки. 17.7.20*

Начинаю военный журнал с 16/VII. Еду в Полжу — Политотдел, там едят огурцы, солнце, спят босые за стогами сена. Яковлев обещает содействие. День проходит в работе. У Лепина вспухла губа. У него покатые плечи. Тяжело с ним. Новая страница — изучаю оперативную науку.

Возле одной из хат — зарезанная теля. Голубоватые соски на земле, кожа только. Неописуемая жалость! Убитая молодая мать.

*Новосёлки — Мал. Дорогостай. 18.7.20*

Польская армия сосредоточивается в районе Дубно — Кременец для решительного наступления. Мы парализуем маневр, предупредим. Армия переходит в наступление на южном участке, наша дивизия в армейском резерве. Наша задача — захватывать переправы через Стырь в районе Луцка.

Выступаем утром в Мал. Дорогостай (севернее Млынова), обоз оставляем, больных и административный штаб тоже, очевидно предстоит операция.

Получен приказ из югзапфронта, когда будем идти в Галицию — в первый раз советские войска переступают рубеж — обращаться с населением хорошо. Мы идем не в завоеванную страну, страна принадлежит галицийским рабочим и крестьянам и только им, мы идем им помогать установить советскую власть. Приказ важный и разумный, выполнят ли его барахольщики? Нет.

Выступаем. Трубачи. Сверкает фуражка начдива. Разговор с начдивом о том, что мне нужна лошадь. Едем, леса, пашни жнут, но мало, убого, кое-где по две бабы и два старика. Волынские столетние леса — величественные зеленые дубы и грабы, понятно почему дуб — царь.

Едем тропинками с двумя штабными эскадронами, они всегда с начдивом, это отборные войска. Описать убранство их коней, сабли в красном бархате, кривые сабли, жилетки, ковры на седлах. Одеты убого, хотя у каждого по 10 френчей, такой шик, вероятно.

Пашни, дороги, солнце, созревает пшеница, топчем поля, урожай слабый, хлеба низкорослые, здесь много чешских, немецких и польских колоний. Другие люди, благосостояние, чистота, великолепные сады, объедаем несозревшие яблоки и груши, все хотят на постой к иностранцам, ловлю и себя на этом желании, иностранцы запуганы.

Еврейское кладбище за Малиным, сотни лет, камни повалились, почти все одной формы, овальные сверху, кладбище заросло травой, оно видело Хмельницкого, теперь Буденного, несчастное еврейское население, все повторяется, теперь эта история — поляки — казаки — евреи — с поразительной точностью повторяется, новое — коммунизм.

Все чаще и чаще встречаются окопы старой войны, везде проволока, ее хватит для заборов еще лет на 10, разоренные деревни, везде строятся, но слабо, нет ничего, никаких материалов, цемента.

На привалах с казаками, сено лошадям, у всех длинная история — Деникин, свои хутора, свои предводители, Буденные и Книги, походы по 200 человек, разбойничьи налеты, богатая казацкая вольница, сколько офицерских голов порублено. Газету читают, но как слабо западают имена, как легко все повернуть.

Великолепное товарищество, спаянность, любовь к лошадям, лошадь занимает $^1/_4$ дня, бесконечные мены и разговоры. Роль и жизнь лошади.

Совершенно своеобразное отношение к начальству — просто, на ты.

М. Дорогостай разрушено было совершенно, строится.

Въезжаем в сад к батюшке. Берем сено, едим

фрукты, тенистый, солнечный прекрасный сад, белая церковка, были коровы, лошади, попик в косичке растерянно ходит и собирает квитанции. Бахтуров лежит на животе, ест простоквашу с вишнями, дам тебе квитанции, право дам.

У попа объели на целый год. Погибает, говорят, он просится на службу, есть у вас полковые священники?

Вечером на квартире. Опять немае — все врут, пишу журнал, дают картошку с маслом. Ночь в деревне, огромный багровый пламенный круг перед глазами, из разоренного села сбегают желтые пашни. Ночь. Огоньки в штабе. Всегда огоньки в штабе. Карл Карлович диктует приказание наизусть, никогда ничего не забывает, понурив головы, сидят телефонисты. Карл Карлович служил в Варшаве.

*М. Дорогостай — Смордва — Бережцы. 19.7.20*

Ночь спал плохо. Рези в желудке. Вчера ели зеленые груши. Чувствую себя скверно. Выезжаем на рассвете.

Противник атакует на участке Млынов — Дубно. Мы ворвались в Радзивилов.

Сегодня на рассвете решительное наступление всех дивизий — от Луцка до Кременца. 5-ая, 6-ая дивизии — сосредоточены в Смордве, достигнуто Козино.

Берем, значит, на юг.

Выступаем из М. Дорогостай. Начдив здоровается с эскадронами, лошадь трепещет. Музыка. Вытягиваемся по дороге. Невыносимая. Идем через Млынов — Бережцы, в Млынов нельзя заехать, а это еврейское местечко. Подъезжаем к Бережцам, канонада, канцелярия поворачивает назад, пахнет мазутом, по откосам ползут отряды кавалерии. Смордва, дом священника, заплаканные провинциальные барышни в белых чулках, давно таких не видел, раненая попадья, хромая, жилистый поп, крепкий дом, штадив и начдив 14, ждем прибытия бригад, наш штаб на возвышенности, поистине большевистский штаб — начдив Бахтуров, военкомы. Нас обстреливают, начдив молодец — умен, напорист, франтоват, уверен в себе, сообразил обходное движение на Бокунин, наступление задер-

живается, распоряжения бригадам. Прискакали Колесов и Книга (знаменитый Книга, чем он знаменит). Великолепная лошадь Колесова, у Книги лицо хлебного приказчика, деловитый хохол. Приказания быстры, все советуются, обстрел увеличивается, снаряды падают в 100 шагах.

Начдив 14 пожиже, глуп, разговорчив, интеллигент, работает под буденновца, ругается беспрерывно, я дерусь всю ночь, не прочь прихвастнуть. Длинными лентами извиваются на противоположном берегу бригады, обстрел обозов, столбы пыли. Буденновские полки с обозами, с коврами по седлам.

Мне все хуже. У меня 39 и 8. Приезжают Буденный и Ворошилов.

Совещание. Пролетает начдив. Бой начинается. Лежу в саду у батюшки. Грищук апатичен совершенно. Что такое Грищук, покорность, тишина бесконечная, вялость беспредельная. 50 верст от дому, 6 лет не был дома, не убегает.

Знает, что такое начальство, немцы научили.

Начинают прибывать раненые, перевязки, голые животы, долготерпение, нестерпимый зной, обстрел с обеих сторон беспрерывный, нельзя забыться. Буденный и Ворошилов на крылечке. Картина боя, возвращаются кавалеристы, запыленные, потные, красные, никаких следов волнения, рубал, профессионалы, все протекает в величайшем спокойствии — вот особенность, уверенность в себе, трудная работа, мчатся сестры на лошадях, броневик Жгучий. Против нас — особняк графа Ледоховского, белое здание над озером, невысокое, некричащее, полное благородства, вспоминаю детство, романы,— много еще вспоминаю. У фельдшера — жалкий красивый молодой еврей — может быть, получал жалованье у графа, сер от тоски. Извините, как положение на фронте? Поляки издевались и мучили, он думает, что теперь настанет жизнь, между прочим казаки не всегда хорошо поступают.

Отзвуки боя — скачущие всадники, донесения, раненые, убитые.

Сплю у церковной ограды. Какой-то комбриг спит, положив голову на живот какой-то барышни.

Вспотел, полегчало. Еду в Бережцы, там канцелярия, разоренный дом, пью вишневый чай, ложусь в хозяйкину постель, потею, порошок аспирина. Хорошо

бы поспать. Вспоминаю — у меня жар, зной, у церковной ограды солдаты с воем, а другие с хладнокровием припускают жеребцов.

Бережцы, Сенкевич, пью вишневый чай, лег на пружинный матрац, ребенок какой-то задыхается рядом. Забылся часа на два. Будят. Я пропотел. Едем ночью обратно в Смордву, оттуда дальше, опушка леса. Поездка ночью, луна, где-то впереди эскадрон.

Избушка в лесу. Мужики и бабы спят вдоль стен. Константин Карлович диктует. Картина редкая — вокруг спит эскадрон, все во тьме, ничего не видно, из лесу тянет холодом, натыкаюсь на лошадей, в штабе — едят, больной ложусь у тачанки на землю, сплю 3 часа, укрытый шалью и шинелью Барсукова, хорошо.

*20.7.20. Высоты у Смордвы. Пелча*

Выступаем в 5 часов утра. Дождь, сыро, идем лесами. Операция идет успешно, наш начдив верно указал путь обхода, продолжаем загибать. Промокли, лесные дорожки. Обход через Бокуйку на Пелчу. Сведения, в 10 часов взята Добрыводка, в 12 часов после ничтожного сопротивления Козин. Мы преследуем противника, идем на Пелчу. Леса, лесные дорожки, эскадроны вьются впереди.

Здоровье мое лучше, неисповедимыми путями.

Изучаю флору Волынской губернии, много вырублено, вырубленные опушки, остатки войны, проволока, белые окопы. Величественные зеленые дубы, грабы, много сосны, верба — величественное и кроткое дерево, дождь в лесу, размытые дороги в лесу, ясень.

По лесным тропинкам в Пелчу. Приезжаем к 10 часам. Опять село, хозяйка длинная, скучно — немае, очень чисто, сын был в солдатах, дает нам яиц, молока нет, в хате невыносимо душно, идет дождь, размывает все дороги, черная глюкающая грязь, к штабу не подойти. Целый день сижу в хате, тепло, там дождь за окном. Как скучна и пресна для меня эта жизнь — цыплята, спрятанная корова, грязь, тупость. Над землей невыразимая тоска, все мокро, черно, осень, а у нас в Одессе...

В Пелче захватили обоз 49-го польского пехотного полка. Дележ под окном, совершенно идиотская ругань, притом подряд, другие слова скучны, их не хо-

чется произносить, о ругани, Спаса мать, гада мать, крестьянки ежатся, Бога мать, дети спрашивают — солдаты ругаются. Бога мать. Застрелю, бей.

Мне достается бумажный мешок и сумка к седлу. Описать эту мутную жизнь. Хлопец не идет работать на поле. Сплю на хозяйской кровати.

Узнали о том, что Англия предложила мир Сов-России с Польшей, неужели скоро кончим?

*21.7.20. Пелча — Боратин*

Нами взят Дубно. Сопротивление, несмотря на то, что мы говорим — ничтожное. В чем дело? Пленные говорят и видно — революция маленьких людей. Много об этом можно сказать, красота фронтона Польши, есть трогательность, моя графиня. Рок, гонор, евреи, граф Ледоховский. Пролетарская революция. Как я вдыхаю запах Европы — идущий оттуда.

Выезжаем в Боратин через Добрыводка, леса, поля, тихие очертания, дубы, опять музыка и начдив, и сбоку — война. Привал в Жабокриках, ем белый хлеб. Грищук кажется мне иногда ужасным — забит? Немцы, эта жующая челюсть.

Описать Грищука.

В Боратине — крепкое, солнечное село. Хмиль, смеющийся дочке, молчаливый, но богатый крестьянин, яичница на масле, молоко, белый хлеб, чревоугодие, солнце, чистота, отхожу от болезни, для меня все крестьяне на одно лицо, молодая мать. Грищук сияет, ему дали яичницу с салом, прекрасная, тенистая клуня, клевер. Отчего Грищук не убегает?

Прекрасный день. Мое интервью с Константином Карловичем. Что такое наш казак? Пласты: барахольство, удальство, профессионализм, революционность, звериная жестокость. Мы авангард, но чего? Население ждет избавителей, евреи свободы — приезжают кубанцы...

Командарм вызывает начдива на совещание в Козин. 7 верст. Еду. Пески. Каждый дом остался в сердце. Кучки евреев. Лица, вот гетто, и мы старый народ, измученные, есть еще силы, лавка, пью кофе великолепный, лью бальзам на душу лавочника, прислушивающегося к шуму в лавке. Казаки кричат, ругаются,

лезут на полки, несчастная лавка, потный рыжебородый еврей... Брожу без конца, не могу оторваться, местечко было разрушено, строится, существует 400 лет, остатки синагоги, великолепный разрушенный старый храм, бывший костел, теперь церковь, очаровательной белизны в три створки, видный издалека, теперь церковь. Старый еврей — я люблю говорить с нашими — они меня понимают. Кладбище, разрушенный домик рабби Азраила, три поколения, памятник под выросшим над ним деревом, эти старые камни, все одинаковой формы, одного содержания, этот замученный еврей — мой проводник, какая-то семья тупых толстоногих евреев, живущих в деревянном сарае при кладбище, три гроба евреев солдат, убитых в русско-германскую войну. Абрамовичи из Одессы, хоронить приезжала мать, и я вижу эту еврейку, хоронящую сына, погибшего за противное ей непонятное, преступное дело.

Новое и старое кладбище — местечку 400 лет.

Вечер, хожу между строениями, евреи и еврейки читают афиши и прокламации. Польша — собака буржуазии и прочее. Смерть от насекомых и не уносите печей из теплушек.

Евреи — портреты, длинные, молчаливые, длиннобородые, не наши толстые и govial. Высокие старики, шатающиеся без дела. Главное — лавка и кладбище.

7 верст обратно в Боратин, прекрасный вечер, душа полна, богатые хозяева, лукавые девушки, яичница, сало, наши гоняют мух, русско-украинская душа. Мне, верно, не интересно.

*22.7.20. Боратин*

До обеда — доклад в Полештарм. Хорошая солнечная погода, богатое, крепкое село, иду на мельницу, что такое водяная мельница, еврей служка, потом купаюсь в холодной мелкой речке под нежарким солнцем Волыни. Две девочки играют в воде, странное, с трудом преодолимое, желание сквернословить, скользкие и грубые слова.

Соколову худо. Даю ему лошадей для отправки в госпиталь. Штаб выезжает в Лешнюв (Галиция, в первый раз переходим границу). Я жду лошадей. Хорошо в деревне, светло, сыто.

Выезжаю через два часа на Хотин. Дорога леском, тревога. Грищук туп и страшен. Я на тяжелой лошади Соколова. Я один на дороге. Светло, прозрачно, не жарко, легкая теплота. Фурманка впереди, пять человек, похожих на поляков. Игра, едем, останавливаемся, откуда? Взаимный страх и тревога. У Хотина видны наши, въезжаем, стрельба. Дикая скачка назад, тащу коня на поводу. Пули жужжат, воют. Артиллерийский огонь. Грищук то несется с мрачной и молчаливой энергией, то в опасные минуты — непонятен, вял, черен, заросшая челюсть. В Боратине уже никого нет. Обоз за Боратиным, начинается каша. Обозная эпопея, отвращение и мерзость. Командует Гусев. Стоим полночи у Козина, стрельба. Высылаем разведку, никто ничего не знает, разъезжают верховые, имеющие деловой вид, высокий немчик — райкоменданта, ночь, хочется спать, чувство беспомощности — не знаешь куда тебя везут, думаю, что это 20—30 человек из загнанных нами в леса, набег. Но откуда артиллерия? Засыпаю на полчаса, говорят была перестрелка, наши выслали цепь. Двигаемся дальше. Лошади измучены, ужасная ночь, двигаемся колоссальным обозом в непроглядной тьме, неизвестно через какие деревни, пожарище где-то сбоку, пересекают дорогу другие обозы — потрясен фронт или обозная паника?

Ночь тянется бесконечно, попадаем в яму. Грищук странно правит, нас бьют сзади дышлом, крики где-то вдали, останавливаемся через каждые полверсты и стоим томительно, бесцельно, долго.

У нас рвется вожжа, тачанка не повинуется, отъезжаем в поле, ночь, у Грищука припадок зверинного, тупого, безнадежного и бесящего меня отчаяния: о, сгорили б те вожжи, о,— сгори, да сгори. Он слеп, он признаётся в этом, Грищук, он ничего не видит ночью. Обоз нас оставляет, дороги тяжелы, черная грязь, Грищук, хватаясь за обрывок вожжи — неожиданным своим звенящим тенорком — пропадем, поляк догонит, канонада отовсюду, обозные — мы в кругу. Едем на авось с порванной вожжой. Тачанка визжит, тяжелый мутный рассвет вдали, мокрые поля. Фиолетовые полосы на небе, с черными провалами. На рассвете — местечко Верба. Железнодорожное полотно — мертвое, мелкое, пахнет Галицией. 4 часа утра.

Евреи, не спавшие ночь, стоят жалкие, как птицы, синие, взлохмаченные, в жилетах и без носков. Мокрый безрадостный рассвет, вся Верба забита обозами, тысячи повозок, все возницы на одно лицо, перевязочные отряды, штаб 45-ой дивизии, слухи тяжелые и вероятно нелепые и эти слухи несмотря на цепь наших побед... Две бригады 11-ой дивизии в плену, поляки захватили Козин, несчастный Козин, что там будет. Стратегическое положение любопытное, 6-ая дивизия в Лешнюве, поляки в Козине, в Боратине, в тылу, исковерканные пироги. Ждем на дороге из Вербы. Стоим два часа, Миша в белой высокой шапке с красной лентой скачет по полю. Все едят — хлеб с соломой, зеленые яблоки, грязными пальцами, вонючими ртами — грязную, отвратительную пищу. Едем дальше. Изумительно — остановки через каждые 5 шагов, нескончаемые линии обозов 45-ой и 11-ой дивизий, мы то теряем наш обоз, то находим его. Поля, потоптанное жито, объеденные, еще не совсем объеденные деревни, местность холмистая, куда приедем? Дорога на Дубно. Леса, великолепные старинные тенистые леса. Жара, в лесах тень. Много вырублено для военных надобностей, будь они прокляты, голые опушки с торчащими пнями. Древние Волынские Дубенские леса, узнать, где-то достают мед, пахучий, черный.

Описать леса.

Кривиха, разоренные чехи, сдобная баба. Следует ужас, она варит на 100 человек, мухи, распаренная и растрясенная комиссарская Шурка, свежина с картошкой, берут всё сено, косят овес, картошка пудами, девочка сбивается с ног, остатки благоустроенного хозяйства. Жалкий длинный улыбающийся чех, полная хорошая, иностранная женщина, жена.

Вакханалия. Сдобная Гусевская Шурка со свитой, красноармейцы — дрянь, обозники, все это топчется на кухне, сыплет картошку, ветчину, пекут коржи. Температура невыносимая, задыхаешься, тучи мух. Замученные чехи. Крики, грубость, жадность. Все же великолепный у меня обед — жареная свинина с картошкой и великолепный кофе. После обеда сплю под деревьями — тихий тенистый откос, качели летают перед глазами. Перед глазами — тихие зеленые и желтые холмы, облитые солнцем, и леса, Дубенские

леса. Сплю часа три. Потом в Дубно. Еду с Прищепой, новое знакомство, кафтан, белый башлык, безграмотный коммунист, он ведет меня к жене. Муж — а гробер менч — ездит на лошаденке по деревням и скупает у крестьян продукты. Жена — сдобная, томная, хитрая, чувственная молодая еврейка, 5 месяцев замужем, не любит мужа, впрочем, чепуха, заигрывает с Прищепой. Центр внимания на меня — er ist ein (неразб.) — вглядывается, спрашивает фамилию, не отрывает глаз, пьем чай, у меня идиотское положение, я тих, вял, вежлив и за каждое движение благодарю. Перед глазами — жизнь еврейской семьи, приходит мать, какие-то барышни, Прищепа — ухажер. Дубно переходило несколько раз из рук в руки. Наши, кажется, не грабили. И опять все трепещут, и опять унижение без конца, и ненависть к полякам, рвавшим бороды. Муж — будет ли свобода торговли, немножко купить и сейчас же продать, не спекулировать. Я говорю — будет, все идет к лучшему, моя обычная система, в России чудесные дела — экспрессы; бесплатное питание детей, театры, интернационал. Они слушают с наслаждением и недоверием. Я думаю — будет вам небо в алмазах, все перевернет, всех вывернет, в который раз и жалко.

Дубенские синагоги. Все разгромлено. Осталось два маленьких притвора, столетия, две маленькие комнатушки, все полно воспоминаний, рядом четыре синагоги, а там выгон, поля и заходящее солнце. Синагоги — приземистые старинные зеленые и синие домишки, хасидская, внутри — архитектуры никакой. Иду в хасидскую. Пятница. Какие изуродованные фигурки, какие изможденные лица, все воскресло для меня, что было 300 лет, старики бегают по синагоге — воя нет, почему-то все ходят из угла в угол, молитва самая непринужденная. Вероятно, здесь скопились самые отвратительные на вид евреи Дубно. Я молюсь, вернее, почти молюсь и думаю о Гершеле, вот как бы описать. Тихий вечер в синагоге, это всегда неотразимо на меня действует, четыре синагожки рядом. Религия? Никаких украшений в здании, все бело и гладко до аскетизма, все бесплотно, бескровно, до чудовищных размеров, для того, чтобы уловить, нужно иметь душу еврея. А в чем душа заключается? Неужто именно в наше столетие они погибают?

Уголок Дубно, четыре синагоги, вечер пятницы, евреи и еврейки у разрушенных камней — все памятно. Потом вечер, селедка, грустный, оттого что не с кем совокупиться. Прищепа и дразнящая, раздражающая Женя, ее еврейские и блистающие глаза, толстые ноги и мягкая грудь. Прищепа — руки грузнут и ее упорный взгляд, и дурак муж, кормящий в крохотном закутке перемененную лошадь.

Ночуем у других евреев, Прищепа просит, чтобы ему играли, толстый мальчик с твердым, тупым лицом, задыхаясь от ужаса, говорит, что у него нет настроения. Лошадь напротив в дворике. Грищуку 50 верст от дому. Он не убегает.

Поляки наступают в районе Козина — Боратино, они у нас в тылу, 6-ая дивизия в Лешнюве, Галиция. Идет операция на Броды, Радзивилов вперед и одной бригадой на тыл. 6-ая дивизия в тяжких боях.

*24.7.20*

Утром — в Штарме. 6-ая дивизия ликвидирует противника, напавшего на нас в Хотине, район боев Хотин — Козин, и я думаю — несчастный Козин.

Кладбище, круглые камни.

Из Кривих с Прищепой еду в Лешнюв, на Демидовку. Душа Прищепы — безграмотный мальчик, коммунист, родителей убили кадеты, рассказывает, как собирал свое имущество по станице. Декоративен, башлык, прост как трава, будет барахольщик, презирает Грищука за то, что тот не любит и не понимает лошадей. Едем через Хорупань, Смордву и Демидовку. Запомнить картину — обозы, всадники, полуразрушенные деревни, поля и леса, дубы, изредка раненые и моя тачанка.

В Демидовке к вечеру. Еврейское местечко, я настораживаюсь. Евреи по степи, все разрушено. Мы в доме, где масса женщин. Семья Ляхецких, Швехвелей, нет, это не Одесса. Зубной врач — Дора Ароновна, читает Арцыбашева, а вокруг гуляет казачьё. Она горда, зла, говорит, что поляки унижали чувство собственного достоинства, презирает за плебейство коммунистов, масса дочерей в белых чулках, набожные отец и мать. Каждая дочь — индивидуальность, одна —

жалкая, черноволосая, кривоногая, другая — пышная, третья — хозяйственная, и все, вероятно, старые девы.

Главные раздоры — сегодня суббота. Прищепа заставляет жарить картошку, а завтра пост, 9 Аба и я молчу, потому что я русский. Зубной врач, бледная от гордости и чувства собственного достоинства, заявляет, что никто не будет копать картошку, потому что праздник.

Долго мною сдерживаемый Прищепа прорывается — жиды, мать, весь арсенал, они все, ненавидя нас и меня, копают картошку, боятся в чужом огороде, валят на кресты. Прищепа негодует. Как все тяжко — и Арцыбашев, и сирота гимназистка из Ровно, и Прищепа в башлыке. Мать ломает руки — развели огонь в субботу, кругом брань. Здесь был Буденный и уехал. Спор между еврейским юношей и Прищепой. Юноша в очках, черноволос, нервен, алые воспаленные веки, неправильная русская речь. Он верит в Бога, Бог — это идеал, который мы носим в нашей душе, у каждого человека в душе есть свой Бог, поступаешь дурно — Бог скорбит, эти глупости высказываются восторженно и с болью. Прищепа оскорбительно глуп, он разговаривает о религии в древности, путает христианство с язычеством, главное — в древности была коммуна, конечно, плетет без толку, ваше образование — никакого, и еврей — 6 классов Ровенской гимназии — говорит по Платонову — трогательно и смешно — роды, старейшины. Перун, язычество.

Мы едим, как волы, жареный картофель и по 5 стаканов кофе. Потеем, всё нам подносят, все это ужасно, я рассказываю небылицы о большевизме, расцвет, экспрессы, московская мануфактура, университеты, бесплатное питание, ревельская делегация, венец — рассказ о китайцах, и я увлекаю всех этих замученных людей. 9 Аба. Старуха рыдает, сидя на полу, сын ее, который обожает свою мать и говорит, что верит в Бога для того, чтобы сделать ей приятное, — приятным тенорком поет и объясняет историю разрушения храма. Страшные слова пророков — едят кал, девушки обесчещены, мужья убиты, Израиль подбит, гневные и тоскующие слова. Коптит лампочка, воет старуха, мелодично поет юноша, девушки в белых чулках, за окном Демидовка, ночь, казаки, всё как

тогда, когда разрушали храм. Иду спать на дворе, вонючем и мокром.

Беда с Грищуком — он в каком-то остолбенении, ходит, как сомнамбула, лошадей кормит слабо, о бедах заявляет post-factum, благоволит к мужикам и детям.

Приехали с позиции пулеметчики, останавливаются в нашем дворе, ночь, они в бурках. Прищепа ухаживает за еврейкой из Кременца, хорошенькая, полная, в гладком платье. Она нежно краснеет, кривой тесть сидит неподалеку, она цветет, с Прищепой можно поговорить, она цветет и жеманится, о чем они беседуют, потом — он спать, провести время, ей мучительно, кому ее душа понятнее, чем мне? Он — будем писать, я думаю с тоской — неужели она, говорит Прищепа — согласилась (у него все соглашаются). Вспоминаю, у него, вероятно, сифилис, вопрос — излечился.

Девушка потом — я буду кричать. Описать их первые деликатные разговоры, о чем же вы думаете — она интеллигентный человек, служила в Ревкоме.

Боже, думаю я, женщины теперь слышат все ругательства, живут по-солдатски, где нежность?

Ночью гроза и дождь, бежим в хлев, грязно, темно, мокро, холодно, пулеметчиков на рассвете гонят на позиции, они собираются под проливным дождем, бурки и иззябшие лошади. Жалкая Демидовка.

*25.7.20*

Утром отъезд из Демидовки. Мучительные два часа, евреек разбудили в 4 часа утра и заставили варить русское мясо, и это 9 Аба. Девушки полуголые и встрепанные бегают по мокрым огородам, похоть владеет Прищепой неотступно, он нападает на невесту сына кривого старика, в это время забирают подводу, идет ругань невероятная, солдаты едят из котлов мясо, она — я буду кричать, ее лицо, он прижимает к стене, безобразная сцена. Она всячески отбивает подводу, они спрятали ее на чердаке, будет хорошая еврейка. Она препирается с комиссаром, говорящим о том, что евреи не хотят помогать Красной Армии.

Я потерял портфель, потом нашел его в штабе 14 дивизии в Лишия.

Едем на Остров — 15 верст, оттуда дорога на Лешнюв, там опасно, польские разъезды, Батюшка, его дочь, похожая на Плевицкую или на веселый скелет. Киевская курсистка, все истосковались по вежливости, я рассказываю небылицы, она не может оторваться. 15 опасных верст, скачут часовые, проезжаем границу, деревянный настил. Везде окопы.

Приезжаем в штаб. Лешнюв. Полуразрушенное местечко. Русские достаточно запаскудили. Костел, униатская церковь, синагога, красивые здания, несчастная жизнь, какие-то призрачные евреи, отвратительная хозяйка, галичанка, мухи и грязь, длинный, одичавший оболтус, славяне второго сорта. Передать дух разрушенного Лешнюва, худосочие и унылая полузаграничная грязь.

Сплю в клуне. Идет бой под Бродами и у переправы — Чуровице. Циркуляры о советской Галиции. Пасторы. Ночь в Лешнюве. Как все это невообразимо грустно, и эти одичалые и жалкие галичане, и разрушенные синагоги, и мелкая жизнь на фоне страшных событий, до нас доходят только отсветы.

*26.7.20. Лешнюв*

Украина в огне. Врангель не ликвидирован. Махно делает набеги в Екатеринославской и Полтавской губерниях. Появились новые банды, под Херсоном — восстание. Почему они восстают, короток коммунистический пиджак?

Что с Одессой, тоска.

Много работы, восстанавливаю прошлое. Сегодня утром взяты Броды, опять окруженный противник ушел, резкий приказ Буденного, 4 раза выпустили, умеем раскачать, но нет сил задержать.

Совещание в Козине, речь Буденного, перестали маневрировать, лобовые удары, теряем связь с противником, нет разведки, нет охранения, начдивы не имеют инициативы, мертвые действия.

Разговариваю с евреями, в первый раз — неинтересные евреи. Сбоку разрушенная синагога, рыженький из Броды, земляки из Одессы.

Переезжаю к безногому еврею, благодеиствие, чи-

стота, тишина, великолепный кофе, чистые дети, отец потерял обе ноги на ит. фронте, новый дом, строятся, жена корыстолюбива, но прилична, вежлива, маленькая тенистая комнатка, отдыхаю от галичан.

У меня тоска, надо все обдумать, и Галицию, и мировую войну, и собственную судьбу.

Жизнь нашей дивизии.— О Бахтурове, о начдиве, о казаках, мародерство, авангард авангарда. Я чужой.

Вечером паника, противник потеснил нас из Чуровице, был в $1^1/_2$ верстах от Лешнюва. Начдив ускакал и прискакал. И начинается странствие, и снова ночь без сна, обозы, таинственный Грищук, лошади идут бесшумно, брань, леса, звезды, где-то стоим. На рассвете Броды, все это ужасно — везде проволока, обгоревшие трубы, малокровный город, пресные дома, говорят, здесь есть товары, наши не преминут, здесь были заводы, русское военное кладбище и поистине— безвестные одинокие кресты у могил — русские солдаты.

Белая совсем дорога, вырубленные леса, все исковеркано, галичане на дорогах, австрийская форма, босые с трубками, что в их лицах, какая тайна ничтожества, обыденщины, покорности.

Радзивилов — хуже Брод, проволока на столбах, красивы здания, рассвет, жалкие фигуры, оборванные фрукты, обтрепанные зевающие евреи, разбитые дороги, снесенные распятия, бездарная земля, подбитые католические храмы, где ксендзы — а здесь были контрабандисты, и я вижу прежнюю жизнь.

*Хотин. 27.7.20*

От Радзивилова — бесконечные деревни, мчащиеся вперед всадники, тяжело после бессонной ночи.

Хотин — та самая деревня, где нас обстреляли. Квартира — ужасная— нищета, баня, мухи, степенный, кроткий, стройный мужик, прожженная баба, ничего не дает, достаю сало, картошку. Живут нелепо, дико, комнатенка и мириады мух, ужасная пища, и не надо ничего лучше — и жадность, и отвратительное неизменяющееся устройство жилища, и воняющие на солнце шкуры, грязь без конца раздражает.

Был помещик — Свешников, разбит завод, разби-

та усадьба, величественный остов завода, красное кирпичное здание, размещенные аллеи, уже нет следа, мужики равнодушны.

У нас хромает артснабжение, втягиваюсь в штабную работу — гнусная работа убийства. Вот заслуга коммунизма — нет хоть проповеди вражды к врагам, только, впрочем, к польским солдатам.

Привезли пленных, одного совершенно здорового ранил двумя выстрелами без всякой причины красноармеец. Поляк корчится и стонет, ему подкладывают подушку.

Убит Зиновьев, молоденький коммунист в красных штанах, хрипы в горле и синие веки.

Носятся поразительные слухи — 30-го начинают переговоры о перемирии.

Ночую в вонючей дыре, называемой двором. Не сплю поздно, захожу в штаб, дела с переправой не блестящи.

Поздняя ночь, красный флаг, тишина, жаждущие женщин красноармейцы.

*28.7.20. Хотин*

Бой за переправу у Чуровице. 2-ая бригада в присутствии Буденного — истекает кровью. Весь пехотный батальон — ранен, избит почти весь. Поляки в старых блиндированных окопах. Наши не добились результата. Крепнет ли у поляков сопротивление?

Разложения перед миром — не видно.

Я живу в бедной хате, где сын с большой головой играет на скрипке. Терроризирую хозяйку, она ничего не дает. Грищук, окаменелый, плохо ухаживает за конями, оказывается, он приучен голодом.

Разрушенная экономия, барин Свешников, разбитый величественный винный завод (символ русского барина?), когда выпустили спирт — все войска перепились.

Раздраженный — я не перестаю негодовать, грязь, апатия, безнадежность русской жизни невыносимы, здесь революция что-то сделает.

Хозяйка прячет свиней и корову, говорит быстро, елейно и с бессильной злобой, ленива, и я чувствую, что она разрушает хозяйство, муж верит в власть, очарователен, кроток, пассивен, похож на Строева.

Скучно в деревне, жить здесь — это ужасно. Втя-

гиваюсь в штабную работу. Описать день — отражение боя, идущего в нескольких верстах от нас, ординарцы, у Лепина вспухла рука.

Красноармейцы ночуют с бабами.

История — как польский полк четыре раза крал оружие и защищался вновь, когда его начинали рубить.

Вечер, тихо, разговор с Матяж, он беспредельно ленив, томен, соплив и как-то приятно, ласково похотлив. Страшная правда — все солдаты больны сифилисом. У Матяж, выздоравливает (почти не лечась). У него был сифилис, вылечил за две недели, он с кумом заплатил бы в Ставрополе 10 коп. серебром, кум умер, у Миши есть много раз, у Сенечки, у Гераси сифилис, и все ходят к бабам, а дома невесты. Солдатская язва. Российская язва — страшно. Едят толченый хрусталь, пьют не то карболку, размолоченное стекло. Все бойцы — бархатные фуражки, изнасилования, чубы, бои, революция и сифилис. Галиция заражена сплошь.

Письмо Жене, тоска по ней и по дому.

Надо следить за особотделом и ревтрибуналом. Неужели 30-го переговоры о мире?

Приказ Буденного.— Мы в четвертый раз выпустили противника, под Бродами был совершенно окружен.

Описать Матяжа, Мишу. Мужики, в них хочется вникать.

Мы имеем силы маневрировать, окружать поляков, но хватка, в сущности, слабая, они пробиваются. Буденный сердится, выговор начдиву. Написать биографии начдива, военкома Книги и проч.

*29.7.20. Лешнюв*

Утром уезжаем в Лешнюв. Снова у прежнего хозяина — чернобородого, безногого Фроима. За время моего отсутствия его ограбили на 4 тысячи гульденов, забрали сапоги. Жена — льстивая сволочь, холоднее ко мне, видит, что поживиться трудно, как они жадны. Я разговариваю с ней по-немецки. Начинается дурная погода.

У Фроима — дети хромоногие, их много, я их не разбираю, корову и лошадь он прячет.

В Галиции невыносимо уныло, разбитые костелы и распятие, хмурое небо, прибитое, бездарное, незначительное население. Жалкое, приученное к убийству, солдатам, непорядку, степенные русские плачущие бабы, взрытые дороги, низкие хлеба, нет солнца, ксендзы в широких шляпах — без костелов. Гнетущая тоска от всех строящих жизнь.

Славяне — навоз истории?

День протекает тревожно. Поляки прорвали расположение 14-ой дивизии правее нас, вновь заняли Берестечко. Сведений никаких, кадриль, они заходят нам в тыл.

Настроение в штабе. Константин Карлович молчит. Писаря — эта откормленная, наглая, венерическая шпанка — тревожится. После тяжкого однообразного дня — дождливая ночь, грязь — у меня туфли. Вот и начинается могущественный дождь, истинный победитель.

Шлепаем по грязи, пронизывающий мелкий дождь.

Стрельба орудийная и пулеметная все ближе. Меня клонит ко сну нестерпимо. Лошадям нечего дать. У меня новый кучер — поляк Говинский, высокий, проворный, говорливый, суетливый и, конечно, наглый парень.

Грищук идет домой, иногда он прорывается — я замученный, по-немецки он не мог научиться, потому что хозяин у него был серьезный, они только ссорились, но никогда не разговаривали.

Оказывается еще — он голодал семь месяцев, а я скупо давал ему пищу.

Совершенно босой, с впавшими губами, синими глазами — поляк. Говорлив и весел, перебежчик, мне он противен.

Клонит ко сну непреодолимо. Спать опасно. Ложусь одетый. Рядом со мной две ноги Фроима стоят на стуле. Светит лампочка, его черная борода, на полу валяются дети.

Десять раз встаю — Говинский и Грищук спят — злоба. Заснул к четырем часам, стук в дверь — ехать. Паника, неприятель у местечка, стрельба из пулеметов, поляки приближаются. Все скачет. Лошадей не могут вывести, ломают ворота. Грищук со своим отвратительным отчаянием, нас четыре человека, лошади не кормлены, надо заехать за сестрой, Грищук и

Говинский хотят ее бросать, я кричу не своим голосом — сестра? Я зол — сестра глупа, красива. Летим по шоссе на Броды, я покачиваюсь и сплю. Холодно, пронизывает ветер и дождь. Надо следить за лошадьми, сбруя ненадежна, поляк поет, дрожу от холода, сестра говорит глупости. Качаюсь и сплю. Новое ощущение — не могу раскрыть век. Описать — невыразимое желание спать.

Опять бежим от поляка. Вот она — кав. война. Просыпаюсь — мы стоим перед белыми зданиями. Деревня? Нет, Броды.

*30.7. Броды*

Унылый рассвет. Надоела сестра. Где-то бросили Грищука. Дай ему Бог.

Куда заехать? Усталость гнетет. 6 часов утра. Какой-то галичанин, к нему. Жена на полу с новорожденным. Он — тихий старичок, дети с голой женой, их трое, четверо.

Еще какая-то женщина. Пыль, прибитая дождем. Подвал. Распятие. Изображение святой Девы. Униаты действительно ни то, ни другое. Сильный католический налет. Блаженство — тепло, какая-то горячая вонь от детей, женщин. Тишина и уныние. Сестра спит, я не могу, клопы. Нет сена, я кричу на Говинского. У хозяев нет хлеба, молока.

Город разрушен, ограблен. Город огромного интереса. Польская культура. Старинное, богатое, своеобразное еврейское поселение. Эти ужасные базары, карлики в капотах, капоты и пейсы, древние старики. Школьная улица, 9 синагог, все полуразрушено, осматриваю новую синагогу, архитектура <нрзб> кондьеш, шамес, бородатый и говорливый еврей—хоть бы мир, как будет торговля, рассказывает о разграблении города казаками, об унижениях, чинимых поляками. Прекрасная синагога, какое счастье, что у нас есть хотя бы старые камни. Это еврейский город — это Галиция, описать. Окопы, разбитые фабрики, Бристоль, кельнерши, «западноевропейская» культура, и как жадно на это бросаешься. Эти жалкие зеркала, бледные австрийские евреи — хозяева. И рассказы — здесь были американские доллары, апельсины, сукно.

Шоссе, проволока, вырубленные леса, и уныние, уныние без конца. Есть нечего, надеяться не на что, война, все одинаково плохи, одинаково чужие, враждебные, дикие, была тихая и главное исполненная традиций жизнь.

Буденновцы на улицах. В магазинах — только ситро, открыты еще парикмахерские. На базаре у мегер — морковь, все время идет дождь, беспрерывный, пронзительный, удушающий. Нестерпимая тоска, люди и души убиты.

В штабе — красные штаны, самоуверенность, важничают мелкие душонки, масса молодых людей, среди них и евреи, состоят в личном распоряжении командарма и заботятся о пище.

Нельзя забыть Броды и эти жалкие фигуры, и парикмахеров, и евреев, пришедших с того света, и казаков на улицах.

Беда с Говинским, лошадям совершенно нет корма. Одесская гостиница Гальперина, в городе голод, есть нечего, вечером хороший чай, утешаю хозяина, бледного и растревоженного, как мышь. Говинский нашел поляков, взял у них кэпи, кто-то помог и Говинскому. Он нестерпим, лошадей не кормит, где-то шатается, болтает, ничего не может достать, боится, чтобы его не арестовали, а его пытались уже арестовать, приходили ко мне.

Ночь в гостинице, рядом супруги и разговоры, и слова и.... в устах женщины, о русские люди, как отвратительно вы проводите ваши ночи и какие голоса стали у ваших женщин. Я слушаю затаив дыхание, и мне тяжко.

Ужасная ночь в этих замученных Бродах. Быть наготове. Я таскаю ночью сено лошадям. В штабе. Можно спать, противник наступает. Вернулся домой, спал крепко, с помертвевшим сердцем, разбудил Говинский.

*31.7.20. Броды. Лешнюв*

Утром перед отъездом на Золотой улице ждет тачанка, час в книжном магазине, немецкий магазин. Есть все великолепные неразрезанные книги, альбомы. Запад, вот он, Запад, и рыцарская Польша, хрестоматия, история всех Болеславов, и почему-то мне кажется, что это красота, Польша, на ветхое тело

набросившая сверкающие одежды. Я роюсь, как сумасшедший, перебегаю, темно, идет поток и разграбление канцелярских принадлежностей, противные молодые люди из трофкомиссии архивоенного вида. Отрываюсь от магазина с отчаянием.

Хрестоматии, Тетмайер, новые переводы, масса новой национальной польской литературы, учебники.

Штаб в Станиславчике или Кожошкове. Сестра, она служила по Чрезвычайкам, очень русская, нежная и сломанная красота. Жила со всеми комиссарами, так я думаю, и вдруг — альбом Костромской гимназии, классные дамы, идеальные сердца, Романовский пансион, тетя Маня, коньки.

Снова Лешнюв, и мои хозяева, страшная грязь, налет гостеприимства, уважения к русским и по моей доброте сошел, неприветливо у разоряемых людей.

О лошадях, кормить нечем, худеют, тачанка рассыпается, из-за пустяков, я ненавижу Говинского, какой-то веселый, прожорливый неудачник. Кофе мне уже не дают.

Противник обошел нас, от переправы оттеснил, зловещие слухи о прорыве в расположении 14-ой дивизии, скачут ординарцы. К вечеру — в Гржималовку (севернее Чуровице) — разоренная деревня, достали овес, беспрерывный дождь, короткая дорога в штаб для моих туфель непроходима, мучительное путешествие, позиция надвигается, пил великолепный чай, горячо, хозяйка притворилась сначала больной, деревня все время находилась в сфере боев за переправу. Тьма, тревога, поляк шевелится.

К вечеру приехал начдив, великолепная фигура, перчатки, всегда с позиции, ночь в штабе, работа Константина Карловича.

*1.8.20. Гржималовка, Лешнюв*

Боже, август, скоро умрем, неистребима людская жестокость.

Дела на фронте ухудшаются. Выстрелы у самой деревни. Нас вытесняют с переправы. Все уехали, осталось несколько человек штабных, моя тачанка стоит у штаба, я слушаю бой, хорошо мне почему, нас немного, нет обозов, нет административного штаба, спокойно, легко, огромное самообладание Тимошенки. Книга апатичен, Тимошенко:— если не выбьет —

расстреляю, передай на словах, все же начдив усмехается. Перед нами дорога, разбухшая от дождя, пулемет вспыхивает в разных местах, невидимое присутствие неприятеля в этом сером и легком небе. Неприятель подошел к деревне. Мы теряем переправу через Стырь. Едем в злополучный Лешнюв, в который раз?

Начдив к 1-ой бригаде. В Лешнюве — ужасно, заезжаем на два часа, административный штаб утекает, стена неприятеля вырастает повсюду.

Бой под Лешнювом. Наша пешка в окопах, это замечательно, волынские босые, полуидиотические парни — русская деревня, и они действительно сражаются против поляков, против притеснявших панов. Нет ружей, патроны не подходят, эти мальчики слоняются по облитым зноем окопам, их перемещают с одной опушки на другую. Хата у опушки, мне делает чай услужливый галичанин, лошади стоят в лощинке.

Сходил на батарею, точная, неторопливая, техническая работа.

Под пулеметным обстрелом, визжание пуль, скверное ощущение, пробираемся по окопам, какой-то красноармеец в панике, и, конечно, мы окружены. Говинский был на дороге, хотел бросить лошадей, потом поехал, я нашел его у опушки, тачанка сломана, перипетии, ищу, куда бы сесть, пулеметчики сбрасывают, перевязывают раненого мальчика, нога в воздухе, он рычит, с ним приятель, у которого убили лошадь, подвязываем тачанку, едем, она скрипит, не вертится. Я чувствую, что Говинский меня погубит, это — судьба, его голый живот, дыры в башмаках, еврейский нос и вечные оправдания. Я пересаживаюсь в экипаж Михаила Карловича, какое облегчение, я дремлю, вечер, душа потрясена, обоз, стоим по дороге к Белавцам, потом мы по дороге, окаймленной лесом, вечер, прохлада, шоссе, закат — катимся к позициям, отвозим мясо Константину Карловичу.

Я жаден и жалок. Части в лесу, они отошли, обычная картина, эскадрон, Бахтуров читает сообщение о III Интернационале, о том, что съехались со всего мира, белая косынка сестры мелькает между деревьями, зачем она здесь? Едем обратно, что такое Михаил Карлович? Говинский удрал, лошадей нет. Ночь, сплю в экипаже рядом с Михаилом Карловичем. Мы под Белавцами.

Описать людей, воздух.

Прошел день, видел смерть, белые дороги, лошадей между деревьями, восход и закат. Главное — буденновцы, кони, передвижения и война, между житом ходят степенные, босые и призрачные галичане.

Ночь на экипаже.

(У леска стоял с тачанкой писарей).

*2.8.20. Белавцы*

История с тачанкой. Говинский приближается к местечку, конечно, кузнеца не нашел. Мой скандал с кузнецом, толкнул женщину, визг и слезы. Галичане не хотят починять. Арсенал средств, убеждения, угрозы, просьбы, больше всего подействовало обещание сахару. Длинная история, один кузнец болен, тащу его к другому, плач, его тащат домой. Мне не хотят стирать белья, никакие меры воздействия не помогают.

Наконец, починяют.

Устал. В штабе тревога. Уходим. Противник нажимает, бегу предупредить Говинского, зной, боюсь опоздать, бегу по песку, предупредил, догнал штаб за селом, никто не берет меня, уходят, тоска, еду несколько времени с Барсуковым, двигаемся на Броды.

Мне дают санитарную тачанку 2-го эскадрона, подъезжаем к лесу, стоим с Иваном повозочным. Приезжают Буденный, Ворошилов, будет решительный бой, ни шагу дальше. Дальше разворачиваются все три бригады, говорю с комендантом штаба. Атмосфера начала боя, большое поле, аэропланы, маневры кавалерии на поле, наша конница, вдали разрывы, начался бой, пулеметы, солнце, где-то сходятся, заглушенное ура, мы с Иваном отходим, опасность смертельная, что я чувствую, это не страх, это пассивность, он, кажется, боится, куда ехать, группа с Корочаевым идет направо, мы почему-то налево, бой кипит, нас догоняют на лошади — раненые, смертельно бледный — братишка, возьми, штаны окрашены кровью, угрожает нам стрелять, если не возьмем, осаживаем, он страшен, куртку Ивана заливает кровь, казак, остановились, буду перевязывать, у того легкая рана, в живот, кость повреждена, везем еще одного, у которого лошадь убили. Описать раненого. Долго плутаем под огнем по полям, ничего не видать, эти

равнодушные дороги и травка, посылаем верховых, выехали на шоссе — куда ехать, Радзивилов или Броды?

В Радзивилове должен быть административный штаб и все обозы, по моему мнению, в Броды ехать интересней, бой идет за Броды. Победило мнение Ивана, одни обозники говорят, что в Бродах — поляки, обозы бегут, штарм выехал, едем в Радзивилов. Приезжаем ночью. Все это время ели морковь и горох — сырые, пронзительный голод, грязные, не спали. Я выбрал хату на окраине Радзивилова. Угадал, нюх выработался. Старик, девушка. Кислое молоко великолепно, съели, готовится чай с молоком, Иван идет за сахаром, пулеметная стрельба, грохот обозов, выскакиваем, лошадь захромала, так уж полагается, убегаем в панике, стреляют по нас, ничего не понимаем, сейчас поймает, мчимся на мост, столпотворение, провалились в болото, дикая паника, валяется убитый, брошенные подводы, снаряды, тачанки. Пробка, ночь, страх, обозы стоят бесконечные, двигаемся, поле, стали, спим, звезды. Во всей этой истории мне больше всего жаль погибшего чая, до странности жаль. Я об этом думаю всю ночь и ненавижу войну.

Какая тревожная жизнь.

*3.8.20.*

Ночь в поле, двигаемся с линейкой в Броды. Город переходит из рук в руки. Та же ужасная картина, полуразрушено, город ждет снова. Питпункт, на окраине встречаюсь с Барсуковым. Еду в штаб. Пустынно, мертво, уныло. Зотов спит на стульях, как мертвец. Спят Бородулин и Поллак. Здание Пражского Банка, обобранное и разодранное, клозеты, эти банковские загородки, зеркальные стекла.

Говорят, что начдив в Клёкотове, пробыли в опустошенных, предчувствующих Бродах часа два, чай в парикмахерской. Иван стоит у штаба. Ехать или не ехать. Едем в Клекотов, сворачиваем с Лешнювского шоссе, неизвестность, поляки или мы, едем на ощупь, лошади замучены, хромает все сильнее, едим в селе картошку, показываются бригады, неизъяснимая красота, грозная сила двигается, бесконечные ряды, фольварк, имение разрушенное, молотилка, локомобиль Клейтона, трактор, локомобиль работал, жарко.

Поле сражения, встречаю начдива, где штаб, потеряли Жолнаркевича. Начинается бой, артиллерия кроет, недалеко разрывы, грозный час, решительный бой — остановим польское наступление или нет, Буденный Колесникову и Гришину — расстреляю, они уходят бледные пешком.

До этого — страшное поле, усеянное порубленными, нечеловеческая жестокость, невероятные раны, проломленные черепа, молодые белые нагие тела сверкают на солнце, разбросанные записные книжки, листки, солдатские книжки, Евангелия, тела в жите.

Впечатления больше воспринимаю умом. Начинается бой, мне дают лошадь. Вижу, как строятся колонны, цепи, идут в атаку, жалко этих несчастных, нет людей, есть колонны, огонь достигает высочайшей силы, в безмолвии происходит рубка. Я двигаюсь, слухи об отозвании начдива?

Начало моих приключений, двигаюсь с обозами к шоссе, бой усиливается, нашел питпункт, на шоссе обстреляли, свист снарядов, разрывы в 20 шагах, чувство безнадежности, обозы скачут, я прибился к 20-му полку 4-ой дивизии, раненые, вздорный командир, нет, говорит, не ранен, ударился, профессионалы, и всё поля, солнце, трупы, сижу у кухни, голод, сырой горох, лошадь нечем кормить.

Кухня, разговоры, сидим на траве, полк вдруг выступает, мне нужно к Радзивилову, полк идет к Лешнюву, и я бессилен, боюсь оторваться. Бесконечное путешествие, пыльные дороги, я пересаживаюсь на телегу, Квазимодо, два ишака, жестокое зрелище — этот горбатый кучер, молчаливый, с лицом темным, как Муромские леса.

Едем, у меня ужасное чувство — я отдаляюсь от дивизии. Теплится надежда — потом можно будет проводить раненого в Радзивилов, у раненого еврейское бледное лицо.

Въезжаем в лес, обстрел, снаряды в 100 шагах, бесконечное кружение по опушкам.

Песок тяжелый, непролазный. Поэма о лошадях замученных.

Пасека, обыскиваем ульи, четыре хаты в лесу — ничего нет, все обобрано, я прошу хлеба у красноармейца, он мне отвечает — с евреями не имею дело, я чужой, в длинных штанах, не свой, я одинок, едем

дальше, от усталости едва сижу на лошади, мне надо самому за ней ухаживать, въехали в Конюшков, крадем ячмень, мне говорят — ищите, берите, всё берите — я ищу сестру по деревне, истерика у баб, забирают через 5 минут после приезда, какие-то бабы бьются, причитают, рыдают невыносимо, тяжко от непрекращающихся ужасов, ищу сестру, у меня непреодолимая печаль, похитил кружку молока у командира полка, вырвал поляницу из рук сына крестьянки.

Через 10 минут выезжаем. Вот те и на! Поляки где-то близко. Опять назад, я думаю, что не выдержу, еще и рысью, сначала еду с командиром, потом пристаю к обозам, хочу пересесть на телегу, у всех один ответ — пристали кони, ну, скинь меня и садись сам, сядь, дорогой, только здесь убитые, я смотрю на рядно, под ним убитые.

Приезжаем в поле, там много обозов 4-ой дивизии, батарея, опять кухня, ищу сестер, тяжелая ночь, хочу спать, надо кормить лошадь, я лежу, лошади поедают великолепную пшеницу, красноармейцы в пшенице — бледные, совсем мертвые. Лошадь мучает, я гоняюсь за ней, пристал к сестре, спим на тачанке, сестра — старая, лысая, вероятно еврейка, мученица, эта невыносимая брань, повозочный ее сталкивает, лошади путаются, повозочного не разбудишь, он груб и ругается, она говорит — наши герои — ужасные люди. Она укрывает его, они спят обнявшись, несчастная, старая сестра, хорошо бы застрелить возницу, брань, ругань, сестра не от мира сего — засыпаем. Просыпаюсь через два часа — украли уздечку. Отчаяние. Рассвет. Мы в 7 верстах от Радзивилова. Еду на ура. Несчастная лошадь, все мы несчастные, полк пойдет дальше. Трогаюсь.

За этот день — главное — описать красноармейцев и воздух.

*4.8.20.*

Двигаюсь один к Радзивилову. Тяжкая дорога. Никого по пути, лошадь пристала, боюсь на каждом шагу встретить поляков. Прошло благополучно, в районе Радзивилова никаких частей, в местечке — смутно, меня посылают на станцию, опустошенное и совершенно привыкшее к переменам население. Шеко на

автомобиле. Я в квартире Буденного. Еврейская семья, барышни, группа из гимназии Бухтеевой, Одесса, сердце замерло.

О счастье, дают какао и хлеб. Новости — новый начдив — Апанасенко, новый наштадив — Шеко. Чудеса.

Приезжает Жолнаркевич с эскадроном, он жалок. Зотов объявляет, что он смещен, пойду торговать на Сухаревку лепешками, что же новая школа, вы, говорит, войска расставлять умеете, в старину умел, теперь без резервов не умею.

У него жар, он говорит то, чего говорить не следовало, перебранка с Шеко, тот сразу поднял тон, начальник штаба приказал вам явиться в штаб, мне сдавать нечего, я не мальчик, чтобы шляться по штабам, оставил эскадрон и уехал. Уезжает старая гвардия, все ломается, вот и нет Константина Карловича.

Еще впечатление — и тяжкое и незабываемое — приезд на белой лошади начдива с ординарцами. Вся штабная сволочь, бегущая с курицами для командарма, относятся покровительственно, хамски, Шеко — высокомерен, спрашивает об операциях, тот объясняет, улыбается, великолепная, статная фигура и отчаяние. Вчерашний бой — блестящий успех 6-ой дивизии — 1000 лошадей, 3 полка загнаны в окопы, противник разгромлен, отброшен, штаб дивизии в Хотине. Чей это успех — Тимошенки или Апанасенки? Тов. Хмельницкий — еврей, жрун, трус, нахал, при командарме — курица, поросенок, кукуруза, его презирают ординарцы, нахальные ординарцы, единственная забота ординарцев — курицы, сало, жрут, жирные, шоферы жрут сало,— всё на крылечке перед домом. Лошади есть нечего.

Настроение совсем другое, поляки отступают, Броды хотя ими заняты, снова бьем, вывез Буденный.

Хочу спать, не могу. Перемены в жизни дивизии будут иметь важное значение. Шеко на подводе. Я с эскадроном. Едем на Хотин, опять рысь, 15 верст сделали. Живу у Бахтурова. Он убит, нет начдива, чувствует, что и ему не быть. Дивизия потрясена, бойцы ходят тихие,— нарастает или нет. Наконец-то я поужинал — мясо, мед. Описать Бахтурова, Ивана Ивановича и Петро. Сплю в клуне, наконец-то покой.

*5.8.20. Хотин*

День покоя. Ем, шляюсь по залитой солнцем деревне, отдыхаем, обедал, ужинал — есть мед, молоко.

Главное — внутренние перемены, все перевернуто.

Начдива жалко до боли, казачество волнуется, разговоры из-под угла, интересное явление, собираются, шепчутся, Бахтуров подавлен, герой был начдив, теперь командир в комнату не пускает, из 600—6000, тяжкое унижение, в лицо бросили — вы предатель, Тимошенко засмеялся,— Апанасенко, новая и яркая фигура, некрасив, коряв, страстен, самолюбив, честолюбив, написал воззвание в Ставрополь и на Дон о непорядках тыла, для того, чтобы сообщить в родные места, что он начдив. Тимошенко был легче, веселее, шире и, может быть, хуже. Два человека, не любили они, верно, друг друга. Шеко разворачивается, невероятно корявые приказы, высокомерие. Совсем другая работа штаба. Обозов и административного штаба нету. Ленин поднял голову — он зол, туп и возражает Шеко.

Вечером музыка и пляска — Апанасенко ищет популярности, круг шире, Бахтурову выбирает лошадь из польских, нынче все ездят на польских, великолепные кони, узкогрудые, высокие, английские, рыжие кони, этого нельзя забыть. Апанасенко заставляет проводить лошадей.

Целый день — разговоры об интригах. Письмо в тыл.

Тоска по Одессе.

Запомнить — фигура, лицо, радость Апанасенки, его любовь к лошадям, как проводит лошадей, выбирает для Бахтурова.

Об ординарцах, связывающих свою судьбу с «господами». Что будет делать Михеев, хромой Сухоруков, все эти Гребушки, Тарасовы, Иван Иванович с Бахтуровым. Все идут следом.

О польских лошадях, об эскадронах, скачущих в пыли на высоких, золотистых, узкогрудых польских конях. Чубы, цепочки, костюмы из ковров.

В болоте завязли 600 коней, несчастные поляки.

*6.8.20. Хотин*

На том же месте. Приводимся в порядок, куем лошадей, едим, перерыв в операциях.

Моя хозяйка — маленькая, пугливая, хрупкая женщина с измученными и кроткими глазами. Боже, как ее мучают солдаты, это бесконечное варево, крадем мед. Приехал домой хозяин, бомбы с аэроплана угнали у него коней. Старик не ел 5 суток, теперь отправляется по белу свету искать своих коней, эпопея.— Старый старик.

Знойный день, густая, белая тишина, душа радуется, кони стоят, им молотят овес, возле них целый день спят казаки, кони отдыхают — это на первом плане.

Изредка мелькает фигура Апанасенки, в отличие от замкнутого Тимошенки, он — свой, он — отец-командир.

Утром уезжает Бахтуров, за ним свита, слежу за работой нового военкома, тупой, но обтесавшийся московский рабочий, вот в чем сила — шаблонные, но великие пути, три военкома — обязательно описать прихрамывающего Губанова, грозу полка, отчаянного рубаку, молодого 23-летнего юношу, скромный Шиляев, хитрый Гришин. Сидят в садку, военком выспрашивает, сплетничают, высокопарно говорят о мировой революции, хозяйка отряхивает яблоки, потому что всё объели, секретарь военкома, длинный, с звонким голосом ходит, ищет пищу.

В штабе новые веяния — Шеко пишет особенные приказы, высокопарные и трескучие, но короткие и энергичные, подает свои мнения Реввоенсовету, действует по собственной инициативе.

Все грустят о Тимошенко, бунта не будет.

Почему у меня непроходящая тоска? Потому, что далек от дома, потому что разрушаем, идем как вихрь, как лава, всеми ненавидимые, разлетается жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде.

Иван Иванович — сидя на скамейке, говорит о днях, когда он тратил по 20 тысяч, по 30 тысяч. У всех есть золото, все набрали в Ростове, перекидывали через седло мешок с деньгами и пошел. Иван Иванович одевал и содержал женщин. Ночь, клуня, душистое сено, но воздух тяжелый, чем-то я придавлен, грустной бездумностью моей жизни.

*7.8.20. Берестечко*

Теперь вечер, 8. Только что зажглись лампы в местечке. В соседней комнате панихида. Много евреев,

заунывные родные напевы, покачиваются, сидят по скамьям, две свечи, неугасимая лампочка на подоконнике. Панихида по внучке хозяина, умершей от испуга после грабежей. Мать плачет, под молитву, рассказывает мне, мы стоим у стола, горе молотит меня вот уже два месяца. Мать показывает карточку, истертую от слез, и все говорят — красавица необычайная, какой-то командир бегал за яром, стук ночью, поднимали с кровати, рылись поляки, потом казаки, беспрерывная рвота, истекла. И главное у евреев — красавица, такой в местечке не было.

Памятный день. Утром — из Хотина в Берестечко. Еду с секретарем военкома Ивановым, длинный, прожорливый парень без стержня, оборванец — и вот, муж певицы Комаровой, мы концертировали, я ее выпишу. Русский менаде.

Труп убитого поляка, страшный труп, вздутый и голый, чудовищно.

Берестечко переходило несколько раз из рук в руки. Исторические поля под Берестечком, казачьи могилы. И вот главное, все повторяется — казаки против поляков, больше — хлоп против пана.

Местечко не забуду, дворы крытые, длинные, узкие, вонючие, всему этому 100—200 лет, население крепче, чем в других местах, главное — архитектура, белые водянисто-голубые домики, улички, синагоги, крестьянки. Жизнь едва-едва налаживается. Здесь было здорово жить — ценное еврейство, богатые хохлы, ярмарки по воскресеньям, особый класс русских мещан — кожевников, торговля с Австрией, контрабанда.

Евреи здесь менее фанатичны, более нарядны, ядрены, как будто даже веселее, старые старики, капоты, старушки, все дышит стариной, традицией, местечко насыщено кровавой историей еврейско-польского гетто. Ненависть к полякам единодушна. Они грабили, мучили, аптекарю раскаленным железом к телу, иголки под ногти, выщипывали волосы за то, что стреляли в польского офицера — идиотизм. Поляки сошли с ума, они губят себя.

Древний костел, могилы польских офицеров в ограде, свежие холмы, давность 10 дней, белые березовые кресты, все это ужасно, дом ксендза уничтожен, я нахожу старинные книги, драгоценнейшие рукописи

латинские. Ксендз Тузинкевич — я нахожу его карточку, толстый и короткий, трудился здесь 45 лет, жил на одном месте, схоластик, подбор книг, много латыни, издания 1860 года, вот когда жил Тузинкевич, квартира старинная, огромная, темные картины, снимки со съездов прелатов в Житомире, портреты папы Пия X, хорошее лицо, изумительный портрет Сенкевича — вот он, экстракт нации. Над всем этим воняет душонка Сухина. Как это ново для меня — книги, душа католического патера, иезуита, я ловлю душу и сердце Тузинкевича, и я ее поймал. Лепин трогательно вдруг играет на пианино. Вообще — он иногда поет по-латышски. Вспомнить его босые ножки — умора. Это очень смешное существо.

Ужасное событие — разграбление костела, рвут ризы, драгоценные сияющие материи разодраны, на полу, сестра милосердия утащила три тюка, рвут подкладку, свечи забраны, ящики выломаны, буллы выкинуты, деньги забраны, великолепный храм — 200 лет, что он видел (рукописи Тузинкевича), сколько графов и холопов, великолепная итальянская живопись, розовые патеры, качающие младенца Христа, великолепный темный Христос, Рембрандт, Мадонна под Мурильо, а может быть Мурильо, и главное — эти святые упитанные иезуиты, фигурка китайская жуткая за покрывалом, в малиновом кунтуше, бородатый еврейчик, лавочка, сломанная рака, фигура святого Валента. Служитель трепещет, как птица, корчится, мешает русскую речь с польской, мне нельзя прикоснуться, рыдает. Зверье, они пришли, чтобы грабить, это так ясно, разрушаются старые боги.

Вечер в местечке. Костел закрыт. Перед вечером иду в замок графов Рациборовских. 70-летний старик и его мать 90 лет. Их было всего двое, сумасшедшие, говорят в народе. Описать эту пару. Графский, старинный польский дом, наверное, больше 100 лет, рога, старинная светлая плафонная живопись, остатки рогов, маленькие комнаты для дворецких вверх, плиты, переходы, экскременты на полу, еврейские мальчишки, рояль Стейнвей, диваны вскрыты до пружин, припомнить белые легкие и дубовые двери, французские письма 1820 года, notre petit héros acheve 7 Semaines. Боже, кто писал, когда писали, растоптан-

ные письма, взял реликвии, столетие, мать — графиня, рояль Стейнвей, парк, пруд.

Не могу отделаться — вспоминаю Гауптмана, Эльгу.

Митинг в парке замка, евреи Берестечка, тупой Винокуров, бегает детвора, выбирают Ревком, евреи наматывают бороды, еврейки слушают о российском рае, международном положенни, о восстании в Индии.

Тревожная ночь, кто-то сказал быть наготове, наедине с чахлым мешуресом, неожиданное красноречне, о чем он говорил?

*8.8.20. Берестечко*

Вживаюсь в местечко. Здесь были ярмарки. Крестьяне продают груши. Им платят давно несуществующими деньгами. Здесь жизнь била ключом — евреи вывозили хлеб в Австрию, контрабанда товаров и людей, близость заграннцы.

Необыкновенные сараи, подземелья.

Живу у содержательницы постоялого двора, рыжая тощая сволочь. Ильченко купил огурцов, читает «Журнал для всех» и рассуждает об экономической политике, во всем виноваты евреи, тупое, славянское существо, при разграблении Ростова набившее карман. Какие-то приемыши, недавно умершая. История с аптекарем, которому полякн запускалн под ногти булавкн, обезумевшие людн.

Жаркий день, жители слоняются, начинают оживать, будет торговля.

Синагога, Торы, 36 лет тому назад построил ремесленннк нз Кременца, ему платили 50 рублей в месяц, золотые павлины, скрещенные руки, старинные Торы, во всех шемесах нет никакого энтузиазма, изжеванные старики, мосты на Берестечко, как всколыхнули, поляки придавали всему этому давно утраченный колорит. Старичок, у которого остановился Корочаев, разжалованный начдив, со своим оруженосцем-евреем. Корочаев был предчека где-то в Астрахани, поковырять его, оттуда посыплется. Дружба с евреем. Пьем чай у старичка. Тишина, благодушие. Слоняюсь по местечку, внутри еврейскнх лачуг идет жалкая, мощная, неумирающая жизнь, барышни в белых чулках, капоты, как мало толстяков.

Ведем разведку на Львов. Апанасенко пишет послания Ставропольскому Исполкому, будем рубить головы в тылу, он восхищен. Бой у Радзихова, Апанасенко ведет себя молодцом — мгновенная распланировка войск, чуть не расстрелял отступившую 14-ую дивизию. Приближаемся к Радзихову. Газеты московские от 29/VII. Открытие II конгресса III Интернационала, наконец осуществленное единение народов, все ясно: два мира и объявлена война. Мы будем воевать бесконечно. Россия бросила вызов. Пойдем в Европу, покорять мир. Красная Армия сделалась мировым фактором.

Надо приглядеться к Апанасенко. Атаман.

Панихида тихого старика по внучке.

Вечер, спектакль в графском саду, любители из Берестечка, денщик — болван, барышни из Берестечка, затихает, здесь бы пожить, узнать.

*9.8.20. Лашков*

Переезд из Берестечка в Лашков, Галиция. Экипаж начдива, ординарец начдива Левка — тот самый, что цыганит и гоняет лошадей. Рассказ о том, как он плетил соседа Степана, бывшего стражником при Деникине, обижавшего население, возвратившегося в село. «Зарезать» не дали, в тюрьме били, разрезали спину, прыгали по нему, танцевали, эпический разговор: хорошо тебе, Степан? Худо. А тем, кого ты обижал — хорошо было? Худо было. А думал ты, что и тебе худо будет? Нет, не думал. А надо было подумать, Степан, вот мы думаем, что ежели попадемся, то зарежете, ну да<нрзб>, а теперь, Степан, будем тебя убивать. Оставили чуть теплого. Другой рассказ о сестре милосердия Шурке. Ночь, бой, полки строятся, Левка в фаэтоне, сожитель Шуркин тяжело ранен, отдает Левке лошадь, они отвозят раненого, возвращаются к бою. Ах, Шура, раз жить, раз помирать. Ну, да, ладно. Она была в заведении в Ростове, скачет в строю на лошади, может отпустить пятнадцать. А теперь, Шурка, поедем, отступаем, лошади запутались в проволоке, проскакал 4 версты, село, сидит, рубит проволоку, проходит полк, Шура выезжает из рядов, Левка готовит ужинать, жрать охота, поужинали, поговорили, идем, Шура, еще разок. Ну, ладно. А где?

Ускакала за полком, пошел спать. Если жена приедет — убью.

Лашков — зеленое, солнечное, тихое, богатое галицийское село. Живу у дьякона. Жена только что родила. Придавленные люди. Чистая, новая хата, а в хате ничего. Рядом типичные галицийские евреи. Думают — не еврей ли? Рассказ — ограбили, обрубил голову двум курицам, нашел вещи в клуне, выкопал из-под земли, согнал всех в хату, обычная история, запомнить мальчика с бакенбардами. Рассказывают мне, что главный раввин живет в Бельзе, поистребили раввинов.

Отдыхаем, в моем полисаднике I-ый эскадрон. Ночь, у меня на столе лампочка, тихо фыркают лошади, здесь все кубанцы, вместе едят, спят, варят, великолепное, молчаливое содружество. Все они мужиковаты, по вечерам полными голосами поют песни, похожие на церковные, преданность коням, небольшие кучки — седло, уздечка, расписная сабля, шинель, я сплю, окруженный ими.

Сплю днем на поле. Операций нет, какая это прекрасная и нужная вещь — отдых. Кавалерия, кони отходят от этой нечеловеческой работы, люди отходят от жестокости, вместе живут, поют песни тихими голосами, что-то друг дружке рассказывают.

Штаб в школе. Начдив у священника.

*10.8.20. Лашков*

Отдых продолжается. Разведка на Радзихов, Соколовку, Стоянов, всё к Львову. Получено известие, что взят Александровск, в международном положении гигантские осложнения, неужели будем воевать со всем светом?

Пожар в селе. Горит клуня священника. Две лошади, бившиеся что есть мочи, сгорели. Лошадь из огня не выведешь. Две коровы удрали, у одной потрескалась кожа, из трещин — кровь, трогательно и жалко.

Дым обволакивает все село, яркое пламя, черные пухлые клубы дыма, масса дерева, жарко лицу, все вещи из поповского дома, из церкви выбрасывают в полисаднике. Апанасенко в красном казакине, в черной бурке, гладко выбритое лицо — страшное явление, атаман.

Наши казаки, тяжкое зрелище, тащат с заднего крыльца, глаза горят, у всех неловкость, стеснение, неискоренима эта так называемая привычка. Все хоругви, старинные Четьи-Минеи, иконы вынесены, странные раскрашенные бело-розовые, бело-голубые фигурки, уродливые, плосколицые, китайские или буддийские, масса бумажных цветов, загорится ли церковь, крестьянки в молчании ломают руки, население, испуганное и молчаливое, бегает босичком, каждый садится у своей хаты с ведром. Они апатичны, прибиты, нечувствительны — необычайно, они бросились бы даже тушить. С воровством удалось совладать — солдаты, как хищные, затрудненные звери, ходят вокруг батюшкиных чемоданов, говорят, там золото, у попа можно взять, портрет графа Андрея Шептицкого, митрополита Галицкого. Мужественный магнат с черным перстнем на большой и породистой руке. У старого священника, 35 лет прослужившего в Лашкове, трепещет все время нижняя губа, он рассказывает мне о Шептицком, тот не «выхован» в польском духе, из русинских вельмож, «граф на шептицах», потом ушли к полякам, брат — главнокомандующий польскими войсками, Андрей вернулся к русинам. Своя давняя культура, тихая и прочная. Хороший интеллигентный батюшка, припасший мучку, курицу, хочет поговорить об университетах, о русинах, несчастный, у него живет Апанасенко в красном казакине.

Ночью — необыкновенное зрелище, ярко догорает шоссе, моя комната освещена, я работаю, горит лампочка, покой, душевно поют кубанцы, их тонкие фигуры у костров, песни совсем украинские, лошади ложатся спать. Иду к начдиву. Мне о нем рассказывает Винокуров — партизан, атаман, бунтарь, казацкая вольница, дикое восстание, идеал — Думенко, сочащаяся рана, надо подчиняться организации, смертельная ненависть к аристократии, попам и, главное, к интеллигенции, которую он в армии не переваривает. Институт он кончит — Апанасенко, чем не времена Богдана Хмельницкого?

Глубокая ночь. 4 часа.

*11.8.20. Лашков*

День работы, сиденье в штабе, пишу до усталости, день покоя. К вечеру дождь. У меня в комнате ночуют кубанцы, странно — смирные и воинственные, до-

мовитые и немолодые крестьяне ясного украинского происхождения.

О кубанцах. Содружество, всегда своей компанией, под окном ночью и днем фыркают кони, великолепный запах навоза, солнца, спящих казаков, два раза в день варят огромные ведра похлебки и мясо. Ночью кубанцы в гостях. Беспрерывный дождь, они сушатся и ужинают у меня в комнате. Религиозный кубанец в мягкой шляпе, бледное лицо, светлые усы. Они истовы, дружественны, дики, но как-то более привлекательны, домовиты, меньше ругатели, спокойнее, чем донцы и ставропольцы.

Сестра приехала, как все ясно, это надо описать, она стерта, хочет уезжать, там все были — комендант, эти по крайней мере говорят, Яковлев, и ужас, Гусев. Она жалка, хочет уходить, грустна, говорит непонятно, хочет о чем-то со мною поговорить и смотрит на меня доверчивыми глазами, мол, я друг, а остальные, остальные слезни. Как быстро уничтожили человека, принизили, сделали некрасивым. Она наивна, глупа, восприимчива даже к революционной фразе, и чудачка, много говорит о революции, служила в Культпросвете ЧК, сколько мужских влияний.

Интервью с Апанасенко. Это очень интересно. Это надо запомнить. Его тупое, страшное лицо, крепкая сбитая фигура, как у Уточкина.

Его ординарцы (Левка), статные золотистые кони, прихлебатели, экипажи, приемыш Володя — маленький казак со старческим лицом, ругается как большой.

Апанасенко — жаден к славе, вот он — новый класс. Несмотря на все оперативные дела — отрывается и каждый раз возвращается снова, организатор отрядов, просто против офицерства, 4 Георгия, службист, унтер-офицер, прапорщик при Керенском, председатель полкового комитета, срывал погоны у офицеров, длинные месяцы в астраханских степях, непререкаемый авторитет, профессионал военный.

Об атаманах, их там много было, доставали пулеметы, дрались со Шкуро и Мамонтовым, влились в Красную Армию, героическая эпопея. Это не марксистская революция, это казацкий бунт, который хочет все выиграть и ничего не потерять. Ненависть

Апанасенки к богатым, к интеллигентам, неугасимая ненависть.

Ночь с кубанцами, дождь, душно, какая-то странная чесотка у меня.

*12.8.20. Лашков*

Четвертый день в Лашкове. Необычайно забитая галицийская деревня. Жили лучше русских, хорошие дома, много добропорядочности, уважение к священникам, честны, но обескровлены, сваренный ребенок у моих хозяев, как он родился и зачем он родился, в матери ни кровинки, где-то что-то беспрерывно скрывают, где-то хрюкают свиньи, где-то, вероятно, спрятано сукно.

Свободный день, хорошее дело — корреспондентство, ежели его не запускать.

Надо писать в газету и жизнеописание Апанасенки.

Дивизия отдыхает — какая-то тишина на сердце и люди лучше — песни, костры, огонь в ночи, шутки, счастливые, апатичные кони, кто-то читает газету, походка вразвалку, куют лошадей. Как все это выглядит. Уезжает в отпуск Соколов, даю ему письмо домой.

Пишу — всё о трубках, о давно забытых вещах, Бог с ней, с революцией, туда и надо устремиться.

Не забыть бы священника в Лашкове, плохо бритый, добрый, образованный, может быть корыстолюбивый, какое там корыстолюбие — курица, утка, дом его, хорошо жил, смешливые гравюрки.

Трения военкома с начдивом, тот встал и вышел с Книгой в то время, когда Яковлев, начподив, делал доклад, Апанасенко пришел к военкому.

Винокуров — типичный военком, гнет свою линию, хочет исправлять 6-ую дивизию, борьба с партизанщиной, тяжелодум, морит меня речами, иногда груб, всем на «ты».

*13.8.20. Нивица*

Ночью приказ — двигаться на Буск — 35 верст восточнее Львова.

Утром выступаем. Все три бригады сосредоточены

в одном месте. Я на Мишиной лошади, научилась бежать, но шагом не идет, трусит ужасно. Целый день на коне с начдивом. Хутор Порады. В лесу 4 неприятельских аэроплана, пальба залпами. Три комбрига — Колесников, Корочаев, Книга. Василий Иванович хитрит, пошел на Топоров в обход (Чаныз), нигде не встретил неприятеля. Мы на хуторе Порады, разбитые хаты, извлекаю из люка старуху, голубцы. Вместе с наблюдателем на батарее. Наша атака у леска.

Беда — болото, каналы, негде развернуться кавалерии, атаки в пешем строю, вялость, падает ли мораль? Упорный бой и все же легкий (по сравнению с империалистической бойней) под Топоровом, берут с трех сторон, не могут взять, ураганный огонь (?) нашей артиллерии из двух батарей.

Ночь. Все атаки не удались. На ночь — штаб переезжает в Нивицу. Густой туман, пронзительный холод, лошадь, дорога лесами, костры и свечи, сестры на тачанках, тяжелый путь после дня тревог и конечной неудачи.

Целый день по полям и лесам. Интереснее всех — начдив, усмешка, ругань, короткие возгласы, хмыканья, пожимает плечами, нервничает, ответственность за все, страстность, если бы он там был, все было бы хорошо.

Что запомнилось? Езда ночью, визг баб в Порадах, когда у них начали (прервал писанье, в 100 шагах разорвались две бомбы, брошенные с аэроплана. Мы у опушки леса с запада ст. Майданы) брать белье, наша атака, что-то невидное, нестрашное издали, какие цепочки, всадники ездят по лугу, издалека все это совершается неизвестно для чего, все это не страшно.

Когда вплотную подошли к местечку, началась горячка, момент атаки, момент, когда берут город, тревожная, лихорадочная, возрастающая, доводящая до отчаяния безнадежности трескотня пулеметов, беспрерывные разрывы и над всем этим — тишина сверху и ничего не видно.

Работа штаба Апанасенко — каждый час донесения Командарму, выслуживается.

Озябшие, усталые приехали в Нивицу. Теплая кухня. Школа.

Пленительная жена учителя, националистка, какое-то внутреннее веселье в ней, расспрашивает, варит нам чай, защищает свою мову, ваша мова хорошая и наша мова, и все смех в глазах. И это в Галиции, хорошо, давно я этого не слышал. Сплю в классе, на соломе рядом с Винокуровым.

Насморк.

*14.8.20*

Центр операций — взятие Буска и переправа через Буг. Целый день атака на Топоров, нет, отставили. Опять нерешительный день. Опушка леса у ст. Майданы. Противником взят Лопатин.

К вечеру выбили. Снова Нивица. Ночевка у старухи, двор вместе со штабом.

*15.8.20*

Утром в Топорове. Бои у Буска. Штаб в Буске. Форсировать Буг. Пожар на той стороне. Буденный в Буске.

Ночевка в Яблоновке с Винокуровым.

*16.8.20*

К Ракобутам, бригада переправилась.

Еду опрашивать пленных.

Снова в Яблоновке. Выступаем на Н. Милатин, ст. Милатин, паника, ночевка в страннoприимнице.

*17.8.20*

Бои у железной дороги, у Лисок. Рубка пленных. Ночевка в Задвурдзе.

*18.8.20*

Не имел времени писать. Выступили. Выступили 13.8. С тех пор передвижения, бесконечные дороги, флажок эскадрона, лошади Апанасенки, бои, фермы, трупы. Атака на Топоров в лоб, Колесников в атаку, болото, я на наблюдательном пункте, к вечеру ураганный огонь из двух батарей. Польская пехота сидит

в окопах, наши идут, возвращаются, коноводы ведут раненых, не любят казаки в лоб, проклятый окоп дымится. Это было 13-го. День 14-го — дивизия двигается к Буксу, должна достигнуть его во что бы то ни стало, к вечеру подошли верст на десять. Там надо произвести главную операцию — переправиться через Буг. Одновременно ищут брода.

Чешская ферма у Адамы, завтрак в экономии, картошка с молоком, Сухоруков, держащийся при всех режимах, <нрзб>, ему подпевает Суслов, всякие Лёвки. Главное — темные леса, обозы в лесах, свечи над сестрами, грохот, темпы передвижения. Мы на опушке леса, кони жуют, герои дня аэропланы, авдеятельность все усиливается, атака аэропланов, беспрерывно курсируют по 5—6 штук, бомбы в 100 шагах, у меня пепельный мерин, отвратительная лошадь. В лесу. Интрига с сестрой. Апанасенко сделал ей с места в карьер гнусное предложение, она, как говорят, ночевала, теперь говорит о нем с омерзением, но ей нравится Шеко, а она нравится военкомдиву, который маскирует свой интерес к ней тем, что она, мол, беззащитна, нет средств передвижения, нет защитников. Она рассказывает, как за ней ухаживал Константин Карлович, кормил, запрещал писать ей письма, а писали ей бесконечно. Яковлев ей страшно нравился, начальник регистрационного отдела, белокурый мальчик в красной фуражке, просил руку и сердце и рыдал, как дитя. Была еще какая-то история, но я об ней ничего не узнал. Эпопея с сестрой — и главное, о ней много говорят и ее все презирают, собственный кучер не разговаривает о ней, ее ботиночки, переднички, она оделяет, книжки Бебеля.

Женщина и социализм.

О женщинах в Конармии можно написать том. Эскадроны в бой, пыль, грохот, обнаженные шашки, неистовая ругань, они с задравшимися юбками скачут впереди, пыльные, толстогрудые, все б...., но товарищи, и б.... потому, что товарищи, это самое важное, обслуживают всем, чем могут, героини, и тут же презрение к ним, поят коней, тащат сено, чинят сбрую, крадут в костелах вещи, и у населения.

Нервность Апанасенки, его ругня, есть ли это сила воли?

Ночь снова в Нивице, сплю где-то на соломе, потому что ничего не помню, все на мне порвано, тело болит, СТО верст на лошади.

Ночую с Винокуровым. Его отношения к Иванову. Что такое этот прожорливый и жалкий высокий юноша с мягким голосом, увядшей душой, острым умом. Военком с ним невыносимо груб, беспрерывно матом, ко всему придирается, что же ты, и мат, не знаешь, не сделал, собирай монатки, выгоню я тебя.

Надо проникнуть в душу бойца, проникаю, все это ужасно, зверье с принципами.

За ночь 2-ая бригада ночным налетом взяла Топоров. Незабываемое утро. Мы мчимся на рысях. Страшное, жуткое местечко, евреи у дверей как трупы, я думаю, что еще с вами будет, черные бороды, согбенные спины, разрушенные дома, тут же <нрзб> остатки немецкой благоустроенности, какое-то невыразимое привычное и горячее еврейское горе. Тут же монастырь. Апанасенко сияет. Проходит вторая бригада. Чубы, костюмы из ковров, красные кисеты, короткие карабины, начальники на статных лошадях, буденновская бригада. Смотр, оркестры, здравствуйте, сыны революции, Апанасенко сияет.

Из Топорова — леса, дороги, штаб у дороги, ординарцы, комбриги, мы влетаем на рысях в Буск, в его восточную половину. Какое очаровательное место (18-го летит аэроплан, сейчас будет бросать бомбы), чистые еврейки, сады, полные груш и слив, сияющий полдень, занавески, в домах остатки мещанской, чистой и, может быть, честной простоты, зеркала, мы у толстой галичанки, вдовы учителя, широкие диваны, много слив, усталость невыносимая от перенапряжения (снаряд пролетел, не разорвался), не мог уснуть, лежал у стены рядом с лошадьми и вспоминал пыль дороги и ужас обозной толкотни, пыль — величественное явление нашей войны.

Бой в Буске. Он на той стороне моста. Наши раненые. Красота — там горит местечко. Еду к переправе — острое ощущение боя, надо пробегать кусок дороги, потому что он обстреливает, ночь, пожар сияет, лошади стоят под хатами, идет совещание с Буденным, выходит Реввоенсовет, чувство опасности, Буск в лоб не взяли, прощаемся с толстой галичанкой и едем в Яблоновку глубокой ночью, кони едва идут,

ночуем в дыре, на соломе, начдив уехал, дальше у меня и военкома нету сил.

1-ая бригада нашла брод и переправилась через Буг у Поборжаны. Утром с Винокуровым на переправу. Вот он, Буг, мелкая речушка, штаб на холме, я измучен дорогой, меня отправляют обратно в Яблоновку допрашивать пленных. Беда. Описать чувство всадника: усталость, конь не идет, ехать надо далеко, сил нет, выжженная степь, одиночество, никто не поможет, версты бесконечно.

Допрос пленных в Яблоновке. Люди в нижнем белье, есть евреи, белокурые полячки, истомленные, интеллигентный паренек, тупая ненависть к ним, залитое кровью белье раненого, воды не дают, один толстоморденький тычет мне документы. Счастливцы — думаю я — как вы ушли. Они окружают меня, они рады звуку моего благожелательного голоса, несчастная пыль, какая разница между казаками и ими, жила тонка.

Из Яблоновки еду обратно на тачанке в штаб. Опять переправа, бесконечные переправляющиеся обозы (они не ждут ни минуты, вслед за наступающими частями) грузнут в реке, рвутся постромки, пыль душит, галицийские деревни, мне дают молоко, в одной деревне обед, только что оттуда ушли поляки, все спокойно, деревня замерла, зной, полуденная тишина, в деревне никого, изумительно то, что здесь такая ничем не возмутимая тишина, свет, покой — как будто фронта и в 100 верстах нету. Церкви в деревнях.

Дальше неприятель. Два голых зарезанных поляка с маленькими лицами порезанными сверкают во ржи на солнце.

Возвращаемся в Яблоновку, чай у Лепина, грязь, Черкашин унижает его и хочет бросить, если присмотреться, лицо у Черкашина страшное, в его прямой, высокой как палка, фигуре угадывается мужик — и пьяница, и вор, и хитрец.

Лепин — грязен, туп, обидчив, непонятен.

Длинный нескончаемый рассказ красивого Базкунова, отец, Нижний Новгород, заведующий химотделом, Красная Армия, деникинский плен, биография русского юноши, отец — купец, был изобретателем, торговал с ресторанами московскими. В течение всего пути толковал с ним. Это мы едем на Милатин, по

дороге — сливы. В ст. Милатине церковь, квартира ксендза, ксендз в роскошной квартире — это незабываемо — он ежеминутно жмет мне руку, отправляется хоронить мертвого поляка, приседает, спрашивает — хороший ли начальник, лицо типично иезуитское, бритое, серые глаза бегают, и как это хорошо, плачущая полька, племянница, просящая, чтобы ей вернули телку, слезы и кокетливая улыбка, совсем по-польски. Квартиру не забыть, какие-то безделушки, приятная темнота, иезуитская, католическая культура, чистые женщины и благовоннейший и растревоженный патер, против него монастырь. Мне хочется остаться. Ждем решения — где остаться — в старом или новом Милатине. Ночь. Паника. Какие-то обозы, где-то поляки прорвались, на дороге столпотворение вавилонское, обозы в три ряда, я в Милатинской школе, две красивые старые девы, мне стало страшно, как напомнили они мне сестер Шапиро из Николаева, две тихие интеллигентные галичанки, патриотки, своя культура, спальня, может быть папильотки, в этом грохочущем, воюющем Милатине, за стенами обозы, пушки, отцы командиры рассказывают о подвигах, оранжевая пыль, клубы, монастырь ими заверчен. Сестры угощают меня папиросами, они вдыхают мои слова о том, что все будет великолепно — как бальзам, они расцвели, и мы по-интеллигентски заговорили о культуре.

Стук в дверь. Комендант зовет. Испуг. Едем в новый Милатин.

*Н. Милатин.* С военкомом в странноприимнице, какое-то подворье, сараи, ночь, своды, прислужница ксендза, мрачно, грязно, мириады мух, усталость ни с чем не сравнимая, усталость фронта.

Рассвет, выезжаем, должны прорвать железную дорогу (все это происходит 17/VIII), железную дорогу Броды — Львов.

Мой первый бой, видел атаку, собираются у кустов, к Апанасенке ездят комбриги — осторожный Книга, хитрит, приезжает, забросает словами, тычут пальцами в бугры — по-над лесом, по-над лощиной, открыли неприятеля, полки несутся в атаку, шашки на солнце, бледные командиры, твердые ноги Апанасенко, ура.

Что было? Поле, пыль, штаб у равнины, неистово

ругающийся Апанасенко, комбриг — уничтожить эту сволочь в ... бандяги.

Настроение перед боем, голод, жара, скачут в атаку, сестры.

Гремит ура, поляки раздавлены, едем на поле битвы, маленький полячок с полированными ногтями трет себе розовую голову с редкими волосами, отвечает уклончиво, виляя, «мекая», ну, да, Шеко воодушевленный и бледный, отвечай, кто ты — я, мнется — вроде прапорщика, мы отъезжаем, его ведут дальше, парень с хорошим лицом за его спиной заряжает, я кричу — Яков Васильевич! Он делает вид, что не слышит, едет дальше, выстрел, полячок в кальсонах падает на лицо и дергается. Жить противно, убийцы, невыносимо, подлость и преступление.

Гонят пленных, их раздевают, странная картина — они раздеваются страшно быстро, мотают головой, все это на солнце, маленькая неловкость, тут же — командный состав, неловкость, но пустяки, сквозь пальцы. Не забуду я этого «вроде» прапорщика, предательски убитого.

Впереди — вещи ужасные. Мы перешли железную дорогу у Задвурдзе. Поляки пробиваются по линии железной дороги к Львову. Атака вечером у фермы. Побоище. Ездим с военкомом по линии, умоляем не рубить пленных, Апанасенко умывает руки. Шеко обмолвился — рубить, это сыграло ужасную роль. Я не смотрел на лица, прикалывали, пристреливали, трупы покрыты телами, одного раздевают, другого пристреливают, стоны, крики, хрипы, атаку произвел наш эскадрон, Апанасенко в стороне, эскадрон оделся, как следует, у Матусевича убили лошадь, он со страшным, грязным лицом, бежит, ищет лошадь. Ад. Как мы несем свободу, ужасно. Ищут в ферме, вытаскивают, Апанасенко — не трать патронов, зарежь. Апанасенко говорит всегда — сестру зарезать, поляков зарезать.

Ночуем в Задвурдзе, плохая квартира, я у Шеко, хорошая пища, беспрерывные бои, я веду боевой образ жизни, совершенно измучен, мы стоим в лесах, кушать целый день нечего, приезжает экипаж Шеко, подвозит, часто на наблюдательном пункте, работа батарей, опушки, лощины, пулеметы косят, поляки, главным образом, защищаются аэропланами, они становятся грозными, описать воздушную атаку, отдален-

ный и как будто медленный стук пулемета, паника в обозах, нервирует, беспрерывно планируют, скрываемся от них. Новое применение авиации, вспоминаю Мошера, капитан Фонт-Ле-Ро во Львове, наши странствия по бригадам, Книга только в обход, Колесников в лоб, едем с Шеко в разведку, беспрерывные леса, смертельная опасность, на горках, перед атакой пули жужжат вокруг, жалкое лицо Сухорукова с саблей, мотаюсь за штабом, мы ждем донесений, а они двигаются, делают обходы.

Бой за Баршовице. После дня колебаний к вечеру поляки колоннами пробиваются к Львову. Апанасенко увидел и сошел с ума, он трепещет, бригады действуют всем, хотя имеют дело с отступающими, и бригады вытягиваются нескончаемыми лентами, в атаку бросают 3 кавбригады, Апанасенко торжествует, хмыкает, пускает нового комбрига 3 Литовченко, взамен раненого Колесникова, видишь, вот они, иди и уничтожь, они бегут, корректирует действия артиллерии, вмешивается в приказания комбатарей, лихорадочное ожидание, думали повторить историю под Задвурдзе, не вышло. Болото с одной стороны, губительный огонь с другой. Движение на Остров, 6-ая кавдивизия должна взять Львов с юго-восточной стороны.

Колоссальные потери в комсоставе: ранен тяжело Корочаев, убит его помощник — еврей убит, начальник 34-го полка ранен, весь комиссарский состав 31-го полка выбыл из строя, ранены все наштабриги, буденновские начальники впереди.

Раненые ползут на тачанках. Так мы берем Львов, донесения командарму пишутся на траве, бригады скачут, приказы ночью, снова леса, жужжат пули, нас сгоняет с места на место артогонь, тоскливая боязнь аэропланов, спеши тебя, будет разрыв, во рту скверное ощущение и бежишь. Лошадей нечем кормить.

Я понял — что такое лошадь для казака и кавалериста.

Спешенные всадники на пыльных горячих дорогах, седла в руках, спят как убитые на чужих подводах, везде гниют лошади, разговоры только о лошадях, обычай мены, азарт, лошади мученики, лошади страдальцы, об них — эпопея, сам проникся этим чувством — каждый переход больно за лошадь.

Визиты Апанасенко со свитой к Буденному. Буденный и Ворошилов на фольварке, сидят у стола. Рапорт Апанасенко, вытянувшись. Неудача особого полка — проектировали налет на Львов, вышли, в особом полку сторожевое охранение, как всегда, спало, его сняли, поляки подкатили пулемет на 100 шагов, изловили коней, поранили половину полка.

Праздник Спаса — 19 августа — в Баршовице, убиваемая, но еще дышащая деревня, покой, луга, масса гусей (с ними потом распорядились, Сидоренко или Егор рубят шашкой гусей на доске), мы едим вареного гуся, в тот день, белые, они украшают деревню, на зеленых (лугах), население праздничное, но хилое, призрачное, едва вылезшее из хижин, молчаливое, странное, изумленное и совсем согнутое.

В этом празднике есть что-то тихое и придавленное.

Униатский священник в Баршовице. Разрушенный, испоганенный сад, здесь стоял штаб Буденного и сломанный, сожженный улей, это ужасный варварский обычай — вспоминаю разломанные рамки, тысячи пчел, жужжащих и бьющихся у разрушенного улья, их тревожные рои.

Священник объясняет мне разницу между униатством и православием. Шептицкий великий человек, ходит в парусиновой рясе. Толстенький человек, черное, пухлое лицо, бритые щеки, блестящие глазки с ячменем.

Продвижение к Львову. Батареи тянутся все ближе. Малоудачный бой под Островом, но все же поляки уходят. Сведения об обороне Львова — профессора, женщины, подростки. Апанасенко будет их резать — он ненавидит интеллигенцию, это глубоко, он хочет аристократического по-своему, мужицкого, казацкого государства.

Прошла неделя боев — 21 августа наши части в 4-х верстах у Львова.

Приказ — всей Конармии перейти в распоряжение запфронта. Нас двигают на север — к Люблину. Там наступление. Снимают армию, стоящую в 4-х верстах от города, которого добивались столько времени. Нас заменит 14-ая армия. Что это — безумие или невозможность взять город кавалерией? 45-верстый переход из Баршовице в Адамы будет мне памятен всю

жизнь. Я на своей пегой лошаденке, Шеко в экипаже, зной и пыль, пыль из Апокалипсиса, удушливые облака, бесконечные обозы, идут все бригады, облака пыли, от которых нет спасения, страшно задыхаешься, кругом грай, движение, уезжаю с эскадроном по полям, теряем Шеко, начинается самое страшное, езда на моем непоспевающем коньке, бесконечно едем и всё рысью, я выматываюсь, эскадрон хочет обогнать обозы, обгоняем, боюсь отстать, лошадь идет как пух, по инерции, идут все бригады, вся артиллерия, оставили для заслона по одному полку, которые должны присоединиться к дивизии с наступлением темноты. Проезжаем ночью через мертвый, тихий Буск. Что особенного в галицийских городах? Смешение грязного и тяжелого Востока (Византии и евреев) с немецким пивным Западом. От Буска 15 км. Я не выдержу. Меняюсь лошадьми. Оказывается, нет покрышки на седле. Ехать мучительно. Каждый раз я принимаю другую позу. Привал в Козлове. Темная изба, хлеб с молоком. Какой-то крестьянин, мягкий и приветливый человек, был военнопленным в Одессе, я лежу на лавке, заснуть нельзя, на мне чужой френч, лошади во тьме, в избе душно, дети на полу. Приехали в Адамы в 4 часа ночи. Шеко спит. Я ставлю где-то лошадь сено есть и ложусь спать.

*21.8.20. Адамы*

Испуганные русины. Солнце. Хорошо. Я болен. Отдых. Днем всё в клуне, сплю, к вечеру лучше, ломит голова, болит. Я у Шеко живу. Холуй наштадива, Егор. Едим хорошо. Как мы добываем пищу. Воробьев принял 2-ой эскадрон. Солдаты довольны. В Польше, куда мы идем — можно не стесняться, с галичанами, ни в чем не повинными, надо было осторожнее, отдыхаю, не сижу на седле.

Разговор с комартдивизионом Максимовым, наша армия идет зарабатывать, не революция, а восстание дикой вольницы.

Это просто средство, которым не брезгует партия.

Два одессита — Мануйлов и Богуславский, опрвоенком авиации, Париж, Лондон, красивый еврей, болтун, статья в европейском журнале, помнаштадив, ев-

реи в Конармии, я ввожу их в корень. Одет во френч — излишки одесской буржуазии, тяжкие сведения об Одессе. Душат. Что отец? Неужели всё отобрали? Надо подумать о доме.

Прихлебательствую.

Апанасенко написал письмо польским офицерам. Бандяги, прекратите войну, сдайтесь, а то всех порубим, паны. Письмо Апанасенки на Дон, Ставрополь, там чинят затруднения бойцам, сыны революции, мы герои, мы неустрашимые, идем вперед.

Описание отдыха эскадрона, визг свиней, тащат курей, агенты, туши на площади. Стирают белье, молотят овес, скачут со снопами, лошади, помахивая ушами, жрут овес. Лошадь это все. Имена: Степан, Миша, братишка, старуха. Лошадь — спаситель, это чувствует каждую минуту, однако избить может нечеловечески. За моей лошадью никто не ухаживает. Слабо ухаживают.

*22.8.20. Адамы*

У Мануйлова — помнаштадив — болит живот. Конечно. Служил у Муравьева, чрезвычайка, что-то военно-следственное, буржуй, женщины, Париж, авиация, что-то с репутацией, и он коммунист. Секретарь Богуславский — испуганно молчит и ест.

Спокойный день. Движение дальше на север.

Живу с Шеко. Ничего не могу делать. Устал, разбит. Сплю и ем. Как мы едим. Система. Каптеры, фуражиры, ничего не дают. Прибытие красноармейцев в деревню, обшаривают, варят, всю ночь трещат печи, страдают хозяйские дочки, визг свиней, к военкому с квитанциями. Жалкие галичане.

Эпопея — как мы едим. Хорошо — свиньи, куры, гуси.

«Барахольщики», «молошники» те, которые отстают.

*23—24.8.20. Витков*

Переезд в Витков на подводе. Институт обывательских подвод, несчастные обыватели, их мотают по две-три недели, отпускают, дают пропуск, другие солдаты перехватывают, снова мотают. Случай — при нас приехал мальчик из обоза. Ночь. Радость матери.

Идем в район Красностав — Люблин. Взяли армию, находившуюся в 4-х верстах от Львова. Кавалерия не могла взять.

Дорога в Витков. Солнце. Галицийские дороги, нескончаемые обозы, заводные лошади, разрушенная Галиция, евреи в местечках, уцелевшая ферма где-нибудь, чешская предположим, налет на неспелые яблоки, на пасеки.

О пасеках подробно в другой раз.

В дороге, на телеге, думаю, тоскую о судьбах революции.

Местечко особенное, построенное после разрушения по одному плану, белые домики, деревянные высокие крыши, тоска.

Живем с помнаштадивами, Мануйлов ничего не понимает в штабном деле, муки с лошадьми, никто не дает, едет на обывательских подводах, у Богуславского сиреневые кальсоны, в Одессе успех у девочек.

Солдаты просят спектакля. Их кормят — «Денщик подвел».

*Ночь наштадива* — где 33-ий полк, где пошла 2-ая бригада, телефон, армприказ комбригу 1, 2, 3!

Дежурные ординарцы. Устройство эскадронов, командиры эскадронов — Матусевич и бывший комендант Воробьев, неизменно веселый и, кажется, глупый человек.

Ночь наштадива — Вас просят к начдиву.

*25.8.20. Сокаль*

Наконец город. Проезжаем местечко Тартакув, евреи, развалины, чистота еврейского типа, раса, лавчонки.

Я все еще болен, не могу опомниться от Львовских боев. Какой спертый воздух в этих местечках. В Сокале была пехота, город нетронут, наштадив у евреев. Книги, я увидел книги. Я у галичанки, богатой к тому же, едим здорово, курицу в сметане.

Еду на лошади в центр города, чисто, красивые здания, все загажено войной, остатки чистоты и своеобразия.

Революционный комитет. Реквизиции и конфискации. Любопытно: крестьянство не трогают совершенно. Все земли в его распоряжении. Крестьянство в стороне.

Объявления революционного комитета.

Сын хозяина — сионист и ein angesprochener nationalist. Обычная еврейская жизнь. Они тяготеют к Вене, к Берлину, племянник, молодой юноша, занимается философией и хочет поступить в университет. Едим масло и шоколад. Конфеты.

У Мануйлова трения с наштадивом. Шеко посылает его к ...

У меня самолюбие, ему не дают спать, нет лошади, вот тебе Конармия, здесь не отдохнешь. Книги — polnische, juden.

Вечером — начдив в новой куртке, упитанный, в разноцветных штанах, красный и тупой, развлекается — музыка ночью, дождь разогнал. Идет дождь, мучительный галицийский дождь, сыпет и сыпет, бесконечно, безнадежно.

Что делают в городе наши солдаты? Темные слухи.

Богуславский изменил Мануйлову. Богуславский раб.

*26.8.20. Сокаль*

Осмотр города с молодым сионистом. Синагоги — хасидская, потрясающее зрелище, 300 лет тому назад, бледные красивые мальчики с пейсами, синагога, что была 200 лет тому назад, те же фигурки в капотах, двигаются, размахивают руками, воют. Это партия ортодоксов — они за Белзского раввина, знаменитый Белзский раввин, удравший в Вену. Умеренные за Гусятинского раввина. Их синагога. Красота алтаря, сделанного каким-то ремесленником, великолепие зеленоватых люстр, изъеденные столики, Белзская синагога — видение старины. Евреи просят воздействовать, чтобы их не разоряли, забирают пищу и товары.

Жиды всё прячут. Сапожник, сокальский сапожник, пролетарий. Фигура подмастерья, рыжий хасид — сапожник.

Сапожник ждал Советскую власть — он видит жидоедов и грабителей, и не будет заработку, он потрясен и смотрит недоверчиво. Неразбериха с деньгами. Собственно говоря, мы ничего не платим, 15—20 рублей. Еврейский квартал. Неописуемая бедность, грязь, замкнутость гетто.

Лавчонки, все открыты, мел и смола, солдаты рыщут, ругают жидов, шляются без толку, заходят в квартиры, залезают под стойки, жадные глаза, дрожащие руки, необыкновенная армия.

Организованное ограбление писчебумажной лавки, хозяин в слезах, всё рвут, какие-то требования, дочка с западноевропейской выдержкой, но жалкая и красная, отпускает, получает какие-то деньги и магазинной своей вежливостью хочет доказать, что все идет как следует, только слишком много покупателей. Хозяйка от отчаяния ничего не соображает.

Ночью будет грабеж города — это все знают.

Вечером музыка — начдив развлекается. Утром он писал письма на Дон и Ставрополь. Фронту невмоготу выносить безобразия тыла. Вот пристал!

Холуи начдива водят взад и вперед статных коней с нагрудниками и нахвостниками.

Военком и сестра. Русский человек — хитрый мужичок, грубый, иногда наглый и путаный. Он о сестре высокого мнения, выщупывает меня, выспрашивает, он влюблен.

Сестра идет прощаться к начдиву, это после всего, что было. С ней спали все. Хам Суслов в смежной комнате — начдив занят, чистит револьвер.

Получаю сапоги и белье. Сухоруков получал, сам распределял, это обер-холуй, описать.

Разговор с племянником, который хочет в университет.

Сокаль — маклера и ремесленники, коммунизм, говорят мне, вряд ли здесь привьется.

Какие раздерганные, замученные люди.

Несчастная Галиция, несчастные евреи.

У моего хозяина — 8 голубей.

У Мануйлова острый конфликт с Шеко, у него в прошлом много грехов. Киевский авантюрист. Приехал разжалованный из наштабригов 3.

Лепин. Темная, страшная душа.

Сестра —26 и 1.

*27.8.20*

Бои у *Знятыня,* Длужнова. Едем на северо-запад. Полдня в обозе. Движение на Лащов, Комаров. Утром выехали из Сокаля. Обычный день — с эскад-

ронами, начдивом мотаемся по лесам и полянам, приезжают комбриги, солнце, 5 часов не слезал с лошади, проходят бригады. Обозная паника. Оставил обозы у опушки леса, поехал к начдиву. Эскадроны на горе. Донесения командарму, канонада, аэропланов нет, переезжаем с места на место, обычный день. К ночи тяжкая усталость, ночуем в Василове. Назначенного пункта — Лащова не достигли.

В Василове или поблизости 11-ая дивизия, столпотворение, Бахтуров — малюсенькая дивизия, он несколько поблек, 4-ая дивизия ведет успешные бои.

*28.8.20. Комаров*

Из Василова выехал на 10 минут позже эскадронов. Еду с тремя всадниками. Бугры, поляны, разрушенные экономии, где-то в зелени красные колонны, сливы. Стрельба, не знаем где противник, вокруг нас никого, пулеметы стучат совсем близко и с разных сторон, сердце сжимается, вот так каждый день отдельные всадники ищут штабы, возят донесения. К полудню нашел в опустошенной деревне, где в льохи спрятались все жители, под деревьями, покрытыми сливами. Еду с эскадроном. Вступаем с начдивом, красный башлык, в Комаров. Недостроенный великолепный красный костел. До того, как вступили в Комаров, после стрельбы — ехал один — тишина, тепло, ясный день, какое-то странное прозрачное спокойствие, душа побаливает, один, никто не надоедает, поля, леса, волнистые долины, тенистые дороги.

Стоим против костела.

Приезд Ворошилова и Буденного. Ворошилов разносит при всех, недостаток энергии, горячится, горячий человек, бродило всей армии, ездит и кричит, Буденный молчит, улыбается, белые зубы. Апанасенко защищается, зайдем в квартиру, почему кричит, выпускаем противника, нет соприкосновения, нет удара. Апанасенко не годится?

Аптекарь, предлагающий комнату. Слух об ужасах. Иду в местечко. Невыразимый страх и отчаяние.

Мне рассказывают. Скрытно в хате, боятся, чтобы не вернулись поляки. Здесь вчера были казаки есаула Яковлева. Погром. Семья Давида Зиса, в квартирах, голый, едва дышащий старик-пророк, зарубленная

старуха, ребенок с отрубленными пальцами, многие еще дышат, смрадный запах крови, все перевернуто, хаос, мать над зарубленным сыном, старуха, свернувшаяся калачиком, 4 человека в одной хижине, грязь, кровь под черной бородой, так в крови и лежат. Евреи на площади, измученный еврей, показывающий мне все, его сменяет высокий еврей. Раввин спрятался, у него все разворочено, до вечера не вылез из норы. Убито человек 15— Хусид Ицка Галер —70 лет, Давид Зис — прислужник в синагоге —45 лет, жена и дочь —15 лет, Давид Трост, жена — резник.

У изнасилованной.

Вечером — у хозяев, казенный дом, суббота вечером, не хотели варить до тех пор, пока не прошла суббота.

Ищу сестер, Суслов смеется. Еврейка докторша.

Мы в странном старинном доме, когда-то здесь все было — масло, молоко.

Ночью — обход местечка.

Луна, за дверьми, их жизнь ночью. Вой за стенами. Будут убирать. Испуг и ужас населения. Главное — наши ходят равнодушно и пограбливают где можно, сдирают с изрубленных.

Ненависть одинаковая, казаки те же, жестокость та же, армии разные, какая ерунда. Жизнь местечек. Спасения нет. Все губят — поляки не давали приюту. Все девушки и женщины едва ходят. Вечером — словоохотливый еврей с бороденкой, имел лавку, дочь бросилась от казака со второго этажа, переломала себе руки, таких много.

Какая мощная и прелестная жизнь нации здесь была. Судьба еврейства. У нас вечером, ужин, чай, я сижу и пью, слова еврея с бороденкой, тоскливо спрашивающего — можно ли будет торговать.

Тяжкая беспокойная ночь.

*29.8.20. Комаров, Лабуне, Пневск*

Выезд из Комарова. Ночью наши грабили, в синагоге выбросили свитки Торы и забрали бархатные мешки для седел. Ординарец военкома рассматривает тефилии, хочет забрать ремешки. Евреи угодливо улыбаются. Это — религия.

Все с жадностью смотрят на недобранное, ворошат кости и развалины. Они пришли для того, чтобы заработать.

Захромала моя лошадь, беру лошадь наштадива, хочу поменять, я слишком мягок, разговор с солтысом, ничего не выходит.

Лабуне. Водочный завод. 8 тысяч ведер спирта. Охрана. Идет дождь пронизывающий, беспрерывный. Осень, всё к осени. Польская семья управляющего. Лошади под навесом, красноармейцы, несмотря на запрет, пьют. Лабуне — грозная опасность для армии.

Все таинственно и просто. Люди молчат и ничего не заметно как будто. О, русский человек. Все дышит тайной и грозой. Смирившийся Сидоренко.

Операция на Замостье. Мы в 10 верстах от Замостье. Там спрошу об Р. Ю.

Операция, как всегда, несложна, обойти с запада и с севера и взять. Тревожные новости с запфронта. Поляки взяли Белосток.

Дальше едем. Разграбленное поместье Кулагковского у Лабуньки. Белые колонны. Пленительное, хоть и барское устройство. Разрушение невообразимое. Настоящая Польша — управляющие, старухи, белокурые дети, богатые, полуевропейские деревни с солтысом, войтом, все католики, красивые женщины. В имении тащат овес. Кони в гостиной, вороные кони. Что же — спрятать от дождя. Драгоценнейшие книги в сундуке, не успели вывезти — конституция, утвержденная сеймом в начале 18-го века, старинные фолианты Николая I, свод польских законов, драгоценные переплеты, польские манускрипты 16-го века, записки монахов, старинные французские романы.

Наверху не разрушение, а обыск, все стулья, стены, диваны распороты, пол вывернут, не разрушали, а искали. Тонкий хрусталь, спальня, дубовые кровати, пудреница, французские романы на столиках, много французских и польских книг о гигиене ребенка, интимные женские принадлежности разбиты, остатки масла в масленице, молодожены?

Отстоявшаяся жизнь, гимнастические принадлежности, хорошие книги, столы, банки с лекарствами — все исковеркано святотатственно. Невыносимое чувство, бежать от вандалов, а они ходят, ищут, передать их поступь, лица, шляпы, ругань — гад, в Бога мать, Спаса мать, по непролазной грязи тащат снопы с овсом.

Подходим к Замостью. Страшный день. Дождь-победитель не затихает ни на минуту. Лошади едва вытягивают. Описать этот непереносимый дождь. Мотаемся до глубокой ночи. Промокли до нитки, устали, красный башлык Апанасенки. Обходим Замостье, части в 3—4 верстах от него. Не подпускают бронепоезда, кроют нас артогнем. Мы сидим на полях, ждем донесений, несутся мутные потоки. Комбриг Книга в хижине, донесение. Отец командир. Ничего не можем сделать с бронепоездами. Выяснилось, что мы не знали, что здесь есть железная дорога, на карте не отмечена, конфуз, вот наша разведка.

Мотаемся, все ждем, что возьмут Замостье. Черта с два. Поляки дерутся все лучше. Лошади и люди дрожат. Ночуем в Пиевске. Польская ладная крестьянская семья. Разница между русскими и поляками разительна. Поляки живут чище, веселее, играют с детьми, красивые иконы, красивые женщины.

*30.8.20*

Утром выезжаем из Пиевска. Операция на Замостье продолжается. Погода по-прежнему ужасная, дождь, слякоть, дороги непроходимы, почти не спали, на полу, на соломе, в сапогах, будь готов.

Опять мотня. Едем с Шеко к 3-ей бригаде. Он с револьвером в руках идет в наступление на станцию Завады. Сидим с Лепиным в лесу. Лепин корчится. Бой у станции. У Шеко обреченное лицо. Описать «частую перестрелку». Взяли станцию. Едем к полотну железной дороги. 10 пленных, одного не успеваем спасти. Револьверная рана? Офицер. Кровь идет изо рта. Густая красная кровь в комьях, заливает все лицо, оно ужасное, красное, покрыто густым слоем крови. Пленные все раздеты. У командира эскадрона через седло перекинуты штаны. Шеко заставляет отдать. Пленных одевают, ничего не одели. Офицерская фуражка. «Их было девять». Вокруг них грязные слова. Хотят убить. Лысый хромающий еврей в кальсонах, не поспевающий за лошадью, страшное лицо, наверное, офицер, надоедает всем, не может идти, все они в животном страхе, жалкие, несчастные люди, польские пролетарии, другой поляк — статный, спокойный, с бачками, в вязаной фуфайке, держит себя с достоинством, все

допытываются — не офицер ли. Их хотят рубить. Над евреем собирается гроза. Неистовый путиловский рабочий, рубать их всех надо гадов, еврей прыгает за нами, мы тащим с собой пленных все время, потом отдаем на ответственность конвоиров. Что с ними будет. Ярость путиловского рабочего, пена брызжет, шашка, порубаю гадов и отвечать не буду.

Едем к начдиву, он при 1 и 2-ой бригадах. Все время находимся в виду Замостья, видны его трубы, дома, пытаемся взять его со всех сторон. Подготовляется ночная атака. Мы в 3-х верстах от Замостья, ждем взятия города, будем там ночевать. Поле, ночь, дождь, пронизывающий холод, лежим на мокрой земле, лошадям нечего дать, темно, едут с донесениями. Наступление будет вести 1 и 3-я бригады. Обычный приезд Книги и Левды, комбрига 3, малограмотного хохла. Усталость, апатия, неистребимая жажда сна, почти отчаяние. В темноте идет цепь, спешена целая бригада. Возле нас пушка. Через час — пошла потеха. Наша пушка стреляет беспрерывно, мягкий, лопающийся звук, огни в ночи, поляки пускают ракеты, ожесточенная стрельба, ружейная и пулеметная, ад, мы ждем, 3 часа ночи. Бой затихает. Ничего не вышло. Все чаще и чаще у нас ничего не выходит. Что это? Армия поддается?

Едем на ночлег верст за 10 в Ситанец. Дождь усиливается. Усталость непередаваемая. Одна мечта — квартира. Мечта осуществляется. Старый растерянный поляк со старухой. Солдаты, конечно, растаскивают его. Испуг чрезвычайный, все сидели в погребах. Масса молока, масла, лапша, блаженство. Я каждый раз вытаскиваю новую пищу. Замученная хорошая старушка. Восхитительное топленое масло. Вдруг обстрел, пули свистят у конюшен, у ног лошадей. Снимаемся. Отчаяние. Едем в другую окраину села. Три часа сна, прерываемого донесениями, расспросами, тревогой.

*31.8.20. Чесники*

Совещание с комбригами. Фольварк. Тенистая лужайка. Разрушение полное. Даже вещей не осталось. Овес растаскиваем до основания. Фруктовый сад, пасека, разрушение пчельника, страшно, пчелы жужжат в отчаянии, взрывают порохом, обматываются шине-

лями и идут в наступление на улей, вакханалия, тащат рамки на саблях, мед стекает на землю, пчелы жалят, их выкуривают смолистыми тряпками, зажженными тряпками. Черкашин. В пасеке — хаос и полное разрушение, дымятся развалины.

Я пишу в саду, лужайка, цветы, больно за все это.

Арифприказ оставить Замостье, идти на выручку 14-ой дивизии, теснимой со стороны Комарова. Местечко снова занято поляками. Несчастный Комаров. Езда по флангам и бригадам. Перед нами неприятельская кавалерия — раздолье, кого же рубить, как не их, казаки есаула Яковлева. Предстоит атака. Бригады накапливаются в лесу — версты 2 от Чесники.

Ворошилов и Буденный все время с нами. Ворошилов, коротенький, седеющий, в красных штанах с серебряными лампасами, все время торопит, нервирует, подгоняет Апанасенку, почему не подходит 2-ая бригада. Ждем подхода 2-ой бригады. Время тянется мучительно долго. Не торопить меня, товарищ Ворошилов. Ворошилов — все погибло к е. м.

Буденный молчит, иногда улыбается, показывая ослепительные белые зубы. Надо сначала пустить бригаду, потом полк. Ворошилову не терпится, он пускает в атаку всех, кто есть под рукой. Полк проходит перед Ворошиловым и Буденным. Ворошилов вытянул огромный револьвер, не давать панам пощады, возглас принимается с удовольствием. Полк вылетает нестройно, ура, даешь, один скачет, другой задерживает, третий рысью, кони не идут, котелки и ковры. Наш эскадрон идет в атаку. Скачем версты четыре. Они колоннами ждут нас на холме. Чудо — никто не пошевелился. Выдержка, дисциплина. Офицер с черной бородой. Я под пулями. Мои ощущения. Бегство. Военкомы заворачивают. Ничего не помогает. К счастью они не преследуют, иначе была бы катастрофа. Стараются собрать бригаду для второй атаки, ничего не получается. Мануйлову угрожают наганами. Героини сестры.

Едем обратно. Лошадь Шеко ранена, он контужен, страшное окаменевшее его лицо. Он ничего не разбирает, плачет, мы ведем лошадь. Она истекает кровью.

Рассказ сестры — есть сестры, которые только симпатию устраивают, мы помогаем бойцу, все тяготы с ним, стреляла бы в таких, да чем стрелять будешь, х — м, да и того нет.

Комсостав подавлен, грозные призраки разложения армии. Веселый дураковатый Воробьев, рассказывает о своих подвигах, подскочил, 4 выстрела в упор. Апанасенко неожиданно оборачивается, ты сорвал атаку, мерзавец.

Апанасенко мрачен, Шеко жалок.

Разговоры о том, что армия не та, пора на отдых. Что дальше. Ночуем в Чесники — смерзли, устали, молчим, непролазная, засасывающая грязь, осень, дороги разбиты, тоска. Впереди мрачные перспективы.

*1.9.20. Теребин*

Выступаем из Чесники ночью. Постояли часа два. Ночь, холод, на конях. Трясемся. Армприказ — отступать, мы окружены, потеряли связь с 12-ой армией, связи ни с кем. Шеко плачет, голова трясется, лицо обиженного ребенка, жалкий, разбитый. Люди — хамы. Ему Винокуров не дал прочитать армприказа — он не у дел. Апанасенко с неохотой дает экипаж, я им не извозчик.

Бесконечные разговоры о вчерашней атаке, вранье, искреннее сожаление, бойцы молчат. Дурак Воробьев звонит. Его оборвал начдив.

Начало конца 1-ой Конной. Толки об отступлении.

Шеко — человек в несчастьи.

У Мануйлова —40, лихорадка, его все ненавидят, Шеко преследует, почему? Не умеет себя держать. Хитрый, вкрадчивый, себе на уме, ординарец Борисов, никто не жалеет — вот где ужас. Еврей?

Армию спасает 4-ая дивизия. Вот и предатель — Тимошенко.

Приезжаем в Теребин, полуразрушенная деревня, холод. Осень, сплю днем в клуне, ночью вместе с Шеко.

Разговор с Арзамом Слягит. Рядом на лошадях. Говорили о Тифлисе, фруктах, солнце. Я думаю об Одессе, душа рвется.

Тащим кровоточащего коня Шеко за собой.

*2.9.20. Теребин—Метелин*

Жалкие деревни. Неотстроенные хижины. Полуголое население. Мы разоряем радикально. Начдив на позициях. Армприказ — сдерживать противника, стремящегося к Бугу, наступать на Вакиево — Гостиное.

Толкаемся, но успехов не удерживаем. Толки об ослаблении боеспособности армии все увеличиваются. Бегство из армии. Массовые рапорты об отпусках, болезнях.

Главная болячка дивизии — отсутствие комсостава, все командиры из бойцов, Апанасенко ненавидит демократов, ничего не смыслят, некому вести полк в атаку.

Эскадронные командуют полками.

Дни апатии, Шеко поправляется, он угнетен. Тяжело жить в атмосфере армии, давшей трещину.

*3.4.5.— 9.20. Малице*

Передвинулись вперед к Малице.

Новый помнаштадив — Орлов. Гоголевская фигура. Патологический враль, язык без костей, еврейское лицо, главное — ужасная, если в нее вдуматься, легкость разговора, болтовни, вранья, боль (хромает), партизан, махновец, окончил реальное училище, командовал полком. От легкости этой страшно, что там внутри?

Мануйлов, наконец, хоть и со скандалом, сбежал, были угрозы арестом, какая бестолковость Шеко, направили его в 1-ую бригаду, идиотство, Штарм направил в авиацию. Аминь.

Живу с Шеко. Туп, добр, если уколоть в нужное место, бездарен, без постоянной воли. Пресмыкательствую, зато ем. Томный полуодессит Богуславский, мечтающий об одесских «девочках», нет, нет, а съездит ночью за армприказом. Богуславский на казачьем седле.

1-ый взвод 1-го эскадрона. Кубанцы. Поют песни. Степенные. Улыбаются. Не шумят.

Левда подал рапорт о болезни. Хитрый хохол. «У меня ревматизм, не в силах работать». Три рапорта из бригад, сговорились; если не отвести на отдых — дивизия погибнет, нет задора, лошади стали, люди апатичны, 3-я бригада два дня в поле, холод, дождь.

Грустная страна, непролазная грязь, отсутствующие мужики, прячут лошадей в лесах, тихо плачущие бабы.

Рапорт Книги — не имея сил управляться без комсостава...

Все лошади в лесах, красноармейцы меняют, наука, спорт.

Барсуков разлагается. Хочет в учебное заведение.

Идут бои. Наши пытаются наступать на Вакиев — Тонятыги. Ничего не выходит. Странное бессилие.

Поляк медленно, но верно нас отжимает. Начдив не годится, ни инициативы, ни нужного упорства. Его гнойное честолюбие, женолюбие, чревоугодие и, вероятно, лихорадочная деятельность, если это нужно будет.

Образ жизни.

Книга пишет — нет прежнего задора, бойцы ходят вялые.

Все время погода, нагоняющая тоску, дороги разбиты, страшная российская деревенская грязь, не вытащишь сапог, солнца нет, дождь, пасмурно, проклятая страна.

Я болен, ангина, жар, едва передвигаюсь, страшные ночи в задымленных чадных избах на соломе, все тело растерзано, искусано, чешется, в крови, ничего не могу делать.

Операции протекают вяло, период равновесия с начинающимся преобладанием на стороне поляка.

Комсостав пассивен, да его и нет.

Я бегаю к сестре на перевязки, надо идти огородами, непролазная грязь. Сестра живет во взводе. Героиня, хотя и совокупляется. Изба, курят, ругаются, меняют портянки, солдатская жизнь, еще один человек — сестра. Кто брезгает из одной чашки — выбрасывается.

Противник наступает. Мы взяли Лотов, отдаем его, он нас отжимает, ни одно наше наступление не удается, отправляем обозы, я еду в Теребин на подводе Барсукова, дальше — дождь, слякоть, тоска, переезжаем Буг, Будятичи. Итак, решено отдать линию Буга.

*6.9.20. Будятичи*

Будятичи занято 44-ой дивизией. Столкновения. Они поражены дикой ордой, накинувшейся на них. Орлов — даешь, катись.

Сестра гордая, туповатая, красивая сестра плачет, доктор возмущен тем, что кричат — бей жидов, спасай Россию. Они ошеломлены, начхоза избили нагайкой, лазарет выбрасывают, реквизируют и тянут свиней без всякого учета, а у них есть порядок, всякие уполномоченные с жалобами у Шеко. Вот и буденновцы.

Гордая сестра, каких мы никогда не видели,— в белых башмаках и чулках, стройная полная нога, у них организация, уважение человеческого достоинства, быстрая, тщательная работа.

Живем у евреев.

Мысль о доме все настойчивее. Впереди нет исхода.

*7.9.20. Будятичи*

Мы занимаем две комнаты. Кухня полна евреями. Есть беженцы из Крылова, жалкая кучка людей с лицами пророков. Спят вповалку. Целый день варят и пекут, еврейка работает, как каторжная, шьет, стирает. Тут же молятся. Дети, барышни. Хамы — холуи жрут беспрерывно, пьют водку, хохочут, жиреют, икают от желания женщины.

Едим через каждые два часа.

Часть отведена за Буг, новая фаза операции.

Вот уже две недели как всё упорнее и упорнее говорят о том, что армию надо отвести на отдых. На отдых — боевой клич!

Наклевывается командировка — в гостях у начдива — всегда едят, его рассказы о Ставрополе, Суслов толстеет, густо хам посажен.

Ужасная бестактность — представлены к ордену Красного Знамени Шеко, Суслов, Сухоруков.

Противник пытается перейти на нашу сторону Буга, 14-ая дивизия, спешившись, отбила его.

Пишу удостоверения.

Оглох на одно ухо. Последствия простуды? Тело расчесано, всё в ранах, недомогаю. Осень, дождь, уныло, грязь тяжелая.

*8.9.20. Владимир-Волынский*

Утром на обывательской подводе в административный штаб. Аттестат, канитель с деньгами. Полутыловая гнусность — Гусев, Налётов, деньги в Ревтрибунале. Обед у Горбунова.

На тех же клячах в Владимир. Езда тяжелая, грязь непролазная, дороги непроходимы. Приезжаем ночью. Мотня с квартирой, холодная комната у вдовы. Евреи — лавочники. Папаша и мамаша — старики.

Горе ты, бабушка? Чернобородый, мягкий муж. Рыжая беременная еврейка моет ноги. У девочки понос. Теснота, но электричество, тепло.

Ужин — клецки с подсолнечным маслом — благодать. Вот она — густота еврейская. Думают, что я не понимаю по-еврейски, хитрые, как мухи. Город — нищ.

Спим с Бородиным на перине.

*9.9.20. Владимир-Волынский*

Город нищ, грязен, голоден, за деньги ничего не купишь, конфеты по 20 рублей и папиросы. Тоска. Штарм. Уныло. Совет профессиональных союзов, еврейские молодые люди. Хождение по совнархозам и профкомиссиям, тоска, военные требуют, озорничают. Дохлые молодые евреи.

Пышный обед — мясо, каша. Единственная утеха — пища.

Новый военком штаба — обезьянье лицо.

Хозяева хотят выменять мою шаль. Не дамся.

Мой возница — босой с заплывшими глазами. Рассея.

Синагога. Молюсь, голые стены, какой-то солдат забирает электрические лампочки.

Баня. Будь проклята солдатчина, война, скопление молодых, замученных, одичавших, еще здоровых людей.

Внутренняя жизнь моих хозяев, какие-то дела делаются, завтра пятница, уже готовятся, хорошая старуха, старик с хитринкой, притворяются нищими. Говорят — лучше голодать при большевиках, чем есть булку при поляках.

*10.9.20. Ковель*

Полдня на разбитом, унылом, ужасном вокзале во Владимире-Волынском. Тоска. Чернобородый еврей работает. В Ковель приезжаем ночью. Неожиданная

радость — поезд Поарма. Ужин у Зданевича, масло. Ночую в радиостанции. Ослепительный свет. Чудеса. Хелемская сожительствует. Лимфатические железы. Володя. Она обнажилась. Мое пророчество исполнилось.

*11.9.20. Ковель*

Город хранит следы европейско-еврейской культуры. Советских (денег) не берут, стакан кофе без сахару — 50 рублей, дрянной обедишка на вокзале — 600 рублей.

Солнце, хожу по докторам, лечу ухо, чесотка.

В гости к Яковлеву, тихие домики, луга, еврейские улички, тихая жизнь, ядреная, еврейские девушки, юноши, старики у синагоги, может быть парики, Совласть как будто не возмутила поверхности, эти кварталы за мостом.

В поезде грязно и голодно. Все исхудали, обовшивели, пожелтели, все ненавидят друг друга, сидят запершись в своих кабинках, даже повар исхудал. Разительная перемена. Живут в клетке. Хелемская грязная кухарит, контакт с кухней, она кормит Володю, еврейская жена «из хорошего дома».

Целый день ищу пищу.

Район расположения 12-ой армии. Пышные учреждения — клубы, граммофоны, сознательные красноармейцы, весело, жизнь кипит ключом, газеты 12-ой армии, Армупроста, командарм Кузьмин, пишущий статьи, с виду работа Политотдела поставлена хорошо.

Жизнь евреев, толпы на улице, главная улица Луцкая, хожу с разбитыми ногами, пью неисчислимое количество чаю и кофе. Мороженое — 500 р. Позволяют себе весьма. Суббота, все лавочки закрыты. Лекарство — 5 р.

Ночую в радиостанции. Ослепительный свет, умствующие радиотелеграфисты, один пытается играть на мандолине. Оба читают запоем.

*12.9.20. Киверцы*

Утром — паника на вокзале. Артстрельба. Поляки в городе. Невообразимое жалкое бегство, обозы в пять рядов, жалкая, грязная, задыхающаяся пехота, пе-

щерные люди, бегут по лугам, бросают винтовки, ординарец Бородин видит уже рубящих поляков. Поезд отправляется быстро, солдаты и обозы бегут, раненые с искаженными лицами скачут к нам в вагон, политработник, задыхающийся, у которого упали штаны, еврей с тонким просвечивающим лицом, может быть хитрый еврей, вскакивают дезертиры с сломанными руками, больные из санлетучки.

Заведение, которое называется 12-ой армией. На одного бойца — 4 тыловика, 2 дамы, 2 сундука с вещами, да и этот единственный боец не дерется. Двенадцатая армия губит фронт и Конармию, открывает наши фланги, заставляет затыкать собой все дыры. У них сдался в плен, открыли фронт, уральский полк или башкирская бригада. Паника позорная, армия небоеспособна. Типы солдат. Русский красноармеец пехотинец — босой, не только не модернизованный, совсем «убогая Русь», странники, распухшие, обовшивевшие, низкорослые, голодные мужики.

В Голобах выбрасывают всех больных и раненых, и дезертиров. Слухи, а потом факты: захвачено, загнанное в Владимир-Волынский тупик, снабжение 1-ой Конной, наш штаб перешел в Луцк, захвачено у 12-ой армии масса пленных, имущества, армия бежит.

Вечером приезжаем в Киверцы.

Тяжкая жизнь в вагоне. Радиотелеграфисты всё покушаются меня выжить, у одного по-прежнему расстроен желудок, он играет на мандолине, другой умничает, потому что он дурак.

Вагонная жизнь, грязная, злобная, голодная, враждебная друг к другу, нездоровая. Курящие и жрущие москвички, без обличья, много жалких людей, кашляющие москвичи, все хотят есть, все злы, у всех животы расстроены.

*13.9.20. Киверцы*

Ясное утро, лес. Еврейский Новый год. Голодно. Иду в местечко. Мальчики в белых воротничках. Ишас Хакл угощает меня хлебом с маслом. Она «сама» зарабатывает, бой баба, шелковое платье, в доме прибрано. Я растроган до слез, тут помог только язык, мы разговариваем долго, муж в Америке, рассудительная и неторопливая еврейка.

Длинная стоянка на станции. Тоска по-прежнему. Берем из клуба книжки, читаем запоем.

*14.9.20. Клевань*

Стоим в Клевани сутки, всё на станции. Голод, тоска. Не принимаст Ровно. Железнодорожный рабочий. Печем у него коржи, карточки. Железнодорожный сторож. Они обедают, говорят ласковые слова, нам ничего не дают. Я с Бородиным, его легкая походка. Целый день добываем пищу, от одной сторожки к другой. Ночевка в радиостанции при ослепительном освещении.

*15.9.20. Клевань*

Начинаются третьи сутки нашего томительного стояния в Клевани, то же хождение за пищей, утром богато пили чай с коржами. Вечером поехал в Ровио на подводе авиации 1-ой Конной. Разговор об иашей авиации, ее нет, все аппараты сломаны, летчики не умеют летать, машины старые, латаные, иикуда не годные. Больиой горлом красноармеец — вот он тип. Едва говорит, там, вероятно, все заложено, воспалено, лезет пальцем соскребывать в глотке плеику, сказали, что помогает соль, сыплет соль, четыре дня ие ел, пьет холодную воду, потому что иикто не дает горячей. Говорит косиоязычио о наступлении, о командире, о том, что они босые, одни идут, другие не идут, мажит пальцем.

Ужин у Гасниковой.

# ПУБЛИЦИСТИКА

## Газета «Новая жизнь», 1918 год

### ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Каждый день люди подкалывают друг друга, бросают друг друга с мостов в черную Неву, истекают кровью от неправильных или несчастных родов. Так было. Так есть.

Для того, чтобы спасать маленьких людей, гранящих тротуары большого города, существуют станции скорой помощи.

Так и называется — скорая или первая помощь. Если вы хотите знать, как помогают в Петрограде, как быстро помогают в Петрограде,— я могу вам рассказать.

В канцелярии станций царствует великое молчание. Есть длинные комнаты, блестящие пишущие машинки, стопочки бумаги, подметенные полы. Есть еще испуганная барышня, года три тому назад начавшая писать бумажонки и журналы и не могущая — в силу инерции — остановиться. А остановиться не мешало бы, потому что давно уже — ни бумажонки, ни журналы никому не нужны. Кроме барышни — людей нет. Барышня — это штат. Можно даже сказать — штат сверх комплекта. Если нет лошадей, нет бензина, нет работы, нет докоторов, нет пекущихся, нет опекаемых — зачем же тогда комплекты?

Всего этого действительно нет. Когда-то было три автомобиля — «лежачих», как их называют служащие, и четыре «нележачих». Они и есть, но на вызовы не выезжают, потому что нет бензина. Бензина давно нет. Недавно кому-то надоело это тихое положение. Кто-то прикрепил значок к сюртуку и поехал в Смольный.

Начальство ответило: «Общее количество бензина, числящегося на городских складах столицы, доходит

до двух с половиной пудов». Начальство, может быть, ошиблось. Однако возражать нечего.

Было еще шесть кареток при пожарных частях. В настоящее время они отдыхают. Пожарные команды не дают лошадей — «для себя не хватает».

Итак, осталась одна каретка. Для нее нанимают двух лошадей у извозопромышленника и платят ему за это 1000 в месяц.

Из многочисленных вызовов — в день удовлетворяются два или три. Больше не успеть — концы большие, лошади тощие. На место происшествия, если оно, скажем, на Васильевском, приезжают через час-два. Человек уже помер, или человека вообще нет,— исчез. Если же пострадавший оказывается в наличности, то он с прохладцей отвозится в больницу, а карета после роздыха отправляется дальше — на вызов, имевший место часов пять тому назад. Для регистрации деятельности учреждения существует специальная книга — книга отказов. В нее вносятся случаи, когда помощь не была оказана. Пухлая книга, самая важная, единственная книга. Других не надо.

Единственную шевелящуюся каретку обслуживают 22 человека персонала — из них 11 фельдшеров и 7 санитаров. Очень возможно, что все они получают жалованье и даже по сложной схеме — с прибавкой на дороговизну.

При станции нет никаких учреждений, иллюстрирующих ее деятельность, нет музеев, больниц. В Западной Европе, во многих городах такие музеи представляют исключительный интерес, живую и скорбную летопись городской жизни. В них собраны орудия убийства, самоубийства, письма самоубийц — молчащие и красноречивые свидетельства о человеческих тяготах, о гибельном влиянии города и камня.

У нас этого нет. У нас ничего нет — ни скорой, ни помощи. Есть только — трехмиллионный город, недоедающий, бурно сотрясающийся в основах своего бытия. Есть много крови, льющейся на улице и в домах.

Станция, находившаяся в ведении Красного Креста, перешла теперь к городу. Очевидно, что-то ему нужно предпринять.

То, что называлось раньше Петроградскими скотобойнями, ныне не существует. Ни одного быка, ни одного теленка не доставляют на скотный двор. Быки есть только у входа замечательного, по величественной и ясной архитектуре, главного флигеля — бронзовые быки, символы мощи, обилия и богатства. Нынче они сиротливы — эти символы — и живут собственной отдельной жизнью. Я брожу по скотному двору. Он мертвенно пуст, пуст до странности. Белый снег блестит под светлым и холодным солнцем Петрополя. Слабо протоптанные дорожки ведут в разные стороны. Мощные приземистые строения чисто выметены и молчат. Ни одного человека вокруг, ни одного голоса, ни одной травинки на земле. Только воронье с криком носится над местами, где когда-то дымилась кровь и трепетали только что переставшие жить внутренности.

Я ищу конебойню, но в продолжении четверти часа не нахожу на обширных дворах ни одной души, у которой можно было бы справиться о пути. Наконец, добрел. Картина изменилась. Здесь не пусто. Наоборот. Десятки, сотни лошадей понуро стоят в стойлах. Они дремлют от истощения, едят собственный кал и деревянные столбы изгородей. Изгороди теперь покрыты железными рельсами. Это сделано для того, чтобы предохранить наполовину съеденные лошадьми столбы от конечной гибели.

Полуразрушенное голодными животными дерево — вот нынешний символ — в противовес прошедшему — бронзовым быкам, наполненным тугим, красным, жирным мясом.

Десятки татар заняты убоем лошадей. Это чисто татарское дело. Наши бойцы, сидящие без работы, до сих пор не решились приступить к нему. Не могут, душа не пускает.

Это приносит вред. Татары совершенно не обучены своему ремеслу. Не менее четверти всех шкур пропадает бесплодно — не знают, как их снимать. Старых бойцов теперь не хватает. Сейчас вы узнаете — почему.

Я хожу с доктором мимо строений, где убивают лошадей. Мясники проносят дымящиеся туши, кони падают на каменные полы и умирают без стона. Доктор

говорит мне скучные и привычные слова о том, что у нас во всем хаос, что и на конебойнях хаос, надо бы то и другое, проектируют всяческие меры.

Я узнаю страшную статистику. Против 30—40 лошадей, шедших на убой в прежнее время,— теперь ежедневно на скотный двор поступает 500—600 лошадей. Январь дал 5 тысяч убитых лошадей, март даст 10 тысяч. Причины — нет корма. Татары платят за истощенную лошадь 1000—1500—2000 рублей. Страшно повысился качественный уровень убиваемых лошадей. Раньше бойня видела только старых, издыхающих. Теперь сплошь и рядом идут в резку превосходные рабочие кони, трехлетки, четырехлетки. Продают все — легковые извозчики, ломовые, частные владельцы, окрестные крестьяне. Процесс «обезлошадения» идет со страшной быстротой, и это перед весной, перед рабочей порой. Паровая движущая сила исчезает катастрофически. С живой силой — столь нужной нам — происходит то же. Останется ли вообще что-нибудь?

Высчитано, что с октября (месяц, когда обозначалось огромное увеличение резки) убито количество лошадей, в нормальное время могущих обеспечить работу боен в течение 12—15 лет.

Я вышел из места лошадиного успокоения и отправился в трактир «Хуторок», что находится напротив скотобоен. Настало обеденное время. Трактир был наполнен татарами — бойцами и торговцами. От них пахло кровью, силой, довольством. За окном сияло солнце, растапливая грязный снег, играя на хмурых стеклах. Солнце лило лучи на тощий петроградский рынок — на мороженых рыбешек, на мороженую капусту, на папиросы «Ю-ю» и на восточную «гузинаки». За столиками рослые татары трещали на своем языке и требовали себе к чаю варенья на 2 рубля. Возле меня примостился мужичонка. Мигая глазами, он сообщил, что в нынешнее время каждый татарин тысяч по пяти, а может, и по десяти в месяц зашибает, «всех лошадей скупили, дочиста всех».

Потом я узнал, что и русские за ум взялись. Тоже промышляют. «Что поделаешь? Раньше конину татары ели, а нынче весь народ и даже господа...»

Солнце светит. У меня странная мысль: всем худо, все мы оскудели. Только татарам хорошо, веселым могильщикам благополучия. Потом мысль уходит. Какие там татары?.. Все — могильщики.

Нагретые белые стены исполнены ровного света.

Не видно Фонтанки, скудной лужей расползшейся по липкой низине. Не видно тяжелого кружева набережной, захлестнутой вспухшими кучами нечистот из рыхлого черного снежного месива.

По высоким теплым комнатам бесшумно снуют женщины в платьях серых или темных. Вдоль стен — в глубине металлических ванночек лежат с раскрытыми серьезными глазами молчащие уродцы — чахлые плоды изъеденных, бездушных низкорослых женщин, женщин деревянных предместий, погруженных в туман.

Недоноски, когда их доставляют, имеют весу фунт — полтора. У каждой ванночки висит табличка — кривая жизни младенца. Нынче это уж не кривая. Линия выпрямляется. Жизнь в фунтовых телах теплится уныло и призрачно.

Еще одна неприметная грань замирания нашего: женщины, кормящие грудью, все меньше дают молока.

Их немного — кормилиц. Пять — на тридцать младенцев. Каждая кормит четырех чужих и одного своего. Так в приюте и произносят скороговоркой: четыре чужих, одно свое.

Кормить надо через каждые три часа. Праздников нет. Спать можно два часа сряду — не более.

Каждый день женщинам, к груди которых по семь раз в сутки присасываются пять синих, тонких ртов, выдают по три восьмых хлеба.

Они стоят вокруг меня, грудастые, но тонкие — все пятеро — в монашеских своих одеждах и говорят:

— Докторша высказывает — молока мало даете, дети в весе не растут... Душой бы рады, кровь, чувствуем, сосут... К извозчикам бы приравняли... В управе сказывали: не рабочие... Пошли вон мы нынче вдвоем в лавку, ходим, ноги гнутся, стали мы, смотрим друг дружке в глаза, падать хотим, не можем двинуться...

Они просят меня о карточках, о дополнениях, кланяются, стоят вдоль стен, и лица их краснеют и становятся напряженными и жалкими, как у просительниц в канцелярии.

Я отхожу. Надзирательница идет вслед за мной и шепчет:

— Все нервные стали... Слова не скажешь, плачут... Мы уж молчим, покрываем. Солдат тут к одной ходит — пусть ходит...

Я узнаю историю той, к которой солдат ходит. Она поступила в приют год тому назад — маленькая, крохотная, деловитая женщина. Только и было у нее большого, что тяжелая молочная грудь. Молока у ней было больше, чем у всех других кормилиц приюта. Прошел год: год карточек, корюшки и размножившихся скрюченных телец, на ходу выдавленных безликими, бездумными женщинами Петрограда. Теперь у маленькой деловитой женщины нет молока. Она плачет, когда ее обижают, и злобно тычет детям пустую грудь и отворачивается, когда кормит.

Дали бы маленькой женщине еще три восьмых, приравняли бы к извозчикам, сделали бы что-нибудь... Ведь рассудить-то надо, детей-то ведь жалко, если не помрут — из детей юноши и девушки выйдут, им жизнь делать надо. А что, как они возьмут да на три восьмых жизнь и сделают. И выйдет жизнь куцая. А мы на нее — куцую — довольно насмотрелись.

## БИТЫЕ

Это было неделю тому назад. Все утро я ходил по Петрограду, по городу замирания и скудости. Туман — мелкий, всевластный — клубился над сумраком каменных улиц. Грязный снег превратился в тускло блистающие черные лужи.

Рынки — пусты. Бабы обступили торговцев, продающих то, что никому не нужно. У торговцев все еще тугие розовые щеки, налитые холодным жиром. Их глазки — голубые и себялюбивые — щупают беспомощную толпу женщин, солдат в цивильных брюках и стариков в кожаных галошах.

Ломовики проезжают мимо рынка. Лица их нелепы и серы; брань нудна и горяча по привычке; лошади огромны, кладь состоит из сломанных плюшевых диванов или черных бочек. У лошадей тяжелые мохнатые копыта, длинные, густые гривы. Но бока их торчат, ноги скользят от слабости, напряженные морды опущены.

Я хожу и читаю о расстрелах, о том, как город наш провел еще одну свою ночь. Я иду туда, где каждое утро подводят итоги.

В часовне, что при мертвецкой, идет панихида.

Отпевают солдата.

Вокруг три родственника. Мастеровые, одна женщина. Мелкие лица.

Батюшка молится худо, без благолепия и скорби. Родственники чувствуют это. Они смотрят на священника тупо, выпучив глаза.

Я заговариваю со сторожем.

— Этого хоть похоронят,— говорит он.— А то вон у нас лежат штук тридцать, по три недели лежат, каждый день сваливают.

Каждый день привозят в мертвецкую тела расстрелянных и убитых. Привозят на дровнях, сваливают у ворот и уезжают.

Раньше опрашивали — кто убит, когда, кем. Теперь бросили. Пишут на листочке — «неизвестного звания мужчина» и относят в морг.

Привозят красноармейцы, милиционеры, всякие люди.

Эти визиты — утренние и ночью — длятся год без перерыва, без передышки. В последнее время количество трупов повысилось до крайности. Если кто, от нечего делать, задает вопрос — милиционеры отвечают: «убит при грабеже».

В сопровождении сторожа я иду в мертвецкую. Он приподнимает покрывала и показывает мне лица людей, умерших три недели тому назад, залитые черной кровью. Все они молоды, крепкого сложения. Торчат ноги в сапогах, портянках, босые восковые ноги. Видны желтые животы, склеенные кровью волосы. На одном из тел лежит записка:

— Князь Константин Эболи де Триколи.

Сторож отдергивает простыню. Я вижу стройное сухощавое тело, маленькое, оскаленное, дерзкое, ужасное лицо. На князе английский костюм, лаковые ботинки с верхом из черной замши. Он единственный аристократ в молчаливых стенах.

На другом столе я нахожу его подругу-дворянку, Франциску Бритти. Она после расстрела прожила еще в больнице два часа. Стройное багровое ее тело забинтовано. Она также тонка и высока, как князь. Рот

ее раскрыт. Голова приподнята — в яростном быстром стремлении. Длинные белые зубы хищно сверкают. Мертвая — она хранит печать красоты и дерзости. Она рыдает, она презрительно хохочет над убийцами.

Я узнаю самое главное: трупы не хоронят, потому что не на что их хоронить. Больница не хочет тратиться на похороны. Родных нет. Комиссариат не внемлет просьбам, отговаривается и отписывается. Администрация пойдет в Смольный.

Конечно.

Все там будем.

— Теперь ничего,— повествует сторож,— пущай лежат, погода держит, а как теплота вдарит, тогда всей больницей беги...

Неубранные трупы — злоба дня в больнице. Кто уберет — это, кажется, сделалось вопросом самолюбия.

— Вы били,— с ожесточением доказывает фельдшер,— вы и убирайте. Сваливать ума хватает... Ведь их, битых-то, что ни день — десятки. То расстрел, то грабеж... Уж сколько бумаг написали...

Я ухожу из места, где подводят итоги.

Тяжко.

## ДВОРЕЦ МАТЕРИНСТВА

По преданию его строил Растрелли.

Темно-красный фасад, оживленный тонкими колоннами,— этими верными, молчащими и изысканными памятниками императорского Петрополя — менее торжествен, чем великолепные, в тонкой и простой своей законченности, дворцы Юсуповых и Строгановых.

Дворец принадлежал Разумовскому. Потом в нем воспитывались благородные девицы-сироты. У благородных сирот была начальница. Начальница жила в двадцати двух высоких, светлых голубых комнатах.

Теперь нет Разумовского, нет начальницы. По растреллиевским коридорам, шаркая туфлями, тяжелой поступью беременных, расхаживают восемь женщин с оттопыренными животами.

Их только восемь. Но дворец принадлежит им. И так он называется — Дворец Материнства.

Восемь женщин Петрограда с серыми лицами и вспухшими от беготни ногами. Их прошлое: месяцы хвостов и потребительских лавок; гудки заводов, призывающие мужей на защиту революции; тяжелая тревога войны и неведомо куда влекущее содрогание революции.

Уже теперь бездумность нашего разрушения бесстрастно предъявляет счета безработицы и голода. Людям, возвращающимся с фронта, нечего делать, женам их не на что рожать, фабрики возносят к небу застывшие трубы. Бумажный туман — денежный и всяческий,— призрачно мелькавший перед оглушенными нашими лицами, замирает. А земля все вертится. Человеки мрут, человеки рождаются.

Мне приятно говорить об огоньке творчества, затеплившегося в пустых наших комнатах. Хорошо, что здание Института не отведено для комитетов по конфискации и реквизиции. Хорошо, что с белых столов не льются жидкие щи и не слышны столь обычные слова об арестах.

Дом этот будет называться Домом материнства. В декрете говорится: он будет помогать женщине в тяжких и величественных ее обязанностях.

Дворец порывает с жандармскими традициями Воспитательного дома, где дети мерли или, в счастливом случае, выходили в «питомцы». Дети должны жить. Рождать их нужно для лучшего устроения человеческой жизни.

Такова идея. Ее надо провести до конца. Надо же когда-нибудь делать революцию.

Вскинуть на плечо винтовку и стрелять друг в дружку — это, может быть, иногда бывает неглупо. Но это еще не вся революция. Кто знает — может быть, это совсем не революция.

Надобно хорошо рожать детей. И это — я знаю твердо — настоящая революция.

Дворец материнства начал работать три дня тому назад. Районные советы прислали первых пациенток. Начало положено. Главное — впереди.

Предположено открыть школу материнства. Приходить будет всякий, кто захочет. Будут учить — чистоте, тому, как сохранить жизнь ребенка и матери.

Этому поучиться надо. В начале столетия в родильных наших приютах умирало до 40% рожениц. Цифра эта не опускалась ниже 15—20%. Теперь, в связи с худосочием и малокровием, количество смертей увеличивается.

Женщины будут поступать во Дворец на восьмом месяце беременности. Полтора месяца до родов они проведут в условиях покоя, сытости и разумной работы. Платы никакой. Рождение детей — дань государству. Государство оплачивает ее.

После родов матери остаются во Дворце в течение 10—20—42 дней, до полного восстановления сил. Раньше из приютов уходили на третий день: «по хозяйству некому присмотреть, дети не кормлены...»

Предполагается устроить школу хозяек-заместительниц. Заместительницы будут следить за домом рожениц, находящихся во Дворце.

Есть уже начатки музея-выставки. В нем мать увидит хорошую простейшую кровать, белье, нужную пищу, увидит муляжи с сифилитическими, оспенными язвами, прочтет наши статистические карты с приевшимися, но все же первыми в мире цифрами о смертности детей. На выставке она сможет купить за дешевую плату белье, пеленки, препараты.

Таковы зародыши идеи, революционной идеи «социализации женщины».

В просторные залы пришли первые восемь матросских и рабочих жен. Залы принадлежат им. Залы нужно удержать и раскинуть широко.

## ЭВАКУИРОВАННЫЕ

Был завод, а в заводе — неправда. Однако в неправедные времена дымились трубы, бесшумно ходили маховики, сверкала сталь, корпуса сотрясались гудящею дрожью работы.

Пришла правда. Устроили ее плохо. Сталь померла. Людей стали рассчитывать. В вялом недоумении машины тащили их на вокзалы и с вокзалов.

Покорные непреложному закону рабочие люди бродят теперь по земле неведомо зачем, словно пыль, ничем не ценимая.

Несколько дней тому назад происходила «эвакуация» с Балтийского завода. Всунули в вагон четыре рабочих семьи. Вагон поставили на паром и — пустили. Не знаю — хорошо ли, худо ли был прикреплен вагон к парому. Говорят — совсем почти не был прикреплен.

Вчера я видел эти четыре «эвакуированных» семьи. Они рядышком лежат в мертвецкой. Двадцать пять трупов. Пятнадцать из них дети. Фамилии все подходящие для скучных катастроф — Кузьмины, Куликовы, Ивановы. Старше сорока пяти лет никого.

Целый день в мертвецкой толкутся между белыми гробами женщины с Васильевского, с Выборгской. Лица у них совсем такие, как у утопленников — серые.

Плачут скупо. Кто ходит на кладбище, тот знает, что у нас перестали плакать на похоронах. Люди все торопятся, растеряны, мелкие и острые мыслишки без устали буравят мозг.

Женщины более всего жалеют детей и кладут бумажные гривенники на скрещенные малые руки. Грудь одной из умерших, прижавшей к себе пятимесячного задохнувшегося ребенка, вся забросана деньгами.

Я вышел. У калитки, в тупичке, на сгнившей лавочке сидели две согнутые старухи. Слезливыми бесцветными глазами они глядели на рослого дворника, растапливавшего черный ноздреватый снег. Темные ручьи растекались по липкой земле.

Старухи шептались об обыденной своей суете. У столяра сын в красногвардейцы пошел — убили. Картошки нету на рынках и не будет. Грузин во дворе поселился, конфектами торгует, генеральскую дочь-институтку к себе сманил, водку с милицией пьет, денег ему со всех концов несут.

После этого — одна старуха рассказала бабьими и темными своими словами,— отчего двадцать пять человек в Неву упали.

—Анжинеры от заводов все отъехамши. Немец говорит — земля евонная. Народ потолкался, потом квартиры все побросали, домой едут. Куликовы, матушка, на Калугу подались. Стали плот сбивать. Три дня бились. Кто напился, а другому горько, сидит,

думает. А инженеров — нету, народ темный. Плот сбили, отплыл он, все прощаться стали. Река заходила, народ с детишками, с бабами попадал. Вырядили-то хорошо, восемь тысяч на похороны дали, панихиды каково служат, гробы все глазетовые, уважение сделали рабочему народу.

### МОЗАИКА

В воскресенье — день праздника и весны — товарищ Шпицберг говорил речь в залах Зимнего дворца.

Он озаглавил ее: «Всепрощающая личность Христа и блевотина анафемы христианства».

Бога товарищ Шпицберг называет — господин Бог, священника — попом, попистом и чаще всего — пузистом (от слова — пузо).

Он именует все религии — лавочка шарлатанов и эксплуататоров, поносит пап римских, епископов, архиепископов, иудейских раввинов и даже тибетского далай-ламу, «экскременты которого одураченная тибетская демократия считает целебным снадобьем».

В отдельном углу зала сидит служитель. Он брит, худ и спокоен. Вокруг него кучка людей — бабы, рабочие, довольные жизнью, бездельные солдаты. Служитель рассказывает о Керенском, о бомбах, рвавшихся под полами, о министрах, прижатых к гладким стенам гулких и сумрачных коридоров, о пухе, выпущенном из подушек Александра II-го и Марии Феодоровны.

Рассказ прервала старушка. Она спросила:

— Где, батюшка, здесь речь говорят?

— Антихрист в Николаевской зале,— равнодушно ответил служитель.

Солдат, стоявший неподалеку, рассмеялся.

— В зале — антихрист, а ты здесь растабарываешь...

— Я не боюсь,— так же равнодушно, как и в первый раз, ответил служитель,— я с ним день и ночь живу.

— Весело живешь, значит...

— Нет,— сказал служитель, подняв на солдата выцветшие глаза,— невесело живу. Скучно с ним.

И старик уныло рассказал улыбающемуся народу, что его черт — куцый и пугливый, ходит в калошах и тайком портит гимназисток.

Старику не дали договорить. Его увели сослуживцы, объявив, что он после октября «маненько тронулся».

Я отошел в раздумьи. Вот здесь — старик видел царя, бунт, кровь, смерть, пух из царских подушек. И пришел к старику антихрист. И только и нашел черт дела на земле, что мечтать о гимназистках, таясь от адмиралтейского подрайона.

Скучные у нас черти.

Проповедь Шпицберга об убиении господина Бога явно не имеет успеха. Слушают вяло, хлопают жидко.

Не то происходило неделю тому назад, после такой же беседы, заключавшей в себе «слова краткие, но антирелигиозные». Четыре человека тогда отличились — церковный староста, щуплый псаломщик, отставной полковник в феске и тучный лавочник из Гостиного. Они подступили к кафедре. За ними двинулась толпа женщин и угрожающе молчавших приказчиков.

Псаломщик начал елейно:

— Надобно, друзья, помолиться.

А кончил шепотком:

— Не все дремлют, друзья. У гробницы отца Иоанна мы дали нынче клятвенное обещание. Организуйтесь, друзья, в своих приходах.

Сошедши, псаломщик добавил, от злобы призакрыв глаза и вздрагивая всем телом:

— До чего все хитро устроено, друзья.

О раввинах, о раввинах-то никто словечка не проронит...

Тогда загремел голос церковного старосты:

— Они убили дух русской армии.

Полковник в феске кричал: «не позволим», лавочник тупо и оглушающе вопил: «жулики», растрепанные, простоволосые женщины жались к тихонько усмехавшимся батюшкам, лектора прогнали с возвышения, двух рабочих красногвардейцев, израненных под

Псковом, прижали к стене. Один из них кричал, потрясая кулаком:

— Мы игру-то вашу видим. В Колпине вечерню до двух часов ночи служат. Поп службу новую выдумал, митинг в церкве выдумал... Мы купола-то тряхнем...

— Не тряхнешь, проклятый,— глухим голосом ответила женщина, отступила и перекрестилась.

Во время пассии в Казанском соборе народ стоит с возженными свечами. Дыхание людское колеблет желтое, малое горячее пламя. Высокий храм наполнен людьми от края до края. Служба идет необычайно долгая. Духовенство в сверкающих митрах проходит по церкви. За Распятием искусно расположенные электрические огни. Чудится, что Распятый простерт в густой синеве звездного неба.

Священник в проповеди говорит о святом лике, вновь склонившемся набок от невыносимой боли, об оплевании, о задушении, о поругании святыни, совершаемом темными, «не ведающими, что творят». Слова проповеди скорбны, неясны, значительны. «Припадайте к церкви, к последнему оплоту нашему, ибо он не изменит».

У дверей храма молится старушонка. Она ласково говорит мне:

— Хор-то каково поет, службы какие пошли... В прошлое воскресенье митрополит служил... Никогда благолепия такого не было... Рабочие с завода нашего, и те в церковь ходят... Устал народ, измаялся в неспокойствии, а в церкви тишина, пение, отдохнешь...

### ЗАВЕДЕНЬИЦЕ

В период «социальной революции» никто не задавался намерениями более благими, чем комиссариат по призрению. Начинания его были исполнены смелости. Ему были поручены важнейшие задачи: немедленный взрыв душ, декретирование царства любви, подготовка граждан к гордой жизни и вольной коммуне. К своей цели комиссариат пошел путями неизвилистыми.

В ведомстве призрения состоит учреждение, неуклюже именуемое «Убежище для несовершеннолетних,

обвиняемых в общественно опасных деяниях». Убежища эти должны были быть созданы по новому плану — согласно новейшим данным психологии и педагогики. Именно так — на новых началах — мероприятия комиссариата были проведены в жизнь.

Одним из заведующих был назначен никому неведомый врач с Мурмана. Другим заведующим был назначен какой-то мелкий служащий на железной дороге — тоже с Мурмана. Ныне этот социальный реформатор находится под судом, обвиняется в сожительстве с воспитанницами и в вольном расходовании средств вольной коммуны. Прошения он пишет полуграмотные (этот директор приюта), кляузные, неотразимо пахнущие околоточным надзирателем. Он говорит, что «душой и телом предан святому народному делу», предали его «контрреволюционеры».

Поступил сей муж на службу в ведомство призрения, «указав на свою политическую физиономию, как партийного работника, большевика».

Это все, что оказалось нужным для воспитания преступных детей.

Состав других воспитателей: латышка, плохо говорящая по-русски, окончила четыре класса неведомо чего.

Старый танцовщик, окончивший натуральную школу и тридцать лет пробывший в балете.

Бывший красноармеец, до солдатчины служивший приказчиком в чайном магазине.

Малограмотный конторщик с Мурмана.

Девица конторщика с Мурмана.

К призреваемым мальчикам было еще приставлено пять дядек (словцо-то какое коммунистическое).

Работа их официальным лицом характеризуется так: «день дежурят, день спят, день отдыхат, делают — что сами находят нужным, заставляют мыть полы кого придется».

Необходимо добавить, что в одном из приютов числилось на 40 детей 23 служащих.

Делопроизводство этих служащих, многие из которых преданы уже суду, находилось, согласно данным ревизии, в следующем состоянии:

Большинство счетов не заверено подписью, на счетах нельзя усмотреть, на какой предмет израсходованы суммы, нет подписи получателей денег, в распис-

ках не сказано, за какое время служащим уплачено содержание, счет разъездных одного мелкого служащего за январь сего года достиг 455 рублей.

Если вы явитесь в убежище, то застанете там вот что.

Никакие учебные занятия не производятся. 60% детей полуграмотны. Никакие работы не производятся. Пища состоит из супа с кореньями и селедки. Здание пропитано зловонием, ибо канализационные трубы разбиты. Дезинфекция не произведена, несмотря на то, что среди призреваемых имели место 10 тифозных заболеваний. Болезни часты. Был такой случай. В 11 часов ночи привезли мальчика с отмороженной ногой. Он пролежал до утра в коридоре, никем не принятый. Побеги часты. По ночам детей заставляют ходить в мокрые уборные нагишом. Одежду припрятывают из боязни побегов.

Заключение:

Убежища комиссариата по призрению представляют собой зловонные дыры, имеющие величайшее сходство с дореформенными участками. Администраторы и воспитатели — бывшие люди, примазавшиеся к «народному делу», никакого отношения к призрению не имеющие, в огромном большинстве никакой специальной подготовкой не обладающие. На каком основании они приняты на службу властью крестьян и рабочих — неизвестно.

Я видел все это — и босых и угрюмых детей, и угреватые припухшие лица унылых их наставников, и лопнувшие трубы канализации. Нищета и убожество наше поистине ни с чем не сравнимы.

## О ГРУЗИНЕ, КЕРЕНКЕ И ГЕНЕРАЛЬСКОЙ ДОЧКЕ

*(Нечто современное)*

Два печальных грузина навещают ресторацию Пальмира. Один из них стар, другой молод. Молодого зовут Ованес.

Дела плохи. Чай подают жидкий. Молодой смотрит на русских женщин. Любитель. Старик смот-

рит на музыкальную машину. Старику грустно, но тепло.

Молодой обнюхивает обстоятельства.

Обнюхал. Молодой надевает национальный костюм, кривую шашку и мягкие кавказские сапоги.

Горизонты проясняются. В ресторации Пальмира молодому предлагают изюм и миндаль. Ованес покупает. Знакомая из государственного контроля варит на дому гузинаки.

Товар приносит барыш.

Идут дни и недели. У Ованеса на Моховой лавка восточных сластей.

У Ованеса лавка на Невском. Услуживающий ему мальчик Петька щеголяет в сияющих новых калошах. Знакомым прислугам Ованес не кланяется, а козыряет. Домовому старосте на именины подносится не что иное, как шоколадный торт. Все уважают Ованеса.

В то же время живет на Кирочной генерал Орлов. Его сосед — отставной фельдшер Бурышкин.

В институте, когда дочь Орлова — Галичка — переходила из третьего класса во второй, императрица поцеловала ее в щеку. Родные и знакомые думали, что Галичка выйдет за инженера путей сообщения. У Галички стройная и тонкая нога, обтянутая замшевым башмачком.

Фельдшер Бурышкин состоит на службе при всех режимах. Бурышкин начеку. Он носит вату в ушах и в то же время смазные сапоги. Придраться нельзя.

Придрались. Бурышкин изгнан. Много свободного времени. Заметил весну. Пишет прошение. Почерк красивый.

Удар среди ясного неба: Галичка переходит на жительство к Ованесу.

Генералу так грустно, что он заводит дружбу с Бурышкиным. Провизии мало. Управа выдала кету. С дочерью не встречается.

Однажды утром, проснувшись, генерал подумал: все тюфяки, большевики — настоящие люди. Подумал и заснул снова, довольный своими мыслями.

Галичка сидит у Ованеса за кассой. Подруги из института служат у нее в лавке продавщицами. Очень весело. От публики нет отбоя. Магазин совсем как у Абрикосова. Публику все презирают. Подруг зовут Лида и Шурик. Шурик очень веселая, наставляет рога подпоручику. Галичка затеяла ежедневные горячие завтраки. В министерстве продовольствия, где она служила раньше, служащие всегда устраивали горячие завтраки на кооперативных началах.

Генерал задумывается чаще.

Генерал примиряется с дочерью. Генерал каждый день ест шоколад. Галичка нежна и хороша необыкновенно. Ованес завел себе николаевскую шинель. Генерал удивляется тому, что никогда не интересовался грузинами. Генерал изучает историю Грузии и кавказские походы. Бурышкин забыт.

Городская управа выдала кету. Пенсию заплатили керенками.

Весна. Галичка с отцом проезжают по Невскому в экипаже. Бурышкин бродит в рассуждении — чего бы поесть. Хлеба нет. Старику обидно.

Бурышкин решает купить гузинаки для умерщвления аппетита.

Лавка Ованеса полна народа. Фельдшер стоит в хвосте. Лида и Шурик презирают его. Генерал рассказывает Ованесу анекдоты и хохочет. Грузин снисходительно улыбается. Бурышкин в ничтожестве.

Ованес не хочет дать фельдшеру сдачи с керенки. А у Ованеса есть мелочь.

— Декрет насчет сдачи читали? — спрашивает Бурышкин.

— Наплевал я на декреты,— отвечает грузин.

— Нет у меня мелочи,— шепчет Бурышкин.

— Коли нету — отдавай гузинаки.

— А в Красную Армию не хочешь.

— Наплевал я на Красную Армию.

— Ага!

Бурышкин в штабе. Бурышкин рассказывает. Комиссар отряжает 50 человек.

Отряд в лавке. Шурик в обмороке. Побледневший генерал трясущейся рукой с достоинством водружает пенсне.

Обыск у Ованеса. Найдены: мука, крупа, сахар, золото в слитках, шведские кроны, сухие яйца «Эгго», подошвенная кожа, рисовый крахмал, старинные монеты, игральные карты и парфюмерия «Модерн». Все кончено.

Ованес сидит. По ночам ему снится, что ничего не случилось, что он находится в ресторации Пальмира и смотрит на женщин.

Бурышкин исполнен энергии. Он — свидетель.

Аборт у Галички прошел благополучно. Она слаба и нежна. Муж Шурика поступил инструктором в Красную Армию, участвовал в каких-то боях на внутреннем фронте, получает фунт хлеба в день, очень весел. Вернулся с нехорошей болезнью. Шурик лечится у дорогого врача и капризничает. Подпоручик говорит, что теперь все больны.

Генерал сводит знакомство с провизором Лейбзоном. Генерал ослаб, исхудал. Ему начинает нравиться еврейская предприимчивость.

Не оправившуюся от болезни Галичку навещает Лида. Она подурнела, служит секретаршей в Смольном, на нее очень действует весна. Она говорит, что женщине трудно устроиться теперь. Железные дороги не действуют, нельзя поехать в деревню.

**СЛЕПЫЕ**

На табличке значилось: «Убежище для слепых воинов». Я позвонил у высокой дубовой двери. Никто не отозвался. Дверь оказалась открытой. Я вошел и увидел вот что:

С широкой лестницы сходит большой черноволосый человек в темных очках. Он машет перед собой камышовой тросточкой. Лестница благополучно преодолена. Перед слепым лежит множество дорог — тупички, закоулки, ступени, боковые комнаты. Тросточка тихонько бьет гладкие, тускло блистающие стены. Недвижимая голова слепого запрокинута кверху. Он движется медленно, ищет ногой ступеньку, спотыкается и падает. Струйка крови прорезывает выпуклый белый лоб, обтекает висок, скрывается под круглыми очками. Черноволосый человек приподнимается, мочит пальцы в своей крови и тихо кличет: «Каблуков». Дверь из соседней комнаты открывается бесшумно.

Передо мной мелькают камышовые тросточки. Слепые идут на помощь упавшему товарищу. Некоторые не находят его, прижимаются к стенам и незрячими глазами глядят кверху, другие берут его за руку, поднимают с пола и, понурив головы, ждут сестру или санитара.

Сестра приходит. Она разводит солдат по комнатам, потом объясняет мне:

— Каждый день такие случаи. Не подходит нам дом этот, совсем не подходит. Нам надобен дом ровный, гладкий, чтобы коридоры в нем были длинные. Убежище наше — ловушка: всё ступеньки, ступеньки... Каждый день падают...

---

Начальство наше, как известно, проявляет особенный административный восторг в двух случаях — когда надо спасаться или пищать. В периоды всяческих эвакуаций и разорительных перетаскиваний деятельность властей получает оттенок хлопотливости, творческого веселья и деловитого сладострастия.

Мне рассказывали о том, как протекала эвакуация слепых из убежища:

Инициатива переезда принадлежала больным. Приближение немцев, боязнь оккупации приводила их в чрезвычайное волнение. Причины волнения многосложны. Первая из них та, что всякая тревога сладостна для слепых. Возбуждение охватывает их быстро и неодолимо, нервическое стремление к выдуманной цели побеждает на время уныние тьмы.

Второе основание для бегства — особенная боязнь немцев.

Большинство призреваемых прибыли из плена. Они твердо убеждены в том, что если придет немец, то снова заставит служить, заставит работать, заставит голодать.

Сестры говорили им:

— Вы слепы, никому не нужны, ничего вам не сделают...

Они отвечали:

— Немец не пропустит, немец всем работу даст, мы у немца жили, сестра...

Тревога эта трогательна и показательна для пленников.

Слепые попросили отвезти их вглубь России. Так как дело пахло эвакуацией, то разрешение было получено быстро. И вот началось главное.

С печатью решимости на тощих лицах закутанные слепцы потянулись на вокзалы. Проводники рассказывали потом историю их странствований. В тот день шел дождь. Сбившись в кучу, понурые люди всю ночь ждали под дождем посадки. Потом в товарных вагонах, холодных и темных, они брели по лицу нищего отечества, ходили в советы, в грязных приемных ожидали выдачи пайков и, растерянные, прямые, молчаливые, покорно шли за утомленными и злыми проводниками. Некоторые сунулись в деревню. Деревне было не до них. Всем было не до них. Негодная людская пыль, никому не нужная, блуждала подобно слепым щенятам, по пустым станциям, ища дома. Дома не оказалось. Все вернулись в Петроград. В Петрограде тихо, совсем тихо.

---

В стороне от здания главного приютился одноэтажный дом. В нем живут особенные люди особенного времени — семейные слепые.

Я разговорился с одной из жен — рыхлой, молодой женщиной в капоте и в кавказских туфлях. Тут же сидел муж — старый костлявый поляк с оранжевым цветом лица, выеденного газами.

Я расспросил и понял быстро: отупевшая маленькая женщина — русская женщина нашего времени, заверченная вихрем войны, потрясений, передвижений.

В начале войны она «из патриотизма» пошла в сестры милосердия.

Прожито много: изувеченные «солдатики», налеты немецких аэропланов, танцевальные вечера в офицерском собрании, офицеры в «галифе», женская болезнь, любовь к какому-то уполномоченному, потом — революция, агитация, снова любовь, эвакуация и подкомиссии...

Где-то, когда-то, в Симбирске были родители, сестра Варя, двоюродный брат путеец... Но от родителей полтора года нет писем, сестра Варя — далеко, теплый запах родины испарился...

Теперь вместо этого — усталость, расползшееся тело, сидение у окна, любовь к безделью, мутный взгляд,

тихонько перебирающийся с одного предмета на другой, и муж — слепой поляк с оранжевым лицом...

Таких женщин в убежище несколько. Они не уезжают потому, что ехать некуда и незачем. Сестра надзирательница часто говорит им:

— Не пойму, что у нас здесь... Все сбились в кучу и живем, а жить вам не полагается... Я теперь и названия убежища не подберу, по штату мы казенное учреждение, а теперь... ничего не понять...

---

В темной низкой комнате — друг против друга на узких кроватях сидят два бледных бородатых мужика. Стеклянные глаза их недвижимы. Тихими голосами они переговариваются о земле, о пшенице, о том, какая нынче цена поросятам...

В другом месте дряхлый и равнодушный старичок учит высокого сильного солдата игре на скрипке. Слабые визгливые звуки текут из-под смычка поющей трепещущей струей...

Я иду дальше.

В одной из комнат стонет женщина. Заглядываю и вижу: на широкой кровати корчится от болей девочка лет семнадцати с багровым и мелким личиком. Темный муж ее сидит в углу на низкой табуретке, широкими движениями рук плетет корзину и внимательно и холодно прислушивается к стонам.

Девочка вышла замуж полгода тому назад.

Скоро в особенном домишке, начиненном особенными людьми — родится младенец.

Дитя это будет, поистине, дитя нашего времени.

## ВЕЧЕР

Я не стану делать выводов. Мне не до них.

Рассказ будет прост.

Я шел по Офицерской улице. Это было 14 мая, в 10 часов вечера. У ворот одного из домов я услышал крик. В подворотню заглядывали людишки — лавочник, проходивший мимо, внимательный мальчишка-приказчик, барышня с нотами, щекастая горничная, распаленная весной.

В глубине двора, у сарая, стоял человек в черном пиджаке. Сказать о нем человек — значит сказать много. Он был узкогруд и тонок, паренек лет семнадцати. Вокруг него бегали раскормленные плотные люди в новых скрипящих сапогах и вопили тягучие слова. Один из бегущих с недоумением, наотмашь ударил паренька кулаком по лицу. Тот, склонив голову, молчал.

Из окна второго этажа торчала рука, сжимавшая револьвер, и летел быстрый хриплый голос:

— Будь уверен, жить не будешь... Товарищи, израсходую я его... Не можешь ты у меня жить...

Паренек, понурясь, стоял против окна и смотрел на говорившего со вниманием и тоскою. А тот, расширив до предела узкие щели мутных голубых глаз, загорался злобой от нелепого и горячего своего крика. Паренек стоял, не шевелясь. В окне блеснуло пламя. Звук выстрела прозвучал подобно мощной бархатной ноте, взятой баритоном. Покачиваясь, парень отошел в сторону и прошептал:

— Что же вы, товарищи... Господи...

Я видел потом, как его били на лестнице. Мне пояснили: бьют комиссары. В доме помещается «район». Мальчишка — арестованный, пытался улизнуть.

У ворот все еще стояли щекастая горничная и заинтересованный лавочник. Избитый, посеревший арестант кинулся к выходу. Завидя бегущего, лавочник с неожиданным оживлением захлопнул калитку — подпер ее плечом и выпучил глаза. Арестант прижался к калитке. Здесь солдат ударил его прикладом по голове. Прозвучал скучный заглушенный хрип:

— Убили...

Я шел по улице, сердце побаливало, отчаяние владело мной.

Избивавшие были рабочими. Никому из них не было более тридцати лет. Они поволокли мальчишку в участок. Я проскользнул вслед за ними. По коридорам крались широкоплечие багровые люди. На деревянной скамейке, сжатый стражей, сидел пленник. Лицо у него было окровавленное, незначительное, обреченное. Комиссары сделались деловитыми, напряженными, неторопливыми. Один из них подошел ко мне и спросил, глядя на меня в упор:

— Что надо? Убирайся вон!

Все двери захлопнулись. Участок отгородился от мира. Наступила тишина. За дверью отдаленно звучал шум сдержанной суеты. Ко мне приблизился седенький сторож:

— Уйди, товарищ, не ищи греха. Его уж прикончат, вишь — заперлись.— Потом сторож добавил: — Убить его, собаку, мало, не бегай в другой раз.

В двух шагах ходьбы от участка мне бросился в глаза освещенный ряд окон кафе. Оттуда доносилась солдатская музыка. Мне было грустно. Я пошел. Вид зала поразил меня. Его заливал необычный свет мощных электрических ламп — свет яркий, белый, ослепительный. У меня зарябило в глазах от красок. Мундиры синие, красные, белые — образовывали цветную радостную ткань. Под сияющими лампами сверкало золото эполет, пуговиц, кокард, белокурые молодые головы, черный блеск крепко вычищенных сапог светился недвижимо и точно. Все столики были заняты германскими солдатами. Они курили длинные черные сигареты, задумчиво и весело следили за синими кольцами дыма, пили много кофе с молоком. Их угощал растроганный рыхлый старый немец, он все время заказывал музыкантам вальсы Штрауса и «Песню без слов» Мендельсона. Крепкие плечи солдат двигались в такт с музыкой, светлые глаза их блистали лукаво и уверенно. Они охорашивались друг перед другом и все смотрели в зеркало. И сигары, и мундиры с золотым шитьем совсем недавно были присланы им из Германии. Среди немцев, глотающих кофе, были всякие: скрытные и разговорчивые, красивые и корявые, хохочущие и молчаливые, но на всех лежала печать юности, мысли и улыбки — спокойной и уверенной.

---

Наш северный притихший Рим был величественен и грустен в эту ночь. Впервые, в нынешнем году не были зажжены огни. Начались белые ночи.

Гранитные улицы стояли в молочном тумане призрачной ночи и были пустынны. Темные фигуры женщин смутно чернелись у высоких свободных перекрестков. Могучий Исаакий высказывал единую непроходящую, легкую, каменную мысль. В синем сумрачном сиянии видно было, сколь чист гранитный и

мелкий узор мостовой. Нева, заключенная в недвижимые берега, холодно ласкала мерцание огней в темной и гладкой своей воде.

Молчали мосты, дворцы и памятники, спутанные красными лентами и изъязвленные лестницами, приготовленными для разрушения. Людей не было. Шумы умерли. Из редеющей тьмы стремительно наплывало яростное пламя автомобиля и исчезало бесследно.

Вокруг золотистых шпилей вилось бесплотное покрывало ночи. Безмолвие пустоты таило мысль — легчайшую и беспощадную.

## Я ЗАДНИМ СТОЯЛ

Мы похожи на мух в сентябре: сидим вялые, точно нам подыхать скоро надо. Мы представляем собой собрание безработных Петроградской стороны.

Зал для собрания отвели просторный. Надвигающиеся солнечные лучи — широкие, белые — уперлись в стену.

Доклад делает председатель Комитета безработных. Он говорит:

— Безработных сто тысяч. Остановившиеся заводы не могут быть пущены в ход. Нет топлива.

Биржа труда работает худо. Хоть в ней сидят рабочие, однако это не очень умные, не очень грамотные рабочие. Продовольственная управа бесконтрольна в своих действиях. Те, кто распределяет хлеб между населением, те же имеют право и браковать его. Ничего хорошего из этого не выходит. Никто ни в чем не отчитывается.

Сообщение выслушивается пассивно. Ждут выводов. Выводы следуют.

Необходимо, чтобы в учреждении не служили целыми семьями — муж, да жена, да дети.

Необходимо безработным контролировать биржу труда.

Необходимо предоставить Комитету безработных просторное помещение и т. д., и т. п.

Под стульями светятся черным блеском сапоги. Всем известно, что безработный, обладая досугом

и остатком денег, полученных при расчете, по утрам усердио поплевывает на сапоги, создавая себе, таким образом, иллюзию занятия.

Докладчик умолк. На кафедру входят присмиревшие неумелые люди в куцых пальтишках. Безработные Петрограда заявляют о великих своих нуждах, о пятирублевом пособии и о дополнительной карточке.

— Смирный народ исделался,— пугливо шепчет за моей спиной шепелявый старческий голос.— Кроткий народ исделался. Выражение-то какое у народа тихое...

— Утихнешь,— отвечает ему басом другой голос, густой и рокочущий.— Без пищи голова не ту работу оказывает. С одиой стороны — жарко, с другой — пищи нет. Народ, скажу тебе, в задумчивость впал.

— Это верно — впал,— подтверждает старик.

Ораторы менялись. Всем хлопали. Совершила выступлеиие интеллигенция. Застенчивый человек с бороденкой, задумываясь, покашливая и прикрывая ладонью глаза, поведал о том, что Маркса ие поняли, капиталу нужио движение дать.

Ораторы говорили, публика расходилась. Только угрюмые рабочие чего-то ждали.

На трибуну взошел рабочий лет сорока, с круглым, добрым лицом, красным от волнения. Речь его была бессвязна.

— Товарищи, здесь председатель говорил, другие также... Я одобряю, я свое не могу выразить. Меия в заводе — ты какой? Я говорю — ни к кому я не принадлежу, я неграмотиый, дай мие работу, я тебя накормлю, я всех иакормлю. На завод ребята с газетами приходили, все горлопанили. Я задним стоял, товарищи, я ни к кому не прииадлежал, мие работу дай... Кто красиоречивый был — что мы видим? — он в комиссарах горлопаиит, а нам велит: ходи вокруг биржи... Мы вокруг биржи ходим, потом вокруг Петроградской стороиы пойдем, потом вокруг России... Как же так, товарищи?..

Рабочего прерывают. Рев потрясает зал. Аплодисменты оглушительиы.

Оратор смущен, радостеи, он машет руками и мнет фуражку.

— Товарищи, я свое ие могу выразить, меня от

дела отставили, зачем я теперь? Всё учили про справедливость. Если справедливость, если народ — мы, значит, казна наша, ляса наши, именьишка наши, вся земля и вода наши. Устрой нас теперь, мы заднями стояли, мы ни в чем этом не виноваты, мы нынче пустые по углам слоняемся. Невозможно дальше в таком беспокойстве жить...

Все враги у нас — и немец, и другие, я поднимать их всех притомился... Я про справедливость хотел выразить... Поработать бы нам этим летом — и все...

Последний оратор имел успех, наибольший успех, единственный успех. Когда он сошел с возвышения — его точно на руки подхватили, обступили и все хлопали.

Он счастливо улыбался и говорил, поворачивая голову во все стороны:

— Никогда за мной этого не было, чтоб говорить. Но теперь я, товарищи, по всех митингах пойду, я про работу должен все сказать.

Он пойдет на митинг. Он скажет. И боюсь я, что он будет иметь успех — этот последний наш оратор.

### ЗВЕРЬ МОЛЧИТ

Баба улыбчива, ласкова, белолица. Из клетки на нее смотрит с холодным вниманием старая обезьяна.

С нетерпимой пронзительностью вопят попугаи, объятые скучным недугом. Серебристыми язычками они трутся о проволоку, скрюченные когти впились в решетку, серые клювы, столь схожие с желобками из жести, раскрываются и закрываются, как у птицы, издыхающей от жажды. Бело-розовые тельца попугаев мерно качаются у стенок.

Египетский голубь смотрит на бабу красным блистающим глазком.

Морские свинки, сбившись в шевелящийся холмик, попискивают и тычут в решетку белые мохнатые мордочки.

Баба ничем не одаряет голодных животных. Орехи и монпансье — это не по ее карману.

Тогда обезьяна, умирающая от старости и недоедания, приподнимается с тяжким усилием и взбирается

на палку, волоча за собой распухший серый волосатый зад.

Понурив бесстрастную морду, равнодушно раскорячив ноги, обратив на бабу тусклый и невидящий взор — обезьяна отдается дурному занятию, так развлекаются тупые старики в деревне и мальчики, скрывающиеся на черном дворе за сорными кучами.

Румянец заливает бледные щеки женщины, ресницы ее трепещут и призакрывают синие глаза. Очаровательное движение, полное смущения и лукавства, изгибает шею.

Вокруг бабы раздается ржанье солдат и подростков. Помотавшись по зверинцу,— она снова подходит к обезьянской клетке.

— Ах, старый пес...— слышен укоризненный шепот.— Совсем ты из ума выжил, бесстыдник...

Баба вытаскивает из кармана кусок хлеба и протягивает обезьяне.

Трудно передвигаясь, животное приближается к ней, не спуская глаз с заплесневевшего куска.

— Люди голодом сидят,— бормочет солдат, стоящий неподалеку.

— Что зверю-то делать? Зверь — он молчит...

Обезьяна ест внимательно, осторожно двигая челюстями. Луч солнца тронул сощуренный бабий глаз. Глаз засиял и покосился на сгорбившуюся полосатую фигурку.

— Дурачок,— с усмешкой прошептала женщина. Ситцевая юбка ее взметнулась, ударила солдата по глянцевитым сапогам и, медлительно виляя, потянулась к выходу, туда, где вспыхнувшее солнце буравило серую дорожку.

Баба уходит,— солдат за нею.

Я и мальчики — мы остаемся и смотрим на жующую обезьяну. Старая полька, услуживающая в здании, стоит рядом со мной и торопливо бормочет о том, что люди Бога забыли, все звери скоро от голоду подохнут, теперь люди, всё крестные ходы затевают, вспомнили о Боге, да поздно...

Из глаз старухи выкатываются мелкие слезинки, она снимает их с морщин ловкими тонкими пальцами, трепыхается изогнутым телом и все бормочет мне о людях, о Боге и об обезьяне...

---

Несколько дней тому назад в зоологический сад пришли три седобородых старца. Они представляли собой комиссию. Им была поставлена задача — рассмотреть, какие животные являются менее ценными. Таких надлежит пристрелить, так как кормов не хватает.

Старцы расхаживали по пустынным, чисто выметенным аллеям. Им давал разъяснения укротитель. За комиссией следовала приехавшая толпа дрессировщиков татар, кротких татарок.

Старцы останавливались у клеток. Навстречу им приподнимались на высоких ногах двугорбые верблюды и лизали руки, говоря о покорном недоумении души, обеспокоенной голодом. Олени бились мягкими неотросшими рогами о железные прутья.

Слон, неутомимо шагавший на возвышении, вытягивал и свертывал хобот, но не получал ничего.

Комиссия совещалась, а укротитель докладывал с безнадежностью.

За зиму в зоологическом саду издохло восемь львов и тигров. Им дали в пищу негодную ядовитую конину. Звери были отравлены.

Из тридцати шести обезьян остались в живых две. Тридцать четыре умерли от чахотки и недоедания. В Петрограде обезьяна не живет больше года.

Из двух слонов пал один — наилучший. Он пал от голода. Спохватились, когда слон слег. Ему дали тогда пуд хлеба и пуд сена. Это не помогло.

Змей больше нет в зоологическом саду. Клетки их пусты. Издохли все удавы — драгоценные образцы породы.

Старцы расхаживают по пустынным дорожкам. Молчаливой толпой следуют за ними дрессировщики и кроткие татарки-прислуги.

Солнце стоит над головой. Земля бела от недвижных лучей. Звери дремлют за изгородями на гладком песке.

Публики нет. Три финки, три белобрысые девочки с желтыми косицами неслышно снуют сбоку. Они — беженки из Вильно. Они доставляют себе удовольствие.

На листве, зазеленевшей недавно, оседает горячий порошок пыли. В вышине блистает одинокое синее солнце.

Красных прижимали к границе.

Гельсингфорс, Або, Выборг — пали.

Стало ясно, что дела красных плохи. Тогда штаб послал за подмогой на далекий север.

Месяц тому назад, на пустынной финской станции — там, где небо прозрачно, а высокие сосны неподвижны,— я увидел людей, призванных для последнего боя.

Они приехали с Коми и с Мурманска — из мёрзлой земли, прилегающей к тундре.

Их собрание происходило в низком бревенчатом сарае, наполненном сырой тьмой.

Черные тела — без движения — вповалку лежали на земле. Мглистый свет бродил по татарским безволосым лицам. Ноги их были обуты в лосиные сапоги, плечи покрывал черный мех.

За поясом у каждого торчал кривой нож, тугие пальцы лежали на тусклых стволах старинных ружей.

Древние тюрки лежали передо мной — круглоголовые, бесстрастные, молчащие.

Речь держал финский офицер.

Он сказал:

— Бой будет завтра у Белоострова, у последнего моста! Мы хотим знать, кто будет хозяином на нашей земле?

Офицер не убеждал. Он думал вслух, с тягостным вниманием обтачивая небыстрые слова.

Замолчав, он отошел в сторону и, склонив голову, стал слушать.

Началось обсуждение, особенное обсуждение, я такого не слыхал в России.

Тишина царила в бревенчатом сарае, наполненном серой тьмой. Под черным мехом — непонятно молчали твердые лица, призрачно искаженные мглой — склоненные, дремлющие.

Медленно и трудно негромкие голоса входили в угрюмую тишину. Пятнадцатилетний говорил с холодной раздумчивостью старика, старики во всем походили на юношей.

Одни из финнов сказали: пойдем помогать. Они вышли из сарая и, гремя ружьями, стали строиться у леса.

Другие не тронулись с места. Бледный мальчик лет шестнадцати протянул офицеру газету, в которой напечатан был русский приказ о разоружении красных, переходящих границу.

Мальчик дал газету и тихо промолвил несколько слов.

Я спросил тогда финна, служившего мне переводчиком:

— О чем говорит теперь?

Финн обернулся и, не отрывая от моего лица холодных глаз, ответил мне в упор:

— Я не скажу вам того, я ничего не скажу вам больше.

Финны, оставшиеся с мальчиком, встали.

Вместо ответа они покачали лишь бритыми головами, вышли и, понурясь, молчащей толпой сбились у низкой стены.

Побледневший офицер крался вслед за ними, трясущейся рукой вытаскивая револьвер. Он навел его на потушенное желтое скуластое лицо юноши, стоявшего впереди. Тот скосил узкие глаза, отвернулся, сгорбился.

Офицер отошел, опустился на пень, швырнул револьвер и закрыл глаза руками.

На землю нисходил вечер. Румянец озарил край неба. Тишина весны и ночи облекла лес. Брошенный револьвер валялся в стороне. У леса офицер раздавал патроны тем, кто пойдет.

Недалеко от отряда, готовившегося в поход, я увидел мужичонку в армяке. Он сидел на толстом пне. Перед ним была миска с кашей, манерка борща, каравай хлеба.

Мужик ел, задыхаясь от жадности. Он стонал, откидывался назад, дышал со свистом и впивался черными пальцами в свалявшиеся куски застывшей каши. Пищи хватило бы на троих.

Узнав, что я русский, мужичонка поднял на меня мутно-сияющий, голубой глазок. Глазок сощурился, скользнул по караваю и подмигнул мне:

— Каши дали, чаю сухого — задобрить хотят на позиции везть, я ведь петрозаводский. А толку что? На что народ аккуратный — финны-то, — а с понятием идут. Не выйтить им живыми, никак им живыми не выйтить. Понаехали вроде мордва, озираются, всё

арестовать кого-то хочут. Зачем — говорят — нас везли? Аккуратный народ, худого не скажешь. И так думаю — прихлопнет их немец скоро...

---

Все это я видел на пустынной финской станции месяц тому назад.

## НОВЫЙ БЫТ

Мы в сыром полутемном сарае. Косаренко нарезывает ножичком картофель. Толстоногая босая девка поднимает запотевшее веснушчатое лицо, взваливает на спину мешок с рассадой и выходит. Мы идем вслед за нею.

Полдень — синий в своей ослепительности — звучит тишиной зноя. На сияющих припухлостях белых облаков легко вычерчиваются овалы ласточкиного полета. Цветники и дорожки — жадно поглощенные шепчущейся травой — обведены со строгой остротою.

Проворной рукой девка прячет картофель в развороченной земле. Склонив голову набок, Косаренко ловит тонкими губами усмешку. Мелкие тени летают по сухой коже, наполняя желтоватое лицо неприметной дрожью морщинок, светлый глаз задумчиво сощурился, рассеянно трогая цветы, траву, бревно сбоку...

— Стрелковый Царской фамилии полк от нас неподалеку стоял,— шепчет Косаренко в мою сторону.— Там, кроме князей, никого и не увидишь... Сухих, гвардии полковник был, с царем учился, наш полк ему и дали, как флигель-адъютанта получил — маленько от долгов оправился, не из богатых был...

Косаренко уже успел рассказать мне о великих князьях, об Скоропадском, бывшем его генерале, о сражениях, в которых погибла русская гвардия...

Мы сидим на скамейке, украшенной Амуром, пузатым и улыбчивым. На фронтоне легкого здания сияет позолота надписи: Лейб-Гвардии Финляндского полка офицерское собрание. Мозаика цветных стекол забита досками, сквозь щели виден светлый зал, стены его покрыты живописью, в углу свалена резная белая мебель.

— Товарищ,— говорит Косаренке толстоногая девка,— делегат насчет грядки говорил, я грядку-то посадила...

Девка уходит. Мясистая спина ее туго обтянута кофтой, крепкие соски упруго ходят под ситцем, оттопыриваясь дрожащими холмиками. В руках девки — пустой мешок кажет солнцу черные дыры.

---

Пустошь представляла из себя лагерь Финляндского полка. Теперь земля принадлежит Красной армии. На пустоши решили развести огород, для этого из полка послали десять красноармейцев. О посланных этих мне сказали так:

— Они ленивы, привередливы, наглы и болтливы. Они не умеют, не хотят и не будут работать. Мы отослали их обратно и взяли наемных рабочих.

Полк насчитывает в своей среде тысячу здоровых, бездельных юношей, едящих и болтающих.

Огород этой тысячи обрабатывается двумя замореными чухонцами, равнодушными, как смерть, и несколькими девушками петербургских окраин.

Им платят по 11 рублей в сутки, они получают фунт хлеба в день, над ними поставлен агроном. Заглядывая в глаза, агроном говорит всем навещающим его:

— Мы всё разрушали, теперь стройка началась, хоть с изъянами, да стройка, на будущей неделе сорок коров купим...

Сказав про коров — агроном отскакивает, потом медленно приближается и вдруг — бормочет на ухо свистящим злым шепотом:

— Беда. Людей нет. Беда.

---

Я в поле. Земля треснула от тепла. Надо мной солнце. Подле меня коровы, не красноармейские, настоящие. Я счастлив, брожу точно соглядатай, втыкаю сапоги в рассыпающуюся землю.

Чухонцы, подпрыгивая, ходят за плугом.

Из десяти красноармейцев остался всего один. Он боронит. Борона ездит в неумелых и растерянных руках, лошади бегут, зубья легонько взрывают почву только с поверхности.

Красноармеец — мужик с хитринкой. Вместе с остальными хотели отправить в город и его. Он воспротивился — харчи хороши показались и жизнь привольная.

Теперь он бегает за скучающими лошадьми, за кувыркающейся бороной и, вспотевший, но важный, выпучив глаза, кричит мне яростно:

— Сторонись...

А девушки — те обливают грядки, работают неспешно, отдыхают, обняв колени в колодку, и лукавым певучим шепотом перебрасывают друг дружке бесстыдную городскую песню.

— Я на десять фунтов поправилась,— шныряя глазками, говорит одна из них, горбатенькая, с мелким сероватым личиком,— отсюда на Гребецкую в мастерскую не побежишь... Кабы всегда казенная служба в деревне была, я, может, и молоко б тогда для ребенка пустила...

---

Час шабаша. Солнце высоко. Стены белы. Мухи жужжат лениво. Мы лежим с Косаренкой на примятой траве.

Девки, закинув на плечи лопаты, не спеша идут с огорода. Чухонец, дымя трубкой, распрягает лошадь, поводя водянистыми светлыми глазами. Красноармеец спит на солнцепеке, выбросив вбок обутую в лапоть ногу и приоткрыв перекошенный черный рот.

Тишина. Задумчиво уставившись в землю, Косаренко шепчет небыстрые слова:

— Я двадцать два года в фельдфебелях был, мне уж удивляться нечему: а скажу вам, что не сознаю я себя — сон или настоящее? Был я у них в казарме — занятий нету, дрыхнут, на полу селедки, дрянь, щи разлитые... Долго ли продержимся?

Немигающие глазки устремлены на меня.

— Не знаю, Косаренко, надо б долго...

— Делать-то не с кем. Гляди!

Я гляжу. Чухонец распряг лошадей, присел на пень, бедными движениями поправляет портянки, красноармеец спит, пустынный двор облит белым зноем, длинные ряды конюшен стоят заколоченные.

Далеко от нас, на фронтоне легкого здания, сияет

позолота слов: лейб-гвардия... офицерское собрание... Рядом со мной похрапывает Косаренко. Он забыл уж, о чем говорил. Солнце сморило его.

### СЛУЧАЙ НА НЕВСКОМ

Я сворачивал с Литейного на Невский. Впереди меня — покачиваясь — идет безрукий мальчик. Он в солдатском мундире. Пустой рукав приколот булавкой к черному сукну.

Мальчик покачивается. Я думаю — ему весело. Теперь три часа дня. Солдаты продают ландыши, а генералы — шоколад. Весна, тепло, светло.

Я ошибся — безрукому не весело. Он подходит к деревянному забору, цветасто украшенному афишами, и садится на горячий асфальт тротуара. Тело его ползет книзу, искривленный рот пускает слюну, никнет голова — узкая и желтая.

Людишки стягиваются мгновенно. Стянулись. Мы стоим в бездеятельности, шепчем слова и упираемся друг в друга тупыми и изумленными глазами.

Рыжеватая дама проворнее всех. У нее золотистый парик, голубые глаза, синие щеки, пудреный нос и прыгающие вставные зубы. Она узнала все: упал от голода наш инвалид, вернувшийся из немецкого плена.

Синие щеки ходят вниз и вверх. Она говорит:

— Господа, немцы обкуривают улицы столицы сигарами, а наши страдальцы...

Мы все, сбившиеся вокруг распростертого тела в неторопливую, но внимательную кучку,— мы все растроганы словами дамы.

Проститутки с пугливой быстротой суют в шапку мелкие кусочки сахару, еврей покупает с лотка картофельные котлеты, иностранец бросает чистенькую ленточку новых гривенников, барышня из магазина принесла чашку кофе.

Инвалид копошится внизу на асфальте, пьет из китайской чашечки кофе и жует сладкие пирожки.

— Точно на паперти,— бормочет он, икая и обливаясь светлой обильной слезой,— точно нищий, точно в цирк пришли, Господи...

Дама просит нас уйти. Дама взывает к деликатности. Инвалид боком валится на землю. Вытянутая нога его вспрыгивает кверху, как у игрушечного паяца.

В это время к панели подлетает экипаж. Из него выходит матрос и синеглазая девушка в белых чулках и замшевых туфельках. Легким движением оиа прижимает к груди охапку цветов.

Расставив ноги, матрос стоит у забора. Инвалид приподнимает обмякшую шею и робко всматривается в голую шею матроса, в завитые волосы, в лицо, покрытое пудрой, пьяиое, радостное.

Матрос медлеиио выиимает кошелек и бросает в шапку сорокарублевку. Мальчик сгребает ее черными негнущимися пальцами и поднимает на матроса водянистые собачьи глаза.

Тот качается на высоких ногах, отступает на шаг назад и подмигивает лежащему — лукаво и нежно.

Пламеиные полосы зажжены на небе. Улыбка идиота растягивает губы лежащего, мы слышим лающий хриплый смех, изо рта мальчика бьет душный зловониый запах спирта.

— Лежи, товарищ,— говорит матрос,— лежи...

Весна на Невском, тепло, светло. Широкая спина матроса медлительно удаляется. Сииеглазая девушка, склонившись к круглому плечу, тихо улыбается. Калека, ерзая на асфальте, заливается обрывистым, счастливым и бессмысленным хохотом.

## СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ

Две недели тому назад Тихон, патриарх московский, принимал делегации от приходских советов, духовной академии и религиозно-просветительных обществ.

Представителями делегации — монахами, священнослужителями и мирянами — были произнесеиы речи. Я записал эти речи и воспроизведу их здесь:

— Социализм есть религия свииьи, приверженной земле.

— Темные люди рыщут по городам и селам, дымятся пожарища, льется кровь убиенных за веру. Нам

сказывают — социализм. Мы ответим: грабеж, разорение земли русской, вызов святой непреходящей церкви.

— Темные люди возвысили лозунги братства и равенства. Они украли эти лозунги у христианства и злобно извратили до последнего постыдного предела.

Быстрой вереницей проходят кудреватые батюшки, чернобородые церковные старосты, короткие задыхающиеся генералы и девочки в белых платьицах.

Они падают ниц, тянутся губами к милому сапогу, скрытому колеблющимся шелком лиловой рясы, припадают к старческой руке, не находя в себе сил оторваться от синеватых упавших пальцев.

Патриарх сидит в золоченом кресле. Он окружен архиепископами, епископами, архимандритами, монашествующей братией. Лепестки белых цветов в шелку его рукавов. Цветами усыпаны столы и дорожки.

С сладостной четкостью с генеральских уст срываются титулы — ваше святейшество, боголюбимый владыко, царь церкви. По обычаю старины, они низко бьют челом патриарху, неуклюже трогая руками пол. Неприметно и строго блюдут монахи порядок почитания, с горделивой озабоченностью пропуская делегации.

Люди поднимают кверху дрожащие шеи. Схваченные тисками распаренных тел, тяжко дышащих жаром — они, стоя, затягивают гимны. Нешумно разлетаются по сторонам батюшки, зажимая между сапогами развевающиеся рясы.

Золотое кресло скрыто круглыми поповскими спинами. Давнишняя усталость лежит на тонких морщинах патриарха. Она осветляет желтизну тихо шевелящихся щек, скупо поросших серебряным волосом.

Зычные голоса гремят с назойливым воодушевлением. Несдержанно изливается восторг прорвавшегося многословия. Бегом бегут на возвышение архимандриты, торопливо сгибаются широкие спины. Черная стена, стремительно, неслышно растущая, обвивает заветное кресло. Белый клобук скрыт от жадных

глаз. Обрывистый голос язвит слух нетерпеливыми словами:

— Восстановление на Москве патриаршества — есть первое знамение из пепла восстающего государства Российского. Церковь верит, что верные ее сыны, ведомые, грядущим во имя Господне, святейшим Тихоном, патриархом Московским и всея Руси, сбросит маску с окровавленного лица родины.

— Как в древние дни тяжкого настроения — Россия с надеждой поднимает измученный взор на единого законнейшего владыку, во дни безгосударные, поднявшего на себя крестный труд соединения рассыпанной храмины...

Гремят зычные голоса. Не склоняя головы, прямой и хилый, патриарх устремляет на говорящих неподвижный взор. Он слушает с бесстрастием и внимательностью обреченного.

За углом, протянув к небу четыре прямые ноги, лежит издохшая лошадь.

Вечер румян.

Улица молчалива.

Между гладких домов текут оранжевые струи тепла.

На паперти — тела спящих калек. Сморщенный чиновник жует овсяную лепешку. В толпе, сбившейся у храма, гнусавят слепцы. Рыхлая баба лежит во прахе перед малиновым мерцанием иконы. Безрукий солдат, уставив в пространство немигающий глаз, бормочет молитву Богородице. Он неприметно поводит рукой, рассовывая иконки, и быстрыми пальцами комкает полтинники.

Две нищенки прижали старушечьи лица к цветным и каменным стенам храма.

Я слышу их шепот:

— Выхода ждут. Не молебен нынче. Патриарх со всей братией в церкви собравшись. Обсуждение нынче. Народ обсудят.

Распухшие ноги нищенок обвернуты красными тряпками. Белая слеза мочит кровяные веки.

Я становлюсь рядом с чиновником. Он жует, не поднимая глаз, слюна закипает в углах лиловых губ.

Тяжко ударили колокола. Люди сбились у стены и молчат.

## Газета «Красный кавалерист», 1920 год

### ПОБОЛЬШЕ ТАКИХ ТРУНОВЫХ!

В наши героические, кровавые и скорбные списки надо внести еще одно имя — незабвенное для 6-ой дивизии,— имя командира 34-ого кавполка Константина Трунова, убитого 3.VIII в бою под К. Еще одна могила спрячется в тени густых Волынских лесов, еще одна известная жизнь, полная самоотвержения и верности долгу, отдана за дело угнетенных, еще одно пролетарское сердце разбилось для того, чтобы своей горячей кровью окрасить красные знамена революции. История последних лет жизни тов. Трунова связана неразрывно с титанической борьбой Красной Армии. Чаша им испита до дна — проделаны все походы от Царицына до Воронежа, от Воронежа до берегов Черного моря. В прошлом — голод, лишения, раны, непосильная борьба рядом с первыми и в первых рядах и, наконец, офицерская панская пуля, сразившая ставропольского крестьянина из далеких степей, принесшего чуждым ему людям весть об освобождении.

С первых дней революции т. Трунов, ни минуту не колеблясь, занял свое настоящее место. Мы находили его в числе организаторов первых отрядов ставропольских войск. В регулярной Красной Армии он последовательно занимал должности командира 4-ого Ставропольского полка, командира 1-ой бригады 32-ой дивизии, командира 34-го кавполка 6-ой дивизии.

Память о нем не заглохнет в наших боевых рядах. В самых тяжелых условиях он вырывал победу у врага своим исключительным беззаветным мужеством, непреклонной настойчивостью, никогда не изменявшим ему хладнокровием, огромным влиянием на родную ему красноармейскую массу. Побольше нам Труновых — тогда крышка панам всего мира.

### РЫЦАРИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Польская армия обезумела. Смертельно укушенные паны, издыхая, мечутся в предсмертной агонии, нагромождая преступление на глупость, погибают,

бесславно сходя в могилу под проклятия и своих и чужих. Чувствуя, что и прежде,— они идут напролом, не заботясь о будущем, основательно забыв, что, по мысли антантовских гувернанток, они, рыцари европейской культуры, являются стражами «порядка и законности», барьером против большевистского варварства.

Вот как охраняет цивилизацию польский барьер.

Жил-был в Берестечке скромный труженик-аптекарь, организовавший насущно нужное дело: работавший не покладая рук, занятый своими больными, пробирками да рецептами,— и никакого отношения к политике не имел и, может быть, и сам думал, что у большевиков уши над глазами растут.

Аптекарь этот еврей. Для поляка все ясно — скотина безответная, пали почем зря — режь, насилуй, истязай. Демонстрация была приготовлена вмиг. Мирного аптекаря, благополучно нажившего геморрой у своих бутылочек, обвинили в том, что он где-то когда-то зачем-то убил польского офицера и выходит он поэтому пособником большевиков.

То, что последовало за этим, отнесет нас к самым удушливым векам испанской инквизиции. Если бы я не видел собственными глазами это истерзанное лицо, это раздробленное исковерканное тело — никогда бы не поверил в то, что в наше, хотя бы жестокое, хотя бы кровавое время возможно на земле такое неожиданное злодейство. Аптекарю прижигали тело калеными железными палками, выжгли лампасы (ты, мол, заодно с казаками-большевиками!), загоняли под ногти раскаленные иголки, вырезали на груди красноармейскую звезду, выдергивали по одному волосу с головы.

Все это делалось неспеша, сопровождалось шуточками насчет коммунизма и жидовских комиссаров.

Это не всё — и озверевшими панами была до основания разгромлена аптека, все лекарства растоптаны, не оставили нетронутыми ни одного пакетика, и вот — местечко погибает без медицинской помощи. Вы не найдете в Берестечке порошка против зубной боли. Двадцатитысячное население отдано на съедение эпидемиям и болезням.

Так погибает шляхта. Так издыхает злобный бешеный пес. Добейте его, красные бойцы, добейте его во что бы то ни стало, добейте его сейчас, сегодня! Не теряя ни минуты.

### ГДЕ ЖЕ ПРИЧИНА ЭТОГО?

Уважаемый т. Зданевич!

Беспрерывные бои последнего месяца выбили нас из колеи.

Живем в тяжкой обстановке — бесконечные переходы, наступления, отходы. От того, что называется культурной жизнью — отрезаны совершенно. Ни одной газеты за последний месяц не видали, что делается на белом свете — не знаем. Живем, как в лесу. Да оно, собственно, так и есть, по лесам и мыкаемся.

Доходят ли мои корреспонденции — неизвестно. При таких условиях руки опускаются. Среди бойцов, живущих в полном неведении того, что происходит — самые нелепые слухи. Вред от этого неисчислимый. Необходимо принять срочные меры к тому, чтобы самая многочисленная наша 6-ая дивизия снабжалась нашей и иногородними газетами.

Лично для меня умоляю вас сделать следующее: отдайте распоряжение по экспедиции 1) прислать мне комплект газеты минимум за 3 недели, прибавьте к ним все иногородние, какие есть, 2) присылать мне ежедневно не менее 5 экземпляров нашей газеты,— по след. адресу: Штаб 6-ой дивизии, Воен. корреспонденту К. Лютову. Сделать это совершенно необходимо для того, чтобы хоть кое-как меня ориентировать.

Как дела в редакции? Работа моя не могла протекать хоть сколько-нибудь правильно. Мы измучены вконец. За неделю бывало не урвешь получаса, чтобы написать несколько слов.

Надеюсь, что теперь можно будет внести в дело больше порядка.

Напишите мне о ваших предположениях, планах и требованиях, свяжите меня таким образом с внешним миром.

С товарищеским приветом.

Они мстили за рабочих в 1905 году. Они шли в карательные отряды для того, чтобы расстреливать и душить наши рабские темные деревни, над которыми пронеслось недолгое дыхание свободы.

В октябре 1917 года они сбросили маску и огнем и мечом пошли против Российского пролетариата. Почти три года терзали они и без того истерзанную страну. Казалось, что с ними покончено. Мы предоставили им умереть естественной смертью, а они умереть не захотели.

Теперь мы платимся за ошибки. Сиятельный Врангель пыжится в Крыму, жалкие остатки черносотенных русских деникинских банд объявились в рядах культурнейших польских ясновельможных войск. Эта недорезанная шваль пришла помочь графам Потоцким и Таращицким спасти от варваров культуру и законность. Вот как была спасена культура в м. Комаров, занятом 28 августа частями 6-ой кавдивизии.

Накануне в местечке ночевали молодцы есаула Яковлева, того самого, который звал нас к сладкой и мирной жизни в родных станицах, усеянных трупами комиссаров, жидов и красноармейцев.

При приближении наших эскадронов эти рыцари рассеялись, как дым. Они успели однако исполнить свое дело...

Мы застали еврейское население местечка ограбленным дочиста, зарубленным, израненным. Бойцы наши, видавшие виды, отрубившие не одну голову, отступали в ужасе перед картиной, представшей их глазам. В жалких, разбитых до основания лачугах валялись в лужах крови голые семидесятилетние старики с разрубленными черепами, часто еще живые крошечные дети с обрубленными пальцами, изнасилованные старухи с распоротыми животами, скрючившиеся в углах, с лицами, на которых застыло дикое невыносимое отчаяние. Рядом с мертвыми копошились живые, толкались об израненные трупы, мочили руки и лица в липкой зловонной крови, боясь выползти из домов, думая, что не все еще кончено.

По улицам омертвевшего местечка бродили какие-то приниженные напуганные тени, вздрагивающие от человеческого голоса, начинающие вопить о пощаде

при каждом окрике. Мы натыкались на квартиры, объятые страшной тишиной — рядом со стариком дедом валялось все его семейство. Отец, внуки, все в изломанных, нечеловеческих позах.

Всего убитых свыше 30, раненых около 60 человек. Изнасиловано 200 женщин, из них много замучено. Спасаясь от насильников, женщины прыгали со 2-го, 3-го этажей, ломали себе руки, головы. Наши медицинские силы работали весь день, не покладая рук, и не могли хотя бы в полной мере удовлетворить потребность в помощи. Ужасы средневековые меркнут перед зверствами яковлевских бандитов.

Погром, конечно, был произведен по всем правилам. Офицеры потребовали сначала у еврейского населения плату за безопасность — 50 тысяч рублей. Деньги и водка были вынесены немедленно, тем не менее офицеры шли в первых рядах погромщиков и усиленно искали у напуганных насмерть евреев-стариков — бомбы и пулеметы.

Вот наш ответ на вопли польского Красного Креста о русских зверствах. Вот факт из тысячи фактов более ужасных.

Недорезанные собаки испустили свой хриплый лай. Недобитые убийцы вылезли из гробов.

Добейте их, бойцы Конармии! Заколотите крепче приподнявшиеся крышки их смердящих могил!

## ЕЕ ДЕНЬ

Я заболел горлом. Пошел к сестре первого штабного эскадрона Н-дивизии. Дымная изба, полная чаду и вони. Бойцы развалились на лавках, курят, почесываются и сквернословят. В уголку приютилась сестра. Одного за другим, без шума и лишней суеты она перевязывает раненых. Несколько озорников мешают ей всячески. Все изощряются в самой неестественной, кощунственной брани. В это время — тревога. Приказ по коням. Эскадрон выстроился. Выступаем.

Сестра сама взнуздала своего коня, завязала мешочек с овсом, собрала свою сумочку и поехала. Ее жалкое холодное платьице треплется по ветру, сквозь дыры худых башмаков виднеются иззябшие красные

пальцы. Идет дождь. Изнемогающие лошади едва вытаскивают копыта из этой страшной засасывающей липкой волынской грязи. Сырость пронизывает до костей. У сестры — ни плаща, ни шинели. Рядом загремела похабная песня. Сестра тихонько замурлыкала свою песню — о смерти за революцию, о лучшей нашей будущей доле. Несколько человек потянулось за ней, и полилась в дождливые осенние сумерки наша песня, наш неумолкающий призыв к воле.

А вечером — атака. С мягким зловещим шумом лопаются снаряды, пулеметы строчат все быстрее, с лихорадочной тревогой.

Под самым ужасным обстрелом сестра с презрительным хладнокровием перевязывала раненых, тащила их на своих плечах из боя.

Атака кончилась. Опять томительный переход. Ночь, дождь. Бойцы сумрачно молчат, и только слышен горячий шепот сестры, утешающий раненых. Через час — обычная картина — грязная, темная изба, в которой разместился взвод, и в углу при жалком огарке сестра все перевязывает, перевязывает, перевязывает...

Брань густо висит в воздухе. Сестра, не выдержав, огрызнется, тогда над ней долго хохочут. Никто не поможет, никто не подстелит соломы на ночь, не приладит подушки.

Вот они, наши героические сестры! Шапку долой перед сестрами! Бойцы и командиры, уважайте сестер. Надо, наконец, сделать различие между обозными феями, позорящими нашу армию, и мученицами-сестрами, украшающими ее.

**Газета «Заря Востока», 1922 год**

**В ДОМЕ ОТДЫХА**

За верандой — ночь, полная медленных шумов и величественной тьмы. Неиссякаемый дождь обходит дозором лиловые срывы гор, седой шелестящий шелк его водяных стен навис над грозным и прохладным

сумраком ущелий. Среди иеутомимого ропота поющей воды голубое пламя нашей свечи мерцает как далекая звезда и неясно трепещет иа морщииистых лицах, высеченных тяжким и выразительиым резцом труда.

Три старика портиых, кротких, какияньки, и очаровательиый М., так иедавно потерявший глаз у своего станка, да я, заезжеиный горькой и тревожиой пылью иаших городов,— мы сидим иа вераиде, уходящей в иочь, в беспредельиую и ароматическую иочь... Неизъяснимый покой материискими ладонями поглаживает иаши иервические и сбитые мускулы, и мы неторопливо и мечтательио пьем чай — три кротких портиых, очаровательиый М., да я, загиаиная и восторжеиная кляча.

Мещане, построившие для себя эти «дачки», бездариые и безиадежиые, как пузо лавочиика, если бы вы видели, как мы отдыхаем в них... Если бы вы видели, как свежеют лица, изжеваииые стальными челюстями машин...

В этом мужественном и молчаливом царстве покоя, в этих пошленьких дачах, чудесной силою вещей преображенных в рабочие дома отдыха — затаилась иеуловимая и благородиая субстаиция живительного безделья, мириого, расчетливого и молчаливого... О, этот неповторимый жест отдыхающей рабочей руки, целомудренно-скупой и мудро рассчитанный. С пристальиым восхищеиием слежу я за ией, за этой иаправленной судорожиой и чериой, рукой, привыкшей к иеустаиной и сложиой душе моторов... От иих взяла оиа эту покориую, молчащую и обдумаиную иеподвижность утомлеииого тела. Философия передышки, учение о возрождеиии израсходоваииой эиергии,— как миого узиал я от вас в этот шумливый и ясиый вечер, когда портиые и металлисты пили свой патриархальный, иескоичаемый, стыиущий чай на террасе рабочего дома во Мцхете.

Накачиваясь чаем, этим бодрым шампанским бедняков — мы степенно, истово потеем, любовио перебрасываемся иегромкими словами и вспоминаем историю возиикиовения домов отдыха.

Лето им от рождения идет первое. Всего только в феврале иастоящего года выехала во Мцхет комиссия Совпрофа Грузии для первоиачальных изысканий. Дачи были найдеиы в состояиии ужасиом — нежилые,

запакощенные, разбитые. Дело было двинуто с неослабевающей энергией, и буржуазия, в меру своих скромных сил, пришла Совпрофу на помощь в этом благом начинании. Как известно, штрафы, наложенные Совпрофом на лавочников всех мастей за нарушение правил об охране труда, достигли утешительной суммы в шестьсот миллионов рублей. Так вот полтораста миллионов из этих денег были истрачены на превращение полуразрушенных дач в рабочие дома — из чего убедительно явствует, что буржуазия на свои кровные (из слова — кровь) деньги содержит первые в Грузии здравницы для рабочих, за что ей низкое спасибо. Существует незыблемая уверенность, что в силу особенных свойств, заложенных в эту породу,— приток вынужденных пожертвований не прекратится и даст возможность Совпрофу на месте нынешних дач раскинуть по цветущим мцхетским склонам рабочий показательный городок. К сожалению, звучный арсенал комплиментов, приведенных выше, не может не быть отравлен упоминанием о тех изумительных и героических усилиях, которые употребили в борьбе с Совпрофом владельцы дач. Они грозились дойти до «государя». И они дошли. Путь был длинен и устлан тонким ядом юридического крючкотворства. Но «государь» (по новой орфографии — ВЦИК) был скор и справедлив. Челобитчики вышли от его со скоростью, обратно пропорциональной медленности их прибытия. Они опоздали родиться лет этак на двадцать — вот какую мораль вынесли из этого небольшого дела владельцы в своих неутомимых исканиях истины. Мораль, не лишенная наблюдательности.

Дачи рассчитаны на шестьдесят мест. Отдел охраны труда собирается довести пропускную их способность до тысячи — полутора тысяч человек за сезон, считая срок пребывания каждого рабочего две недели. В отдельных случаях этот срок может быть удлинен до месяца. Оговорка необходимая, потому что в подавляющем большинстве случаев две недели недостаточно для замученного организма нашего рабочего.

Период устроения и перестройки мцхетских дач еще продолжается. Поэтому нелишне будут здесь советы, продиктованные добрым чувством и любовью.

Питание, в общем здоровое и обильное, следовало бы усилить по утрам и к ужину. И еще — хорошо бы уничтожить в домах Совпрофа этот сакраментальный и надоевший характер общежития. Больно уж бывает от него тошно — нам, скитальцам по меблирашкам, канцеляриям и казармам. Угол, исполненный чистоты, уюта и приблизительного уединения,— вот что нам нужно в те счастливые две недели, когда мы разминаем натруженную и хрипящую грудь.

Действует уже библиотека. Это хорошо. На будущей неделе начнутся по вечерам небольшие концерты для отдыхающих. А пока мы пробавляемся «дурачком». Но боги, с каким огнем, с какой неистраченной кипучестью и задором проходит эта ласковая и нескончаемая игра, нагретая, как дедовская кацавейка. Не забыть мне этих простых и сияющих лиц, склонившихся над замусоленными, затрепанными картами, и надолго унесу я с собой воспоминания о счастливом и сдержанном хохоте, звучавшем под шум умирающего дождя и горных ветров.

## «КАМО» И «ШАУМЯН»

*(Письмо из Батума)*

Если бы радость не теснила так сильно сердце, тогда об этом можно было бы рассказать последовательно и деловито...

И в первую голову о приговоре народного суда Аджаристана. О, этот приговор, полный сухой учености и пламенного пафоса! Он закован в неумолимую броню права и клокочет желчью негодования. Законы императоров, в бозе почивающих, накрахмаленные нормы международной «вежливости», вековая пыль римского права, соглашение Красина с Ллойд-Джорджем, двусмысленные постановления двусмысленных конвенций и конференций и, наконец, советские декреты, насыщенные красным соком бунта,— все вобрал в себя этот неотразимый приговор, постановленный невидным и измазанным батумским рабочим.

Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы показать трижды чудесное прохождение верблюда правосудия сквозь игольное ушко буржуазных уста-

новлений. Это сделано для того, чтобы заставить разноязыкие ухищрения послужить делу правды и плотно припереть к стене уклончивых жуликов, шныряющих по батумской набережной. Господа Кристи и Попандопуло, мастера лирических подъемов, морские агенты достойных мальтийских кавалеров и судовладельцев господ Скембри — они мечутся теперь в западне, для которой неискусные руки мастерового сплели прутья из протухших теней прошлого (видно, не только профессора международного права горшки обжигают) и из бурной крови настоящего...

«Жорж» и «Эдвиг» стоят под красным флагом у пристани Черноммортрана. Склады мальтийских крестоносцев запечатаны, над ними нависли грозные тучи штрафов, пени, реквизиций, и даже вмешательство итальянского консула, взывающего к высокой политике, не могло разрядить эти тучи в благодетельный дождь провозной платы.

«Жорж» и «Эдвиг» (бывшие «Россия» и «Мария»), они были воровским образом уведены из русских и грузинских портов для того, чтобы проходить под чужим флагом Суэцкий канал и Красное море. Но тесен стал мир для мальтийцев. Триста безработных пароходов привязаны к берегу в Марселе, миллионный тоннаж гниет без дела в портах Лондона, Триеста и Константинополя, тысячи моряков голодают. Мировые пути глохнут, удушаемые гибельной игрой парижских дипломатов. Нет грузов на Хайфу, на Яффу, на Сан-Франциско, Европа может грузить только в советские порты. И господа Скембри, набравшись духу и застраховав уворованные пароходы от захвата большевиками, плывут в советские порты...

Господа Скембри получат страховую премию. Мы получили пароходы.

Красные ватерлинии «Камо» и «Шаумяна» цветут на голубой воде, как огонь заката. Вокруг них покачиваются прелестные очертания турецких фелюг, красные фески горят на шаландах, как корабельные фонари, пароходный дым неспешно восходит к ослепительным батумским небесам.

Среди этой цветистой мелюзги мощные корпуса «Камо» и «Шаумяна» кажутся гигантами, их белоснежные палубы сияют и отсвечивают, и наклон мачт режет горизонт стройной и могучей линией.

Если бы радость не теснила так неотступно сердце, об этом можно было бы рассказать последовательно и деловито.

Но сегодня мы отмахиваемся от последовательности, как от июльской мухи.

Кучки старых черноморских матросов, поджав ноги, сидят на деревянной пристани, сидят разнеженные и застывшие, как кейфующие арабы, и не могут отвести глаз от черных, отлакированных бортов.

Целой толпой поднимаемся мы на палубу развенчанного «Жоржа». Машина, выверенная, как часы, сверкающая красной медью трубок и жемчужным налетом цилиндров, держит нас в восхищенном плену. Мы окружены горами хрусталя в кают-компании, отделанной мрамором и дубом, строгой чистотой кают и пахучей краской стен.

— Всего два месяца, как выведен из капитального ремонта,— обращается ко мне старый боцман, назначенный на «Шаумяна»,— сорок тысяч фунтов стерлингов обошелся... Да я же помру на этом пароходе и никакой претензии к богу иметь не буду. Сорок тысяч фунтов — сколько это на наши деньги, Яков?

— Сорок тысяч фунтов...— раздумчиво повторяет Яков, покачиваясь на босых ногах,— на наши деньги этого сказать невозможно...

— То-то и оно,— торжествующе восклицает боцман,— да столько же стоит и «Эдвиг». Вот и посчитай на наши деньги...

— На наши деньги,— упрямо повторяет качающийся Яков,— этого счета я и сделать не могу никак...

И блаженное багровое лицо Якова никнет к палубе, полное лукавого восторга и подавленного смеха. Его пальцы самозабвенно щелкают в воздухе, и спина гнется все ниже.

— Ты никак под мухой сегодня, Яков? — спрашивает его проходящий мимо нас новый капитан «Камо».

— Я не под мухой, товарищ капитан,— наставительно отвечает Яков,— но по случаю такого случая я действительно сегодняшний день нахожусь под парами, потому как судно готовится в рейс на Одессу, а также мне смешно это дело до без конца... К примеру сказать, товарищ капитан, вы, по вашему злодейству, свели у меня жену... Ну, не то чтобы знаменитая какая баба, ну, для меня, по бедности, подходящая...

Ну, свели и свели... Проходит год времсни, а опосля того проходит еще год времени. Добираюсь я неожиданным путем до своей бабы, а она гладкая, как кабан, одетая и обутая, с брюшком да с серьгами, в кармане деньги, а на голове разнообразная прическа, лицо подманчивое, фасад неописуемый и из себя представительная до невозможности...

Неужели же, товарищ капитан, я по случаю такого случая не могу развести пары, коль скоро судно готовится в рейс?

— Разводи пары, Яков,— смеясь, сказал капитан,— да не забудь закрыть клапана.

— Есть, капитан! — прокричал Яков.

Мы все вернулись в выверенное, как часы, машинное отделение.

### БЕЗ РОДИНЫ

*(Письмо из Батума)*

...И вышло так, что мы поймали вора. Шиворот у вора оказался просторный. В нем поместились два товаро-пассажирских парохода. Чванный флаг захватчиков уныло сполз книзу, и на вершину мачты взлетел другой флаг, окрашенный кровью борьбы и пурпуром победы. Поговорили речи и на радостях постреляли из пушек. Кое-кто скрежетал зубами в это время. Пусть его скрежещет...

Теперь дальше. Жили-были на Черном море три нефтеналивных парохода — «Луч», «Свет» и «Блеск». «Свет» помер естественной смертью, а «Луч» и «Блеск» попали все в тот же накрахмаленный шиворот. И вышло так, что мы из него дня три тому назад вытряхнули «Луч», то бишь «Лэди Элеонору» — солидное судно с тремя мачтами, вмещающее в себя сто тысяч пудов нефти, блистающее хрусталем своих кают, чернотой своих могучих бортов, красными жилами своих нефтепроводов и начищенным серебром своих цилиндров. Очень полезная «Лэди». Нужно полагать, что она сумеет напоить советской нефтью потухшие топки советских побережий.

«Лэди» стоит уже у пристани Черномортрана, на том самом месте, куда был подведен раньше и «Шау-

мян». На ее плоской палубе расхаживают еще какие-то джентльмены в лиловых подтяжках и лаковых туфлях. Их сухие и бритые лица сведены гримасой усталости и недовольства. Из кают выносят им несессеры и клетки с канарейками. Джентльмены хриплыми голосами переругиваются между собой и слушают автомобильные гудки, несущиеся из дождя и тумана...

Бледный пламень алых роз... Серый шелк точеных ножек... Щебетанье заморской речи... Макинтоши рослых мужчин и стальные палочки их разглаженных брюк... Пронзительный и бодрый крик моторов...

Канарейки, несессеры и джентльмены упаковываются в автомобили и исчезают. А остается дождь, неумолимый батумский дождь, ропщущий из поверхности почерневших вод, застилающий свинцовую опухоль неба, роющийся под пристанью, как миллионы злых и упрямых мышей. И еще остается съежившаяся кучка людей у угольных ям «Лэди Элеоноры». Немой и сумрачный сугроб из поникших синих блуз, погасших папирос, заскорузлых пальцев и безрадостного молчания. Это те, до которых никому нет дела...

Российский консул в Батуме сказал бывшей команде отобранных нами пароходов:

— Вы называете себя русскими, но я вас не знаю. Где были вы тогда, когда Россия изнемогала от невыносимых тягостей неравной борьбы? Вы хотите остаться на прежних местах, но разве не вы разводили пары, поднимали якоря и вывешивали сигнальные огни в те грозовые часы, когда враги и наемники лишали обнищавшие советские порты их последнего достояния? Быть гражданином рабочей страны — эту честь надо заслужить. Вы не заслужили ее.

И вот — они сидят у угольных ям «Лэди Элеоноры», запертые в клетку из дождя и одиночества, эти люди без родины.

— Чудно,— говорит мне старый кочегар,— кто мы? Мы русские, но не граждане. Нас не принимают здесь и выбрасывают там. Русский меня не узнаёт, а англичанин, тот меня никогда не знал. Куда податься и с чего начать? В Нью-Йорке четыре тысячи пароходов без дела, в Марселе — триста. Меня просят миром — уезжай, откуда приехал. А я тридцать лет тому назад из Рязанской губернии приехал.

— Не надо было убегать,— говорю я.— Бессмысленный ты кочегар, от кого бежал?

— Знаю,— отвечает мне старик,— теперь все знаю...

А вечером они, как грустное стадо, шли со своими котомками в гавань, чтобы погрузиться на иностранный пароход, отходивший в Константинополь. У сходен их толкали и отбрасывали баулы раздушенных дам и серых макинтошей. Багровый капитан с золотым шитьем на шапке кричал с мостика:

— Прочь, канальи... Хватит с меня бесплатной рвани... Посторониться. Пусть пройдет публика...

Потом их свалили на кучу канатов на корме. Потом канаты понадобились и их прогнали в другой конец парохода. Они болтались по палубе, оглушенные, боязливые, бесшумные, со своими перепачканными блузами и сиротливыми узелками. А когда пароход дал отходной гудок и дамы на борту стали кидать провожающим цветы, тогда старик кочегар, приблизившись к решетке, прокричал мне с отчаянием:

— Будь мы какие ни на есть подданные, не стал бы он над нами так куражиться, лысый пес.

## МЕДРЕСЕ И ШКОЛА

*(Письмо из Аджарии)*

Эта многозначительная и неприметная борьба ведется со скрытым и глухим упорством. Она ведется везде — и на суровых склонах недосягаемых гор, и во влажных долинах Нижней Аджарии. В одном лагере стоит мечеть и фанатический ходжа, в другом — невзрачная избенка, зачастую без окон и дверей, с выцветшей надписью на красном флажке: «Трудовая школа». Через несколько дней я выеду в горы для того, чтобы на месте присмотреться к извилистой тактике борьбы за культурное преобладание, тем непостижимым зигзагам, которые приходится делать в этих глухих и оторванных от центра селах, насыщенных еще ядовитой и слепой поэзией феодализма и религиозной косности. Пока же я поделюсь с вами данными, которые я вынес из ознакомления с работой здешнего Наркомпроса.

Внедрение в человеческие души требует дальновидности и осторожности. В тяжких условиях Востока эти качества должны быть удесятерены, доведены до предела. Вот положение, не требующее доказательств. Но меньшевистские кавалеристы от просвещения рассуждали иначе. В поколебленное царство аджарского муллы они внесли прямолинейный пыл близорукого национал-шовинизма. Результаты не были неожиданны. Население возненавидело лютой ненавистью все то, что шло от власти. Государственная школа, объединявшая десятки сел, насчитывала десять-пятнадцать учеников, и в это время медресе ломилось от огромного изобилия детей. Крестьяне несли ходжам деньги, продовольствие, материалы для ремонта зданий. А меньшевистская школа хирела, пустовала, подрывая не только авторитет своих насадителей, это бы с полбеды, но и подтачивая веру в те азбучные основы культуры, которые несла с собой дореформенная школа.

Итак, меньшевики оставили наследство, проклятое наследство. Надо было с ним распутываться. Нелегкое дело. Недоверие в мусульманском крестьянстве было прочно разбужено, страсти накалены. Примитивная борьба за азбуку цепляла своими корнями огромные задачи политического просвещения. Съезд аджарских исполкомов уяснил себе это в полной мере. Он продиктовал тот метод внимательной постепенности и идейного соревнования, который теперь начинает приносить свои плоды.

Медресе были оставлены. Они существовали наряду с советской школой. Более того, Наркомпрос упорно добивался открытия школ в тех местах, где раньше были уже религиозные школы. Нередки были случаи, когда ходжу приглашали преподавать в советской школе турецкий язык. Ходжи шли и приводили с собой массы детей. Решающую роль сыграло объявление турецкого языка обязательным к преподаванию, причем государственным и основным языком оставался всегда грузинский.

Перед нами опыт полуторагодичной работы. Каковы итоги? Они благоприятны в высокой степени. Перелом совершился. Схоластическая мертвечина медресе побеждена живым трудовым процессом обучения в нашей школе. Дети бегут с уроков ходжи в букваль-

ном значении этого слова, они прыгают в окна, иногда взламывают двери и прячутся от грозного наставника. Количество учащихся в советской школе прибывает с возрастающей силой. И эта победа достигнута без единой репрессивной меры, без тени насилия. Неумолимая поступь жизни, сила очевидности совершила все это с неслыханной быстротой и ясностью. Нашей непременной задачей является—удержать эти бескровные завоевания первейшей важности и расширить их, но... тут воспоследует такое количество «но», что я вынужден начать следующую фразу с красной строки.

У Наркомпроса Аджаристана нет денег. На этом привычном явлении не стоило бы слишком останавливаться, если бы безденежье Аджаристанского Наркомпроса не приняло характер легендарный. Достаточно сказать, что жалованье за семь месяцев, с января по август, было выплачено учителям несколько дней тому назад, благодаря четырехмиллиардному кредиту, отпущенному, наконец, аджарским Совнаркомом после почти годового размышления. Если вдуматься в невыносимые условия существования культурного работника, заброшенного в дикие ущелья Верхней Аджарии, отрезанного в течение всей зимы от общения с внешним миром, запертого среди недоверчивого крестьянства, требующего длительной и неустанной обработки — и все это при отсутствии какой бы то ни было оплаты труда, тогда поистине диву даешься, как они не разбежались. Основное требование — подготовка преподавательского персонала — усвоена Наркомпросом. В Хуцубани функционирует уже педагогическая школа высшего типа, где обучаются десятка два аджарских юношей, и недалек тот час, когда она выпустит первый кадр мусульманских преподавателей, одинаково хорошо владеющих грузинским и турецким языками, проникнутых идеями советвластия и знакомых с основами новой педагогики. В наступающем учебном году открывается в Батуме педагогический техникум, имеющий те же цели. Ему должно быть уделено исключительное внимание. Крохи с учительского меньшевистского стола, да и наши работники, не применившиеся еще к своеобразному укладу населения, немало помешали работе. Все должно измениться с того момента, когда аджарцы, кровь от крови и плоть от плоти пославших их

деревень, вернутся в родные места учителями и пропагандистами. Им будет и почет, и вера, и любовь.

Они вернутся учителями и пропагандистами. Слово «пропагандист» я привел с умыслом. Недаром же в районах спаивается для единой школьной работы тройка из местного заведующего Наробразом, уполномоченного от парткома и инструктора Наркомпроса. Избенка с выцветшей надписью на красном флажке «Трудовая школа» есть то зерно, к которому должны прилепиться и изба-читальня, и показательная мастерская, и культурный синематограф в будущем. Нет лучшего пути проникновения в полураскрывшиеся сердца горцев. Учитель — он должен соединять в своем лице и сельский Наркомпрос, и Главполитпросвет, и агитпроп парткома. Уже в наступающем году открываются при некоторых школах небольшие показательные ткацкие мастерские и курсы по шелководству. Успех этих начинаний предрешен. Даже женщины, аджарские женщины в чадрах, с охотой присутствуют на таких уроках.

Как нельзя хуже обстоит дело с ремонтом школьных зданий. Сейчас большинство их представляет из себя полуразвалившиеся хибарки. От местных исполкомов поступают заявления, что они готовы помочь, чем могут, делу школьного строительства. По сравнению с прошлым годом, когда крестьянин, отдавая в школу ребенка, искренне полагал, что он оказывает неизмеримое снисхождение государству — это заявление обозначает большой сдвиг в мышлении. Но деревня может дать только то, что у нее есть. В селе нет железных материалов, стекол, черепицы, нет учебных пособий. Будем надеяться, что нынешний обновленный состав Аджаристанского Наркомпроса проявит в этом настойчивость. Конечно, он немного сделает, если центральные тифлисские учреждения не помогут ему присылкой учебников, пособий для ручного труда и проч.

### ТАБАК

Подслеповатая старушка просит пособия в Наркомсобесе.

— Нет табаку,— с возмущением отвечают ей из Наркомсобеса.— Был и нету... Забудьте о табаке...

Причем здесь табак? Темна вода. Дальше.

Учительница справляется в Наркомпросе о своем заявлении.

— Был табак и сплыл,— ядовито отвечает учительнице товарищ из Наркомпроса,— приказал долго жить табачок. Еще месяц, еще два — и крышка...

И, наконец, ассенизатор бурно требует денег в Коммунхозе.

— Откуда я возьму табак,— яростно кричит товарищ из Коммунхоза,— на ладонях он у меня растет, что ли, ваш табак... Или в палисаднике прикажете плантацию развести?

Изумительная Абхазия! Ассенизаторы и старухи курят с одинаковым увлечением, и тишайшие учительницы не отстают от них в этой благородной страсти.

Темна вода. И как горестно светлеет она при одном прикосновении к авторитетному плачу Таботдела.

В 1914 году сбор табаков в Абхазии дошел до миллиона пудов. Это была рекордная цифра, и все обстоятельства говорили за то, что она будет неуклонно повышаться. Уже до войны Сухум торжествовал полную победу над кубанскими и крымскими табаками. Фабрики Петрограда, Ростова-на-Дону и Юга России работали на сухумском сырье. Отпуск за границу увеличивался с каждым годом. Прежние монопольные поставщики табаку — Македония, Турция, Египет — не могли не признать несравненных качеств нового конкурента. Тончайшие сорта, выпускаемые прославленными фабриками Каира, Александрии, Лондона, приобретали особенную ценность от подмеси абхазского табака. Наш продукт с молниеносной быстротой завоевал репутацию одного из лучших в мире, иностранный капитал бурно устремился на побережье и взялся за устройство громадных складов и разбивку промышленных плантаций.

Цена табака в довоенное время колебалась, в зависимости от сорта, от 14 до 30 рублей за пуд. Средний урожай — восемьдесят, сто пудов на десятину. Наиболее распространенный тип крестьянской плантации — три, четыре десятины. Пионерами табачной культуры на побережье были греки и армяне. Коренные обитатели страны успешно воспользовались их опытом и сделали табаководство экономическим стержнем края. Благосостояние сухумского крестьян-

ства, стиснутое грабительством скупщиков и царской администрации, все же показывало тенденцию к росту. Теперь понятно, почему «от табака все качества», почему он не чужд инвалидам-старушкам и страждущим учительницам.

После 14-ого года война начала свою разрушительную работу. Волны переселенцев смяли драгоценную культуру, первый натиск революции не мог не углубить кризиса, а меньшевики, эти роковые мужчины, разломали все вдребезги.

Поистине в этом феерическом и плодородящем саду, который называется Абхазией, научаешься с особой силой ненавидеть эту разновидность вялых мокриц, которые наследили здесь всеми проявлениями своего творческого гения. За два года своего владычества они успели разрушить все жизненные учреждения города, отдали лесные богатства на разграбление иностранным акулам и объявлением табачной монополии добили вконец нерв страны. Монополия — это бы еще с полбеды. Государственная власть, проводящая осмысленную экономическую политику, прибегает к мерам и покруче, но прибегает с умом. Меньшевистская же монополия была рассчитана на прочную смерть табачной промышленности. Параллельно с государственной ценой, не оправдывавшей себестоимости, существовала расценка иностранного рынка, превышавшая объявленные ставки ровно на 400 процентов. Что оставалось делать в таких условиях плантатору? Ничего не делать. Он благополучно справился с этой несложной задачей.

Табаководство Абхазии под эгидой просвещенных мореплавателей мирно скончалось. Чудовищно сказать — за 1918—1920 годы на рынок не поступило ни одного фунта табаку новых урожаев. Плантации были распаханы под кукурузу, чему способствовала приостановка ввоза из РСФСР хлебных грузов. Зияющая рана сочилась и оставалась открытой.

Таково было наследие меньшевиков. И тут — при рассмотрении того, как взялась за ликвидацию этого печального наследства Советская власть,— надо признать с полной откровенностью, что в этом деле не было проявлено ни достаточного умения, ни планомерной твердости.

Правда, монополия была отменена, но только для

того, чтобы уступить место декретной неразберихе. Вопросы табачной промышленности пересматривались каждые две недели,— на голову озадаченного, недоумевающего плантатора сыпались самые противоречивые разъяснения. Табаком ведали все учреждения понемножку, и ни одно из них не ведало им вплотную. До сих пор идет неразрешенный спор между Внешторгом и Совнаркомом Абхазии о том, кто должен распоряжаться частью из оставшегося после меньшевиков табачного фонда. За полуторагодовой советский период реализовано для покрытия текущих государственных расходов около полумиллиона пудов, реализовано без плана и по минимальным ценам. А в перспективе — урожай 1922 года, который едва ли даст десять тысяч пудов свежего табаку. Захиревшие плантации не возобновляются. Полуразрешения, полузапрещения, глубокомысленные примечания к тяжеловесным параграфам дали в результате полное недоумение среди плантаторов, неуверенных в завтрашнем дне. Без этой уверенности не будет возрождения. И поэтому крестьянин копается на своей десятине кукурузы, могущей дать ему валового дохода десять, пятнадцать миллионов грузобонами и пренебрегает табаком, обещающим, при среднем урожае, 75—100 миллионов. Материальные условия существования абхазского селянина ухудшились резко. Он обносился и живет в дырявом доме, который не на что отремонтировать.

Стремление к посадке табаку всеобщее. Единственно, о чем взывает плантатор — это о твердом законе для табачной промышленности. Будет ли это сделано в виде натуриалога или регулирования торговли — дело экономических органов решить, что нужнее для страны и трудящихся. Но ясность необходима. Смешению понятий и шатанию умов пора положить предел. Иначе золотые руки табачных приисков грозят замереть надолго, к великому ущербу для Федерации.

## ГАГРЫ

Волею державного деспота на скале воздвигся город. Были построены дворцы для избранных и хижины для тех, кто избранных будет обслуживать. На

глухом берегу заиграли огни, и тугие кошельки с продырявленными легкими потянулись к скале светлейшего деспота.

Все текло, как положено. Дворцы цвели, хижины гнили. Дырявые легкие избранных выздоравливали, здоровые легкие услужающих крошились и разрушались, а необузданный старый принц неутомимо гонял лебедей по своим прудам, разбивал цветники и карабкался по кручам, водружая на недосягаемых вершинах дворцы и хижины, только дворцы и только хижины. В Петербурге подумывали о том, чтобы объявить принца сумасшедшим и отдать под опеку. Потом грянула война. Принца объявили гением и назначили его начальником санитарной части. Изумленная история поведает о том, как лечил принц Ольденбургский пять миллионов больных и раненых, но о Таграх, об этой выдумке его упрямой и бездельной фантазии — кто расскажет о Гаграх?

Война и вслед за нею революция. Прибой и отливы красных знамен. На модных курортах не стало больных, а у сиделок не стало хлеба. Грохот сражений на больших дорогах и присевшая на корточки тишина в глухих углах. Всероссийская буря выбрасывает ненужный щебень на дальние берега, трупы крыс, бежавших с корабля. А мертвенные Гагры, эта величавая нелепость, глохнут на своей разрушенной скале, всеми забытые, ничего не производящие...

Еще и теперь впечатление, производимое этим унылым и диковинным городком, ужасно. Он похож на красавицу, ободранную дождем и слякотью, или на труппу испанских танцовщиц, гастролирующих в голодающей волжской деревне. Пруды, разбитые вокруг дворца, превратились в болота, и их ядовитое дыхание выбивает из призрачного и жалкого населения последние остатки сил. Невообразимые шафранные люди в стукалках и вицмундирах расхаживают среди сумрачных балаганов, стиснутых гранитными стенами многоэтажных великанов. Безумие Гойи и ненависть Гоголя не могли бы придумать ничего более страшного. Обломки крушения, бессмысленные видения прошлого, это дореформенное чиновничество, сожженное нищетой и малярией, застрявшее почему-то в живых, бродит здесь, как грустный символ умершего города.

Пять лет Гагры ничего не делали, потому что им нечего делать и они ничего не умеют. Они умеют только потреблять — это поселение сиделок, рестораторов, коридорных и банщиков, прошедших у старого барина науку лакейского шика и курортных чаевых.

И вот в этом году новый хозяин впервые открывает лечебный сезон в Гаграх. Санатории чистятся и приводятся в порядок. Ждут больных товарищей из РСФСР и Закавказья. Санатории предположено развернуть на 150—200 коек. Возможности в Гаграх велики. Омрачает только вопрос о продуктах, стоящий довольно остро, а здания гостиниц и бывший дворец Ольденбургского, хоть и обеднели инвентарем, но все еще прекрасны. Курортное управление, до сих пор, как известно, не страдавшее от переутомления, проявляет кое-какие признаки жизни.

На опавших щеках городка заиграла робкая улыбка ожидания. Гагры ждут новых птиц и новых песен. Эти измученные, заболевшие, но неутомимые птицы, оплодотворившие беспредельные пространства нашей страны,— пусть приложат они частицу своей животворящей энергии для того, чтобы возродить к жизни целительную климатическую станцию, до сих пор плохо управляющуюся, заглохшую, но имеющую все права на существование.

## В ЧАКВЕ

Чай. Сбор чая. В эти два слова, как в мишень, целятся здесь все усилия, упования и интересы. Старенькие склоны Чаквы покрыты размеренными рядами заповедных кустов. В их обыденной зелени вы не увидите ни плодов, ни цветов, ни завязи. Глаз, жаждущий влажных полей Цейлона, глаз, приготовленный к желтым равнинам Китая, равнодушно скользит по зеленой поросли, и ищет «чаю». И кто узнает его в крохотной лиловой почке, венчающей карликовую вершинку куста, и в свежем листке, спрятавшемся под почкой и похожем на миллионы миллионов таких же ординарных листков? Его узнает, его найдет и вырвет та нечеловечески ловкая машинка, которая засела в руках окрестных греков, в красных, истыканных пальчиках их десятилетних дочерей.

Все эти Архилевы, Амбарзакисы и Теотокисы спустились в Чакву на сбор чая из своих аджарских ущелий, покрытых голубыми тучами незаходящего тумана. Их неутомимые артели, составленные из детей, неспешно ползут по размытым террасам, и неуловимые руки летают над кустами, как рой мгновенных птиц. Их привычный глаз, не колеблясь, выискивает в неистощимом лабиринте зеленого цветения нужные ему два листочка, и пусть тот, кто не верит в недостижимое, узнает, что есть девушки, которые доводят ежедневный сбор этих невесомых почек и стебельков до ста пятидесяти фунтов за рабочий день.

Рыжеусые объездчики скачут на пегих лошаденках по розовым тропинкам Чаквы, кроткие буйволы, скрипя ярмом, влекут в долину арбы со свеженабранным листом, оливковые греки, старосты артелей, карабкаются по холмам, они щелкают записными книжками, тягуче орут на рабочих и вдруг вскипают залихватской песней, бурной, как мелодии балаклавских рыбаков.

Но и объездчики, и арбы, и оливковые греки — все они тяготеют к долине, к тому утрамбованному и закованному в цемент куску земли, где поместилась неотъемлемая вотчина Джена Лау — чайная фабрика.

Джен Лау, прославленный Иван Иваныч. Его знают все люди, населяющие обе стороны шоссе, ведущего от Чаквы к Батуму. Эта незыблемая слава невелика объемом, но она неисчерпаема в глубину. Двадцать семь лет тому назад чайный энтузиаст и чайный капиталист Попов вывез двадцатилетнего Лау из Срединного Китая, из священных зарослей Востока, куда еще не ступала нога европейца. Рабу на плантациях какого-то мандарина — нынешнему Ивану Иванычу суждено было стать пионером чайного дела в России и несменяемым его руководителем. И только на безмерной и плоской почве Китая, где люди неисчислимы, как стволы бамбуков в тропическом лесу, только на этой загадочной земле, удобренной миллионами безличностей, могла распуститься огненная страстность Джена Лау, его шумливая и непреклонная деятельность, этот обрывистый, судорожный, пристальный и рассчитанный темперамент азиата.

Все нити тянутся к нему. Буйволы, спускаясь с холмов, видят уступы цементных площадок, примыкающих к фабрике. Австралийское солнце цветет над кружевным и румяным ландшафтом Чаквы. Гигантские площадки, осыпанные изумрудным ковром вялящегося чая,— они кажутся выстиранными белыми скатертями, отсвечивающими под хрустальными потоками электричества. Вялить на воздухе — это пережиток отмирающего кустарничества, сохраняющийся только потому, что крытых помещений не хватает на тридцать тысяч фунтов свежего листа, ежедневно доставляемого с плантаций.

После того как лист завяливается в течение суток, он поступает в прессы для скручивания. Только тогда получается прообраз ароматических и черных корешков, так знакомых нам. Потом наступает черед для процесса брожения. Лист, тронутый уже бурым и влажным ядом гниения, созрел для сушки. В герметической печи, похожей на пригородный домик, вращается бесконечная железная ткань, чай рассыпан по ней ровным пластом. В этом паровом доме, сложном, как мотор, и наглухо закупоренном, чай подвергается медленному и равномерному нагреванию. Процесс сушки повторяется дважды. И вынутый из печи во второй раз — чай готов. Он уже черен, растрепан, но лишен аромата. Последний взмах резца принадлежит сортировкам. Устройство сортировок незамысловато, работа их общепонятна, но в этой стадии производства лежит залог успеха; неощутимые свойства чая заявляют здесь о тирании, чье тонкое коварство недоступно восприятию непосвященного.

Сортировкой называется сетчатый барабан, разделенный на секторы, и с особым делением сетки в каждом секторе. Барабан, совершая быстрое вращательное движение, просеивает чай, причем сквозь первые сектора проходят наиболее мелкие и ценные его части; чем дальше к выходному отверстию барабана, тем крупнее становятся деления, тем грубее выходят просеивающиеся чаинки. Под каждым сектором поставлен деревянный ящик. В него попадает чай, обработанный данной частью барабана. Поэтому в каждом ящике — особый сорт чая. В номерах втором и третьем — высшие сорта, потому что они получаются от сортировки самой почки и верхнего листочка;

в следующих ящиках — низшие сорта, получающиеся после просеивания загрубевших и старых листьев.

После сортировки — упаковка. И это всё. Такова схема. На третьи или четвертые сутки после поступления зеленого листа с плантаций, в результате простейших и незатейливых процессов, чай поступает в кладовые фабрики для того, чтобы в течение нескольких месяцев отлежаться и получить специфический аромат.

Такова схема, но она бедна, как человеческий костяк, не одетый мясом, мускулами и кожей. Не в схеме тут дело. Скрытая жизнь материала, простые на вид, а на самом деле неуловимые превращения листа, тираническое непостоянство его основных свойств — все это требует неусыпного, нескончаемого внимания и опыта, изощренного десятилетиями. От ничтожнейших изменений температуры, от получасовой передержки в завяливании и сушке, от неосязаемых качеств сборки зависит конечный результат. И ни для кого не секрет, что скоропалительные посадки, запущенность плантаций, варварски однообразная сортировка, рассчитанная на потребности военного времени, понизили качество русского чаквинского чая. А ведь его можно довести до того, чтобы он удовлетворил даже нетерпимый вкус плантатора из Срединного Китая. Придите на чайную фабрику в тот благословенный день, когда Чаква выглядит как резные окрестности Мельбурна, и пусть Джен Лау поднесет вам пробу в чашечке из белого фарфора. В этом коралловом благовонном напитке, чья густота походит на густоту и маслянистость испанского вина, вам почудится смертоносный и сладостный настой священных и нездешних трав.

Облитый щедрым золотом незабываемого заката, перехожу я к мандариновым рощам. Низкорослые деревья отягчены плодами, в чьих глубоких изумрудных тонах трудно угадать будущую горячую и красную медь созревания. Отдельные рабочие опрыскивают деревья известью и окапывают их.

Мы минуем бамбуковые заросли, играющие не последнюю роль в чаквинском хозяйстве, и упираемся в запретные и непроницаемые пределы лесов имения. Их здесь одиннадцать тысяч триста сорок шесть никак не эксплуатируемых десятин — неисчерпаемое бо-

гатство, уходящее в пределы горных вершин. И до сих пор наш дерзкий топор не может отважиться проникнуть в эти темные и прохладные недра. Начатое несколько лет тому назад лесоустройство Чаквы заглохло. Для того чтобы его продолжить, нужны деньги, которых пока нет.

...Над морем висит малиновый круг заходящего солнца. Из разодранных розовых туч течет нежная кровь. Она заливает своими цветистыми пожарами синие площади воды, подступает к той извилине берега, где в стрельчатом окне видны желтые лица Джена Лау и его семьи — крохотных и кротких китаянок.

Кроны хамеронсов и драценовых пальм недвижно окаймляют игрушечные дороги. Серебристая пыльная листва эвкалиптов пересекает алеющие равнины неба — и вся эта подстриженная пышность пьянит душу тончайшими линиями японских шелков.

## РЕМОНТ И ЧИСТКА

*Абхазские письма*

Немножко истории. Знать ее необходимо для того, чтобы увидеть, как правильно иногда (к сожалению, не всегда), с каким верным чутьем применяется НЭП на местах (к сожалению, не во всех местах).

В прошлом году городское хозяйство Сухума подошло к той черте, за которой начинается катастрофа. Меньшевики подорвали его вконец. Первые месяцы после советизации не принесли значительного улучшения. Коммунхоз занимался раздачей мебели и прочей трухи. Больница замирала. Водопровод, построенный примитивно и не рассчитанный на современное развитие города, работал с тяжкими перебоями. Учета зданий, торговых помещений, доходных статей произведено не было. Дома невозмутимо разрушались. Ограбленная меньшевиками электрическая станция едва дышала. И, главное, не было сознания того, что необходимо во что бы то ни стало восстановить наши города, колыбель пролетариата. Коммунхоз не имел ни авторитета, ни средств — знакомая картина. И когда сознание опасности пришло, то на

часах городского хозяйства стрелка приближалась к 12.

Важно не то, что одно из наших учреждений справляется со своим делом. Радостно знать, что вопрос, возбужденный сравнительно недавно, вопрос трудный и сложный, понят и разрешен в заброшенном от центра углу, питающемся скудными дарами отвратительной провинциальной информации. Великое усилие ремонтирующейся чистейшей федерации нашло здесь, в этом маленьком зеркале, верное отражение.

За столом сидит рабочий в кожаном картузе. У этого стола бьются крикливые волны «буржуазной стихии», домогательства плохо понятого НЭПа, опасная вкрадчивость подрядчиков и подозрительные выкладки всяких торговцев, капризная требовательность инженеров, жалобы старушек.

Одна из машин электрической станции износилась. Станция перегружена. И вот снаряжается экспедиция в Поти, где лежит без дела завезенный туда меньшевиками мощный турбогенератор. Положительный исход экспедиции сулит ни больше ни меньше, как полную электрификацию Абхазии: перевод фабрик на электрическую тягу, мощное развитие промышленности, получающей двигательную силу, полное снабжение города энергией и электрификацию сел. Вся работа, при условии получения генератора, может быть закончена в несколько месяцев.

Водопровод. Питающая его речка не дает достаточного количества воды. Уже разработан проект нового водопровода и канализации и приступлено к изысканиям. Коммунхоз добивается сдачи ему в эксплуатацию нескольких лесных участков и взамен этого к будущему лету обещает окончить все работы по канализации и водоснабжению города.

Финансы. Полгода тому назад в Коммунхозе были только долги. Теперь он содержит на своих средствах школы Наркомпроса, больницу Наркомздрава, приют Собеса. Все это достигнуто разумной арендой и торговой политикой без нажима на налоговый пресс.

— Дайте нам три года,— говорит завкоммунхозом,— и вы не узнаете Сухума. Год тому назад было плохо, сейчас стало лучше, через три года будет совсем хорошо. У нас все готово для электрификации.

Водопровод и канализация — вопрос ближайших месяцев. Мы приступили к мощению улиц. Мы осуществляем благоустройство дачных пригородов. Мы улучшили санитарию и шутя справились с эпидемией нынешнего года. Летом у нас будет функционировать муниципальный ледоделательный завод. Мы бьемся над вопросом о создании ремонтного фонда для оптовых закупок строительных материалов и использовании их в виде ссуды домовладельцам и для себя. Товары обойдутся нам на 100% дешевле частного рынка. Этим мы положим прочное основание ремонту городских зданий. Электрификация позволит нам наладить правильное лесное хозяйство и открыть, в первую очередь, карбидный завод, для которого здесь все предпосылки. Приезжайте через три года в Сухум — вы не узнаете его.

И я верю в это. Три часа, проведенные мною в Сухумском Коммунхозе, в самом обыкновенном, самом провинциальном коммунхозе, убеждают меня в правоте этих гордых слов.

# ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ

## КОРОЛЬ

Венчание кончилось, раввин опустился в кресло, потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высовывали свой хвост за ворота на Госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы вились по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов, и они пели густыми голосами — заплаты из оранжевого и красного бархата.

Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечьи лица, бабьи тряские подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый, как кровь, розовый, как пена бешеной собаки, обтекал эти груды разросшегося, сладко воняющего человечьего мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила восьмидесятилетняя Рейзл, традиционная, как свиток торы, крохотная и горбатая.

Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню Крика в сторону.

— Слушайте, Король,— сказал молодой человек,— я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой...

— Ну, хорошо,— ответил Беня Крик, по прозвищу Король,— что это за пара слов?

— В участок вчера приехал новый пристав, велела вам сказать тетя Хана...

— Я знал об этом позавчера,— ответил Беня Крик.— Дальше.

— Пристав собрал участок и сказал участку речь...

— Новая метла чисто метет,— ответил Беня Крик.— Он хочет облаву. Дальше...

— А когда будет облава, вы знаете, Король?

— Она будет завтра.

— Король, она будет сегодня.

— Кто сказал тебе это, мальчик?

— Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?

— Я знаю тетю Хану. Дальше.

— ...Пристав собрал участок и сказал им речь. «Мы должны задушить Беню Крика,— сказал он,— потому что там, где есть государь император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву...»

— Дальше.

— ...Тогда шпики начали бояться. Они сказали: если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня рассерчает, и уйдет много крови. Так пристав сказал — самолюбие мне дороже...

— Ну, иди,— ответил Король.

— Что сказать тете Хане за облаву.

— Скажи: Беня знает за облаву.

И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из Бениных друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса. И они вернулись через полчаса. Вот и все.

За стол садились не по старшинству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез.

За столом на первом месте сидели жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум, тесть Короля. Это его право. Историю Сендера Эйхбаума следует знать, потому что это не простая история.

Как сделался Беня Крик, налетчик и король налетчиков, зятем Эйхбаума? Как сделался он зятем человека, у которого было шестьдесят дойных коров без одной? Тут все дело в налете. Всего год тому назад Беня написал Эйхбауму письмо.

*«Мосье Эйхбаум,—* написал он,— *положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софийевскую, 17,— двадцать тысяч рублей. Если вы этого не сделаете,*

*так вас ждет такое, что это не слыхано, и вся Одесса будет о вас говорить. С почтением Беня Король».*

Три письма, одно яснее другого, остались без ответа. Тогда Беня принял меры. Они пришли ночью — девять человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны просмоленной паклей. Девять пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума. Беня отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень с ножом. Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой кровью, расцвели факелы, как огненные розы, и загремели выстрелы. Выстрелами Беня отгонял работниц, сбежавшихся к коровнику. И вслед за ним и другие налетчики стали стрелять в воздух, потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. И вот, когда шестая корова с предсмертным мычанием упала к ногам Короля,— тогда во двор в одних кальсонах выбежал Эйхбаум и спросил:

— Что с этого будет, Беня?

— Если у меня не будет денег — у вас не будет коров, мосье Эйхбаум. Это дважды два.

— Зайди в помещение, Беня.

И в помещении они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам. Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдано в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже.

Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы, и телки скользили в материнской крови, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-молочницы шарахались и визжали под дулами дружелюбных браунингов,— в ту грозную ночь во двор выбежала в вырезной рубашке дочь старика Эйхбаума — Циля. И победа Короля стала его поражением.

Через два дня Беня без предупреждения вернул Эйхбауму все забранные деньги и после этого явился вечером с визитом. Он был одет в оранжевый костюм, под его манжеткой сиял бриллиантовый браслет; он вошел в комнату, поздоровался и попросил у Эйхбаума руки его дочери Цили. Старика хватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще жизни лет на двадцать.

— Слушайте, Эйхбаум,— сказал ему Король,— когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище, у самых ворот. Я поставлю вам, Эйхбаум, памятник из розового мрамора. Я сделаю вас старостой Бродской синагоги. Я брошу специальность, Эйхбаум, и поступлю в ваше дело компаньоном. У нас будет двести коров, Эйхбаум. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на шестнадцатой станции... И вспомните, Эйхбаум, вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание, не будем об этом говорить громко?.. И зять у вас будет Король, не сопляк, а Король, Эйхбаум...

И он добился своего, Беня Крик, потому что он был страстен, а страсть владычествует над мирами. Новобрачные прожили три месяца в тучной Бессарабии, среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Беня вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж сорокалетнюю сестру свою Двойру, страдающую базедовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эйхбаума, мы можем вернуться на свадьбу Двойры Крик, сестры Короля.

На этой свадьбе к ужину подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу и уху, в которой перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусиными головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. Но разве жареных куриц выносит на берег пенистый прибой одесского моря?

Все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славна земля из края в край, делало в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и вызывало отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кок с «Плутарха», прибывшего третьего дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантаций Пирпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой одесского моря, вот что достается иногда одесским нищим на еврейских свадьбах. Им достался ямайский ром на свадьбе Двойры Крик, и поэтому, насосавшись, как треф-

ные свиньи, еврейские нищие оглушительно стали стучать костылями. Эйхбаум, распустив жилет, сощуренным глазом оглядывал бушующее собрание и любовно икал. Оркестр играл туш. Это было как дивизионный смотр. Туш — ничего кроме туша. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом они разошлись. Лева Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки. Моня Артиллерист выстрелил в воздух. Но пределов своих восторг достиг тогда, когда, по обычаю старины, гости начали одарять новобрачных. Синагогальные шамесы, вскочив на столы, выпевали под звуки бурлящего туша количество подаренных рублей и серебряных ложек. И тут друзья Короля показали, чего стоит голубая кровь и неугасшее еще молдаванское рыцарство. Небрежным движением руки кидали они на серебряные подносы золотые монеты, перстни, коралловые нити.

Аристократы Молдаванки, они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури. Выпрямившись во весь рост и выпячивая животы, бандиты хлопали в такт музыки, кричали «горько» и бросали невесте цветы, а она, сорокалетняя Двойра, сестра Бени Крика, сестра Короля, изуродованная болезнью, с разросшимся зобом и вылезающими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным на деньги Эйхбаума и онемевшим от тоски.

Обряд дарения подходил к концу, шамесы осипли и контрабас не ладил со скрипкой. Над двориком протянулся внезапно легкий запах гари.

— Беня,— сказал папаша Крик, старый биндюжник, слывший между биндюжниками грубияном,— Беня, ты знаешь, что мине сдается? Мине сдается, что у нас горит сажа...

— Папаша,— ответил Король пьяному отцу,— пожалуйста, выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей...

И папаша Крик последовал совету сына. Он закусил и выпил. Но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то розовели уже края неба. И уже стрельнул в вышину узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, и ба-

бы их взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом. И только Беня, ничего не замечавший, был безутешен.

— Мине нарушают праздник,— кричал он, полный отчаяния,— дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте...

Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера.

— Король,— сказал он,— я имею вам сказать пару слов...

— Ну, говори,— ответил Король,— ты всегда имеешь в запасе пару слов...

— Король,— произнес неизвестный молодой человек и захихикал,— это прямо смешно, участок горит, как свечка...

Лавочники онемели. Налетчики усмехнулись. Шестидесятилетняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись.

— Маня, вы не на работе,— заметил ей Беня,— холоднокровней, Маня...

Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, все еще разбирал смех.

— Они вышли с участка человек сорок,— рассказывал он, двигая челюстями,— и пошли на облаву; так они отошли шагов пятнадцать, как уже загорелось... Побежите смотреть, если хотите...

Но Беня запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундуки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в ближайшем кране не оказалось воды. Пристав — та самая метла, что чисто метет,— стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному.

— Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие,— сказал он сочувственно.— Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар...

Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами:

— Ай-ай-ай...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

А когда Беня вернулся домой — во дворе потухали уже фонарики и на небе занималась заря. Гости разошлись, и музыканты дремали, опустив головы на ручки своих контрабасов. Одна только Двойра не собиралась спать. Обеими руками она подталкивала оробевшего мужа к дверям их брачной комнаты и смотрела на него плотоядно, как кошка, которая, держа мышь во рту, легонько пробует ее зубами.

## КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В ОДЕССЕ

Начал я.

— Реб Арье-Лейб,— сказал я старику,— поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фроим Грач. Сталь его поступков — разве не выдержит она сравнения с силой Короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Беня Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу, на шатких ступенях?

Реб Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстилалось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, приличествует важность. Поэтому Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец он сказал:

— Почему он? Почему не они, хотите вы знать? Так вот — забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновенье, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам двадцать пять лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас биндюжник Мендель Крик. Об чем думает та-

кой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях — и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать двадцать раз на день. Что сделали бы вы на месте Бени Крика? Вы ничего бы не сделали. А он сделал. Поэтому он Король, а вы держите фигу в кармане.

Он — Бенчик — пошел к Фроиму Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним только глазом и был тем, что он есть. Он сказал Фроиму:

— Возьми меня. Я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет в выигрыше.

Грач спросил его:

— Кто ты, откуда ты идешь и чем ты дышишь?

— Попробуй меня, Фроим,— ответил Беня,— и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу.

— Перестанем размазывать кашу, — ответил Грач,— я тебя попробую.

И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бене Крике. Я не был на этом совете. Но говорят, что они собрали совет. Старшим был тогда покойный Левка Бык.

— Что у него делается под шапкой, у этого Бенчика? — спросил покойный Бык.

И одноглазый Грач сказал свое мнение:

— Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь.

— Если так,— воскликнул покойный Левка,— тогда попробуем его на Тартаковском.

— Попробуем его на Тартаковском,— решил совет, и все, в ком еще квартировала совесть, покраснели, услышав это решение. Почему они покраснели? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.

Тартаковского называли у нас «полтора жида» или «девять налетов». «Полтора жида» называли его потому, что ни один еврей не мог вместить в себе столько дерзости и денег, сколько было у Тартаковского. Ростом он был выше самого высокого городового в Одессе, а весу имел больше, чем самая толстая еврейка. А «девятью налетами» прозвали Тартаковского потому, что фирма Левка Бык и компания

произвели на его контору не восемь и не десять налетов, а именно девять. На долю Бени, который не был тогда еще Королем, выпала честь совершить на «полтора жида» десятый налет. Когда Фроим передал ему об этом, он сказал «да» и вышел, хлопнув дверью. Почему он хлопнул дверью? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.

У Тартаковского душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас. Он наша кровь. Он наша плоть, как будто одна мама нас родила. Пол-Одессы служит в его лавках. И он пострадал через своих же молдаванских. Два раза они выкрадывали его для выкупа, и однажды во время погрома его хоронили с певчими. Слободские громилы били тогда евреев на Большой Арнаутской. Тартаковский убежал от них и встретил похоронную процессию с певчими на Софийской. Он спросил:

— Кого это хоронят с певчими?

Прохожие ответили, что это хоронят Тартаковского. Процессия дошла до Слободского кладбища. Тогда наши вынули из гроба пулемет и начали сыпать по слободским громилам. Но «полтора жида» этого не предвидел. «Полтора жида» испугался до смерти. И какой хозяин не испугался бы на его месте?

Десятый налет на человека, уже похороненного однажды, это был грубый поступок. Беня, который еще не был тогда Королем, понимал это лучше всякого другого. Но он сказал Грачу «да» и в тот же день написал Тартаковскому письмо, похожее на все письма в этом роде:

*«Многоуважаемый Рувим Осипович! Будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с дождевой водой...* и так далее. *В случае отказа, как вы это себе в последнее время стали позволять, вас ждет большое разочарование в вашей семейной жизни. С почтением знакомый вам Бенцион Крик».*

Тартаковский не поленился и ответил без промедления.

*«Беня! Если бы ты был идиот, то я бы написал тебе как идиоту! Но я тебя за такого не знаю, и упаси боже тебя за такого знать. Ты, видно, представляешься мальчиком. Неужели ты не знаешь, что в этом*

*году в Аргентине такой урожай, что хоть завались, и мы сидим с нашей пшеницей без почина?.. И скажу тебе, положа руку на сердце, что мне надоело на старости лет кушать такой горький кусок хлеба и переживать эти неприятности, после того как я отработал всю жизнь, как последний ломовик. И что же я имею после этих бессрочных каторжных работ? Язвы, болячки, хлопоты и бессонницу. Брось этих глупостей, Беня. Твой друг, гораздо больше, чем ты это предполагаешь,— Рувим Тартаковский».*

«Полтора жида» сделал свое. Он написал письмо. Но почта не доставила письмо по адресу. Не получив ответа, Беня рассерчал. На следующий день он явился с четырьмя друзьями в контору Тартаковского. Четыре юноши в масках и с револьверами ввалились в комнату.

— Руки вверх! — сказали они и стали махать пистолетами.

— Работай спокойнее, Соломон,— заметил Беня одному из тех, кто кричал громче других,— не имей эту привычку быть нервным на работе,— и, оборотившись к приказчику, белому, как смерть, и желтому, как глина, он спросил его:

— «Полтора жида» в заводе?

— Их нет в заводе,— ответил приказчик, фамилия которого была Мугинштейн, а по имени он звался Иосиф и был холостым сыном тети Песи, куриной торговки с Серединской площади.

— Кто будет здесь, наконец, за хозяина? — стали допрашивать несчастного Мугинштейна.

— Я здесь буду за хозяина,— сказал приказчик, зеленый, как зеленая трава.

— Тогда отчини нам, с божьей помощью, кассу! — приказал ему Беня, и началась опера в трех действиях.

Нервный Соломон складывал в чемодан деньги, бумаги, часы и монограммы; покойник Иосиф стоял перед ним с поднятыми руками, и в это время Беня рассказывал истории из жизни еврейского народа.

— Коль раз он разыгрывает из себя Ротшильда,— говорил Беня о Тартаковском,— так пусть он горит огнем. Объясни мне, Мугинштейн, как другу: вот получает он от меня деловое письмо: отчего бы ему не

сесть за пять копеек на трамвай и не подъехать ко мне на квартиру и не выпить с моей семьей стопку водки и закусить чем бог послал. Что мешало ему выговорить передо мной душу? «Беня,— пусть бы он сказал,— так и так, вот тебе мой баланс, повремени мне пару дней, дай вздохнуть, дай мне развести руками». Что бы я ему ответил? Свинья со свиньей не встречается, а человек с человеком встречается. Мугинштейн, ты меня понял?

— Я вас понял,— сказал Мугинштейн и солгал, потому что совсем ему не было понятно, зачем «полтора жида», почтенный богач и первый человек, должен был ехать на трамвае закусывать с семьей биндюжника Менделя Крика.

А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Несчастье с шумом ворвалось в контору. И хотя на этот раз оно приняло образ еврея Савки Буциса, но оно было пьяно, как водовоз.

— Го-гу-го,— закричал еврей Савка,— прости меня, Бенчик, я опоздал,— и он затопал ногами и стал махать руками. Потом он выстрелил, и пуля попала Мугинштейну в живот.

Нужны ли тут слова? Был человек и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке,— и вот он погиб через глупость. Пришел еврей, похожий на матроса, и выстрелил не в какую-нибудь бутылку с сюрпризом, а в живот человека. Нужны ли тут слова?

— Тикать с конторы,— крикнул Беня и побежал последним. Но, уходя, он успел сказать Буцису:

— Клянусь гробом моей матери, Савка, ты ляжешь рядом с ним...

Теперь скажите мне вы, молодой господин, режущий купоны на чужих акциях, как поступили бы вы на месте Бени Крика? Вы не знаете, как поступить. А он знал. Поэтому он Король, а мы с вами сидим на стене второго еврейского кладбища и отгораживаемся от солнца ладонями.

Несчастный сын тети Песи умер не сразу. Через час после того, как его доставили в больницу, туда явился Беня. Он велел вызвать к себе старшего врача и сиделку и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов:

— Я имею интерес,— сказал он,— чтобы больной Иосиф Мугинштейн выздоровел. Представляюсь на всякий случай. Бенцион Крик. Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату — давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более трех аршин земли.

И все же Мугинштейн умер в ту же ночь. И тогда только «полтора жида» поднял крик на всю Одессу.

— Где начинается полиция,— вопил он,— и где кончается Беня?

— Полиция кончается там, где начинается Беня,— отвечали резонные люди, но Тартаковский не успокаивался, и он дождался того, что красный автомобиль с музыкальным ящиком проиграл на Серединской площади свой первый марш из оперы «Смейся, паяц». Среди бела дня машина подлетела к домику, в котором жила тетя Песя.

Автомобиль гремел колесами, плевался дымом, сиял медью, вонял бензином и играл арии на своем сигнальном рожке. Из автомобиля выскочил некто и прошел в кухню, где на земляном полу билась маленькая тетя Песя. «Полтора жида» сидел на стуле и махал руками.

— Хулиганская морда,— прокричал он, увидя гостя,— бандит, чтобы земля тебя выбросила! Хорошую моду себе взял — убивать живых людей...

— Мосье Тартаковский,— ответил ему Беня Крик тихим голосом,— вот идут вторые сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом. Но я знаю, что вы плевать хотели на мои молодые слезы. Стыд, мосье Тартаковский,— в какой несгораемый шкаф упрятали вы стыд? Вы имели сердце послать матери нашего покойного Иосифа сто жалких карбованцев. Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость.

Тут Беня сделал паузу. На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые штиблеты.

— Десять тысяч единовременно,— заревел он,— десять тысяч единовременно и пенсию до ее смерти, пусть она живет сто двадцать лет. А если нет, тогда выйдем из этого помещения, мосье Тартаковский, и сядем в мой автомобиль...

Потом они бранились друг с другом. «Полтора жида» бранился с Беней. Я не был при этой ссоре. Но те, кто были, те помнят. Они сошлись на пяти тысячах наличными и пятидесяти рублях ежемесячно.

— Тетя Песя,— сказал тогда Беня всклокоченной старушке, валявшейся на полу,— если вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее, но ошибаются все, даже бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песя. Но разве со стороны бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучались, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы? Ошибаются все, даже бог. Слушайте меня ушами, тетя Песя. Вы имеете пять тысяч на руки и пятьдесят рублей в месяц до вашей смерти,— живите сто двадцать лет. Похороны Иосифа будут по первому разряду: шесть лошадей, как шесть львов, две колесницы с венками, хор из Бродской синагоги, сам Миньковский придет отпевать покойного вашего сына...

И похороны состоялись на следующее утро. О похоронах этих спросите у кладбищенских нищих. Спросите о них у шамесов из синагоги, торговцев кошерной птицей или у старух из второй богадельни. Таких похорон Одесса еще не видала, а мир не увидит. Городовые в этот день одели нитяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью и открытых настежь, горело электричество. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные плюмажи. Шестьдесят певчих шли впереди процессии. Певчие были мальчиками, но они пели женскими голосами. Старосты синагоги торговцев кошерной птицей вели тетю Песю под руки. За старостами шли члены общества приказчиков евреев, а за приказчиками евреями — присяжные поверенные, доктора медицины и акушерки-фельдшерицы. С одного бока тети Песи находились куриные торговки старого базара, а с другого бока находились почетные молочницы с Бугаевки, завороченные в оранжевые шали. Они топали ногами, как жандармы на параде в табельный день. От их широких бедер шел запах моря и молока. И позади всех плелись служащие Рувима Тартаковского. Их было сто человек, или двести, или две тысячи. На них были

черные сюртуки с шелковыми лацканами и новые сапоги, которые скрипели, как поросята в мешке.

И вот я буду говорить, как говорил господь на горе Синайской из горящего куста. Кладите себе в уши мои слова. Все, что я видел, я видел своими глазами, сидя здесь, на стене второго кладбища, рядом с шепелявым Мойсейкой и Шимшоном из погребальной конторы. Видел это я, Арье-Лейб, гордый еврей, живущий при покойниках.

Колесница подъехала к кладбищенской синагоге. Гроб поставили на ступени. Тетя Песя дрожала, как птичка. Кантор вылез из фаэтона и начал панихиду. Шестьдесят певчих вторили ему. И в эту минуту красный автомобиль вылетел из-за поворота. Он проиграл «Смейся, паяц» и остановился. Люди молчали как убитые. Молчали деревья, певчие, нищие. Четыре человека вылезли из-под красной крыши и тихим шагом поднесли к колеснице венок из невиданных роз. А когда панихида кончилась, четыре человека подвели под гроб свои стальные плечи, с горящими глазами и выпяченной грудью зашагали вместе с членами общества приказчиков евреев.

Впереди шел Беня Крик, которого тогда никто еще не называл Королем. Первым приблизился он к могиле, взошел на холмик и простер руку.

— Что хотите вы делать, молодой человек? — подбежал к нему Кофман из погребального братства.

— Я хочу сказать речь,— ответил Беня Крик.

И он сказал речь. Ее слышали все, кто хотел слушать. Ее слышал я, Арье-Лейб, и шепелявый Мойсейка, который сидел на стене со мною рядом.

— Господа и дамы,— сказал Беня Крик,— господа и дамы,— сказал он, и солнце встало над его головой, как часовой с ружьем.— Вы пришли отдать последний долг честному труженику, который погиб за медный грош. От своего имени и от имени всех, кто здесь не присутствует, благодарю вас. Господа и дамы! Что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков. Чем занимался он? Он пересчитывал чужие деньги. За что погиб он? Он погиб за весь трудящийся класс. Есть люди, уже обреченные смерти, и есть люди, еще не начавшие жить. И вот пуля, летевшая в обреченную грудь, пробивает Иосифа, не видевшего в своей жизни ничего, кроме

пары пустяков. Есть люди, умеющие пить водку, и есть люди, не умеющие пить водку, но все же пьющие ее. И вот первые получают удовольствие от горя и от радости, а вторые страдают за всех тех, кто пьет водку, не умея пить ее. Поэтому, господа и дамы, после того как мы помолимся за нашего бедного Иосифа, я прошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Буциса...

И, сказав эту речь, Беня сошел с холмика. Молчали люди, деревья и кладбищенские нищие. Два могильщика пронесли некрашеный гроб к соседней могиле. Кантор, заикаясь, окончил молитву. Беня бросил первую лопату и перешел к Савке. За ним пошли, как овцы, все присяжные поверенные и дамы с брошками. Он заставил кантора пропеть над Савкой полную панихиду, и шестьдесят певчих вторили кантору. Савке не снилась такая панихида — поверьте слову Арье-Лейба, старого старика.

Говорят, что в тот день «полтора жида» решил закрыть дело. Я при этом не был. Но то, что ни кантор, ни хор, ни погребальное братство не просили денег за похороны,— это видел я глазами Арье-Лейба. Арье-Лейб — так зовут меня. И больше я ничего не мог видеть, потому что люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, бросились бежать, как с пожара. Они летели в фаэтонах, в телегах и пешком. И только те четыре, что приехали на красном автомобиле, на нем же и уехали. Музыкальный ящик проиграл свой марш, машина вздрогнула и умчалась.

— Король,— глядя ей вслед, сказал шепелявый Мойсейка, тот самый, что забирает у меня лучшие места на стенке.

Теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первый произнес слово «король». Это был Мойсейка. Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого Грача, ни бешеного Кольку. Вы знаете все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?..

## ОТЕЦ

Фроим Грач был женат когда-то. Это было давно, с того времени прошло двадцать лет. Жена родила тогда Фроиму дочку и умерла от родов. Девочку на-

звали Басей. Ее бабушка по матери жила в Тульчине. Старуха не любила своего зятя. Она говорила о нем: Фроим по занятию ломовой извозчик, и у него есть вороные лошади, но душа Фроима чернее, чем вороная масть его лошадей...

Старуха не любила зятя и взяла новорожденную к себе. Она прожила с девочкой двадцать лет и потом умерла. Тогда Баська вернулась к своему отцу. Это все случилось так.

В среду, пятого числа, Фроим Грач возил в порт на пароход «Каледония» пшеницу из складов общества Дрейфус. К вечеру он кончил работу и поехал домой. На повороте с Прохоровской улицы ему встретился кузнец Иван Пятирубель.

— Почтение, Грач,— сказал Иван Пятирубель,— какая-то женщина колотится до твоего помещения...

Грач проехал дальше и увидел на своем дворе женщину исполинского роста. У нее были громадные бока и щеки кирпичного цвета.

— Папаша,— сказала женщина оглушительным басом,— меня уже черти хватают со скуки. Я жду вас целый день... Знайте, что бабушка умерла в Тульчине.

Грач стоял на биндюге и смотрел на дочь во все глаза.

— Не крутись перед конями,— закричал он в отчаянии,— бери уздечку у коренника, ты мне коней побить хочешь...

Грач стоял на возу и размахивал кнутом. Баська взяла коренника за уздечку и подвела лошадей к конюшне. Она распрягла их и пошла хлопотать на кухню. Девушка повесила на веревку отцовские портянки, она вытерла песком закопченный чайник и стала разогревать зразу в чугунном котелке.

— У вас невыносимый грязь, папаша,— сказала она и выбросила за окно прокисшие овчины, валявшиеся на полу,— но я выведу этот грязь,— прокричала Баська и подала отцу ужинать.

Старик выпил водки из эмалированного чайника и съел зразу, пахнущую как счастливое детство. Потом он взял кнут и вышел за ворота. Туда пришла и Баська вслед за ним. Она одела мужские штиблеты и оранжевое платье, она одела шляпу, обвешанную птицами, и уселась на лавочке. Вечер шатался

мимо лавочки, сияющий глаз заката падал в море за Пересыпью, и небо было красно, как красное число в календаре. Вся торговля прикрылась уже на Дальницкой, и налетчики проехали на глухую улицу к публичному дому Иоськи Самуэльсона. Они ехали в лаковых экипажах, разодетые, как птицы колибри, в цветных пиджаках. Глаза их были выпучены, одна нога отставлена к подножке, и в стальной протянутой руке они держали букеты, завороченные в папиросную бумагу. Отлакированные их пролетки двигались шагом, в каждом экипаже сидел один человек с букетом, и кучера, торчавшие на высоких сиденьях, были украшены бантами, как шафера на свадьбах. Старые еврейки в наколках лениво следили течение привычной этой процессии — они были ко всему равнодушны, старые еврейки, и только сыновья лавочников и корабельных мастеров завидовали королям Молдаванки.

Соломончик Каплун, сын бакалейщика, и Моня Артиллерист, сын контрабандиста, были в числе тех, кто пытался отвести глаза от блеска чужой удачи. Оба они прошли мимо нее, раскачиваясь, как девушки, узнавшие любовь, они пошептались между собой и стали двигать руками, показывая, как бы они обнимали Баську, если б она этого захотела. И вот Баська тотчас же этого захотела, потому что она была простая девушка из Тульчина, из своекорыстного подслеповатого городишки. В ней было весу пять пудов и еще несколько фунтов, всю жизнь прожила она с ехидной порослью подольских маклеров, странствующих книгонош, лесных подрядчиков и никогда не видела таких людей, как Соломончик Каплун. Поэтому, увидев его, она стала шаркать по земле толстыми ногами, обутыми в мужские штиблеты, и сказала отцу.

— Папаша,— сказала она громовым голосом,— посмотрите на этого господинчика: у него ножки, как у куколки, я задушила бы такие ножки...

— Эге, пани Грач,— прошептал тогда старый еврей, сидевший рядом, старый еврей, по фамилии Голубчик,— я вижу, дите ваше просится на травку...

— Вот морока на мою голову,— ответил Фроим Голубчику, поиграл кнутом и пошел к себе спать и заснул спокойно, потому что не поверил старику.

Он не поверил старику и оказался кругом неправ. Прав был Голубчик. Голубчик занимался сватовством на нашей улице, по ночам он читал молитвы над зажиточными покойниками и знал о жизни все, что можно о ней знать. Фроим Грач был неправ. Прав был Голубчик.

И действительно, с этого дня Баська все свои вечера проводила за воротами. Она сидела на лавочке и шила себе приданое. Беременные женщины сидели с ней рядом; груды холста ползли по ее раскоряченным могущественным коленям; беременные бабы наливались всякой всячиной, как коровье вымя наливается на пастбище розовым молоком весны, и в это время мужья их, один за другим приходили с работы. Мужья бранчливых жен отжимали под водопроводным краном всклокоченные свои бороды и уступали потом место горбатым старухам. Старухи купали в корытах жирных младенцев, они шлепали внуков по сияющим ягодицам и заворачивали их в поношенные свои юбки. И вот Баська из Тульчина увидела жизнь Молдаванки, щедрой нашей матери,— жизнь, набитую сосущими младенцами, сохнущим тряпьем и брачными ночами, полными пригородного шику и солдатской неутомимости. Девушка захотела и себе такой же жизни, но она узнала тут, что дочь одноглазого Грача не может рассчитывать на достойную партию. Тогда она перестала называть отца отцом.

— Рыжий вор,— кричала она ему по вечерам,— рыжий вор, идите вечерять...

И это продолжалось до тех пор, пока Баська не сшила себе шесть ночных рубашек и шесть пар панталон с кружевными оборками. Кончив подшивку кружев, она заплакала тонким голосом, непохожим на ее голос, и сказала сквозь слезы непоколебимому Грачу:

— Каждая девушка,— сказала она ему,— имеет свой интерес в жизни, и только одна я живу как ночной сторож при чужом складе. Или сделайте со мной что-нибудь, папаша, или я делаю конец моей жизни...

Грач выслушал до конца свою дочь, он одел парусовую бурку и на следующий день отправился в гости к бакалейщику Каплуну на Привозную площадь.

Над лавкой Каплуна блестела золотая вывеска. Это была первая лавка на Привозной площади. В ней пахло многими морями и прекрасными жизнями, неизвестными нам. Мальчик поливал из лейки прохладную глубину магазина и пел песню, которую прилично петь только взрослым. Соломончик, хозяйский сын, стоял за стойкой; на стойке этой были поставлены маслины, пришедшие из Греции, марсельское масло, кофе в зернах, лиссабонская малага, сардины фирмы «Филипп и Кано» и кайенский перец. Сам Каплун сидел в жилетке на солнцепеке, в стеклянной пристроечке, и ел арбуз — красный арбуз с черными косточками, с косыми косточками, как глаза лукавых китаянок. Живот Каплуна лежал на столе под солнцем, и солнце ничего не могло с ним поделать. Но потом бакалейщик увидел Грача в парусовой бурке и побледнел.

— Добрый день, мосье Грач,— сказал он и отодвинулся.— Голубчик предупредил меня, что вы будете, и я приготовил для вас фунтик чаю, что это — редкость...

И он заговорил о новом сорте чая, привезенном в Одессу на голландских пароходах. Грач слушал его терпеливо, но потом прервал, потому что он был простой человек, без хитростей.

— Я простой человек, без хитростей,— сказал Фроим,— я нахожусь при моих конях и занимаюсь моим занятием. Я даю новое белье за Баськой и пару старых грошей, и я сам есть за Баськой,— кому этого мало, пусть тот горит огнем...

— Зачем нам гореть? — ответил Каплун скороговоркой и погладил руку ломового извозчика.— Не надо такие слова, мосье Грач, ведь вы же у нас человек, который может помочь другому человеку, и, между прочим, вы можете обидеть другого человека, а то, что вы не краковский раввин, так я тоже не стоял под венцом с племянницей Мозеса Монтефиоре, но... но мадам Каплун... есть у нас мадам Каплун, грандиозная дама, у которой сам бог не узнает, чего она хочет...

— А я знаю,— прервал лавочника Грач,— я знаю, что Соломончик хочет Баську, но мадам Каплун не хочет меня...

— Да, я не хочу вас,— прокричала тогда мадам Каплун, подслушивавшая у дверей, и она взошла в стеклянную пристроечку, вся пылая, с волнующейся грудью,— я не хочу вас, Грач, как человек не хочет смерти; я не хочу вас, как невеста не хочет прыщей на голове. Не забывайте, что покойный дедушка наш был бакалейщик, и мы должны держаться нашей бранжи...

— Держитесь вашей бранжи,— ответил Грач пылающей мадам Каплун и ушел к себе домой.

Там ждала его Баська, разодетая в оранжевое платье, но старик, не посмотрев на нее, разостлал кожух под телегами, лег спать и спал до тех пор, пока могучая Баськина рука не выбросила его из-под телеги.

— Рыжий вор,— сказала девушка шепотом, непохожим на ее шепот,— отчего должна я переносить биндюжницкие ваши манеры, и отчего вы молчите, как пень, рыжий вор?..

— Баська,— произнес Грач,— Соломончик тебя хочет, но мадам Каплун не хочет меня... Там ищут бакалейщика.

И, поправив кожух, старик снова полез под телеги, а Баська исчезла со двора...

Все это случилось в субботу, в нерабочий день. Пурпурный глаз заката, обшаривая землю, наткнулся вечером на Грача, храпевшего под своим биндюгом. Стремительный луч уперся в спящего с пламенной укоризной и вывел его на Дальницкую улицу, пылившую и блестевшую, как зеленая рожь на ветру. Татары шли вверх по Дальницкой, татары и турки со своими муллами. Они возвращались с богомолья из Мекки к себе домой в Оренбургские степи и в Закавказье. Пароход привез их в Одессу, и они шли из порта на постоялый двор Любки Шнейвейс, прозванной Любкой Казак. Полосатые несгибаемые халаты стояли на татарах и затопляли мостовую бронзовым потом пустыни. Белые полотенца были замотаны вокруг их фесок, и это обозначало человека, поклонившегося праху пророка. Богомольцы дошли до угла, они повернули к Любкиному двору, но не смогли там пройти, потому что у ворот собралось множество людей. Любка Шнейвейс, с кошелем на боку, била пьяного мужика и толкала его на мостовую. Она би-

ла сжатым кулаком по лицу, как в бубен, и другой рукой поддерживала мужика, чтобы он не отваливался. Струйки крови ползли у мужика между зубами и возле уха, он был задумчив и смотрел на Любку, как на чужого человека, потом он упал на камни и заснул. Тогда Любка толкнула его ногой и вернулась к себе в лавку. Ее сторож Евзель закрыл за ней ворота и помахал рукой Фроиму Грачу, проходившему мимо...

— Почтение, Грач,— сказал он,— если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам на двор, есть с чего посмеяться...

И сторож повел Грача к стене, где сидели богомольцы, прибывшие накануне. Старый турок в зеленой чалме, старый турок, зеленый и легкий, как лист, лежал на траве. Он был покрыт жемчужным потом, он трудно дышал и ворочал глазами.

— Вот,— сказал Евзель и поправил медаль на истертом своем пиджаке,— вот вам жизненная драма из оперы «Турецкая хвороба». Он кончается, старичок, но к нему нельзя позвать доктора, потому что тот, кто кончается по дороге от бога Мухамеда к себе домой, тот считается у них первый счастливец и богач... Халваш,— закричал Евзель умирающему и захохотал,— вот идет доктор лечить тебя...

Турок посмотрел на сторожа с детским страхом и ненавистью и отвернулся. Тогда Евзель, довольный собою, повел Грача на противоположную сторону двора к винному погребу. В погребе горели уже лампы и играла музыка. Старые евреи с грузными бородами играли румынские и еврейские песни. Мендель Крик пил за столом вино из зеленого стакана и рассказывал о том, как его искалечили собственные сыновья — старший Беня и младший Левка. Он орал свою историю хриплым и страшным голосом, показывал размолотые свои зубы и давал щупать раны на животе. Волынские цадики с фарфоровыми лицами стояли за его стулом и слушали с оцепенением похвальбу Менделя Крика. Они удивлялись всему, что слышали, и Грач презирал их за это.

— Старый хвастун,— пробормотал он о Менделе и заказал себе вина.

Потом Фроим подозвал к себе хозяйку Любку Казак. Она сквернословила у дверей и пила водку стоя.

— Говори,— крикнула она Фроиму и в бешенстве скосила глаза.

— Мадам Любка,— ответил ей Фроим и усадил рядом с собой,— вы умная женщина, и я пришел до вас, как до родной мамы. Я надеюсь на вас, мадам Любка,— сначала на бога, потом на вас.

— Говори,— закричала Любка, побежала по всему погребу и потом вернулась на свое место.

И Грач сказал:

— В колониях,— сказал он,— немцы имеют богатый урожай на пшеницу, а в Константинополе бакалея идет за половину даром. Пуд маслин покупают в Константинополе за три рубля, а продают их здесь по тридцать копеек за фунт... Бакалейщикам стало хорошо, мадам Любка, бакалейщики гуляют очень жирные, и если подойти к ним с деликатными руками, так человек мог бы стать счастливым... Но я остался один в моей работе, покойник Лева Бык умер, мне нет помощи ниоткуда, и вот я один, как бывает один бог на небе.

— Беня Крик,— сказала тогда Любка,— ты пробовал его на Тартаковском, чем плох тебе Беня Крик?

— Беня Крик? — повторил Грач, полный удивления.— И он холостой, мне сдается?

— Он холостой,— сказала Любка,— окрути его с Баськой, дай ему денег, выведи его в люди...

— Беня Крик,— повторил старик, как эхо, как дальнее эхо,— я не подумал о нем...

Он встал, бормоча и заикаясь, Любка побежала вперед, и Фроим поплелся за ней следом. Они прошли во двор и поднялись во второй этаж. Там, во втором этаже, жили женщины, которых Любка держала для приезжающих.

— Наш жених у Катюши,— сказала Любка Грачу,— подожди меня в коридоре,— и она прошла в крайнюю комнату, где Беня Крик лежал с женщиной по имени Катюша.

— Довольно слюни пускать,— сказала хозяйка молодому человеку,— сначала надо пристроиться к какому-нибудь делу, Бенчик, и потом можно слюни пускать... Фроим Грач ищет тебя. Он ищет человека для работы и не может найти его...

И она рассказала все, что знала о Баське и о делах одноглазого Грача.

— Я подумаю,— ответил ей Беня, закрывая простыней Катюшины голые ноги,— я подумаю, пусть старик обождет меня.

— Обожди его,— сказала Любка Фроиму, оставшемуся в коридоре,— обожди его, он подумает...

Хозяйка придвинула стул Фроиму, и он погрузился в безмерное ожидание. Он ждал терпеливо, как мужик в канцелярии. За стеной стонала Катюша и заливалась смехом. Старик продремал два часа и, может быть, больше. Вечер давно уже стал ночью, небо почернело, и млечные его пути исполнились золота, блеска и прохлады. Любкин погреб был закрыт уже, пьяницы валялись во дворе, как сломанная мебель, и старый мулла в зеленой чалме умер к полуночи. Потом музыка пришла с моря, валторны и трубы с английских кораблей, музыка пришла с моря и стихла, но Катюша, обстоятельная Катюша все еще накаляла для Бени Крика свой расписной, свой русский и румяный рай. Она стонала за стеной и заливалась смехом; старый Фроим сидел, не двигаясь, у ее дверей, он ждал до часу ночи и потом постучал.

— Человек,— сказал он,— неужели ты смеешься надо мной?

Тогда Беня открыл, наконец, двери Катюшиной комнаты.

— Мосье Грач,— сказал он, конфузясь, сияя и закрываясь простыней,— когда мы молодые, так мы думаем на женщин, что это товар, но это же всего только солома, которая горит ни от чего...

И, одевшись, он поправил Катюшину постель, взбил ее подушки и вышел со стариком на улицу. Гуляя, дошли они до русского кладбища, и там, у кладбища, сошлись интересы Бени Крика и кривого Грача, старого налетчика. Они сошлись на том, что Баська приносит своему будущему мужу три тысячи рублей приданого, две кровных лошади и жемчужное ожерелье. Они сошлись еще на том, что Каплун обязан уплатить две тысячи рублей Бене, Баськиному жениху. Он был повинен в семейной гордости — Каплун с Привозной площади, он разбогател на константинопольских маслинах, он не пощадил первой Баськиной любви, и поэтому Беня Крик решил

взять на себя задачу получения с Каплуна двух тысяч рублей.

— Я возьму это на себя, папаша,— сказал он будущему своему тестю,— бог поможет нам, и мы накажем всех бакалейщиков...

Это было сказано на рассвете, когда ночь прошла уже,— и вот тут начинается новая история, история падения дома Каплунов, повесть о медленной его гибели, о поджогах и ночной стрельбе. И все это—судьба высокомерного Каплуна и судьба девушки Баськи — решилась в ту ночь, когда ее отец и внезапный ее жених гуляли вдоль русского кладбища. Парни тащили тогда девушек за ограды, и поцелуи раздавались на могильных плитах.

## ЛЮБКА КАЗАК

На Молдаванке, на углу Дальницкой и Балковской улиц, стоит дом Любки Шнейвейс. В ее доме помещается винный погреб, постоялый двор, овсяная лавка и голубятня на сто пар крюковских и николаевских голубей. Лавки эти и участок номер сорок шесть на одесских каменоломнях принадлежат Любке Шнейвейс, прозванной Любкой Казак, и только голубятня составляет собственность сторожа Евзеля, отставного солдата с медалью. По воскресеньям Евзель выходит на Охотницкую и продает голубей чиновникам из города и соседским мальчишкам. Кроме сторожа на Любкином дворе живет еще Песя-Миндл, кухарка и сводница, и управляющий Цудечкис, маленький еврей, похожий ростом и бороденкой на молдаванского раввина нашего — Бен Зхарью. О Цудечкисе я знаю много историй. Первая из них — история о том, как Цудечкис поступил управляющим на постоялый двор Любки, прозванной Казак.

Лет десять тому назад Цудечкис смаклеровал одному помещику молотилку с конным приводом и вечером повел помещика к Любке для того, чтобы отпраздновать покупку. Покупщик его носил возле усов подусники и ходил в лаковых сапогах. Песя-Миндл дала ему на ужин фаршированную еврейскую рыбу и потом очень хорошую барышню, по имени Настя.

Помещик переночевал, и наутро Евзель разбудил Цудечкиса, свернувшегося калачиком у порога Любкиной комнаты.

— Вот,— сказал Евзель,— вы хвалились вчера вечером, что помещик купил через вас молотилку, так будьте известны, что, переночевав, он убежал на рассвете, как самый последний. Теперь вынимайте два рубля за закуску и четыре рубля за барышню. Видно, вы тертый старик.

Но Цудечкис не отдал денег. Евзель втолкнул его тогда в Любкину комнату и запер на ключ.

— Вот,— сказал сторож,— ты будешь здесь, а потом приедет Любка с каменоломни и с божьей помощью выймет из тебя душу. Аминь.

— Каторжанин,— ответил солдату Цудечкис и стал осматриваться в новой комнате,— ты ничего не знаешь, каторжанин, кроме своих голубей, а я верю еще в бога, который выведет меня отсюда, как вывел всех евреев — сначала из Египта и потом из пустыни...

Маленький маклер много еще хотел высказать Евзелю, но солдат взял с собой ключ и ушел, громыхая сапогами. Тогда Цудечкис обернулся и увидел у окна сводницу Песю-Миндл, которая читала книгу «Чудеса и сердце Баал-Шема». Она читала хасидскую книгу с золотым обрезом и качала ногой дубовую люльку. В люльке этой лежал Любкин сын, Давидка, и плакал.

— Я вижу хорошие порядки на этом Сахалине,— сказал Цудечкис Песе-Миндл,— вот лежит ребенок и разрывается на части, что это жалко смотреть, и вы, толстая женщина, сидите, как камень в лесу, и не можете дать ему соску...

— Дайте вы ему соску,— ответила Песя-Миндл, не отрываясь от книжки,— если только он возьмет у вас, старого обманщика, эту соску, потому что он уже большой, как кацап, и хочет только мамашенькиного молока, и мамашенька его скачет по своим каменоломням, пьет чай с евреями в трактире «Медведь», покупает в гавани контрабанду и думает о своем сыне, как о прошлогоднем снеге...

— Да,— сказал тогда самому себе маленький маклер,— ты у фараона в руках, Цудечкис,— и он отошел к восточной стене, пробормотал всю утреннюю молит-

ву с прибавлениями и взял потом на руки плачущего младенца. Давидка посмотрел на него с недоумением и помахал малиновыми ножками в младенческом поту, а старик стал ходить по комнате и, раскачиваясь, как цадик на молитве, запел нескончаемую песню.

— А-а-а,— запел он,— вот всем детям дули, а Давидочке нашему калачи, чтобы он спал и днем и ночи... А-а-а, вот всем детям кулаки...

Цудечкис показал Любкиному сыну кулачок с серыми волосами и стал повторять про дули и калачи до тех пор, пока мальчик не заснул и пока солнце не дошло до середины блистающего неба. Оно дошло до середины и задрожало, как муха, обессиленная зноем. Дикие мужики из Нерубайска и Татарки, остановившиеся на Любкином постоялом дворе, полезли под телеги и заснули там диким заливистым сном, пьяный мастеровой вышел к воротам и, разбросав рубанок и пилу, свалился на землю, свалился и захрапел посредине мира, весь в золотых мухах и голубых молниях июля. Неподалеку от него, в холодке, уселись морщинистые немцы-колонисты, привезшие Любке вино с бессарабской границы. Они закурили трубки, и дым от их изогнутых чубуков стал путаться в серебряной щетине небритых и старческих щек. Солнце свисало с неба, как розовый язык жаждущей собаки, исполинское море накатывалось вдали на Пересыпь, и мачты дальних кораблей колебались на изумрудной воде Одесского залива. День сидел в разукрашенной ладье, день подплывал к вечеру, и навстречу вечеру, только в пятом часу, вернулась из города Любка. Она приехала на чалой лошаденке с большим животом и с отросшей гривой. Парень с толстыми ногами и в ситцевой рубахе открыл ей ворота, Евзель поддержал узду ее лошади, и тогда Цудечкис крикнул Любке из своего заточения:

— Почтение вам, мадам Шнейвейс, и добрый день. Вот вы уехали на три года по делам и набросили мне на руки голодного ребенка...

— Цыть, мурло,— ответила Любка старику и слезла с седла,— кто это разевает там рот в моем окне?

— Это Цудечкис, тертый старик,— ответил хозяйке солдат с медалью и стал рассказывать ей всю историю с помещиком, но он не досказал до конца, по-

тому что маклер, перебивая его, завизжал изо всех сил.

— Какая нахальства,— завизжал он и швырнул вниз ермолку,— какая нахальства набросить на руки чужого ребенка и самой пропасть на три года... Идите дайте ему цицю...

— Вот я иду к тебе, аферист,— пробормотала Любка и побежала к лестнице. Она вошла в комнату и вынула грудь из запыленной кофты.

Мальчик потянулся к ней, искусал чудовищный ее сосок, но не добыл молока. У матери надулась жила на лбу, и Цудечкис сказал ей, тряся ермолкой.

— Вы все хотите захватить себе, жадная Любка; весь мир тащите вы к себе, как дети тащат скатерть с хлебными крошками; первую пшеницу хотите вы и первый виноград; белые хлебы хотите вы печь на солнечном припеке, а маленькое дитё ваше, такое дитё, как звездочка, должно захлянуть без молока...

— Какое там молоко,— закричала женщина и надавила грудь,— когда сегодня прибыл в гавань «Плутарх» и я сделала пятнадцать верст по жаре?.. А вы, вы запели длинную песню, старый еврей,— отдайте лучше шесть рублей...

Но Цудечкис опять не отдал денег. Он распустил рукав, обнажил руку и сунул Любке в рот худой и грязный локоть.

— Давись, арестантка,— сказал он и плюнул в угол.

Любка подержала во рту чужой локоть, потом вынула его, заперла дверь на ключ и пошла во двор. Там уже дожидался ее мистер Троттибэрн, похожий на колонну из рыжего мяса. Мистер Троттибэрн был старшим механиком на «Плутархе». Он привез с собой к Любке двух матросов. Один из матросов был англичанином, другой был малайцем. Все втроем они втащили во двор контрабанду, привезенную из Порт-Саида. Их ящик был тяжел, они уронили его на землю, и из ящика выпали сигары, запутавшиеся в японском шелку. Множество баб сбежалось к ящику, и две пришлые цыганки, колеблясь и гремя, стали заходить сбоку.

— Прочь, галота! — крикнула им Любка и увела моряков в тень под акацию. Они сели там за стол, Евзель подал им вина, и мистер Троттибэрн развер-

нул свои товары. Он вынул из тюка сигары и тонкие шелка, кокаин и напильники, необандероленный табак из штата Виргиния и черное вино, купленное на острове Хиосе. Всякому товару была особая цена, каждую цифру запивали бессарабским вином, пахнущим солнцем и клопами. Сумерки побежали по двору, сумерки побежали, как вечерняя волна на широкой реке, и пьяный малаец, полный удивления, тронул пальцем Любкину грудь. Он тронул ее одним пальцем, потом всеми пальцами по очереди.

Желтые и нежные его глаза повисли над столом, как бумажные фонари на китайской улице; он запел чуть слышно и упал на землю, когда Любка толкнула его кулаком.

— Смотрите, какой хорошо грамотный,— сказала о нем Любка мистеру Троттибэрну,— последнее молоко пропадет у меня от этого малайца, а вот тот еврей съел уже меня за это молоко...

И она указала на Цудечкиса, который, стоя в окне, стирал свои носки. Маленькая лампа коптила в комнате у Цудечкиса, лоханка его пенилась и шипела, он высунулся из окна, почувствовав, что говорят о нем, и закричал с отчаянием.

— Ратуйте, люди! —закричал он и помахал руками.

— Цыть, мурло! — захохотала Любка.— Цыть.

Она бросила в старика камнем, но не попала с первого раза. Женщина схватила тогда пустую бутылку из-под вина. Но мистер Троттибэрн, старший механик, взял у нее бутылку, нацелился и угодил в раскрытое окно.

— Мисс Любка,— сказал старший механик, вставая, и он собрал к себе пьяные ноги,— много достойных людей приходят ко мне, мисс Любка, за товаром, но я никому не даю его, ни мистеру Кунинзону, ни мистеру Батю, ни мистеру Купчику, никому, кроме вас, потому что разговор ваш мне приятен, мисс Любка...

И, утвердившись на вздрогнувших ногах, он взял за плечи своих матросов, одного англичанина, другого малайца, и пошел танцевать с ними по захолодевшему двору. Люди с «Плутарха» — они танцевали в глубокомысленном молчании. Оранжевая звезда, скатившись к самому краю горизонта, смотрела на них во все глаза. Потом они получили деньги, взялись за ру-

ки и вышли на улицу, качаясь, как качается висячая лампа на корабле. С улицы им видно было море, черная вода Одесского залива, игрушечные флаги на потонувших мачтах и пронизывающие огни, зажженные в просторных недрах. Любка проводила танцующих гостей до переезда; она осталась одна на пустой улице, засмеялась своим мыслям и вернулась домой. Заспанный парень в ситцевой рубахе запер за нею ворота, Евзель принес хозяйке дневную выручку, и она отправилась спать к себе наверх. Там дремала уже Песя-Миндл, сводница, и Цудечкис качал босыми ножками дубовую люльку.

— Как вы замучили нас, бессовестная Любка,— сказал он и взял ребенка из люльки,— но вот учитесь у меня, паскудная мать...

Он приставил мелкий гребень к Любкиной груди и положил сына ей в кровать. Ребенок потянулся к матери, накололся на гребень и заплакал. Тогда старик подсунул ему соску, но Давидка отвернулся от соски.

— Что вы колдуете надо мной, старый плут? — пробормотала Любка засыпая.

— Молчать, паскудная мать! — ответил ей Цудечкис.— Молчать и учитесь, чтоб вы пропали...

Дитя опять укололось о гребень, оно нерешительно взяло соску и стало сосать ее.

— Вот,— сказал Цудечкис и засмеялся,— я отлучил вашего ребенка, учитесь у меня, чтоб вы пропали...

Давидка лежал в люльке, сосал соску и пускал блаженные слюни. Любка проснулась, открыла глаза и закрыла их снова. Она увидела сына и луну, ломившуюся к ней в окно. Луна прыгала в черных тучах, как заблудившийся теленок.

— Ну, хорошо,— сказала тогда Любка,— открой Цудечкису дверь, Песя-Миндл, и пусть он придет завтра за фунтом американского табаку...

И на следующий день Цудечкис пришел за фунтом необандероленного табаку из штата Виргиния. Он получил его и еще четвертку чаю в придачу. А через неделю, когда я пришел к Евзелю покупать голубей, я увидел нового управляющего на Любкином дворе. Он был крохотный, как раввин наш Бен Зхарья. Цудечкис был новым управляющим.

Он пробыл в своей новой должности пятнадцать лет, и за это время я узнал о нем множество историй. И, если сумею, я расскажу их по порядку, потому что это очень интересные истории.

### СПРАВЕДЛИВОСТЬ В СКОБКАХ

Первое дело я имел с Беней Криком, второе — с Любкой Шнейвейс. Можете вы понять такие слова? Во вкус этих слов можете вы войти? На этом пути смерти недоставало Сережки Уточкина[1]. Я не встретил его на этот раз, и поэтому я жив. Как медный памятник стоит он над городом, он — Уточкин, рыжий и сероглазый. Все люди должны будут пробежать между его медных ног.

...Не надо уводить рассказ в боковые улицы. Не надо этого делать даже и в том случае, когда на боковых улицах цветет акация и поспевает каштан. Сначала о Бене, потом о Любке Шнейвейс. На этом кончим. И все скажут: точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять.

...Я стал маклером: Сделавшись одесским маклером — я покрылся зеленью и пустил побеги. Обремененный побегами — я почувствовал себя несчастным. В чем причина? Причина в конкуренции. Иначе я бы на эту справедливость даже не высморкался. В моих руках не спрятано ремесла. Передо мной стоит воздух. Он блестит, как море под солнцем, красивый и пустой воздух. Побеги хотят кушать. У меня их семь, и моя жена восьмой побег. Я не высморкался на справедливость. Нет. Справедливость высморкалась на меня. В чем причина? Причина в конкуренции.

Кооператив назывался «Справедливость». Ничего худого о нем сказать нельзя. Грех возьмет на себя тот, кто станет говорить о нем дурно. Его держали шесть компаньонов, «primo de primo», к тому же специалисты по своей бранже[2]. Лавка у них была полна товару,

---

[1] Сергей Уточкин, известный русский авиатор, владелец одного из первых автомобилей в Одессе. Имеется в виду опасность попасть под автомобиль.— Ред.

[2] Б р а н ж а *(угол.)* — дело.

а постовым милиционером поставили туда Мотю с Головковской. Чего еще надо? Больше, кажется, ничего не надо. Это дело предложил мне бухгалтер из «Справедливости». Честное дело, верное дело, спокойное дело. Я почистил мое тело платяной щеткой и переслал его Бене. Король сделал вид, что не заметил моего тела. Тогда я кашлянул и сказал:

— Так и так, Беня.

Король закусывал. Графинчик с водочкой, жирная сигара, жена с животиком, седьмой месяц или восьмой, верно не скажу. Вокруг террасы — природа и дикий виноград.

— Так и так, Беня,— говорю я.

— Когда? — спрашивает он меня.

— Коль раз вы меня спрашиваете,— отвечаю я королю,— так я должен высказать свое мнение. По-моему, лучше всего с субботы на воскресенье. На посту, между прочим, стоит никто иной, как Мотя с Головковской. Можно и в будний день, но зачем, чтобы из спокойного дела вышло неспокойное?

Такое у меня было мнение. И жена короля с ним согласилась.

— Детка,— сказал ей тогда Беня,— я хочу, чтобы ты пошла отдохнуть на кушетке.

Потом он медленными пальцами сорвал золотой ободок с сигары и обернулся к Фроиму Штерну:

— Скажи мне, Грач, мы заняты в субботу, или мы не заняты в субботу?

Но Фроим Штерн человек себе на уме. Он рыжий человек с одним только глазом на голове. Ответить с открытой душой Фроим Штерн не может.

— В субботу,— говорит он,— вы обещали зайти в общество взаимного кредита...

Грач делает вид, ему больше нечего сказать, и он беспечно втыкает свой единственный глаз в самый дальний угол террасы.

— Отлично,— подхватывает Беня Крик,— напомнишь мне в субботу за Цудечкиса, запиши это себе, Грач. Идите к своему семейству, Цудечкис,— обращается ко мне король,— в субботу вечерком, по всей вероятности, я зайду в «Справедливость». Возьмите с собой мои слова, Цудечкис, и начинайте идти.

Король говорит мало, и он говорит вежливо. Это пугает людей так сильно, что они никогда его не пере-

спрашивают. Я пошел со двора, пустился идти по Госпитальной, завернул на Степовую, потом остановился, чтобы рассмотреть Бенины слова. Я попробовал их на ощупь и на вес, я подержал их между моими передними зубами и увидел, что это совсем не те слова, которые мне нужны.

— По всей вероятности,— сказал король, снимая медленными пальцами золотой ободок с сигары. Король говорит мало, и он говорит вежливо. Кто вникает в смысл немногих слов короля? По всей вероятности, зайду, или, по всей вероятности, не зайду? Между да и нет лежат пять тысяч комиссионных. Не считая двух коров, которых я держу для своей надобности, у меня девять ртов, готовых есть. Кто дал мне право рисковать? После того, как бухгалтер из «Справедливости» был у меня, не пошел ли он к Бунцельману? И Бунцельман, в свою очередь, не побежал ли он к Коле Штифту, а Коля парень горячий до невозможности. Слова короля каменной глыбой легли на том пути, по которому рыскал голод, умноженный на девять голов. Говоря проще, я предупредил Бунцельмана на полголоса. Он входил к Коле в ту минуту, когда я выходил от Коли. Было жарко, и он вспотел. «Удержитесь, Бунцельман,— сказал я ему,— вы торопитесь напрасно, и вы потеете напрасно. Здесь я кушаю. Und damit Punktum, как говорят немцы».

И был день пятый. И был день шестой. Суббота прошлась по молдаванским улицам. Мотя уже стал на посту, я уже спал на моей постели, Коля трудился в «Справедливости». Он нагрузил полбиндюга, и его цель была нагрузить еще полбиндюга. В это время в переулке послышался шум, загрохотали колеса, обитые железом; Мотя с Головковской взялся за телеграфный столб и спросил: «Пусть он упадет?» Коля ответил: «Еще не время». (Дело в том, что этот столб в случае нужды мог упасть.)

Телега шагом въехала в переулок и приблизилась к лавке. Коля понял, что это приехала милиция, и у него стало разрываться сердце на части, потому что ему было жалко бросать свою работу.

— Мотя,— сказал он,— когда я выстрелю, столб упадет.

— Безусловно,— ответил Мотя.

Штифт вернулся в лавку, и все его помощники пошли с ним. Они стали вдоль стены и вытащили револьверы. Десять глаз и пять револьверов были устремлены на дверь, все это не считая подпиленного столба. Молодежь была полна нетерпения.

— Тикай, милиция,— прошептал кто-то невоздержанный,— тикай, бо задавим...

— Молчать,— произнес Беня Крик, прыгая с антресолей.— Где ты видишь милицию, мурло? Король идет.

Еще немного, и произошло бы несчастье. Беня сбил Штифта с ног и выхватил у него револьвер. С антресолей начали падать люди, как дождь. В темноте ничего нельзя было разобрать.

— Ну вот,— прокричал тогда Колька,— Беня хочет меня убить, это довольно интересно...

В первый раз в жизни короля приняли за пристава. Это было достойно смеха. Налетчики хохотали во все горло. Они зажгли свои фонарики, они надрывали свои животики, они катались по полу, задушенные смехом.

Один король не смеялся.

— В Одессе скажут,— начал он дельным голосом,— в Одессе скажут: король польстился на заработок своего товарища.

— Это скажут один раз,— ответил ему Штифт.— Никто не скажет ему этого два раза.

— Коля,— торжественно и тихим голосом продолжал король,— веришь ли ты мне, Коля?

И тут налетчики перестали смеяться. У каждого из них горел в руке фонарик, но смех выполз из кооператива «Справедливость».

— В чем я должен тебе верить, король?

— Веришь ли ты мне, Коля, что я здесь ни при чем?

И он сел на стул, этот присмиревший король, он закрыл пыльным рукавом глаза и заплакал. Такова была гордость этого человека, чтоб ему гореть огнем. И все налетчики, все до единого видели, как плачет от оскорбленной гордости их король.

Потом они стали друг перед другом. Беня стоял, и Штифт стоял. Они начали здоровкаться за руку, они извинялись, они целовали друг друга в губы, и каждый из них тряс руку своего товарища с такой силой,

как будто он хотел ее оторвать. Уже рассвет начал хлопать своими подслеповатыми глазами, уже Мотя ушел в участок сменяться, уже два полных биндюга увезли то, что когда-то называлось кооперативом «Справедливость», а король и Коля все еще горевали, все еще кланялись и, закинув друг другу руки за шею, целовались нежно, как пьяные.

Кого искала судьба в это утро? Она искала меня, Цудечкиса, и она меня нашла.

— Коля,— спросил наконец король,— кто тебе указал на «Справедливость»?

— Цудечкис. А тебе, Беня, кто указал?

— И мне Цудечкис.

— Беня,— восклицает тогда Коля,— неужели же он останется у нас живой?

— Безусловно, что нет,— обращается Беня к одноглазому Штерну, который стоит в сторонке и хихикает, потому что он со мной в контрах,— закажешь, Фроим, глазетовый гроб, а я иду до Цудечкиса. Ты же, Коля, раз ты кое-что начал, то ты обязан это кончить, и очень прошу тебя от моего имени и от имени моей супруги зайти ко мне утром и закусить в кругу моей семьи.

Часов в пять утра или нет, часа в четыре утра, а еще, может быть, и четырех не было, король зашел в мою спальню, взял меня, извините, за спину, снял с кровати, положил на пол и поставил свою ногу на мой нос. Услышав разные звуки и тому подобное, моя супруга спрыгнула и спросила Беню:

— Мосье Крик, за что вы обижаетесь на моего Цудечкиса?

— Как за что,— ответил Беня, не снимая ноги с моей переносицы, и слезы закапали у него из глаз,— он бросил тень на мое имя, он опозорил меня перед товарищами, можете проститься с ним, мадам Цудечкис, потому что моя честь дороже мне счастья и он не может оставаться живой...

Продолжая плакать, он топтал меня ногами. Моя супруга, видя, что я сильно волнуюсь, закричала. Это случилось в половине пятого, кончила она к восьми часам. Но она же ему задала, ох, как она ему задала! Это была роскошь!

— За что серчать на моего Цудечкиса,— кричала она, стоя на кровати, и я, корчась на полу, смотрел на

нее с восхищением,— за что бить моего Цудечкиса? За то ли, что он хотел накормить девять голодных птенчиков? Вы, такой-сякой, вы — Король, вы зять богача и сами богач, и ваш отец богач. Вы человек, перед которым открыто все и вся, что значит для Бенчика, одно неудачное дело, когда следующая неделя принесет вам семь удачных? Не сметь бить моего Цудечкиса! Не сметь!

Она спасла мне жизнь.

Когда проснулись дети, они начали кричать совместно с моей супругой. Беня все-таки испортил мне столько здоровья, сколько он понимал, что мне нужно испортить. Он оставил двести рублей на лечение и ушел. Меня отвезли в Еврейскую больницу. В воскресенье я умирал, в понедельник я поправлялся, а во вторник у меня был кризис.

Вот моя первая история. Кто виноват, и где причина? Неужели Беня виноват? Нечего нам друг другу глаза замазывать. Другого такого, как Беня Король — нет. Истребляя ложь, он ищет справедливость, и ту справедливость, которая в скобках и которая без скобок. Но ведь все другие невозмутимы, как холодец, они не любят искать, они не будут искать, и это хуже.

Я выздоровел. И это для того, чтобы из Бениных рук перелететь в Любкины. Сначала я о Бене, потом о Любке Шнейвейс. На этом кончим. И всякий скажет: точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять.

## ТЫ ПРОМОРГАЛ, КАПИТАН!

В Одесский порт пришел пароход «Галифакс». Он пришел из Лондона за русской пшеницей.

Двадцать седьмого января, в день похорон Ленина, цветная команда парохода — три китайца, два негра и один малаец — вызвала капитана на палубу. В городе гремели оркестры и мела метель.

— Капитан О'Нирн,— сказали негры,— сегодня нет погрузки, отпустите нас в город до вечера.

— Оставайтесь на местах,— ответил О'Нирн,— шторм имеет девять баллов, и он усиливается: возле Санжейки замерз во льдах «Биконсфильд», барометр

показывает то, чего ему лучше не показывать. В такую погоду команда должна быть на судне. Оставаться на местах.

И, сказав, это, капитан О'Нирн отошел ко второму помощнику. Они пересмеивались со вторым помощником, курили сигары и показывали пальцами на город, где в неудержимом горе мела метель и завывали оркестры.

Два негра и три китайца слонялись без толку по палубе. Они дули в озябшие ладони, притопывали резиновыми сапогами и заглядывали в приотворенную дверь капитанской каюты. Оттуда тек в девятибалльный шторм бархат диванов, обогретый коньяком и тонким дымом.

— Боцман! — закричал О'Нирн, увидев матросов.— Палуба не бульвар, загоните-ка этих ребят в трюм.

— Есть, сэр,— ответил боцман, колонна из красного мяса, поросшая красным волосом,— есть сэр,— и он взял за шиворот взъерошенного малайца. Он поставил его к борту, выходившему в открытое море, и выбросил на веревочную лестницу. Малаец скатился вниз и побежал по льду. Три китайца и два негра побежали за ним следом.

— Вы загнали людей в трюм? — спросил капитан из каюты, обогретой коньяком и тонким дымом.

— Я загнал их, сэр,— ответил боцман, колонна из красного мяса, и стал у трапа, как часовой в бурю.

Ветер дул с моря — девять баллов, как девять ядер, пущенных из промерзших батарей моря. Белый снег бесился над глыбами льдов. И по окаменелым волнам, не помня себя, летели к берегу, к причалам, пять скорчившихся запятых с обуглившимися лицами и в развевающихся пиджаках. Обдирая руки, они вскарабкались на берег по обледенелым сваям, пробежали в порт и влетели в город, дрожавший на ветру.

Отряд грузчиков с черными знаменами шел на площадь, к месту закладки памятника Ленину. Два негра и китайцы пошли с грузчиками рядом. Они задыхались, жали чьи-то руки и ликовали ликованием убежавших каторжников.

В эту минуту в Москве, на Красной площади, опускали в склеп труп Ленина. У нас, в Одессе, выли гуд-

ки, мела метель и шли толпы, построившись в ряды. И только на пароходе «Галифакс» непроницаемый боцман стоял у трапа, как часовой в бурю. Под его двусмысленной защитой капитан О'Нирн пил коньяк в своей прокуренной каюте.

Он положился на боцмана, О'Нирн, и он проморгал — капитан.

## ИСТОРИЯ МОЕЙ ГОЛУБЯТНИ

*М. Горькому*

В детстве я очень хотел иметь голубятню. Во всю жизнь у меня не было желания сильнее. Мне было девять лет, когда отец посулил дать денег на покупку тесу и трех пар голубей. Тогда шел тысяча девятьсот четвертый год. Я готовился к экзаменам в приготовительный класс Николаевской гимназии. Родные мои жили в городе Николаеве, Херсонской губернии. Этой губернии больше нет, наш город отошел к Одесскому району.

Мне было всего девять лет, и я боялся экзаменов. По обоим предметам — по русскому и по арифметике — мне нельзя было получить меньше пяти. Процентная норма была трудна в нашей гимназии, всего пять процентов. Из сорока мальчиков только два еврея могли поступить в приготовительный класс. Учителя спрашивали этих мальчиков хитро; никого не спрашивали так замысловато, как нас. Поэтому отец, обещая купить голубей, требовал двух пятерок с крестами. Он совсем истерзал меня, я впал в нескончаемый сон наяву, в длинный, детский сон отчаяния, и пошел на экзамен в этом сне и все же выдержал лучше других.

Я был способен к наукам. Учителя, хоть они и хитрили, не могли отнять у меня ума и жадной памяти. Я был способен к наукам и получил две пятерки. Но потом все изменилось. Харитон Эфрусси, торговец хлебом, экспортировавший пшеницу в Марсель, дал за своего сына взятку в пятьсот рублей, мне поставили пять с минусом вместо пяти, и в гимназию на мое место приняли маленького Эфрусси. Отец очень убивался тогда. С шести лет он обучал меня всем наукам,

каким только можно было. Случай с минусом привел его в отчаяние. Он хотел побить Эфрусси или подкупить двух грузчиков, чтобы они побили Эфрусси, но мать отговорила его, и я стал готовиться к другому экзамену, в будущем году, в первый класс. Родные тайком от меня подбили учителя, чтобы он в один год прошел со мною курс приготовительного и первого классов сразу, и так как мы во всем отчаивались, то я выучил наизусть три книги. Эти книги были: грамматика Смирновского, задачник Евтушевского и учебник начальной русской истории Пуцыковича. По этим книгам дети не учатся больше, но я выучил их наизусть, от строки до строки, и в следующем году на экзамене из русского языка получил у учителя Караваева недосягаемые пять с крестом.

Караваев этот был румяный негодующий человек из московских студентов. Ему едва ли исполнилось тридцать лет. На мужественных его щеках цвел румянец, как у крестьянских ребят, сидела бородавка у него на щеке, из нее рос пучок пепельных кошачьих волос. Кроме Караваева, на экзамене был еще помощни попечители Пятницкий, считавшийся важным лицом в гимназии и во всей губернии. Помощник попечителя спросил меня о Петре Первом, я испытал тогда чувство забвения, чувство близости конца и бездны, сухой бездны, выложенной восторгом и отчаянием.

О Петре Великом я знал наизусть из книжки Пуцыковича и стихов Пушкина. Я навзрыд сказал эти стихи, человечьи лица покатились вдруг в мои глаза и перемешались там, как карты из новой колоды. Они тасовались на дне моих глаз, и в эти мгновения, дрожа, выпрямляясь, торопясь, я кричал пушкинские строфы изо всех сил. Я кричал их долго, никто не прерывал безумного моего бормотанья. Сквозь багровую слепоту, сквозь свободу, овладевшую мною, я видел только старое, склоненное лицо Пятницкого с посеребренной бородой. Он не прерывал меня и только сказал Караваеву, радовавшемуся за меня и за Пушкина.

— Какая нация,— прошептал старик,— жидки ваши, в них дьявол сидит.

И когда я замолчал, он сказал:

— Хорошо, ступай, мой дружок...

Я вышел из класса в коридор и там, прислонившись к небеленой стене, стал просыпаться от судоро-

ги моих снов. Русские мальчики играли вокруг меня, гимназический колокол висел неподалеку под пролетом казенной лестницы, сторож дремал на продавленном стуле. Я смотрел на сторожа и просыпался. Дети подбирались ко мне со всех сторон. Они хотели щелкнуть меня или просто поиграть, но в коридоре показался вдруг Пятницкий. Миновав меня, он приостановился на мгновение, сюртук трудной медленной волной пошел по его спине. Я увидел смятение на просторной этой, мясистой, барской спине и двинулся к старику.

— Дети,— сказал он гимназистам,— не трогайте этого мальчика,— и положил жирную, нежную руку на мое плечо.

— Дружок мой,— обернулся Пятницкий,— передай отцу, что ты принят в первый класс.

Пышная звезда блеснула у него на груди, ордена зазвенели у лацкана, большое черное мундирное его тело стало уходить на прямых ногах. Оно стиснуто было сумрачными стенами, оно двигалось в них, как движется барка в глубоком канале, и исчезло в дверях директорского кабинета. Маленький служитель понес ему чай с торжественным шумом, а я побежал домой, в лавку.

В лавке нашей, полон сомнения, сидел и скребся мужик-покупатель. Увидев меня, отец бросил мужика и, не колеблясь, поверил моему рассказу. Он закричал приказчику закрывать лавку и бросился на Соборную улицу покупать мне шапку с гербом. Бедная мать едва отодрала меня от помешавшегося этого человека. Мать была бледна в ту минуту и испытывала судьбу. Она гладила меня и с отвращением отталкивала. Она сказала, что о всех принятых в гимназию бывает объявление в газетах и что бог нас покарает и люди над нами посмеются, если мы купим форменную одежду раньше времени. Мать была бледна, она испытывала судьбу в моих глазах и смотрела на меня с горькой жалостью, как на калечку, потому что одна она знала, как несчастлива наша семья.

Все мужчины в нашем роду были доверчивы к людям и скоры на необдуманные поступки, нам ни в чем не было счастья. Мой дед был раввином когда-то в Белой Церкви, его прогнали оттуда за кощунство, и он с шумом и скудно прожил еще сорок лет, изучал

иностранные языки и стал сходить с ума на восьмидесятом году жизни. Дядька мой Лев, брат отца, учился в Воложинском ешиботе, в 1892 году он бежал от солдатчины и похитил дочь интенданта, служившего в Киевском военном округе. Дядька Лев увез эту женщину в Калифорнию, в Лос-Анжелос, бросил ее там и умер в дурном доме, среди негров и малайцев. Американская полиция прислала нам после смерти наследство из Лос-Анжелоса — большой сундук, окованный коричневыми железными обручами. В этом сундуке были гири от гимнастики, пряди женских волос, дедовский талес, хлысты с золочеными набалдашниками и цветочный чай в шкатулках, отделанных дешевыми жемчугами. Изо всей семьи оставались только безумный дядя Симон, живший в Одессе, мой отец и я. Но отец мой был доверчивый к людям, он обижал их восторгами первой любви, люди не прощали ему этого и обманывали. Отец верил поэтому, что жизнью его управляет злобная судьба, необъяснимое существо, преследующее его и во всем иа него не похожее. И вот только один я оставался у моей матери изо всей нашей семьи. Как все евреи, я был мал ростом, хил и страдал от ученья головными болями. Все это видела моя мать, которая никогда не бывала ослеплена нищенской гордостью своего мужа и непонятной его верой в то, что семья наша станет когда-либо сильнее и богаче других людей на земле. Она не ждала для нас удачи, боялась купить форменную блузу раньше времени и только позволила мне сняться у фотографа для большого портрета.

Двадцатого сентября тысяча девятьсот пятого года в гимназии вывешен был список поступивших в первый класс. В таблице упоминалось и мое имя. Вся родня наша ходила смотреть на эту бумажку, и даже Шойл, мой двоюродный дед, пришел в гимназию. Я любил хвастливого этого старика за то, что он торговал рыбой на рынке. Толстые его руки были влажны, покрыты рыбьей чешуей и воняли холодными прекрасными мирами. Шойл отличался от обыкновенных людей еще и лживыми историями, которые он рассказывал о польском восстании 1861 года. В давние времена Шойл был корчмарем в Сквире; он видел, как солдаты Николая Первого расстреливали графа Годлевского и других польских инсургентов.

Может быть, он и не видел этого. Теперь-то я знаю, что Шойл был всего только старый неуч и наивный лгун, но побасенки его не забыты, они были хороши. И вот даже глупый Шойл пришел в гимназию прочитать таблицу с моим именем и вечером плясал и топал на нашем нищем балу.

Отец устроил бал на радостях и позвал товарищей своих — торговцев зерном, маклеров по продаже имений и вояжеров, продававших в нашей округе сельскохозяйственные машины. Вояжеры эти продавали машины всякому человеку. Мужики и помещики боялись их, от них нельзя было отделаться, не купив чего-нибудь. Изо всех евреев вояжеры самые бывалые, веселые люди. На нашем вечере они пели хасидские песни, состоявшие всего из трех слов, но певшиеся очень долго, со множеством смешных интонаций. Прелесть этих интонаций может узнать только тот, кому приходилось встречать пасху у хасидов или кто бывал на Волыни в их шумных синагогах. Кроме вояжеров, к нам пришел старый Либерман, обучавший меня торе и древнееврейскому языку. Его называли у нас мосье Либерман. Он выпил бессарабского вина поболее, чем ему было надо, шелковые традиционные шнурки вылезли из-под красной его жилетки, и он произнес на древнееврейском языке тост в мою честь. Старик поздравил родителей в этом тосте и сказал, что я победил на экзамене всех врагов моих, я победил русских мальчиков с толстыми щеками и сыновей грубых наших богачей. Так в древние времена Давид, царь иудейский, победил Голиафа, и подобно тому как я восторжествовал над Голиафом, так народ наш силой своего ума победит врагов, окруживших нас и ждущих нашей крови. Мосье Либерман заплакал, сказав это, плача, выпил еще вина и закричал: «виват!» Гости взяли его в круг и стали водить с ним старинную кадриль, как на свадьбе в еврейском местечке. Все были веселы на нашем балу, даже мать пригубила вина, хоть она и не любила водки и не понимала, как можно ее любить; всех русских она считала поэтому сумасшедшими и не понимала, как живут женщины с русскими мужьями.

Но счастливые наши дни наступили позже. Они наступили для матери тогда, когда по утрам до ухода в гимназию она стала приготовлять для меня бутерб-

роды, когда мы ходили по лавкам и покупали елочное мое хозяйство — пенал, копилку, ранец, новые книги в картонных переплетах и тетради в глянцевых обертках. Никто в мире не чувствует новых вещей сильнее, чем дети. Дети содрогаются от этого запаха, как собака от заячьего следа, и испытывают безумие, которое потом, когда мы становимся взрослыми, называется вдохновением. И это чистое детское чувство собственничества над новыми вещами передавалось матери. Мы месяц привыкали к пеналу и к утреннему сумраку, когда я пил чай на краю большого освещенного стола и собирал книги в ранец; мы месяц привыкали к счастливой нашей жизни, и только после первой четверти я вспомнил о голубях.

У меня все было припасено для них — рубль пятьдесят копеек и голубятня, сделанная из ящика дедом Шойлом. Голубятня была выкрашена в коричневую краску. Она имела гнезда для двенадцати пар голубей, разные планочки на крыше и особую решетку, которую я придумал, чтобы удобнее было приманивать чужаков. Все было готово. В воскресенье двадцатого октября я собрался на Охотницкую, но на пути стали неожиданные препятствия.

История, о которой я рассказываю, то есть поступление мое в первый класс гимназии, происходила осенью тысяча девятьсот пятого года. Царь Николай давал тогда конституцию русскому народу, ораторы в худых пальто взгромождались на тумбы у здания городской думы и говорили речи народу. На улицах по ночам раздавалась стрельба, и мать не хотела отпускать меня на Охотницкую. С утра в день двадцатого октября соседские мальчики пускали змей против самого полицейского участка, и водовоз наш, забросив все дела, ходил по улице напомаженный, с красным лицом. Потом мы увидели, как сыновья булочника Калистова вытащили на улицу кожаную кобылу и стали делать гимнастику посреди мостовой. Им никто не мешал, городовой Семерников подзадоривал их даже прыгать повыше. Семерников был подпоясан шелковым домотканым пояском, и сапоги его были начищены в тот день так блестко, как не бывали они начищены раньше. Городовой, одетый не по форме, больше всего испугал мою мать, из-за него она не отпускала меня, но я пробрался на улицу задворками

и добежал до Охотницкой, помещавшейся у нас за вокзалом.

На Охотницкой, на постоянном своем месте, сидел Иван Никодимыч, голубятник. Кроме голубей, он продавал еще кроликов и павлина. Павлин, распустив хвост, сидел на жердочке и поводил по сторонам бесстрастной головкой. Лапа его была обвязана крученой веревкой, другой конец веревки лежал прищемленный Ивана Никодимыча плетеным стулом. Я купил у старика, как только пришел, пару вишневых голубей с затрепанными пышными хвостами и пару чубатых и спрятал их в мешок за пазуху. У меня оставалось сорок копеек после покупки, но старик за эту цену не хотел отдать голубя и голубку крюковской породы. У крюковских голубей я любил их клювы, короткие, зернистые, дружелюбные. Сорок копеек была им верная цена, но охотник дорожился и отворачивал от меня желтое лицо, сожженное нелюдимыми страстями птицелова. К концу торга, видя, что не находится других покупщиков, Иван Никодимыч подозвал меня. Все вышло по-моему, и все вышло худо.

В двенадцатом часу дня или немногим позже по площади прошел человек в валеных сапогах. Он легко шел на раздутых ногах, в его истертом лице горели оживленные глаза.

— Иван Никодимыч,— сказал он, проходя мимо охотника,— складайте инструмент, в городе иерусалимские дворяне конституцию получают. На Рыбной бабелевского деда насмерть угостили.

Он сказал это и легко пошел между клетками, как босой пахарь, идущий по меже.

— Напрасно,— пробормотал Иван Никодимыч ему вслед,— напрасно,— закричал он строже и стал собирать кроликов и павлина и сунул мне крюковских голубей за сорок копеек. Я спрятал их за пазуху и стал смотреть, как разбегаются люди с Охотницкой. Павлин на плече Ивана Никодимыча уходил последним. Он сидел, как солнце в сыром осеннем небе, он сидел, как сидит июль на розовом берегу реки, раскаленный июль в длинной холодной траве. На рынке никого уже не было, и выстрелы гремели неподалеку. Тогда я побежал к вокзалу, пересек сквер, сразу опрокинувшийся в моих глазах, и влетел в пустынный переулок, утоптанный желтой землей. В конце переул-

ка на креслице с колесиками сидел безногий Макаренко, ездивший в креслице по городу и продававший папиросы с лотка. Мальчики с нашей улицы покупали у него папиросы, дети любили его, я бросился к нему в переулок.

— Макаренко,— сказал я, задыхаясь от бега, и погладил плечо безногого,— не видал ты Шойла?

Калека не ответил, грубое его лицо, составленное из красного жира, из кулаков, из железа, просвечивало. Он в волнении ерзал на креслице, жена его, Катюша, повернувшись ваточным задом, разбирала вещи, валявшиеся на земле.

— Чего насчитала? — спросил безногий и двинулся от женщины всем корпусом, как будто ему наперед невыносим был ее ответ.

— Камашей четырнадцать штук,— сказала Катюша, не разгибаясь,— пододеяльников шесть, теперь чепцы рассчитываю...

— Чепцы,— закричал Макаренко, задохся и сделал такой звук, как будто он рыдает,— видно, меня, Катерина, бог сыскал, что я за всех ответить должен... Люди полотно целыми штуками носят, у людей все, как у людей, а у нас чепцы...

И в самом деле по переулку пробежала женщина с распалившимся красивым лицом. Она держала охапку фесок в одной руке и штуку сукна в другой. Счастливым отчаянным голосом сзывала она потерявшихся детей; шелковое платье и голубая кофта волочились за летящим ее телом, и она не слушала Макаренко, катившего за ней на кресле. Безногий не поспевал за ней, колеса его гремели, он изо всех сил вертел рычажки.

— Мадамочка,— оглушительно кричал он,— где брали сарпинку, мадамочка?

Но женщины с летящим платьем уже не было. Ей навстречу из-за угла выскочила вихлявая телега. Крестьянский парень стоял стоймя в телеге.

— Куда люди побегли? — спросил парень и поднял красную вожжу над клячами, прыгавшими в хомутах.

— Люди все на Соборной,— умоляюще сказал Макаренко,— там все люди, душа-человек; чего наберешь,— все мне тащи, все покупаю...

Парень изогнулся над передком, хлестнул по пегим клячам. Лошади, как телята, прыгнули грязными своими крупами и пустились вскачь. Желтый переулок снова остался желт и пустынен; тогда безногий перевел на меня погасшие глаза.

— Меня, што ль, бог сыскал,— сказал он безжизненно,— я вам, штоль, сын человеческий...

И Макаренко протянул мне руку, запятнанную проказой.

— Чего у тебя в торбе? — сказал он и взял мешок, согревший мое сердце.

Толстой рукой калека растормошил турманов и вытащил на свет голубку. Запрокинув лапки, птица лежала у него на ладони.

— Голуби,— сказал Макаренко и, скрипя колесами, подъехал ко мне,— голуби,— повторил он и ударил меня по щеке.

Он ударил меня наотмашь ладонью, сжимавшей птицу. Катюшин ваточный зад повернулся в моих зрачках, и я упал на землю в новой шинели.

— Семя ихнее разорить надо,— сказала тогда Катюша и разогнулась над чепцами,— семя ихнее я не могу навидеть и мужчин их вонючих...

Она еще сказала о нашем семени, но я ничего не слышал больше. Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен. Камешек лежал перед глазами, камешек, выщербленный, как лицо старухи с большой челюстью, обрывок бечевки валялся неподалеку и пучок перьев, еще дышавших. Мир мой был мал и ужасен. Я закрыл глаза, чтобы не видеть его, и прижался к земле, лежавшей подо мной в успокоительной немоте. Утоптанная эта земля ни в чем не была похожа на нашу жизнь и на ожидание экзаменов в нашей жизни. Где-то далеко по ней ездила беда на большой лошади, но шум копыт слабел, пропадал, и тишина, горькая тишина, поражающая иногда детей в несчастье, истребила вдруг границу между моим телом и никуда не двигавшейся землей. Земля пахла сырыми недрами, могилой, цветами. Я услышал ее запах

и заплакал без всякого страха. Я шел по чужой улице, заставленной белыми коробками, шел в убранстве окровавленных перьев, один в середине тротуаров, подметенных чисто, как в воскресенье, и плакал так горько, полно и счастливо, как не плакал больше во всю мою жизнь. Побелевшие провода гудели над головой, дворняжка бежала впереди, в переулке сбоку молодой мужик в жилете разбивал раму в доме Харитона Эфрусси. Он разбивал ее деревянным молотом, замахивался всем телом и, вздыхая, улыбался на все стороны доброй улыбкой опьянения, пота и душевной силы. Вся улица была наполнена хрустом, треском, пением разлетавшегося дерева. Мужик бил только затем, чтобы перегибаться, запотевать и кричать необыкновенные слова на неведомом, нерусском языке. Он кричал их и пел, раздирал изнутри голубые глаза, пока на улице не показался крестный ход, шедший от думы. Старики с крашеными бородами несли в руках портрет расчесанного царя, хоругви с гробовыми угодниками метались над крестным ходом, воспламененные старухи летели вперед. Мужик в жилетке, увидев шествие, прижал молоток к груди и побежал за хоругвями, а я, выждав конец процессии, пробрался к нашему дому. Он был пуст. Белые двери его были раскрыты, трава у голубятни вытоптана. Один Кузьма не ушел со двора. Кузьма, дворник, сидел в сарае и убирал мертвого Шойла.

— Ветер тебя носит, как дурную щепку,— сказал старик, увидев меня,— убег на целые веки... Тут народ деда нашего, вишь, как тюкнул...

Кузьма засопел, отвернулся и стал вынимать у деда из прорехи штанов судака. Их было два судака всунуты в деда: один в прореху штанов, другой в рот, и хоть дед был мертв, но один судак жил еще и содрогался.

— Деда нашего тюкнули, никого больше,— сказал Кузьма, выбрасывая судаков кошке,— он весь народ из матери в мать погнал, изматерил дочиста, такой славный... Ты бы ему пятаков на глаза нанес...

Но тогда, десяти лет от роду, я не знал, зачем бывают надобны пятаки мертвым людям.

— Кузьма,— сказал я шепотом,— спаси нас...

И я подошел к дворнику, обнял его старую кривую спину с одним поднятым плечом и увидел деда из-за

этой спины. Шойл лежал в опилках с раздавленной грудью, с вздернутой бородой, в грубых башмаках, одетых на босу ногу. Ноги его, положенные врозь, были грязны, лиловы, мертвы. Кузьма хлопотал вокруг них, он подвязал челюсти и все примеривался, чего бы ему еще сделать с покойником. Он хлопотал, как будто у него в дому была обновка, и остыл, только расчесав бороду мертвецу.

— Всех изматерил,— сказал он, улыбаясь, и оглянул труп с любовью,— кабы ему татары попались, он татар погнал бы, но тут русские подошли, и женщины с ними, кацапки, кацапам людей прощать обидно, я кацапов знаю...

Дворник подсыпал покойнику опилок, сбросил плотницкий передник и взял меня за руку.

— Идем к отцу,— пробормотал он, сжимая меня все крепче,— отец твой с утра тебя ищет, как бы не помер...

И вместе с Кузьмой мы пошли к дому податного инспектора, где спрятались мои родители, убежавшие от погрома.

## ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Десяти лет от роду я полюбил женщину по имени Галина Аполлоновна. Фамилия ее была Рубцова. Муж ее, офицер, уехал на японскую войну и вернулся в октябре тысяча девятьсот пятого года. Он привез с собой много сундуков. В этих сундуках были китайские вещи: ширмы, драгоценное оружие, всего тридцать пудов. Кузьма говорил нам, что Рубцов купил эти вещи на деньги, которые он нажил на военной службе в инженерном управлении Маньчжурской армии. Кроме Кузьмы, другие люди говорили то же. Людям трудно было не судачить о Рубцовых, потому что Рубцовы были счастливы. Дом их прилегал к нашему владению, стеклянная их терраса захватывала часть нашей земли, но отец не бранился с ними из-за этого. Рубцов, податной инспектор, слыл в нашем городе справедливым человеком, он водил знакомство с евреями. И когда с японской войны приехал офицер, сын старика, все мы увидели, как дружно и счастли-

во они зажили. Галина Аполлоновна по целым дням держала мужа за руки. Она не сводила с него глаз, потому что не видела мужа полтора года, но я ужасался ее взгляда, отворачивался и трепетал. Я видел в них удивительную постыдную жизнь всех людей на земле, я хотел заснуть необыкновенным сном, чтобы мне забыть об этой жизни, превосходящей мечты. Галина Аполлоновна ходила, бывало, по комнате с распущенной косой, в красных башмаках и китайском халате. Под кружевами ее рубашки, вырезанной низко, видно было углубление и начало белых, вздутых, отдавленных книзу грудей, а на халате розовыми шелками вышиты были драконы, птицы, дуплистые деревья.

Весь день она слонялась с неясной улыбкой на мокрых губах и наталкивалась на нераспакованные сундуки, на гимнастические лестницы, разбросанные по полу. У Галины делались ссадины от этого, она подымала халат выше колена и говорила мужу:

— Поцелуй ваву...

И офицер, сгибая длинные ноги, одетые в драгунские чикчиры, в шпоры, в лайковые обтянутые сапоги, становился на грязный пол, и, улыбаясь, двигая ногами и подползая на коленях, он целовал ушибленное место, то место, где была пухлая складка от подвязки. Из моего окна я видел эти поцелуи. Они причиняли мне страдания, но об этом не стоит рассказывать, потому что любовь и ревность десятилетних мальчиков во всем похожи на любовь и ревность взрослых мужчин. Две недели я не подходил к окну и избегал Галины, пока случай не свел меня с нею. Случай этот был еврейский погром, разразившийся в пятом году в Николаеве и в других городах еврейской черты оседлости. Толпа наемных убийц разграбила лавку отца и убила деда моего Шойла. Все это случилось без меня, я покупал в то утро голубей у охотника Ивана Никодимыча. Пять лет из прожитых мною десяти я всею силою души мечтал о голубях, и вот когда я купил их, калека Макаренко разбил голубей на моем виске. Тогда Кузьма отвел меня к Рубцовым. У Рубцовых на калитке был мелом нарисован крест, их не трогали, они спрятали у себя моих родителей. Кузьма привел меня на стеклянную террасу. Там сидела мать в зеленой ротонде и Галина.

— Нам надо умыться,— сказала мне Галина,— нам надо умыться, маленький раввин... У нас все лицо в перьях, и перья-то — в крови...

Она обняла меня и повела по коридору, резко пахнувшему. Голова моя лежала на бедре Галины, бедро двигалось и дышало. Мы пришли на кухню, и Рубцова поставила меня под кран. Гусь жарился на кафельной плите, пылающая посуда висела по стенам, и рядом с посудой, в кухаркином углу, висел царь Николай, убранный бумажными цветами. Галина смыла остатки голубя, присохшие к моим щекам.

— Жених будешь, мой гарнесенький,— сказала она, поцеловав меня в губы запухшим ртом, и отвернулась.

— Ты видишь,— прошептала она вдруг,— у папки твоего неприятности, он весь день ходит по улицам без дела, позови папку домой...

И я увидел из окна пустую улицу с громадным небом над ней и рыжего моего отца, шедшего по мостовой. Он шел без шапки, весь в легких поднявшихся рыжих волосах, с бумажной манишкой, свороченной набок и застегнутой на какую-то пуговицу, но не на ту, на которую следовало. Власов, испитой рабочий в солдатских ваточных лохмотьях, неотступно шел за отцом.

— Так,— говорил он душевным хриплым голосом и обеими руками ласково трогал отца,— не надо нам свободы, чтобы жидам было свободно торговать... Ты подай светлость жизни рабочему человеку за труды за его, за ужасную эту громадность... Ты подай ему, друг, слышь, подай...

Рабочий молил о чем-то отца и трогал его, полосы чистого пьяного вдохновения сменялись на его лице унынием и сонливостью.

— На молокан должна быть похожа наша жизнь,— бромотал он и пошатывался на подворачивающихся ногах,— вроде молокан должна быть наша жизнь, но только без бога этого сталоверского, от него евреям выгода, другому никому...

И Власов с отчаянием закричал о сталоверском боге, пожалевшем одних евреев. Власов вопил, спотыкался и догонял неведомого своего бога, но в эту минуту казачий разъезд перерезал ему путь. Офицер в лампасах, в серебряном парадном поясе ехал впере-

ди отряда, высокий картуз был поставлен на его голове. Офицер ехал медленно и не смотрел по сторонам. Он ехал как бы в ущелье, где смотреть можно только вперед.

— Капитан,— прошептал отец, когда казак поравнялся с ним,— капитан,— сжимая голову, сказал отец и стал коленями в грязь.

— Чем могу,— ответил офицер, глядя по-прежнему вперед, и поднес к козырьку руку в замшевой лимонной перчатке.

Впереди, на углу Рыбной улицы, громилы разбивали нашу лавку и выкидывали из нее ящики с гвоздями, машинами и новый мой портрет в гимназической форме.

— Вот,— сказал отец и не встал с колен,— они разбивают кровное, капитан, за что...

Офицер что-то пробормотал, приложил к козырьку лимонную перчатку и тронул повод, но лошадь не пошла. Отец ползал перед ней на коленях, притирался к коротким ее, добрым, чуть взлохмаченным ногам.

— Слушаю-с,— сказал капитан, дернул повод и уехал, за ним двинулись казаки. Они бесстрастно сидели в высоких седлах, ехали в воображаемом ущелье и скрылись в повороте на Соборную улицу.

Тогда Галина опять подтолкнула меня к окну.

— Позови папку домой,— сказала она,— он с утра ничего не ел.

И я высунулся из окна.

Отец обернулся, услышав мой голос.

— Сыночка моя,— пролепетал он с невыразимой нежностью.

И вместе с ним мы пошли на террасу к Рубцовым, где лежала мать в зеленой ротонде. Рядом с ее кроватью валялись гантели и гимнастический аппарат.

— Паршивые копейки,— сказала мать нам навстречу,— человеческую жизнь и детей, и несчастное наше счастье — ты все им отдал... Паршивые копейки,— закричала она хриплым, не своим голосом, дернулась на кровати и затихла.

И тогда в тишине стала слышна моя икота. Я стоял у стены в нахлобученном картузе и не мог унять икоты.

— Стыдно так, мой гарнесенький,— улыбнулась Галина пренебрежительной своей улыбкой и ударила

меня негнущимся халатом. Она прошла в красных башмаках к окну и стала навешивать китайские занавески на диковинный карниз. Обнаженные ее руки утопали в шелку, живая коса шевелилась на ее бедре, я смотрел на нее с восторгом.

Ученый мальчик, я смотрел на нее, как на далекую сцену, освещенную многими софитами. И тут же я вообразил себя Мироном, сыном угольщика, торговавшего на нашем углу. Я вообразил себя в еврейской самообороне, и вот, как и Мирон, я хожу в рваных башмаках, подвязанных веревкой. На плече, на зеленом шнурке, у меня висит негодное ружье, я стою на коленях у старого дощатого забора и отстреливаюсь от убийц. За забором моим тянется пустырь, на нем свалены груды запылившегося угля, старое ружье стреляет дурно, убийцы, в бородах, с белыми зубами, все ближе подступают ко мне; я испытываю гордое чувство близкой смерти и вижу в высоте, в синеве мира, Галину. Я вижу бойницу, прорезанную в стене гигантского дома, выложенного мириадами кирпичей. Пурпурный этот дом попирает переулок, в котором плохо убита серая земля, в верхней бойнице его стоит Галина. Пренебрежительной своей улыбкой она улыбается из недосягаемого окна, муж, полуодетый офицер, стоит за спиной и целует ее в шею...

Пытаясь унять икоту, я вообразил себе все это затем, чтобы мне горше, горячей, безнадежней любить Рубцову, и, может быть, потому, что мера скорби велика для десятилетнего человека. Глупые мечты помогли мне забыть смерть голубей и смерть Шойла, я позабыл бы, пожалуй, об этих убийствах, если бы в ту минуту на террасу не взошел Кузьма с ужасным этим евреем Абой.

Были сумерки, когда они пришли. На террасе горела скудная лампа, покривившаяся в каком-то боку,— мигающая лампа, спутник несчастий.

— Я деда обрядил,— сказал Кузьма, входя,— теперь очень красивые лежат,— вот и служку привел, пускай поговорит чего-нибудь над стариком...

И Кузьма показал на шамеса Абу.

— Пускай поскулит,— проговорил дворник дружелюбно,— служке кишку напихать — слу́жка цельную ночь богу надоедать будет...

Он стоял на пороге — Кузьма — с добрым своим перебитым носом, повернутым во все стороны, и хотел рассказать как можно душевнее о том, как он подвязывал челюсти мертвецу, но отец прервал старика:

— Прошу вас, реб Аба,— сказал отец,— помолитесь над покойником, я заплачу вам...

— А я опасываюсь, что вы не заплатите,— скучным голосом ответил Аба и положил на скатерть бородатое брезгливое лицо,— я опасываюсь, что вы заберете мой карбач и уедете с ним в Аргентину, в Буэнос-Айрес, и откроете там оптовое дело на мой карбач... Оптовое дело,— сказал Аба, пожевал презрительными губами и потянул к себе газету «Сын Отечества», лежавшую на столе. В газете этой было напечатано о царском манифесте 17-го октября и о свободе.

— «...Граждане свободной России,— читал Аба газету по складам и разжевывал бороду, которой он набрал полон рот,— граждане свободной России, с светлым вас христовым воскресением...»

Газета стояла боком перед старым шамесом и колыхалась: он читал ее сонливо, нараспев и делал удивительные ударения на незнакомых ему русских словах. Ударения Абы были похожи на глухую речь негра, прибывшего с родины в русский порт. Они рассмешили даже мать мою.

— Я делаю грех,— вскричала она, высовываясь из-под ротонды,— я смеюсь, Аба... Скажите лучше, как вы поживаете и как семья ваша?

— Спросите меня о чем-нибудь другом,— пробурчал Аба, не выпуская бороды из зубов и продолжая читать газету.

— Спроси его о чем-нибудь другом,— вслед за Абой сказал отец и вышел на середину комнаты. Глаза его, улыбавшиеся нам в слезах, повернулись вдруг в орбитах и уставились в точку, никому не видную.

— Ой, Шойл,— произнес отец ровным, лживым, приготовляющимся голосом,— ой, Шойл, дорогой человек...

Мы увидели, что он закричит сейчас, но мать предупредила нас.

— Манус,— закричала она, растрепавшись мгновенно, и стала обрывать мужу грудь,— смотри, как

худо нашему ребенку, отчего ты не слышишь его икотки, отчего это, Манус?..

Отец умолк.

— Рахиль,— сказал он боязливо,— нельзя передать тебе, как я жалею Шойла...

Он ушел в кухню и вернулся оттуда со стаканом воды.

— Пей, артист,— сказал Аба, подходя ко мне,— пей эту воду, которая поможет тебе, как мертвому кадило...

И правда, вода не помогла мне. Я икал все сильнее. Рычание вырывалось из моей груди. Опухоль, приятная на ощупь, вздулась у меня на горле. Опухоль дышала, надувалась, перекрывала глотку и вываливалась из воротника. В ней клокотало разорванное мое дыхание. Оно клокотало, как закипевшая вода. И когда к ночи я не был уже больше лопоухий мальчик, каким я был во всю мою прежнюю жизнь, а стал извивающимся клубком, тогда мать, закутавшись в шаль и ставшая выше ростом и стройнее, подошла к помертвевшей Рубцовой.

— Милая Галина,— сказала мать певучим, сильным голосом,— как мы беспокоим вас и милую Надежду Ивановну и всех ваших... Как мне стыдно, милая Галина...

С пылающими щеками мать теснила Галину к выходу, потом она кинулась ко мне и сунула шаль мне в рот, чтобы подавить мой стон.

— Потерпи, сынок,— шептала мать,— потерпи для мамы...

Но хоть бы и можно терпеть, я не стал бы этого делать, потому что не испытывал больше стыда...

Так началась моя болезнь. Мне было тогда десять лет. Наутро меня повели к доктору. Погром продолжался, но нас не тронули. Доктор, толстый человек, нашел у меня нервную болезнь.

Он велел поскорее ехать в Одессу, к профессорам, и дожидаться там тепла и морских купаний.

Мы так и сделали. Через несколько дней я выехал с матерью в Одессу к деду Лейви-Ицхоку и к дяде Симону. Мы выехали утром на пароходе, и уже к полдню бурые воды Буга сменились тяжелой зеленой волной моря. Передо мною открывалась жизнь у безумного деда Лейви-Ицхока, и я навсегда простился с Николаевым, где прошли десять лет моего детства.

В пору моего детства на Пересыпи была кузница Иойны Брутмана. В ней собирались барышники лошадьми, ломовые извозчики — в Одессе они называются биндюжниками — и мясники с городских скотобоен. Кузница стояла у Балтской дороги. Избрав ее наблюдательным пунктом, можно было перехватить мужиков, возивших в город овес и бессарабское вино. Иойна был пугливый, маленький человек, но к вину он был приучен, в нем жила душа одесского еврея.

В мою пору у него росли три сына. Отец доходил им до пояса. На пересыпском берегу я впервые задумался о могуществе сил, тайно живущих в природе. Три раскормленных бугая с багровыми плечами и ступнями лопатой — они сносили сухонького Иойну в воду, как сносят младенца. И все-таки родил их он и никто другой. Тут не было сомнений. Жена кузнеца ходила в синагогу два раза в неделю — в пятницу вечером и в субботу утром; синагога была хасидская, там доплясывались на пасху до исступления, как дервиши. Жена Иойны платила дань эмиссарам, которых рассылали по южным губерниям галицийские цадики. Кузнец не вмешивался в отношения жены своей к богу — после работы он уходил в погребок возле скотобойни и там, потягивая дешевое розовое вино, кротко слушал, о чем говорили люди,— о ценах на скот и политике.

Ростом и силой сыновья походили на мать. Двое из них, подросши, ушли в партизаны. Старшего убили под Вознесенском, другой Брутман, Семен, перешел к Примакову — в дивизию червонного казачества. Его выбрали командиром казачьего полка. С него и еще нескольких местечковых юношей началась эта неожиданная порода еврейских рубак, наездников и партизанов.

Третий сын стал кузнецом по наследству. Он работает на плужном заводе Гена на старых местах. Он не женился и никого не родил.

Дети Семена кочевали вместе с его дивизией. Старухе нужен был внук, которому она могла бы рассказать о Баал-Шеме. Внука она дождалась от младшей дочери Поли. Одна во всей семье девочка пошла в маленького Иойну. Она была пуглива, близорука, с неж-

ной кожей. К ней присватывались многие. Поля выбрала Овсея Белоцерковского. Мы не поняли этого выбора. Еще удивительнее было известие о том, что молодые живут счастливо. У женщин свое хозяйство: постороннему не видно, как бьются горшки. Но тут горшки разбил Овсей Белоцерковский. Через год после женитьбы он подал в суд на тещу свою Брану Брутман. Воспользовавшись тем, что Овсей был в командировке, а Поля ушла в больницу лечиться от грудницы, старуха похитила новорожденного внука, отнесла его к малому оператору Нафтуле Герчику, и там в присутствии десяти развалин, десяти древних и нищих стариков, завсегдатаев хасидской синагоги, над младенцем был совершен обряд обрезания.

Новость эту Овсей Белоцерковский узнал после приезда. Овсей был записан кандидатом в партию. Он решил посоветоваться с секретарем ячейки Госторга Бычачем.

— Тебя морально запачкали,— сказал ему Бычач,— ты должен двинуть это дело...

Одесская прокуратура решила устроить показательный суд на фабрике имени Петровского. Малый оператор Нафтула Герчик и Брана Брутман, шестидесяти двух лет, очутились на скамье подсудимых.

Нафтула был в Одессе такое же городское имущество, как памятник дюку де Ришелье. Он проходил мимо наших окон на Дальницкой с трепаной, засаленной акушерской сумкой в руках. В этой сумке хранились немудрящие его инструменты. Он вытаскивал оттуда то ножик, то бутылку водки с медовым пряником. Он нюхал пряник, прежде чем выпить, и, выпив, затягивал молитвы. Он был рыж, Нафтула, как первый рыжий человек на земле. Отрезая то, что ему причиталось, он не отцеживал кровь через стеклянную трубочку, а высасывал ее вывороченными своими губами. Кровь размазывалась по всклокоченной его бороде. Он выходил к гостям захмелевший. Медвежьи глазки его сияли весельем. Рыжий, как первый рыжий человек на земле, он гнусавил благословение над вином. Одной рукой Нафтула опрокидывал в заросшую кривую, огнедышащую яму своего рта водку, в другой руке у него была тарелка. На ней лежал ножик, обагренный младенческой кровью, и кусок марли. Собирая деньги, Нафтула обходил с этой тарелкой го-

стей, он толкался между женщинами, валился на них, хватал за груди и орал на всю улицу.

— Толстые мамы,— орал старик, сверкая коралловыми глазками,— печатайте мальчиков для Нафтулы, молотите пшеницу на ваших животах, старайтесь для Нафтулы... Печатайте мальчиков, толстые мамы...

Мужья бросали деньги в его тарелку. Жены вытирали салфетками кровь с его бороды. Дворы Глухой и Госпитальной не оскудевали. Они кишели детьми, как устья рек икрой. Нафтула плелся со своим мешком, как сборщик подати. Прокурор Орлов остановил Нафтулу в его обходе.

Прокурор гремел с кафедры, стремясь доказать, что малый оператор является служителем культа.

— Верите ли вы в бога? — спросил он Нафтулу.

— Пусть в бога верит тот, кто выиграл двести тысяч,— ответил старик.

— Вас не удивил приход гражданки Брутман в поздний час, в дождь, с новорожденным на руках?..

— Я удивляюсь,— сказал Нафтула,— когда человек делает что-нибудь по-человечески, а когда он делает сумасшедшие штуки — я не удивляюсь...

Ответы эти не удовлетворили прокурора. Речь шла о стеклянной трубочке. Прокурор доказывал, что, высасывая кровь губами, подсудимый подвергал детей опасности заражения. Голова Нафтулы — кудлатый орешек его головы — болталась где-то у самого пола. Он вздыхал, закрывал глаза и вытирал кулачком провалившийся рот.

— Что вы бормочете, гражданин Герчик? — спросил его председатель.

Нафтула устремил потухший взгляд на прокурора Орлова.

— У покойного мосье Зусмана,— сказал он, вздыхая,— у покойного вашего папаши была такая голова, что во всем свете не найти другую такую. И, слава богу, у него не было апоплексии, когда он тридцать лет тому назад позвал меня на ваш брис[1]. И вот мы видим, что вы выросли большой человек у советской власти и что Нафтула не захватил вместе с этим куском пустяков ничего такого, что бы вам потом пригодилось...

---

[1] Брис — обряд обрезания.

Он заморгал медвежьими глазками, покачал рыжим своим орешком и замолчал. Ему ответили орудия смеха, громовые залпы хохота. Орлов, урожденный Зусман, размахивая руками, кричал что-то, чего в канонаде нельзя было расслышать. Он требовал занесения в протокол... Саша Светлов, фельетонист «Одесских известий», послал ему из ложи прессы записку: «Ты баран, Сема,— значилось в записке,— убей его иронией, убивает исключительно смешное... Твой Саша».

Зал притих, когда ввели свидетеля Белоцерковского.

Свидетель повторил письменное свое заявление. Он был долговяз, в галифе и кавалерийских ботфортах. По словам Овсея, Тираспольский и Балтский укомы партии оказывали ему полное содействие в работе по заготовке жмыхов. В разгаре заготовок он получил телеграмму о рождении сына. Посоветовавшись с заворгом Балтского укома, он решил, не срывая заготовок, ограничиться посылкой поздравительной телеграммы, приехал же он только через две недели. Всего было собрано по району 64 тысячи пудов жмыха. На квартире, кроме свидетельницы Харченко, соседки, по профессии прачки, и сына, он никого не застал. Супруга его отлучилась в лечебницу, а свидетельница Харченко, раскачивая люльку, что является устарелым, пела над ним песенку. Зная свидетельницу Харченко как алкоголика, он не счел нужным вникать в слова ее пения, но только удивился тому, что она называет мальчика Яшей, в то время как он указал назвать сына Карлом, в честь учителя Карла Маркса. Распеленав ребенка, он убедился в своем несчастье.

Несколько вопросов задал прокурор. Защита объявила, что у нее вопросов нет. Судебный пристав ввел свидетельницу Полину Белоцерковскую. Шатаясь, она подошла к барьеру. Голубоватая судорога недавнего материнства кривила ее лицо, на лбу стояли капли пота. Она обвела взглядом маленького кузнеца, вырядившегося точно в праздник — в бант и новые штиблеты, и медное, в седых усах, лицо матери. Свидетельница Белоцерковская не ответила на вопрос о том, что ей известно по данному делу. Она сказала, что отец ее был бедным человеком, сорок лет проработал он в кузнице на Балтской дороге. Мать родила шестерых

детей, из них трое умерли, один является красным командиром, другой работает на заводе Гена...

— Мать очень набожна, это все видят, она всегда страдала от того, что ее дети неверующие, и не могла перенести мысли о том, что внуки ее не будут евреями. Надо принять во внимание — в какой семье мать выросла... Местечко Меджибож всем известно, женщины там до сих пор носят парики...

— Скажите, свидетельница,— прервал ее резкий голос. Полина замолкла, капли пота окрасились на ее лбу, кровь, казалось, просачивается сквозь тонкую кожу.— Скажите, свидетельница,— повторил голос, принадлежавший бывшему присяжному поверенному Самуилу Линингу...

Если бы синедрион существовал в наши дни,— Лининг был бы его главой. Но синедриона нет, и Лининг, в двадцать пять лет обучившийся русской грамоте, стал на четвертом десятке писать в сенат кассационные жалобы, ничем не отличавшиеся от трактатов Талмуда...

Старик проспал весь процесс. Пиджак его был засыпан пеплом. Он проснулся при виде Поли Белоцерковской.

— Скажите, свидетельница,— рыбий ряд синих выпадающих его зубов затрещал,— вам известно было о решении мужа назвать сына Карлом?

— Да.

— Как назвала его ваша мать?

— Янкелем.

— А вы, свидетельница, как вы называли вашего сына?

— Я называла его «дусенькой».

— Почему именно дусенькой?..

— Я всех детей называю дусеньками...

— Идем дальше,— сказал Лининг, зубы его выпали, он подхватил их нижней губой и опять сунул в челюсть,— идем далее... Вечером, когда ребенок был унесен к подсудимому Герчику, вас не было дома, вы были в лечебнице... Я правильно излагаю?

— Я была в лечебнице.

— В какой лечебнице вас пользовали?

— На Нежинской улице, у доктора Дризо...

— Пользовали у доктора Дризо...

— Да.

— Вы хорошо это помните?..

— Как могу я не помнить...

— Имею представить суду справку,— безжизненное лицо Лининга приподнялось над столом,— из этой справки суд усмотрит, что в период времени, о котором идет речь, доктор Дризо отсутствовал и находился на конгрессе педиаторов в Харькове...

Прокурор не возражал против приобщения справки.

— Идем далее,— треща зубами, сказал Лининг.

Свидетельница всем телом налегла на барьер. Шепот ее был едва слышен.

— Может быть, это не был доктор Дризо,— сказала она, лежа на барьере,— я не могу всего запомнить, я измучена...

Лининг чесал карандашом в желтой бороде, он терся сутулой спиной о скамью и двигал вставными зубами.

На просьбу предъявить бюллетень из страхкассы Белоцерковская ответила, что она потеряла его...

— Идем далее,— сказал старик.

Полина провела ладонью по лбу. Муж ее сидел на краю скамьи, отдельно от других свидетелей. Он сидел выпрямившись, подобрав под себя длинные ноги в кавалерийских ботфортах... Солнце падало на его лицо, набитое перекладинами мелких и злых костей.

— Я найду бюллетень,— прошептала Полина, и руки ее соскользнули с барьера.

Детский плач раздался в это мгновенье. За дверью плакал и кряхтел ребенок.

— О чем ты думаешь, Поля,— густым голосом прокричала старуха,— ребенок с утра не кормленный, ребенок захлял от крика...

Красноармейцы, вздрогнув, подобрали винтовки. Полина скользила все ниже, голова ее закинулась и легла на пол. Руки взлетели, задвигались в воздухе и обрушились.

— Перерыв,— закричал председатель.

Грохот взорвался в зале. Блестя зелеными впадинами, Белоцерковский журавлиными шагами подошел к жене.

— Ребенка покормить,— приставив руки рупором, крикнули из задних рядов.

— Покормят,— ответил издалека женский голос,— тебя дожидались...

— Припутана дочка,— сказал рабочий, сидевший рядом со мной,— дочка в доле...

— Семья, брат,— произнес его сосед,— ночное дело, темное... Ночью запутают, днем не распутаешь...

Солнце косыми лучами рассекало зал. Толпа туго ворочалась, дышала огнем и потом. Работая локтями, я пробрался в коридор. Дверь из красного уголка была приоткрыта. Оттуда доносилось кряхтенье и чавканье Карл-Янкеля. В красном уголке висел портрет Ленина, тот, где он говорит с броневика на площади Финляндского вокзала; портрет окружали цветные диаграммы выработки фабрики имени Петровского. Вдоль стены стояли знамена и ружья в деревянных станках. Работница с лицом киргизки, наклонив голову, кормила Карл-Янкеля. Это был пухлый человек пяти месяцев от роду в вязаных носках и с белым хохлом на голове. Присосавшись к киргизке, он урчал и стиснутым кулачком колотил свою кормилицу по груди.

— Галас какой подняли...— сказала киргизка,— найдется кому покормить...

В комнате вертелась еще девчонка лет семнадцати, в красном платочке и с щеками, торчавшими как шишки. Она вытирала досуху клеенку Карл-Янкеля.

— Он военный будет,— сказала девочка,— ишь дерется...

Киргизка, легонько потягивая, вынула сосок изо рта Карл-Янкеля. Он заворчал и в отчаянии запрокинул голову — с белым хохолком... Женщина высвободила другую грудь и дала ее мальчику. Он посмотрел на сосок мутными глазенками, что-то сверкнуло в них. Киргизка смотрела на Карл-Янкеля сверху, скосив черный глаз.

— Зачем военный,— сказала она, поправляя мальчику чепец,— он авиатор у нас будет, он под небом летать будет...

В зале возобновилось заседание.

Бой шел теперь между прокурором и экспертами, давшими уклончивое заключение. Общественный обвинитель, приподнявшись, стучал кулаком по пюпитру. Мне видны были и первые ряды публики — галицийские цадики, положившие на колени бобровые свои шапки. Они приехали на процесс, где, по словам

варшавских газет, собирались судить еврейскую религию. Лица раввинов, сидевших в первом ряду, повисли в бурном пыльном сиянии солнца.

— Долой,— крикнул комсомолец, пробравшись к самой сцене.

Бой разгорался жарче.

Карл-Янкель, бессмысленно уставившись на меня, сосал грудь киргизки.

Из окна летели прямые улицы, исхоженные детством моим и юностью,— Пушкинская тянулась к вокзалу, Мало-Арнаутская вдавалась в парк у моря.

Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карл-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дела до меня.

— Не может быть,— шептал я себе,— чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель... Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня...

## В ПОДВАЛЕ

Я был лживый мальчик. Это происходило от чтения. Воображение мое всегда было воспламенено. Я читал во время уроков, на переменах, по дороге домой, ночью — под столом, закрывшись свисавшей до пола скатертью. За книгой я проморгал все дела мира сего — бегство с уроков в порт, начало биллиардной игры в кофейнях на Греческой улице, плаванье на Ланжероне. У меня не было товарищей. Кому была охота водиться с таким человеком?..

Однажды в руках первого нашего ученика, Марка Боргмана, я увидел книгу о Спинозе. Он только что прочитал ее и не утерпел, чтобы не сообщить окружившим его мальчикам об испанской инквизиции. Это было ученое бормотание,— то, что он рассказывал. В словах Боргмана не было поэзии. Я не выдержал и вмешался. Тем, кто хотел меня слушать, я рассказал о старом Амстердаме, о сумраке гетто, о философах — гранильщиках алмазов. К прочитанному в книгах было прибавлено много своего. Без этого я не обходился. Воображение мое усиливало драматические сцены, переиначивало концы, таинственнее завязывало начала. Смерть Спинозы, свободная, одинокая его

смерть, предстала в моем изображении битвой. Синедрион вынуждал умирающего покаяться, он не сломился. Сюда же я приплутал Рубенса. Мне казалось, что Рубенс стоял у изголовья Спинозы и снимал маску с мертвеца.

Мои однокашники, разинув рты, слушали эту фантастическую повесть. Она была рассказана с воодушевлением. Мы нехотя разошлись по звонку. В следующую перемену Боргман подошел ко мне, взял меня под руку, мы стали прогуливаться вместе. Прошло немного времени — мы сговорились. Боргман не представлял из себя дурной разновидности первого ученика. Для сильных его мозгов гимназическая премудрость была каракулями на полях настоящей книги. Эту книгу он искал с жадностью. Двенадцатилетними несмышленышами мы знали уже, что ему предстоит ученая, необыкновенная жизнь. Он и уроков не готовил, только слушал их. Этот трезвый и сдержанный мальчик привязался ко мне из-за моей особенности перевирать все вещи в мире, такие вещи, проще которых и выдумать нельзя было.

В тот год мы перешли в третий класс. Ведомость моя была уставлена тройками с минусом. Я так был странен со своими бреднями, что учителя, подумав, не решились выставить мне двойки. В начале лета Боргман пригласил меня к себе на дачу. Его отец был директором Русского для внешней торговли банка. Этот человек был одним из тех, кто делал из Одессы Марсель или Неаполь. В нем жила закваска старого одесского негоцианта. Он принадлежал к обществу скептических и обходительных гуляк. Отец Боргмана избегал говорить по-русски; он объяснялся на грубоватом обрывистом языке ливерпульских капитанов. Когда в апреле к нам приехала итальянская опера, у Боргмана на квартире устраивался обед для труппы. Одутловатый банкир — последний из одесских негоциантов — завязывал двухмесячную интрижку с грудастой примадонной. Она увозила с собой воспоминания, не отягчавшие совести, и колье, выбранное со вкусом и стоившее не очень дорого.

Старик состоял аргентинским консулом и председателем биржевого комитета. К нему-то в дом я был приглашен. Моя тетка — по имени Бобка — разгласила об этом по всему двору. Она принодела меня, как

могла. Я поехал на паровичке к 16-й станции Большого фонтана. Дача стояла на невысоком красном обрыве у самого берега. На обрыве был разделан цветник с фуксиями и подстриженными шарами туи.

Я происходил из нищей и бестолковой семьи. Обстановка боргмановской дачи поразила меня. В аллеях, укрытые зеленью, белели плетеные кресла. Обеденный стол был покрыт цветами, окна обведены зелеными наличниками. Перед домом просторно стояла деревянная невысокая колоннада.

Вечером приехал директор банка. После обеда он поставил плетеное кресло у самого края обрыва, перед идущей равниной моря, задрал ноги в белых штанах, закурил сигару и стал читать «Manchester guardian». Гости, одесские дамы, играли на веранде в покер. В углу стола шумел узкий самовар с ручками из слоновой кости.

Картежницы и лакомки, неряшливые щеголихи и тайные распутницы с надушенным бельем и большими боками — женщины хлопали черными веерами и ставили золотые. Сквозь изгородь дикого винограда к ним проникало солнце. Огненный круг его был огромен. Отблески меди тяжелили черные волосы женщин. Искры заката входили в бриллианты — бриллианты, навешанные всюду: в углублениях разъехавшихся грудей, в подкрашенных ушах и на голубоватых припухлых самочьих пальцах.

Наступил вечер. Прошелестела летучая мышь. Море чернее накатывалось на красную скалу. Двенадцатилетнее мое сердце раздувалось от веселья и легкости чужого богатства. Мы с приятелем, взявшись за руки, ходили по дальней аллее. Боргман сказал мне, что он станет авиационным инженером. Есть слух о том, что отца назначат представителем Русского для внешней торговли банка в Лондон,— Марк сможет получить образование в Англии.

В нашем доме, доме тети Бобки, никто не толковал о таких вещах. Мне нечем было отплатить за непрерывное это великолепие. Тогда я сказал Марку, что хоть у нас в доме все по-другому, но дед Лейви-Ицхок и мой дядька объездили весь свет и испытали тысячи приключений. Я описал эти приключения по порядку. Сознание невозможного тотчас же оставило

меня, я провел дядьку Вольфа сквозь русско-турецкую войну — в Александрию, в Египет...

Ночь выпрямилась в тополях, звезды налегли на погнувшиеся ветви. Я говорил и размахивал руками. Пальцы будущего авиационного инженера трепетали в моей руке. С трудом просыпаясь от галлюцинаций, он пообещал прийти ко мне в следующее воскресенье. Запасшись этим обещанием, я уехал на паровичке домой, к Бобке.

Всю неделю после моего визита я воображал себя директором банка. Я совершал миллионные операции с Сингапуром и Порт-Саидом. Я завел себе яхту и путешествовал на ней один. В субботу настало время проснуться. Назавтра должен был прийти в гости маленький Боргман. Ничего из того, что я рассказал ему,— не существовало. Существовало другое, много удивительнее, чем то, что я придумал, но двенадцати лет от роду я совсем еще не знал, как мне быть с правдой в этом мире. Дед Лейви-Ицхок, раввин, выгнанный из своего местечка за то, что он подделал на векселях подпись графа Браницкого, был на взгляд наших соседей и окрестных мальчишек сумасшедший. Дядьку Симон-Вольфа я не терпел за шумное его чудачество, полное бессмысленного огня, крику и притеснения. Только с Бобкой можно было сговориться. Бобка гордилась тем, что сын директора банка дружит со мной. Она считала это знакомство началом карьеры и испекла для гостя штрудель с вареньем и маковый пирог. Все сердце нашего племени, сердце, так хорошо выдерживающее борьбу, заключалось в этих пирогах. Деда с его рваным цилиндром и тряпьем на распухших ногах мы упрятали к соседям Апельхотам, и я умолял его не показываться до тех пор, пока гость не уйдет. С Симон-Вольфом тоже уладилось. Он ушел со своими приятелями-барышниками пить чай в трактир «Медведь». В этом трактире прихватывали водку вместе с чаем, можно было рассчитывать, что Симон-Вольф задержится. Тут надо сказать, что семья, из которой я происхожу, не походила на другие еврейские семьи. У нас и пьяницы были в роду, у нас соблазняли генеральских дочерей и, не довезши до границы, бросали, у нас дед подделывал подписи и сочинял для брошенных жен шантажные письма.

Все старания я положил на то, чтобы отвадить Симон-Вольфа на весь день. Я отдал ему сбереженные три рубля. Прожить три рубля — это нескоро делается, Симон-Вольф вернется поздно, и сын директора банка никогда не узнает о том, что рассказ о доброте и силе моего дядьки — лживый рассказ. По совести говоря, если сообразить сердцем, это была правда, а не ложь, но при первом взгляде на грязного и крикливого Симон-Вольфа непонятной этой истины нельзя было разобрать.

В воскресенье утром Бобка вырядилась в коричневое суконное платье. Толстая ее, добрая грудь лежала во все стороны. Она надела косынку с черными тиснеными цветами, косынку, которую одевают в синагогу на судный день и на Рош-Гашоно. Бобка расставила на столе пироги, варенье, крендели и принялась ждать. Мы жили в подвале. Боргман поднял брови, когда проходил по горбатому полу коридора. В сенях стояла кадка с водой. Не успел Боргман войти, как я стал занимать его всякими диковинами. Я показал ему будильник, сделанный до последнего винтика руками деда. К часам была приделана лампа; когда будильник отсчитывал половинку или полный час, лампа зажигалась. Я показал еще бочонок с ваксой. Рецепт этой ваксы составлял изобретение Лейви-Ицхока; он никому этого секрета не выдавал. Потом мы прочитали с Боргманом несколько страниц из рукописи деда. Он писал по-еврейски, на желтых квадратных листках, громадных, как географические карты. Рукопись называлась «Человек без головы». В ней описывались все соседи Лейви-Ицхока за семьдесят лет его жизни — сначала в Сквире и Белой Церкви, потом в Одессе. Гробовщики, канторы, еврейские пьяницы, поварихи на брисах и проходимцы, производившие ритуальную операцию,— вот герои Лейви-Ицхока. Все это были вздорные люди, косноязычные, с шишковатыми носами, прыщами на макушке и косыми задами.

Во время чтения появилась Бобка в коричневом платье. Она плыла с самоваром на подносе, обложенная своей толстой, доброй грудью. Я познакомил их. Бобка сказала: «Очень приятно»,— протянула вспотевшие, неподвижные пальцы и шаркнула обеими ногами. Все шло хорошо, как нельзя лучше. Апельхоты не выпускали деда. Я выволакивал его сокровища од-

но за другим: грамматики на всех языках и шестьдесят шесть томов Талмуда. Марка ослепил бочонок с ваксой, мудреный будильник и гора Талмуда, все эти вещи, которых нельзя увидеть ни в каком другом доме.

Мы выпили по два стакана чаю со штруделем,— Бобка, кивая головой и пятясь назад, исчезла. Я пришел в радостное состояние духа, стал в позу и начал декламировать строфы, больше которых я ничего не любил в жизни. Антоний, склонясь над трупом Цезаря, обращается к римскому народу:

О римляне, сограждане, друзья,
Меня своим вниманьем удостойте.
Не восхвалять я Цезаря пришел,
Но лишь ему последний долг отдать.

Так начинает игру Антоний. Я задохся и прижал руки к груди.

Мне Цезарь другом был, и верным другом,
Но Брут его зовет властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек...
Он пленных приводил толпами в Рим,
Их выкупом казну обогащая.
Не это ли считать за властолюбье?
При виде нищеты он слезы лил,—
Так мягко властолюбье не бывает.
Но Брут его зовет властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек...
Вы видели во время Луперкалий,
Я трижды подносил ему венец,
И трижды от него он отказался.
Ужель и это властолюбье?..
Но Брут его зовет властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек...

Перед моими глазами — в дыму вселенной — висело лицо Брута. Оно стало белее мела. Римский народ, ворча, надвигался на меня. Я поднял руку,— глаза Боргмана покорно двинулись за ней,— сжатый мой кулак дрожал, я поднял руку... и увидел в окне дядьку Симон-Вольфа, шедшего по двору в сопровождении маклака Лейкаха. Они тащили на себе вешалку, сделанную из оленьих рогов, и красный сундук с подвесками в виде львиных пастей, Бобка тоже увидела их из окна. Забыв про гостя, она влетела в комнату и схватила меня трясущимися ручками.

— Серденько мое, он опять купил мебель...

Боргман привстал в своем мундирчике и в недоумении поклонился Бобке. В дверь ломились. В коридоре раздался грохот сапог, шум передвигаемого сундука. Голоса Симон-Вольфа и рыжего Лейкаха гремели оглушительно. Оба были навеселе.

— Бобка,— закричал Симон-Вольф,— попробуй угадать, сколько я отдал за эти рога?!

Он орал, как труба, но в голосе его была неуверенность. Хоть и пьяный, Симон-Вольф знал, как ненавидим мы рыжего Лейкаха, подбивавшего его на все покупки, затоплявшего нас ненужной, бессмысленной мебелью.

Бобка молчала. Лейках пропищал что-то Симон-Вольфу. Чтобы заглушить змеиное его шипение, чтобы заглушить мою тревогу, я закричал словами Антония:

Еще вчера повелевал вселенной
Могучий Цезарь; он теперь во прахе,
И всякий нищий им пренебрегает.
Когда б хотел я возбудить к восстанью,
К отмщению сердца и души ваши,
Я повредил бы Кассию и Бруту,
Но ведь они почтеннейшие люди...

На этом месте раздался стук. Это упала Бобка, сбитая с ног ударом мужа. Она, верно, сделала горькое какое-нибудь замечание об оленьих рогах. Началось ежедневное представление. Медный голос Симон-Вольфа законопачивал все щели вселенной.

— Вы тянете из меня клей,— громовым голосом кричал мой дядька,— вы клей тянете из меня, чтобы запихать собачьи ваши рты... Работа отбила у меня душу. У меня нечем работать, у меня нет рук, у меня нет ног... Камень вы одели на мою шею, камень висит на моей шее...

Проклиная меня и Бобку еврейскими проклятиями, он сулил нам, что глаза наши вытекут, что дети наши еще во чреве матери начнут гнить и распадаться, что мы не будем поспевать хоронить друг друга и что нас за волосы стащат в братскую могилу.

Маленький Боргман поднялся со своего места. Он был бледен и озирался. Ему непонятны были обороты еврейского кощунства, но с русской матерщиной он был знаком. Симон-Вольф не гнушался и ею. Сын директора банка мял в руке картузик. Он двоился у меня в глазах, я силился перекричать все зло мира. Предсмертное мое отчаяние и свершившаяся уже

смерть Цезаря слились в одно. Я был мертв, и я кричал. Хрипение поднималось со дна моего существа.

Коль слезы есть у вас, обильным током
Они теперь из ваших глаз польются.
Всем этот плащ знаком. Я помню даже,
Где в первый раз его накинул Цезарь:
То было летним вечером, в палатке,
Где находился он, разбив неврийцев.
Сюда проник нож Кассия; вот рана
Завистливого Каски; здесь в него
Вонзил кинжал его любимец Брут.
Как хлынула потоком алым кровь,
Когда кинжал из раны он извлек...

Ничто не в силах было заглушить Симон-Вольфа. Бобка, сидя на полу, всхлипывала и сморкалась. Невозмутимый Лейках двигал за перегородкой сундук. Тут мой сумасбродный дед захотел прийти мне на помощь. Он вырвался от Апельхотов, подполз к окну и стал пилить на скрипке, для того, верно, чтобы посторонним людям не слышна была брань Симон-Вольфа. Боргман взглянул в окно, вырезанное на уровне земли, и в ужасе подался назад. Мой бедный дед гримасничал своим синим окостеневшим ртом. На нем был загнутый цилиндр, черная ваточная хламида с костяными пуговицами и опорки на слоновых ногах. Прокуренная борода висела клочьями и колебалась в окне. Марк бежал.

— Это ничего,— пробормотал он, вырываясь на волю,— это, право, ничего...

Во дворе мелькнули его мундирчик и картуз с поднятыми краями.

С уходом Марка улеглось мое волнение. Я ждал вечера. Когда дед, исписав еврейскими крючками квадратный свой лист (он описывал Апельхотов, у которых по моей милости провел весь день), улегся на койку и заснул, я выбрался в коридор. Пол там был земляной. Я двигался во тьме, босой, в длинной и заплатанной рубахе. Сквозь щели досок остриями света мерцали булыжники. В углу, как всегда, стояла кадка с водой. Я опустился в нее. Вода разрезала меня надвое. Я погрузил голову, задохся, вынырнул. Сверху, с полки, сонно смотрела кошка. Во второй раз я выдержал дольше, вода хлюпала вокруг меня, мой стон уходил в нее. Я открыл глаза и увидел на дне бочки парус рубахи и ноги, прижатые друг к дружке. У меня сно-

ва не хватило сил, я вынырнул. Возле бочки стоял дед в кофте. Единственный его зуб звенел.

— Мой внук,— он выговорил эти слова презрительно и внятно,— я иду принять касторку, чтобы мне было что принесть на твою могилу...

Я закричал, не помня себя, и опустился в воду с размаху. Меня вытащила немощная рука деда. Тогда впервые за этот день я заплакал,— и мир слез был так огромен и прекрасен, что все, кроме слез, ушло из моих глаз.

Я очнулся на постели, закутанный в одеяла. Дед ходил по комнате и свистел. Толстая Бобка грела мои руки на груди.

— Как он дрожит, наш дурачок,— сказала Бобка,— и где дитя находит силы так дрожать...

Дед дернул бороду, свистнул и зашагал снова. За стеной с мучительным выдохом храпел Симон-Вольф. Навоевавшись за день, он ночью никогда не просыпался.

## ПРОБУЖДЕНИЕ

Все люди нашего круга — маклеры, лавочники, служащие в банках и пароходных конторах — учили детей музыке. Отцы наши, не видя себе ходу, придумали лотерею. Они устроили ее на костях маленьких людей. Одесса была охвачена этим безумием больше других городов. И правда — в течение десятилетий наш город поставлял вундеркиндов на концертные эстрады мира. Из Одессы вышли Миша Эльман, Цимбалист, Габрилович, у нас начинал Яша Хейфец.

Когда мальчику исполнялось четыре или пять лет — мать вела крохотное, хилое это существо к господину Загурскому. Загурский содержал фабрику вундеркиндов, фабрику еврейских карликов в кружевных воротничках и лаковых туфельках. Он выискивал их в молдаванских трущобах, в зловонных дворах Старого базара. Загурский давал первое направление, потом дети отправлялись к профессору Ауэру в Петербург. В душах этих заморышей с синими раздутыми головами жила могучая гармония. Они стали прославленными виртуозами. И вот — отец мой решил угнаться за ними. Хоть я и вышел из возраста вундеркиндов — мне шел четырнадцатый год, но по росту и хи-

лости меня можно было сбыть за восьмилетнего. На это была вся надежда.

Меня отвели к Загурскому. Из уважения к деду он согласился брать по рублю за урок — дешевая плата. Дед мой Лейви-Ицхок был посмешище города и украшение его. Он расхаживал по улицам в цилиндре и в опорках и разрешал сомнения в самых темных делах. Его спрашивали, что такое гобелен, отчего якобинцы предали Робеспьера, как готовится искусственный шелк, что такое кесарево сечение. Мой дед мог ответить на эти вопросы. Из уважения к учености его и безумию Загурский брал с нас по рублю за урок. Да и возился он со мною, боясь деда, потому что возиться было не с чем. Звуки ползли с моей скрипки, как железные опилки. Меня самого эти звуки резали по сердцу, но отец не отставал. Дома только и было разговора о Мише Эльмане, самим царем освобожденном от военной службы. Цимбалист, по сведениям моего отца, представлялся английскому королю и играл в Букингэмском дворце; родители Габриловича купили два дома в Петербурге. Вундеркинды принесли своим родителям богатство. Мой отец примирился бы с бедностью, но слава была нужна ему.

— Не может быть,— нашептывали люди, обедавшие за его счет,— не может быть, чтобы внук такого деда...

У меня же в мыслях было другое. Проигрывая скрипичные упражнения, я ставил на пюпитре книги Тургенева или Дюма,— и, пиликая, пожирал страницу за страницей. Днем я рассказывал небылицы соседским мальчишкам, ночью переносил их на бумагу. Сочинительство было наследственное занятие в нашем роду. Лейви-Ицхок, тронувшийся к старости, всю жизнь писал повесть под названием «Человек без головы». Я пошел в него.

Нагруженный футляром и нотами, я три раза в неделю тащился на улицу Витте, бывшую Дворянскую, к Загурскому. Там, вдоль стен, дожидаясь очереди, сидели еврейки, истерически воспламененные. Они прижимали к слабым своим коленям скрипки, превосходившие размерами тех, кому предстояло играть в Букингэмском дворце.

Дверь в святилище открывалась. Из кабинета Загурского, шатаясь, выходили головастые, веснушчатые

дети с тонкими шеями, как стебли цветов, и припадочным румянцем на щеках. Дверь захлопывалась, поглотив следующего карлика. За стеной, надрываясь, пел, дирижировал учитель с бантом, в рыжих кудрях, с жидкими ногами. Управитель чудовищной лотереи — он населял Молдаванку и черные тупики Старого рынка призраками пиччикато и кантилены. Этот распев доводил потом до дьявольского блеска старый профессор Ауэр.

В этой секте мне нечего было делать. Такой же карлик, как и они, я в голосе предков различал другое внушение.

Трудно мне дался первый шаг. Однажды я вышел из дому, навьюченный футляром, скрипкой, нотами и двенадцатью рублями денег — платой за месяц ученья. Я шел по Нежинской улице, мне бы повернуть на Дворянскую, чтобы попасть к Загурскому, вместо этого я поднялся вверх по Тираспольской и очутился в порту. Положенные мне три часа пролетели в Практической гавани. Так началось освобождение. Приемная Загурского больше не увидела меня. Дела поважнее заняли все мои помыслы. С однокашником моим Немановым мы повадились на пароход «Кенсингтон» к старому одному матросу по имени мистер Троттибэрн. Неманов был на год моложе меня, он с восьми лет занимался самой замысловатой торговлей в мире. Он был гений в торговых делах и исполнил все, что обещал. Теперь он миллионер в Нью-Йорке, директор General Motors C°, компании столь же могущественной, как и Форд. Неманов таскал меня с собой потому, что я повиновался ему молча. Он покупал у мистера Троттибэрна трубки, провозимые контрабандой. Эти трубки точил в Линкольне брат старого матроса.

— Джентльмены,— говорил нам мистер Троттибэрн,— помяните мое слово, детей надо делать собственноручно... Курить фабричную трубку — это то же, что вставлять себе в рот клистир... Знаете ли вы, кто такое был Бенвенуто Челлини?.. Это был мастер. Мой брат в Линкольне мог бы рассказать вам о нем. Мой брат никому не мешает жить. Он только убежден в том, что детей надо делать своими руками, а не чужими... Мы не можем не согласиться с ним, джентльмены...

Неманов продавал трубки Троттибэрна директо-

рам банка, иностранным консулам, богатым грекам. Он наживал на них сто на сто.

Трубки линкольнского мастера дышали поэзией. В каждую из них была уложена мысль, капля вечности. В их мундштуке светился желтый глазок, футляры были выложены атласом. Я старался представить себе, как живет в старой Англии Мэтью Троттибэрн, последний мастер трубок, противящийся ходу вещей.

— Мы не можем не согласиться с тем, джентльмены, что детей надо делать собственноручно...

Тяжелые волны у дамбы отдаляли меня все больше от нашего дома, пропахшего луком и еврейской судьбой. С Практической гавани я перекочевал за волнорез. Там на клочке песчаной отмели обитали мальчишки с Приморской улицы. С утра до ночи они не натягивали на себя штанов, ныряли под шаланды, воровали на обед кокосы и дожидались той поры, когда из Херсона и Каменки потянутся дубки с арбузами и эти арбузы можно будет раскалывать о портовые причалы.

Мечтой моей сделалось уменье плавать. Стыдно было сознаться бронзовым этим мальчишкам в том, что, родившись в Одессе, я до десяти лет не видел моря, а в четырнадцать не умел плавать.

Как поздно пришлось мне учиться нужным вещам! В детстве, пригвожденный к Гемаре, я вел жизнь мудреца, выросши — стал лазать по деревьям.

Уменье плавать оказалось недостижимым. Водобоязнь всех предков — испанских раввинов и франкфуртских менял — тянула меня ко дну. Вода меня не держала. Исполосованный, налитый соленой водой, я возвращался на берег — к скрипке и нотам. Я привязан был к орудиям моего преступления и таскал их с собой. Борьба раввинов с морем продолжалась до тех пор, пока надо мной не сжалился водяной бог тех мест — корректор «Одесских новостей» Ефим Никитич Смолич. В атлетической груди этого человека жила жалость к еврейским мальчикам. Он верховодил толпами рахитичных заморышей. Никитич собирал их в клоповниках на Молдаванке, вел их к морю, зарывал в песок, делал с ними гимнастику, нырял с ними, обучал песням и, прожариваясь в прямых лучах солнца, рассказывал истории о рыбаках и животных. Взрослым Никитич объяснял, что он натурфилософ.

Еврейские дети от историй Никитича помирали со смеху, они визжали и ластились, как щенята. Солнце окропляло их ползучими веснушками, веснушками цвета ящерицы.

За единоборством моим с волнами старик следил молча сбоку. Увидев, что надежды нет и что плавать мне не научиться,— он включил меня в число постояльцев своего сердца. Оно было все тут с нами — его веселое сердце, никуда не заносилось, не жадничало и не тревожилось... С медными своими плечами, с головой состарившегося гладиатора, с бронзовыми, чуть кривыми ногами,— он лежал среди нас за волнорезом, как властелин этих арбузных, керосиновых вод. Я полюбил этого человека так, как только может полюбить атлета мальчик, хворающий истерией и головными болями. Я не отходил от него и пытался услуживать.

Он сказал мне:

— Ты не суетись... Ты укрепи свои нервы. Плаванье придет само собой... Как это так — вода тебя не держит... С чего бы ей не держать тебя?

Видя, как я тянусь,— Никитич для меня одного из всех своих учеников сделал исключение, позвал к себе в гости на чистый просторный чердак в циновках, показал своих собак, ежа, черепаху и голубей. В обмен на эти богатства я принес ему написанную мною накануне трагедию.

— Я так и знал, что ты пописываешь,— сказал Никитич,— у тебя и взгляд такой... Ты все больше никуда не смотришь...

Он прочитал мои писания, подергал плечом, провел рукой по крутым седым завиткам, прошелся по чердаку.

— Надо думать,— произнес он врастяжку, замолкая после каждого слова,— что в тебе есть искра божия...

Мы вышли на улицу. Старик остановился, с силой постучал палкой о тротуар и уставился на меня.

— Чего тебе не хватает?.. Молодость не беда, с годами пройдет... Тебе не хватает чувства природы.

Он показал мне палкой на дерево с красноватым стволом и низкой кроной.

— Это что за дерево?

Я не знал.

— Что растет на этом кусте?

Я и этого не знал. Мы шли с ним сквериком Александровского проспекта. Старик тыкал палкой во все деревья, он схватывал меня за плечо, когда пролетала птица, и заставлял слушать отдельные голоса.

— Какая это птица поет?

Я ничего не мог ответить. Названия деревьев и птиц, деление их на роды, куда летят птицы, с какой стороны восходит солнце, когда бывает сильнее роса — все это было мне неизвестно.

— И ты осмеливаешься писать?.. Человек, не живущий в природе, как живет в ней камень или животное, не напишет во всю свою жизнь двух стоящих строк... Твои пейзажи похожи на описание декораций. Черт меня побери,— о чем думали четырнадцать лет твои родители?..

О чем они думали?.. О протестованных векселях, об особняках Миши Эльмана... Я не сказал об этом Никитичу, я смолчал.

Дома — за обедом — я не прикоснулся к пище. Она не проходила в горло.

«Чувство природы,— думал я.— Бог мой, почему это не пришло мне в голову... Где взять человека, который растолковал бы мне птичьи голоса и названия деревьев?.. Что известно мне о них? Я мог бы распознать сирень, и то когда она цветет. Сирень и акацию. Дерибасовская и Греческая улицы обсажены акациями...»

За обедом отец рассказал новую историю о Яше Хейфеце. Не доходя до Робина, он встретил Мендельсона, Яшиного дядьку. Мальчик, оказывается, получает восемьсот рублей за выход. Посчитайте — сколько это выходит при пятнадцати концертах в месяц.

Я сосчитал — получилось двенадцать тысяч в месяц. Делая умножение и оставляя четыре в уме, я взглянул в окно. По цементному дворику, в тихонько отдуваемой крылатке, с рыжими колечками, выбивающимися из-под мягкой шляпы, опираясь на трость, шествовал господин Загурский, мой учитель музыки. Нельзя сказать, что он хватился слишком рано. Прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как скрипка моя опустилась на песок у волнореза...

Загурский подходил к парадной двери. Я кинулся к черному ходу — его накануне заколотили от воров.

Тогда я заперся в уборной. Через полчаса возле моей двери собралась вся семья. Женщины плакали. Бобка терлась жирным плечом о дверь и закатывалась в рыданиях. Отец молчал. Заговорил он так тихо и раздельно, как не говорил никогда в жизни.

— Я офицер,— сказал мой отец,— у меня есть имение. Я езжу на охоту. Мужики платят мне аренду. Моего сына я отдал в кадетский корпус. Мне нечего заботиться о моем сыне...

Он замолк. Женщины сопели. Потом страшный удар обрушился в дверь уборной, отец бился об нее всем телом, он налетал с разбегу.

— Я офицер,— вопил он,— я езжу на охоту... Я убью его... Конец...

Крючок соскочил с двери, там была еще задвижка, она держалась на одном гвозде. Женщины катались по полу, они хватали отца за ноги; обезумев, он вырывался. На шум подоспела старуха — мать отца.

— Дитя мое,— сказала она ему по-еврейски,— наше горе велико. Оно не имеет краев. Только крови недоставало в нашем доме. Я не хочу видеть кровь в нашем доме...

Отец застонал. Я услышал удалявшиеся его шаги. Задвижка висела на последнем гвозде.

В моей крепости я досидел до ночи. Когда все улеглись, тетя Бобка увела меня к бабушке. Дорога нам была дальняя. Лунный свет оцепенел на неведомых кустах, на деревьях без названия... Невидимая птица издала свист и угасла, может быть, заснула... Что это за птица? Как зовут ее? Бывает ли роса по вечерам?.. Где расположено созвездие Большой Медведицы? С какой стороны восходит солнце?..

Мы шли по Почтовой улице. Бобка крепко держала меня за руку, чтобы я не убежал. Она была права. Я думал о побеге.

## КОНЕЦ БОГАДЕЛЬНИ

В пору голода не было в Одессе людей, которым жилось бы лучше, чем богадельщикам на втором еврейском кладбище. Купец суконным товаром Кофман когда-то воздвиг в память жены своей Изабеллы богадельню рядом с кладбищенской стеной. Над этим

соседством много потешались в кафе Фанкони. Но прав оказался Кофман. После революции призреваемые на кладбище старики и старухи захватили должности могильщиков, канторов, обмывальщиц. Они завели себе дубовый гроб с покрывалом и серебряными кистями и давали его напрокат бедным людям.

Тес в то время исчез из Одессы. Наемный гроб не стоял без дела. В дубовом ящике покойник отстаивался у себя дома и на панихиде; в могилу же его сваливали облаченным в саван. Таков забытый еврейский закон.

Мудрецы учили, что не следует мешать червям соединиться с падалью, она нечиста. «Из земли ты произошел и в землю обратишься».

Оттого, что старый закон возродился, старики получали к своему пайку приварок, который никому в те годы не снился. По вечерам они пьянствовали в погребке Залмана Криворучки и подавали соседям объедки.

Благополучие их не нарушалось до тех пор, пока не случилось восстание в немецких колониях. Немцы убили в бою коменданта гарнизона Герша Лугового.

Его хоронили с почестями. Войска прибыли на кладбище с оркестрами, походными кухнями и пулеметами на тачанках. У раскрытой могилы были произнесены речи и даны клятвы.

— Товарищ Герш,— кричал, напрягаясь, Ленька Бройтман, начальник дивизии,— вступил в РСДРП большевиков в 1911 году, где проводил работу пропагандиста и агента связи. Репрессиям товарищ Герш начал подвергаться вместе с Соней Яновской, Иваном Соколовым и Моносзоном в 1913 году в городе Николаеве...

Арье-Лейб, староста богадельни, держался со своими товарищами наготове. Ленька не успел кончить прощальное слово, как старики начали поворачивать гроб на сторону, чтобы вывалить мертвеца, прикрытого знаменем. Ленька незаметно толкнул Арье-Лейба шпорой.

— Отскочь,— сказал он,— отскочь отсюда... Герш заслужил у Республики...

На глазах оцепеневших стариков Луговой был зарыт вместе с дубовым ящиком, кистями и черным покрывалом, на котором серебром были вытканы щиты

Давида и стих из древнееврейской заупокойной молитвы.

— Мы мертвые люди,— сказал Арье-Лейб своим товарищам после похорон,— мы у фараона в руках...

И он бросился к заведующему кладбищем Бройдину с просьбой о выдаче досок для нового гроба и сукна для покрывала. Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В его планы не входило обогащение стариков. Он сказал в конторе:

— Мне больше сердце болит за безработных коммунальников, чем за этих спекулянтов...

Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В погребке Залмана Криворучки на его голову и на головы членов союза коммунальников сыпались талмудические проклятия. Старики закляли мозг в костях Бройдина и членов союза, свежее семя в утробе их жен и пожелали каждому из них особый вид паралича и язвы.

Доход их уменьшился. Паек состоял теперь из синей похлебки с рыбьими костями. На второе подавалась ячневая каша, ничем не подмасленная.

Старик из Одессы может есть всякую похлебку, из чего бы она ни была сварена, если только в нее положены лавровый лист, чеснок и перец. Тут ничего этого не было.

Богадельня имени Изабеллы Кофман разделила общую участь. Ярость изголодавшихся стариков возрастала. Она обрушилась на голову человека, который меньше всего ждал этого. Этим человеком оказалась докторша Юдифь Шмайсер, пришедшая в богадельню прививать оспу.

Губисполком издал распоряжение об обязательном оспопрививании. Юдифь Шмайсер разложила на столе свои инструменты и зажгла спиртовку. Перед окнами стояли изумрудные стены кладбищенских кустов. Голубой язычок пламени мешался с июньскими молниями.

Ближе всего к Юдифи стоял Меер Бесконечный, тощий старик. Он угрюмо следил за ее приготовлениями.

— Разрешите вас уколоть,— сказала Юдифь и взмахнула пинцетом. Она стала вытягивать из тряпья голубую плеть его руки.

Старик отдернул руку:

— Меня не во что колоть...

— Больно не будет,— вскричала Юдифь,— в мякоть не больно...

— У меня нет мякоти,— сказал Меер Бесконечный,— меня не во что колоть...

Из угла комнаты ему ответили глухим рыданием. Это рыдала Доба-Лея, бывшая повариха на обрезаниях. Меер искривил истлевшие щеки.

— Жизнь — смитье,— пробормотал он,— свет — бордель, люди — аферисты...

Пенсне на носике Юдифи закачалось, грудь ее вышла из накрахмаленного халата. Она открыла рот для того, чтобы объяснить пользу оспопрививания, но ее остановил Арье-Лейб, староста богадельни.

— Барышня,— сказал он,— нас родила мама так же, как и вас. Эта женщина, наша мама, родила нас для того, чтобы мы жили, а не мучались. Она хотела, чтобы мы жили хорошо, и она была права, как может быть права мать. Человек, которому хватает того, что Бройдин ему отпускает,— этот человек недостоин материала, который пошел на него. Ваша цель, барышня, состоит в том, чтобы прививать оспу, и вы, с божьей помощью, прививаете ее. Наша цель состоит в том, чтобы дожить нашу жизнь, а не домучить ее, и мы не исполняем этой цели.

Доба-Лея, усатая старуха с львиным лицом, зарыдала еще громче, услышав эти слова. Она зарыдала басом.

— Жизнь,— смитье,— повторил Меер Бесконечный,— люди — аферисты...

Парализованный Симон-Вольф схватился за руль своей тележки и, визжа и выворачивая ладони, двинулся к двери. Ермолка сдвинулась с малиновой, раздутой его головы.

Вслед за Симоном-Вольфом на главную аллею, рыча и гримасничая, вывалились все тридцать стариков и старух. Они потрясали костылями и ревели, как голодные ослы.

Сторож, увидев их, захлопнул кладбищенские ворота. Могильщики подняли вверх лопаты с налипшей на них землей и корнями трав и остановились в изумлении.

На шум вышел бородатый Бройдин, в крагах и кепи велосипедиста и в кургузом пиджачке.

— Афернст,— закричал ему Симон-Вольф,— нас не во что колоть... У нас на руках нет мяса...

Доба-Лея оскалнлась и зарычала. Тележкой паралнзованного она стала наезжать на Бройднна. Арье-Лейб начал, как всегда, с иносказаний, с прнтч, крадущихся нздалека н к цели, не всем видимой.

Он начал с прнтчи о рабби Осин, отдавшем свое имущество детям, сердце — жене, страх — богу, подать — цезарю и оставившему себе только место под масличным деревом, где солнце, закатываясь, светило дольше всего. От рабби Осии Арье-Лейб перешел к доскам для нового гроба и к пайку.

Бройднн расставил ногн в крагах и слушал, не поднимая глаз. Коричневое заграждение его бороды лежало неподвнжно на новом френче; он, казалось, отдается печальным и мирным мыслям.

— Ты простишь меня, Арье-Лейб,— Бройдин вздохнул, обращаясь к кладбищенскому мудрецу,— ты простишь меня, если я скажу, что не могу не видеть в тебе задней мыслн и политического элемента... За твоей спнной я не могу не вндеть, Арье-Лейб, тех, кто знает, что онн делают, точно так же, как н ты знаешь, что ты делаешь...

Тут Бройдин поднял глаза. Они мгновенно залнлись белой водой бешенства. Трясущнеся холмы его зрачков уперлись в старнков.

— Арье-Лейб,— сказал Бройднн снльным своим голосом,— прочнтай телеграммы из Татреспублнки, где крупные количества татар голодают, как безумные... Прочитай воззвание питерских пролетарнев, которые работают н ждут, голодая, у своих станков...

— Мне некогда ждать,— прервал заведующего Арье-Лейб,— у меня нет временн...

— Есть люди,— ннчего не слыша, гремел Бройдин,— которые живут хуже тебя, и есть тысячн людей, которые жнвут хуже тех, кто живет хуже тебя... Ты сеешь непрнятностн, Арье-Лейб, ты получишь завируху. Вы будете мертвымн людьмн, еслн я отвернусь от вас. Вы умрете, еслн я пойду своей дорогой, а вы своей. Ты умрешь, Арье-Лейб. Ты умрешь, Симон-Вольф. Ты умрешь, Меер Бесконечный. Но перед тем, как вам умереть, скажнте мне,— я интересуюсь это знать,— есть у нас советская власть или, может быть, ее нет у нас? Еслн ее нет у нас н я ошибся,— тогда отведи-

те меня к господину Берзону на угол Дерибасовской и Екатерининской, где я отработал жилеточником все годы моей жизни... Скажи мне, что я ошибся, Арье-Лейб...

И заведующий кладбищем вплотную подошел к калекам. Трясущиеся его зрачки были выпущены на них. Они неслись на помертвевшее, застонавшее стадо, как лучи прожекторов, как языки пламени. Краги Бройдина трещали, пот кипел на изрытом лице, он все ближе подступал к Арье-Лейбу и требовал ответа — не ошибся ли он, считая, что советская власть уже наступила...

Арье-Лейб молчал. Молчание это могло бы стать его гибелью, если бы в конце аллеи не показался босой Федька Степун в матросской рубахе.

Федьку контузили когда-то под Ростовом, он жил на излечении в хибарке рядом с кладбищем, носил на оранжевом полицейском шнуре свисток и наган без кобуры.

Федька был пьян. Каменные завитки кудрей выложены были на его лбу. Под завитками кривилось судорогой скуластое лицо. Он подошел к могиле Лугового, обнесенной увядшими венками.

— Где ты был, Луговой,— сказал Федька покойнику,— когда я Ростов брал?..

Матрос заскрипел зубами, засвистел в полицейский свисток и вытащил из-за пояса наган. Вороненое дуло револьвера осветилось.

— Подавили царей,— закричал Федька,— нету царей... Всем без гробов лежать...

Матрос сжимал револьвер. Грудь его была обнажена. На ней татуировкой разрисовано было слово «Рива» и дракон, голова которого загибалась к соску.

Могильщики с поднятыми вверх лопатами столпились вокруг Федьки. Женщины, обмывавшие покойников, вышли из своих клетей и приготовились реветь вместе с Добой-Леей. Воющие волны бились о запертые кладбищенские ворота.

Родственники, привезшие покойников на тачках, требовали, чтобы их впустили. Нищие колотили костылями об решетки.

— Подавили царей.— Матрос выстрелил в небо.

Люди прыжками понеслись по аллее. Бройдин медленно покрывался бледностью. Он поднял руку,

согласился на все требования богадельни и, повернувшись по-солдатски, ушел в контору. Ворота в то же мгновение разъехались. Родственники умерших, толкая перед собой тележки, бойко катили их по дорожкам. Самозваные канторы пронзительными фальцетами запели «Эл молей рахим»[1] над разрытыми могилами. Вечером они отпраздновали свою победу у Криворучки. Федьке поднесли три кварты бессарабского вина.

— «Гэвэл гаволим»[2],— чокаясь с матросом, сказал Арье-Лейб,— ты душа-человек, с тобой можно жить... «Кулой гэвэл»...[3]

Хозяйка, жена Криворучки, перемывала за стенкой стаканы.

— Если у русского человека попадается хороший характер,— заметила мадам Криворучка,— так это действительно роскошь...

Федьку вывели во втором часу ночи.

— Гэвэл гаволим,— бормотал он губительные непонятные слова, пробираясь по Степовой улице,— кулой гэвэл...

На следующий день старикам в богадельне выдали по четыре куска пиленого сахару и мясо к борщу. Вечером их повезли в Городской театр на спектакль, устроенный Соцобесом. Шла «Кармен». Впервые в жизни инвалидцы и уродцы увидели золоченые ярусы одесского театра, бархат его барьеров, масляный блеск его люстр. В антрактах всем роздали бутерброды с ливерной колбасой.

На кладбище стариков отвезли на военном грузовике. Взрываясь и грохоча, он пролагал свой путь по замерзшим улицам. Старики заснули с оттопыренными животами. Они отрыгивались во сне и дрожали от сытости, как забегавшиеся собаки.

Утром Арье-Лейб встал раньше других. Он обратился к востоку, чтобы помолиться, и увидел на дверях объявление. В бумажке этой Бройдин извещал, что богадельня закрывается для ремонта и все призреваемые имеют сего числа явиться в Губернский отдел социального обеспечения для перерегистрации по трудовому признаку.

Солнце всплыло над верхушками зеленой кладби-

---

[1] Заупокойная еврейская молитва.
[2] Суета сует *(евр.)*.
[3] И всяческая суета *(евр.)*.

щенской рощи. Арье-Лейб поднес пальцы к глазам. Из потухших впадин выдавилась слеза.

Каштановая аллея, светясь, уходила к мертвецкой. Каштаны были в цвету, деревья несли высокие белые цветы на растопыренных лапах. Незнакомая женщина в шали, туго подхватывавшей грудь, хозяйничала в мертвецкой. Там все было переделано наново — стены украшены елками, столы выскоблены. Женщина обмывала младенца. Она ловко ворочала его с боку на бок: вода бриллиантовой струей стекала по вдавившейся, пятнистой спинке.

Бройдин в крагах сидел на ступеньках мертвецкой. У него был вид отдыхающего человека. Он снял свое кепи и вытирал лоб желтым платком.

— В союзе я так и сказала товарищу Андрейчику,— голос незнакомой женщины был певуч,— мы работы не бежим... О нас пусть спросят в Екатеринославе... Екатеринослав знает нашу работу...

— Устраивайтесь, товарищ Блюма, устраивайтесь,— мирно сказал Бройдин, пряча в карман желтый платок,— со мной можно ладить... Со мной можно ладить,— повторил он и обратил сверкающие глаза к Арье-Лейбу, подтащившемуся к самому крыльцу,— не надо только плевать мне в кашу...

Бройдин не окончил своей речи: у ворот остановилась пролетка, запряженная высокой вороной лошадью. Из пролетки вылез заведующий комхозом в отложной рубашке. Бройдин подхватил его и повел к кладбищу.

Старый портняжеский подмастерье показал своему начальнику столетнюю историю Одессы, покоящуюся под гранитными плитами. Он показал ему памятники и склепы экспортеров пшеницы, корабельных маклеров и негоциантов, построивших русский Марсель на месте поселка Хаджибей. Они лежали тут — лицом к воротам — Ашкенази, Гессены и Эфрусси,— лощеные скупцы, философические гуляки, создатели богатств и одесских анекдотов. Они лежали под памятниками из лабрадора и розового мрамора, отгороженные цепями каштанов и акаций от плебса, жавшегося к стенам.

— Они не давали жить при жизни,— Бройдин стучал по памятнику сапогом,— они не давали умереть после смерти...

Воодушевившись, он рассказал заведующему комхозом свою программу переустройства кладбища и план кампании против погребального братства.

— И вот этих убрать,— заведующий указал на нищих, выстроившихся у ворот.

— Делается,— ответил Бройдин,— понемножку все делается...

— Ну, двигай,— сказал заведующий Майоров,— у тебя, отец, порядочек... Двигай...

Он занес ногу на подножку пролетки и вспомнил о Федьке.

— Это что за петрушка была?..

— Контуженый парень,— опустив глаза, сказал Бройдин,— и бывает невыдержанный... Но теперь ему объяснили, и он извиняется...

— Варит котелок,— сказал Майоров своему спутнику, отъезжая,— ворочает как надо...

Высокая лошадь несла к городу его и заведующего отделом благоустройства. По дороге им встретились старики и старухи, выгнанные из богадельни. Они прихрамывали, согнувшись под узелками, и плелись молча. Разбитные красноармейцы сгоняли их в ряды. Тележки парализованных скрипели. Свист удушья, покорное хрипение вырывалось из груди отставных канторов, свадебных шутов, поварих на обрезаниях и отслуживших приказчиков.

Солнце стояло высоко. Зной терзал груду лохмотьев, тащившихся по земле. Дорога их лежала по безрадостному, выжженному каменистому шоссе, мимо глинобитных хибарок, мимо полей, задавленных камнями, мимо раскрытых домов, разрушенных снарядами, и чумной горы. Невыразимо печальная дорога вела когда-то в Одессе от города к кладбищу.

## ДИ ГРАССО

Мне было четырнадцать лет. Я принадлежал к неустрашимому корпусу театральных барышников. Мой хозяин был жулик с всегда прищуренным глазом и шелковыми громадными усами. Звали его Коля Шварц. Я угодил к нему в тот несчастный год, когда в Одессе прогорела итальянская опера. Послушав-

шись рецензентов из газеты, импресарио не выписал на гастроли Ансельми и Тито Руффо и решил ограничиться хорошим ансамблем. Он был наказан за это, он прогорел, а с ним и мы. Для поправки дел нам пообещали Шаляпина, но Шаляпин запросил три тысячи за выход. Вместо него приехал сицилианский трагик ди Грассо с труппой. Их привезли в гостиницу на телегах, набитых детьми, кошками, клетками, в которых прыгали итальянские птицы. Осмотрев этот табор, Коля Шварц сказал:

— Дети, это не товар...

Трагик после приезда отправился с кошелкой на базар. Вечером — с другой кошелкой — он явился в театр. На первый спектакль собралось едва ли пятьдесят человек. Мы уступали билеты за полцены, охотников не находилось.

Играли в тот вечер сицилианскую народную драму, историю обыкновенную, как смена дня и ночи. Дочь богатого крестьянина обручилась с пастухом. Она была верна ему до тех пор, пока из города не приехал барчук в бархатном жилете. Разговаривая с приезжим, девушка невпопад хихикала и невпопад замолкала. Слушая их, пастух ворочал головой, как потревоженная птица. Весь первый акт он прижимался к стенам, куда-то уходил в развевающихся штанах и, возвращаясь, озирался.

— Мертвое дело,— сказал в антракте Коля Шварц,— это товар для Кременчуга...

Антракт был сделан для того, чтобы дать девушке время созреть для измены. Мы не узнали ее во втором действии — она была нетерпима, рассеянна и, торопясь, отдала пастуху обручальное кольцо. Тогда он подвел ее к нищей и раскрашенной статуе святой девы и на сицилианском своем наречии сказал:

— Синьора,— сказал он низким своим голосом и отвернулся,— святая дева хочет, чтобы вы выслушали меня... Джованни, приехавшему из города, святая дева даст столько женщин, сколько он захочет; мне же никто не нужен, кроме вас, синьора... Дева Мария, непорочная наша покровительница, скажет вам то же самое, если вы спросите ее, синьора...

Девушка стояла спиной к раскрашенной деревянной статуе. Слушая пастуха, она нетерпеливо топала ногой. На этой земле — о, горе нам! — нет женщины,

которая не была бы безумна в те мгновенья, когда решается ее судьба... Она остается одна в эти мгновения, одна, без девы Марии, и ни о чем не спрашивает у нее...

В третьем действии приехавший из города Джованни встретился со своей судьбой. Он брился у деревенского цирюльника, разбросав на авансцене сильные мужские ноги; под солнцем Сицилии сияли складки его жилета. Сцена представляла из себя ярмарку в деревне. В дальнем углу стоял пастух. Он стоял молча, среди беспечной толпы. Голова его была опущена, потом он поднял ее, и под тяжестью загоревшегося, внимательного его взгляда Джованни задвигался, стал ерзать в кресле и, оттолкнув цирюльника, вскочил. Срывающимся голосом он потребовал от полицейского, чтобы тот удалил с площади сумрачных подозрительных людей. Пастух — играл его ди Грассо — стоял задумавшись, потом он улыбнулся, поднялся в воздух, перелетел сцену городского театра, опустился на плечи Джованни и, перекусив ему горло, ворча и косясь, стал высасывать из раны кровь. Джованни рухнул, и занавес,— грозно, бесшумно сдвигаясь,— скрыл от нас убитого и убийцу. Ничего больше не ожидая, мы бросились в Театральный переулок к кассе, которая должна была открыться на следующий день. Впереди всех несся Коля Шварц. На рассвете «Одесские новости» сообщили тем немногим, кто был в театре, что они видели самого удивительного актера столетия.

Ди Грассо в этот свой приезд сыграл у нас «Короля Лира», «Отелло», «Гражданскую смерть», тургеневского «Нахлебника», каждым словом и движением своим утверждая, что в исступлении благородной страсти больше справедливости и надежды, чем в безрадостных правилах мира.

На эти спектакли билеты шли в пять раз выше своей стоимости. Охотясь за барышниками, покупатели находили их в трактире — горланящих, багровых, извергающих безвредное кощунство.

Струя пыльного розового зноя была впущена в Театральный переулок. Лавочники в войлочных шлепанцах вынесли на улицу зеленые бутыли вина и бочонки с маслинами. В чанах, перед лавками, кипели в пенистой воде макароны, и пар от них таял в дале-

ких небесах. Старухи в мужских штиблетах продавали ракушки и сувениры и с громким криком догоняли колеблющихся покупателей. Богатые евреи с раздвоенными, расчесанными бородами подъезжали к Северной гостинице и тихонько стучались в комнаты черноволосых толстух с усиками — актрис из труппы ди Грассо. Все были счастливы в Театральном переулке, кроме одного человека, и этот человек был я. Ко мне в эти дни приближалась гибель. С минуты на минуту отец мог хватиться часов, взятых у него без позволения и заложенных у Коли Шварца. Успев привыкнуть к золотым часам и будучи человеком, пившим по утрам вместо чая бессарабское вино, Коля, получив обратно свои деньги, не мог, однако, решиться вернуть мне часы. Таков был его характер. От него ничем не отличался характер моего отца. Стиснутый этими людьми, я смотрел, как проносятся мимо меня обручи чужого счастья. Мне не оставалось ничего другого, как бежать в Константинополь. Все уже было сговорено со вторым механиком парохода «Duke of Kent» [1], но перед тем как выйти в море, я решил проститься с ди Грассо. Он в последний раз играл пастуха, которого отделяет от земли непонятная сила. В театр пришли итальянская колония во главе с лысым и стройным консулом, поеживающиеся греки, бородатые экстерны, фанатически уставившиеся в никому невидимую точку, и длиннорукий Уточкин. И даже Коля Шварц привел с собой жену в фиолетовой шали с бахромой, женщину, годную в гренадеры и длинную, как степь, с мятым, сонливым личиком на краю. Оно было омочено слезами, когда опустился занавес.

— Босяк,— выходя из театра, сказала она Коле,— теперь ты видишь, что такое любовь...

Тяжело ступая, мадам Шварц шла по Ланжероновской улице; из рыбьих глаз ее текли слезы, на толстых плечах содрогалась шаль с бахромой. Шаркая мужскими ступнями, тряся головой, она оглушительно, на всю улицу, высчитывала женщин, которые хорошо живут со своими мужьями.

— Циленька — называют эти мужья своих жен — золотко, деточка...

[1] «Граф Кентский» *(англ.)*.

Присмиревший Коля шел рядом с женой и тихонько раздувал шелковые усы. По привычке я шел за ними и всхлипывал. Затихнув на мгновенье, мадам Шварц услышала мой плач и обернулась.

— Босяк,— вытаращив рыбьи глаза, сказала она мужу,— пусть я не доживу до хорошего часа, если ты не отдашь мальчику часы...

Коля застыл, раскрыл рот, потом опомнился и, больно ущипнув меня, боком сунул часы.

— Что я имею от него,— безутешно причитал, удаляясь, грубый плачущий голос мадам Шварц,— сегодня животные штуки, завтра животные штуки... Я тебя спрашиваю, босяк, сколько может ждать женщина?..

Они дошли до угла и повернули на Пушкинскую. Сжимая часы, я остался один и вдруг, с такой ясностью, какой никогда не испытывал до тех пор, увидел уходившие ввысь колонны Думы, освещенную листву на бульваре, бронзовую голову Пушкина с неярким отблеском луны на ней, увидел в первый раз окружавшее меня таким, каким оно было на самом деле,— затихшим и невыразимо прекрасным.

## ФРОИМ ГРАЧ

В девятнадцатом году люди Бени Крика напали на арьергард добровольческих войск, вырезали офицеров и отбили часть обоза. В награду они потребовали у Одесского Совета три дня «мирного восстания», но разрешения не получили и вывезли поэтому мануфактуру из всех лавок, расположенных на Александровском проспекте. Деятельность их перенеслась потом на Общество взаимного кредита. Пропуская вперед клиентов, они входили в банк и обращались к артельщикам с просьбой положить в автомобиль, ждавший на улице, тюки с деньгами и ценностями. Прошел месяц, прежде чем их стали расстреливать. Тогда нашлись люди, сказавшие, что к делам поимки и арестов имеет отношение Арон Пескин, владелец мастерской. В чем состояла работа этой мастерской — установлено не было. На квартире Пескина стоял станок — длинная машина с покоробленным свинцовым валом; на полу валялись опилки и картон для переплетов.

Однажды в весеннее утро приятель Пескина Миша Яблочко постучался к нему в мастерскую.

— Арон,— сказал гость Пескину,— на улице дивная погода. В моем лице ты имеешь типа, который способен захватить с собой полбутылки с любительской закуской и поехать кататься по воздуху в Аркадию... Ты можешь смеяться над таким субъектом, но я любитель сбросить иногда все эти мысли с головы...

Пескин оделся и поехал с Мишей Яблочко на штейгере в Аркадию. Они катались до вечера; в сумерках Миша Яблочко вошел в комнату, где мадам Пескина мыла в корыте четырнадцатилетнюю свою дочь.

— Приветствую,— сказал Миша, снимая шляпу,— мы бесподобно провели время. Воздух — это что-то небывалое, но только надо наесться горохом, прежде чем говорить с вашим мужем... Он имеет надоедливый характер.

— Вы нашли кому рассказывать,— произнесла мадам Пескина, хватая дочь за волосы и мотая ее во все стороны.— Где он, этот авантюрист?

— Он отдыхает в палисаднике.

Миша снова приподнял шляпу, простился и уехал на штейгере. Мадам Пескина, не дождавшись мужа, пошла за ним в палисадник. Он сидел в шляпе панама, облокотившись о садовый стол, и скалил зубы.

— Авантюрист,— сказала ему мадам Пескина,— ты еще смеешься... У меня делается припадок от твоей дочери, она не хочет мыть голову... Пойди, имей беседу с твоей дочерью...

Пескин молчал и все скалил зубы.

— Бонабак,— начала мадам Пескина, заглянула мужу под шляпу панама и закричала.

Соседи сбежались на ее крик.

— Он не живой,— сказала им мадам Пескина.— Он мертвый.

Это была ошибка. Пескину в двух местах прострелили грудь и проломили череп, но он жил еще. Его отвезли в еврейскую больницу. Не кто другой, как доктор Зильберберг, сделал раненому операцию, но Пескину не посчастливилось — он умер под ножом. В ту же ночь Чека арестовала человека по прозвищу Грузин и его друга Колю Лапидуса. Один из них был кучером Миши Яблочко, другой ждал экипаж в Аркадии, на берегу моря у поворота, ведущего

в степь. Их расстреляли после допроса, длившегося недолго. Один Миша Яблочко ушел из засады. След его потерялся, и несколько дней прошло прежде, чем на двор к Фроиму Грачу пришла старуха, торговавшая семечками. Она несла на руке корзину со своим товаром. Одна бровь ее мохнатым угольным кустом была поднята кверху, другая, едва намеченная, загибалась над веком. Фроим Грач сидел, расставив ноги, у конюшни и играл со своим внуком Аркадием. Мальчик этот три года назад выпал из могучей утробы дочери его Баськи. Дед протянул Аркадию палец, тот охватил его, повис и стал качаться на нем, как на перекладине.

— Ты — чепуха...— сказал внуку Фроим, глядя на него единственным глазом.

К ним подошла старуха с мохнатой бровью и в мужских штиблетах, перевязанных бечевкой.

— Фроим,— произнесла старуха,— я говорю тебе, что у этих людей нет человечества. У них нет слова. Они давят нас в погребах, как собак в яме. Они не дают нам говорить перед смертью... Их надо грызть зубами, этих людей, и вытаскивать из них сердце... Ты молчишь, Фроим,— прибавил Миша Яблочко,— ребята ждут, что ты перестанешь молчать...

Миша встал, переложил корзину из одной руки в другую и ушел, подняв черную бровь. Три девочки с заплетенными косицами встретились с ним на Алексеевской площади у церкви. Они прогуливались, взявшись за талии.

— Барышни,— сказал им Миша Яблочко,— я не угощу вас чаем с семитатью...

Он насыпал им в карман платьиц семечек из стакана и исчез, обогнув церковь.

Фроим Грач остался один на своем дворе. Он сидел неподвижно, устремив в пространство свой единственный глаз. Мулы, отбитые у колониальных войск, хрустели сеном на конюшне, разъевшиеся матки паслись с жеребятами на усадьбе. В тени под каштаном кучера играли в карты и прихлебывали вино из черепков. Жаркие порывы ветра налетали на меловые стены, солнце в голубом своем оцепенении лилось над двором. Фроим встал и вышел на улицу. Он пересек Прохоровскую, чадившую в небо нищим тающим дымом своих кухонь, и площадь Толкучего рынка, где

люди, завернутые в занавеси и гардины, продавали их друг другу. Он дошел до Екатерининской улицы, свернул у памятника императрице и вошел в здание Чека.

— Я Фроим,— сказал он коменданту,— мне надо до хозяина.

Председателем Чека в то время был Владислав Симен, приехавший из Москвы. Узнав о приходе Фроима, он вызвал следователя Борового, чтобы расспросить его о посетителе.

— Это грандиозный парень,— ответил Боровой,— тут вся Одесса пройдет перед вами...

И комендант ввел в кабинет старика в парусиновом балахоне, громадного, как здание, рыжего, с прикрытым глазом и изуродованной щекой.

— Хозяин,— сказал вошедший,— кого ты бьешь?.. Ты бьешь орлов. С кем ты останешься, хозяин, со смитьем?..

Симен сделал движение и приоткрыл ящик стола.

— Я пусто,— сказал тогда Фроим,— в руках у меня ничего нет, и в чеботах у меня ничего нет, и за воротами на улице я никого не оставил... Отпусти моих ребят, хозяин, скажи твою цену...

Старика усадили в кресло, ему принесли коньяку. Боровой вышел из комнаты и собрал у себя следователей и комиссаров, приехавших из Москвы.

— Я покажу вам одного парня,— сказал он,— это эпопея, второго нет...

И Боровой рассказал о том, что одноглазый Фроим, а не Беня Крик, был истинным главой сорока тысяч одесских воров. Игра его была скрыта, но все совершалось по планам старика — разгром фабрик и казначейства в Одессе, нападения на добровольцев и на союзные войска. Боровой ждал выхода старика, чтоб поговорить с ним. Фроим не появлялся. Соскучившийся следователь отправился на поиски. Он обошел все здание и под конец заглянул на черный двор. Фроим Грач лежал там распростертый под брезентом у стены, увитой плющом. Два красноармейца курили самодельные папиросы над его трупом.

— Чисто медведь,— сказал старший, увидев Борового,— это сила непомерная... Такого старика не убить, ему б износу не было... В нем десять зарядов сидит, а он все лезет...

Красноармеец раскраснелся, глаза его блестели, картуз сбился набок.

— Мелешь больше пуду,— прервал его другой конвоир,— помер и помер, все одинакие...

— Ан не все,— вскричал старший,— один просится, кричит, другой слова не скажет... Как это так можно, чтобы все одинакие...

— У меня они все одинакие,— упрямо повторил красноармеец помоложе,— все на одно лицо, я их не разбираю...

Боровой наклонился и отвернул брезент. Гримаса движения осталась на лице старика.

Следователь вернулся в свою комнату. Это был циркульный зал, обитый атласом. Там шло собрание о новых правилах делопроизводства. Симен делал доклад о непорядках, которые он застал, о неграмотных приговорах, о бессмысленном ведении протоколов следствия. Он настаивал на том, чтоб следователи, разбившись на группы, начали занятия с юрисконсультами и вели бы дела по формам и образцам, утвержденным Главным управлением в Москве.

Боровой слушал, сидя в своем углу. Он сидел один, далеко от остальных. Симен подошел к нему после собрания и взял за руку.

— Ты сердишься на меня, я знаю,— сказал он,— но только мы власть, Саша, мы — государственная власть, это надо помнить...

— Я не сержусь,— ответил Боровой и отвернулся,— вы не одессит, вы не можете этого знать, тут целая история с этим стариком...

Они сели рядом, председатель, которому исполнилось двдцать три года, со своим подчиненным. Симен держал руку Борового в своей руке и пожимал ее.

— Ответь мне как чекист,— сказал он после молчания,— ответь мне как революционер — зачем нужен этот человек в будущем обществе?

— Не знаю,— Боровой не двигался и смотрел прямо перед собой,— наверное, не нужен...

Он сделал усилие и прогнал от себя воспоминания. Потом, оживившись, он снова начал рассказывать чекистам, приехавшим из Москвы, о жизни Фроима Грача, об изворотливости его, неуловимости, о презрении к ближнему, все эти удивительные истории, отошедшие в прошлое...

## ЗАКАТ

Однажды Левка, младший из Криков, увидел Любкину дочь Табл. Табл по-русски значит голубка. Он увидел ее и ушел на трое суток из дому. Пыль чужих мостовых и герань в чужих окнах доставляли ему отраду. Через трое суток Левка вернулся домой и застал отца своего в палисаднике. Отец его вечерял. Мадам Горобчик сидела рядом с мужем и озиралась, как убийца.

— Уходи, грубый сын,— сказал папаша Крик, завидев Левку.

— Папаша,— ответил Левка,— возьмите камертон и настройте ваши уши.

— В чем суть?

— Есть одна девушка,— сказал сын.— Она имеет блондинный волос. Ее зовут Табл. Табл по-русски значит голубка. Я положил глаз на эту девушку.

— Ты положил глаз на помойницу,— сказал папаша Крик,— а мать ее бандерша.

Услышав отцовские слова, Левка засучил рукава и поднял на отца богохульственную руку. Но мадам Горобчик вскочила со своего места и встала между ними.

— Мендель,— завизжала она,— набей Левке вывеску! Он скушал у меня одиннадцать котлет...

— Ты скушал у матери одиннадцать котлет! — закричал Мендель и подступил к сыну, но тот вывернулся и побежал со двора, и Беничк, его старший брат, увязался за ним следом. Они до ночи кружили по улицам, они задыхались, как дрожжи, на которых всходит мщение, и под конец Левка сказал брату своему Бене, которому через несколько месяцев суждено было стать Беней Королем:

— Беничк,— сказал он,— возьмем это на себя, и люди придут целовать нам ноги. Убьем папашу, которого Молдава не называет уже Мендель Крик. Молдава называет его Мендель Погром. Убьем папашу, потому что можем ли мы ждать дальше?

— Еще не время,— ответил Беничк,— но время идет. Слушай его шаги и дай ему дорогу. Посторонись, Левка.

И Левка посторонился, чтобы дать времени дорогу. Оно тронулось в путь — время, древний кассир,—

и повстречалось в пути с Двойрой, сестрой Короля, с Манассе, кучером, и с русской девушкой Марусей Евтушенко.

Еще десять лет тому назад я знал людей, которые хотели иметь Двойру, дочь Менделя Погрома, но теперь у Двойры болтается зоб под подбородком и глаза ее вываливаются из орбит. Никто не хочет иметь Двойру. И вот отыскался недавно пожилой вдовец с взрослыми дочерьми. Ему понадобилась полуторная площадка и пара коней. Узнав об этом, Двойра выстирала свое зеленое платье и развесила его во дворе. Она собралась идти к вдовцу, чтобы узнать, насколько он пожилой, какие кони ему нужны и может ли она его получить. Но папаша Крик не хотел вдовцов. Он взял зеленое платье, спрятал его в свой биндюг и уехал на работу. Двойра развела утюг, чтобы выгладить платье, но она не нашла его. Тогда Двойра упала на землю и получила припадок. Братья подтащили ее к водопроводному крану и облили водой. Узнаёте ли вы, люди, руку отца их, прозванного Погромом?

Теперь о Манассе, старом кучере, ездящем на Фрейлине и Соломоне Мудром. На погибель свою он узнал, что кони старого Буциса, и Фроима Грача, и Хаима Дронга подкованы резиной. Глядя на них, Манассе пошел к Пятирубелю и подбил резиной Соломона Мудрого. Манассе любил Соломона Мудрого, но папаша Крик сказал ему:

— Я не Хаим Дронг и не Николай Второй, чтобы кони мои работали на резине.

И он взял Манассе за воротник, поднял его к себе на биндюг и поехал со двора. На протянутой его руке Манассе висел, как на виселице. Закат варился в небе, густой закат, как варенье, колокола стонали на Алексеевской церкви, солнце садилось за Ближними Мельницами, и Левка, хозяйский сын, шел за биндюгом, как собака за хозяином.

Несметная толпа бежала за Криками, как будто они были карета скорой помощи, и Манассе неутомимо висел на железной руке.

— Папаша,— сказал тогда отцу Левка,— в вашей протянутой руке вы сжимаете мне сердце. Бросьте его, и пусть оно катится в пыли.

Но Мендель Крик даже не обернулся. Лошади

несли вскачь, колеса гремели, и у людей был готовый цирк. Биндюг выехал на Дальницкую к кузнице Ивана Пятирубеля. Мендель потер кучера Манассе об стенку и бросил его в кузню на груду железа. Тогда Левка побежал за ведром воды и вылил его на старого кучера Манассе. Узнаёте ли вы теперь, люди, руку Менделя, отца Криков, прозванного Погромом?

— Время идет,— сказал однажды Бенчик, и брат его Левка посторонился, чтобы дать времени дорогу. И так стоял Левка в сторонке, пока не занеслась Маруся Евтушенко.

— Маруся занеслась,— стали шушукаться люди, и папаша Крик смеялся, слушая их.

— Маруся занеслась,— говорил он и смеялся, как дитя,— горе всему Израилю, кто эта Маруся?

В эту минуту Бенчик вышел из конюшни и положил папаше руку на плечо.

— Я любитель женщин,— сказал Бенчик строго и передал папаше двадцать пять рублей, потому что он хотел, чтобы вычистка была сделана доктором и в лечебнице, а не у Маруси на дому.

— Я отдам ей эти деньги,— сказал папаша,— и она сделает себе вычистку, иначе пусть не дожить мне до радости.

И на следующее утро, в обычный час, он выехал на Налетчике и Любезной Супруге, а в обед на двор к Крикам явилась Маруся Евтушенко.

— Бенчик,— сказала она,— я любила тебя, будь ты проклят.

И швырнула ему в лицо десять рублей. Две бумажки по пяти — это никогда не было больше десяти.

— Убьем папашу,— сказал тогда Бенчик брату своему Льву, и они сели на лавочку у ворот, и рядом с ними сел Семен, сын дворника Анисима, человек семи лет. И вот, кто бы сказал, что такое семилетнее ничто уже умеет любить и что оно умеет ненавидеть. Кто знал, что оно любит Менделя Крика, а оно любило.

Братья сидели на лавочке и высчитывали, сколько лет может быть папаше и какой хвост тянется за шестьюдесятью его годами, и Семен, сын дворника Анисима, сидел с ними рядом.

В тот час солнце не дошло еще до Ближних Мельниц. Оно лилось в тучи, как кровь из распоротого кабана, и на улицах громыхали площадки старого Буциса, возвращавшиеся с работы. Скотницы доили уже коров в третий раз, и работницы мадам Парабелюм таскали ей на крыльцо ведра вечернего молока. И мадам Парабелюм стояла на крыльце, хлопала в ладоши.

— Бабы,— кричала она,— свои бабы и чужие бабы, Берта Ивановна, мороженщики и кефирщики! Подходите за вечерним молоком.

Берта Ивановна, учительница немецкого языка, которая получала за урок две кварты молока, первая получила свою порцию. За ней подошла Двойра Крик для того, чтобы посмотреть, сколько воды налила мадам Парабелюм в свое молоко и сколько соды она всыпала в него.

Но Бенчик отозвал сестру в сторону.

— Сегодня вечером,— сказал он,— когда ты увидишь, что старик убил нас, подойди к нему и провали ему голову друшляком. И пусть настанет конец фирме Мендель Крик и сыновья.

— Аминь, в добрый час,— ответила Двойра и вышла за ворота. И она увидела, что Семена, сына Анисима, нет больше во дворе и что вся Молдаванка идет к Крикам в гости.

Молдаванка шла толпами, как будто во дворе у Криков были перекидки. Жители шли, как идут на Ярмарочную площадь во второй день Пасхи. Кузнечный мастер Иван Пятирубель прихватил беременную невестку и внучат. Старый Буцис привел племянницу, приехавшую на лиман из Каменец-Подольска. Табл пришла с русским человеком. Она опиралась на его руку и играла лентой от косы. Позже всех прискакала Любка на чалом жеребце. И только Фроим Грач пришел совсем один, рыжий, как ржавчина, одноглазый и в парусиновой бурке.

Люди расселись в палисаднике и вынули угощение. Мастеровые разулись, послали детей за пивом и положили головы на животы своих жен. И тогда Левка сказал Бенчику, своему брату:

— Мендель Погром нам отец,— сказал он,— а мадам Горобчик нам мать, а люди — псы, Бенчик. Мы работаем для псов.

— Надо подумать,— ответил Бенчик, но не успел он произнести этих слов, как гром грянул на Головковской. Солнце взлетело кверху и завертелось, как красная чаша на острие копья. Биндюг старика мчался к воротам. Любезная Супруга была в мыле. Налетчик рвал упряжку. Старик взвил кнут над взбесившимися конями. Растопыренные ноги его были громадны, малиновый пот кипел на его лице, и он пел песни пьяным голосом. И тут-то Семен, сын Анисима, скользнул, как змея, мимо чьих-то ног, выскочил на улицу и закричал изо всех сил:

— Заворачивайте биндюг, дяденька Крик, бо сыны ваши хочут лупцовать вас...

Но было поздно. Папаша Крик на взмыленных конях влетел во двор. Он поднял кнут, он открыл рот и... умолк. Люди, рассевшиеся в палисаднике, пучили на него глаза. Бенчик стоял на левом фланге у голубятни. Левка стоял на правом фланге у дворницкой.

— Люди и хозяева! — сказал Мендель Крик чуть слышно и опустил кнут.— Вот смотрите на мою кровь, которая заносит на меня руку.

И, соскочив с биндюга, старик кинулся к Бене и размозжил ему кулаком переносье. Тут подоспел Левка и сделал что мог. Он перетасовал лицо своему отцу, как новую колоду. Но старик был сшит из чертовой кожи, и петли этой кожи были заметаны чугуном. Старик вывернул Левке руки и кинул на землю рядом с братом. Он сел Левке на грудь, и женщины закрыли глаза, чтобы не видеть выломанных зубов старика и лица, залитого кровью. И в это мгновение жители неописуемой Молдавы услышали быстрые шаги Двойры и ее голос:

— За Левку,— сказала она,— за Бенчика, за меня, Двойру, и за всех людей,— и провалила папаше голову друшляком. Люди вскочили на ноги и побежали к ним, размахивая руками. Они оттащили старика к водопроводу, как когда-то Двойру, и открыли кран. Кровь текла по желобу, как вода, и вода текла, как кровь. Мадам Горобчик протискалась боком сквозь толпу и приблизилась, подпрыгивая, как воробей.

— Не молчи, Мендель,— сказала она шепотом,— кричи что-нибудь, Мендель...

Но, услышав тишину во дворе и увидев, что старик приехал с работы и кони не распряжены и никто

не льет воды на разогревшиеся колеса, она кинулась прочь и побежала по двору, как собака о трех ногах. И тогда почетные хозяева подошли ближе. Папаша Крик лежал бородою кверху.

— Каюк,— сказал Фроим Грач и отвернулся.

— Крышка,— сказал Хаим Дронг, но кузнечный мастер Иван Пятирубель помахал указательным пальцем перед самым его носом.

— Трое на одного,— сказал Пятирубель,— позор для всей Молдавы, но еще не вечер. Не видел я еще того хлопца, который кончит старого Крика...

— Уже вечер,— прервал его Арье-Лейб, неведомо откуда взявшийся,— уже вечер, Иван Пятирубель. Не говори «нет», русский человек, когда жизнь шумит тебе «да».

И, усевшись возле папаши, Арье-Лейб вытер ему платком губы, поцеловал его в лоб и рассказал ему о царе Давиде, о царе над евреями, имевшем много жен, много земель и сокровищ и умевшем плакать вовремя.

— Не скули, Арье-Лейб,— закричал ему Хаим Дронг и стал толкать Арье-Лейба в спину,— не читай нам панихид, ты не у себя на кладбище!

И, оборотившись к папаше Крику, Хаим Дронг сказал:

— Вставай, старый ломовик, прополощи глотку, скажи нам что-нибудь грубое, как ты это умеешь, старый грубиян, и приготовь пару площадок на утро, бо мне надо возить отходы...

И весь народ стал ждать, что скажет Мендель насчет площадок. Но он молчал долго, потом открыл глаза и стал разевать рот, залепленный грязью и волосами, и кровь проступила у него между губами.

— У меня нет площадок,— сказал папаша Крик,— меня сыны убили. Пусть сыны хозяйнуют.

И вот не надо завидовать тем, кто хозяйнует над горьким наследием Менделя Крика. Не надо им завидовать, потому что все кормушки в конюшне давно сгнили, половину колес надо было перешиновать. Вывеска над воротами развалилась, на ней нельзя было прочесть ни одного слова, и у всех кучеров истлело последнее белье. Полгорода было должно Менделю Крику, но кони, выбирая овес из кормушки, вместе с овсом слизывали цифры, написанные мелом

на стене. Целый день к ошеломленным наследникам ходили какие-то мужики и требовали денег за сечку и ячмень. Целый день ходили женщины и выкупали из заклада золотые кольца и никелированные самовары. Покой ушел из дома Криков, но Беня, которому через несколько месяцев суждено было сделаться Беней Королем, не сдался и заказал новую вывеску «Извозопромышленное заведение Мендель Крик и сыновья». Это должно было быть написано золотыми буквами по голубому полю и перевито подковами, отделанными под бронзу. Он купил еще штуку полосатого тика на исподники для кучеров и неслыханный лес для ремонта площадок. Он подрядил Пятирубеля на целую неделю и завел квитанции для каждого заказчика. И к вечеру следующего дня, знайте это, люди, он уморился больше, чем если бы сделал пятнадцать туров из Арбузной гавани на Одессу Товарную. И к вечеру, знайте это, люди, он не нашел дома ни крошки хлеба и ни одной перемытой тарелки. Теперь обнимите умом заядлое варварство мадам Горобчик. Невыметенное сметьё лежало в комнатах, небывалый телячий холодец выбросили собакам. И мадам Горобчик торчала у мужниной лежанки, как облитая помоями ворона на осенней ветке.

— Возьми их под заметку,— сказал тогда Бенчик младшему брату,— держи их под микроскопом, эту пару новобрачных, потому, сдается мне, Левка, они копают на нас.

Так сказал Левке брат его Бенчик, видевший всех насквозь своими глазами Бени Короля, но он, Левка-подпасок, не поверил и лег спать. Папаша его тоже храпел уже на своих досках, а мадам Горобчик ворочалась с боку на бок. Она плевала на стены и харкала на пол. Вредный характер ее мешал ей спать. Под конец заснула и она. Звезды рассыпались перед окном, как солдаты, когда они оправляются, зеленые звезды по синему полю. Граммофон наискосок, у Петьки Овсяницы, заиграл еврейские песни, потом и граммофон умолк. Ночь занималась себе своим делом, и воздух, богатый воздух лился в окно к Левке, младшему из Криков. Он любил воздух, Левка. Он лежал, и дышал, и дремал, и игрался с воздухом. Богатое настроение испытывал он, и это было до тех пор, пока на отцовской лежанке не послышался шо-

рох и скрип. Парень прикрыл тогда глаза и выкатил на позицию уши. Папаша Крик поднял голову, как нюхающая мышь, и сполз с лежанки. Старик вытянул из-под подушки торбочку с монетой и перекинул через плечо сапоги. Левка дал ему уйти, потому что куда он мог уйти, старый пес? Потом парень вылез вслед за отцом и увидел, что Бенчик ползет с другой стороны двора и держится у стенки. Старик подкрался неслышно к биндюгам, он всунул голову в конюшню и засвистал лошадям, и лошади сбежались, чтобы потереться мордами об Менделеву голову. Ночь была во дворе, засыпанная звездами, синим воздухом и тишиной.

— Т-с-с,— приложил Левка палец к губам, и Бенчик, который лез с другой стороны двора, тоже приложил палец к губам. Папаша свистел коням, как маленьким детям, потом он побежал между площадками и брызнул в подворотню.

— Анисим,— сказал он тихим голосом и стукнул в окошко дворницкой,— Анисим, сердце мое, отопри мне ворота.

Анисим вылез из дворницкой, всклокоченный, как сено.

— Старый хозяин,— сказал он,— прошу вас великодушно, не срамитесь передо мною, простым человеком. Идите отдыхать, хозяин...

— Ты отопрешь мне ворота,— прошептал папаша еще тише,— я знаю это, Анисим, сердце мое...

— Вернись в помещение, Анисим,— сказал тогда Бенчик, вышел к дворницкой и положил руку своему папаше на плечо. И Анисим увидел прямо перед собой лицо Менделя Погрома, белое, как бумага, и он отвернулся, чтобы не видеть такого лица у своего хозяина.

— Не бей меня, Бенчик,— сказал старый Крик, отступая,— где конец мучениям твоего отца...

— О, низкий отец,— ответил Бенчик,— как могли вы сказать то, что вы сказали?

— Я мог! — закричал Мендель и ударил себя кулаком по голове.— Я мог, Бенчик! — закричал он изо всех сил и закачался, как припадочный.— Вот вокруг меня этот двор, в котором я отбыл половину человеческой жизни. Он видел меня, этот двор, отцом моих детей, мужем моей жены и хозяином над моими ко-

нями. Он видел мою славу и двадцать моих жеребцов, и двенадцать площадок, окованных железом. Он видел ноги мои, непоколебимые, как столбы, и руки мои, злые руки мои. А теперь, дорогие сыны, отоприте мне ворота, и пусть будет сегодня так, как я хочу, пусть уйду я из этого двора, который видел слишком много...

— Папаша,— ответил Беня, не поднимая глаз,— вернитесь к вашей супруге.

Но к ней незачем было возвращаться, к мадам Горобчик. Она сама примчалась в подворотню и покатилась по земле, болтая в воздухе старыми, желтыми своими ногами.

— Ай,— кричала она, катаясь по земле,— Мендель Погром и сыны мои, байстрюки мои... Что вы сделали со мной, байстрюки мои, куда дели вы мои волосы, мое тело, где они, мои зубы, где моя молодость...

Старуха визжала, срывала рубаху со своих плеч и, встав на ноги, закрутилась на одном месте, как собака, которая хочет себя укусить. Она исцарапала сыновьям лица, она целовала сыновьям лица и обрывала им щеки.

— Старый вор,— ревела мадам Горобчик и скакала вокруг мужа, и крутила ему усы и дергала их,— старый вор, мой старый Мендель...

Все соседи были разбужены ее ревом, и весь двор сбежался в подворотню, и голопузые дети засвистели в дудки. Молдаванка стекалась на скандал. И Беня Крик, на глазах у людей поседевший от позора, едва загнал своих новобрачных в квартиру. Он разогнал людей палкой, он оттеснил их к воротам, но Левка, младший брат, взял его за воротник и стал трясти, как грушу.

— Бенчик,— сказал он,— мы мучаем старика... Слеза меня точит, Бенчик...

— Слеза тебя точит,— ответил Бенчик, и, собрав во рту слюну, он плюнул Левке ею в лицо.— О, низкий брат,— прошептал он,— подлый брат, развяжи мне руки, а не путайся у меня под ногами.

И Левка развязал ему руки. Парень проспал на конюшне до рассвета и потом исчез из дому. Пыль чужих мостовых и герань в чужих окнах доставляли ему отраду. Юноша измерил дороги скорби, пропадал

двое суток и, вернувшись на третьи, увидел голубую вывеску, пылавшую над домом Криков. Голубая вывеска толкнула его в сердце, бархатные скатерти сбили с ног Левкины глаза, бархатные скатерти были разостланы на столах, и множество гостей хохотало в палисаднике. Двойра в белой наколке ходила между гостями, накрахмаленные бабы блестели в траве, как эмалированные чайники, и вихлявые мастеровые, уже успевшие скинуть с себя пиджаки, схватив Левку, втолкнули его в комнаты. Там сидел уже с исполосованным лицом Мендель Крик, старший из Криков, Ушер Боярский, владелец фирмы «Шедевр», горбатый закройщик Ефим и Беня Крик вертелись вокруг изуродованного папаши.

— Ефим,— говорил Ушер Боярский своему закройщику,— будьте такой ласковый спуститься к нам поближе и прикиньте на мосье Крика цветной костюмчик prima, как для своего, и осмельтесь на маленькую справку, на какой именно материал они рассчитывают — на английский морской двубортный, на английский сухопутный однобортный, на лодзинский демисезон или на московский плотный...

— Какую робу желаете вы себе справить? — спросил тогда Бенчик папашу Крика.— Сознавайтесь перед мосье Боярским.

— Какое ты имеешь сердце на твоего отца,— ответил папаша Крик и вынул слезу из глаза,— такую справь ему робу.

— Коль скоро папаша не флотский,— прервал отца Беня,— то ему наиболее подходящее будет сухопутное. Подберите ему сначала соответственную пару на каждый день.

Мосье Боярский поддался вперед и пригнул ухо.

— Выразите вашу мысль,— сказал он.

— Моя мысль такая,— ответил Беня,— еврей, отходивший всю свою жизнь голый, и босой, и замазанный, как ссыльно-поселенец с острова Сахалина... И теперь, когда он, благодаря бога, вошел в свои пожилые годы, надо сделать конец этой бессрочной каторге, надо сделать, чтобы суббота была субботой...

## РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

### ЭЛЬЯ ИСААКОВИЧ И МАРГАРИТА ПРОКОФЬЕВНА

Гершкович вышел от надзирателя с тяжелым сердцем. Ему было объявлено, что если не выедет он из Орла с первым поездом, то будет отправлен по этапу. А выехать — значило потерять дело.

С портфелем в руке, худощавый и неторопливый, шел он по темной улице. На углу его окликнула высокая женская фигура:

— Котик, зайдешь?

Гершкович поднял голову, посмотрел на нее через блеснувшие очки, подумал и сдержанно ответил:

— Зайду.

Женщина взяла его под руку. Они пошли за угол.

— Куда же мы? В гостиницу?

— Мне надо на всю ночь,— ответил Гершкович,— к тебе.

— Это будет стоить трешницу, папаша.

— Два,— сказал Гершкович.

— Расчета нет, папаша...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сторговались за два с полтиной. Пошли дальше.

Комната проститутки была небольшая, чистенькая, с порванными занавесками и розовым фонарем.

Когда пришли, женщина сняла пальто, расстегнула кофточку... и подмигнула.

— Э,— поморщился Гершкович,— какое глупство.

— Ты сердитый, папаша.

Она села к нему на колени.

— Нивроко,— сказал Гершкович,— пудов пять в вас будет?

— Четыре тридцать.

Она взасос поцеловала его в седеющую щеку.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Э,— снова поморщился Гершкович,— я устал, хочу уснуть.

Проститутка встала. Лицо у нее сделалось скверное.

— Ты еврей?

Он посмотрел на нее через очки и ответил:

— Нет.

— Папашка,— медленно промолвила проститутка,— это будет стоить десятку.

Он поднялся и пошел к двери.

— Пятерку,— сказала женщина.

Гершкович вернулся.

— Постели мне,— устало сказал еврей, снял пиджак и осмотрелся, куда его повесить.— Как тебя зовут?

— Маргарита.

— Перемени простыню, Маргарита.

Кровать была широкая, с мягкой периной.

Гершкович стал медленно раздеваться, снял белые носки, расправил вспотевшие пальцы на ногах, запер дверь на ключ, положил его под подушку и лег. Маргарита, позевывая, неторопливо сняла платье, скосив глаза, выдавила прыщик на плече и стала заплетать на ночь жиденькую косичку.

— Как тебя зовут, папашка?

— Эли, Элья Исаакович.

— Торгуешь?

— Наша торговля...— неопределенно ответил Гершкович.

Маргарита задула ночник и легла...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Нивроко,— сказал Гершкович.— Откормилась.

Скоро они заснули.

На следующее утро яркий свет солнца залил комнату. Гершкович проснулся, оделся, подошел к окну.

— У нас море, у вас поле,— сказал он.— Хорошо.

— Ты откуда? — спросила Маргарита.

— Из Одессы,— ответил Гершкович.— Первый город, хороший город.— И он хитро улыбнулся.

— Тебе, я вижу, везде хорошо,— сказала Маргарита.

— И правда,— ответил Гершкович.— Везде хорошо, где люди есть.

— Какой ты дурак,— промолвила Маргарита, приподнимаясь на кровати.— Люди злые.

— Нет,— сказал Гершкович,— люди добрые. Их научили думать, что они злые, они и поверили.

Маргарита подумала, потом улыбнулась.

— Ты занятный,— медленно проговорила она и внимательно оглядела его.

— Отвернись. Я оденусь.

Потом завтракали, пили чай с баранками. Гершкович научил Маргариту намазывать хлеб маслом и по-особенному накладывать поверх колбасу.

— Попробуйте, а мне, между прочим, надо отправляться.

Уходя, Гершкович сказал:

— Возьмите три рубля, Маргарита. Поверьте, негде копейку заработать.

Маргарита улыбнулась.

— Жи́ла ты, жи́ла. Давай три. Придешь вечером?

— Приду.

Вечером Гершкович принес ужин — селедку, бутылку пива, колбасы, яблок. Маргарита была в темном глухом платье. Закусывая, разговорились.

— Полсотней в месяц не обойдешься,— говорила Маргарита.— Занятия такая, что дешевкой оденешься — щей не похлебаешь. За комнату отдаю пятнадцать, возьми в расчет...

— У нас в Одессе,— подумавши, ответил Гершкович, с напряжением разрезывая селедку на равные части,— за десять рублей вы имеете на Молдаванке царскую комнату.

— Прими в расчет, народ у меня толчется, от пьяного не убережешься...

— Каждый человек имеет свои неприятности,— промолвил Гершкович и рассказал о своей семье, о пошатнувшихся делах, о сыне, которого забрали на военную службу.

Маргарита слушала, положив голову на стол, и лицо у нее было внимательное, тихое и задумчивое.

После ужина, сняв пиджак и тщательно протерев очки суконкой, он сел за столик и, придвинув к себе лампу, стал писать коммерческие письма. Маргарита мыла голову.

Писал Гершкович неторопливо, внимательно, поднимая брови, по временам задумываясь, и, обмакивая перо, ни разу не забыл отряхнуть его от лишних чернил.

Окончив писать, он посадил Маргариту на копировальную книгу.

— Вы, нивроко, дама с весом. Посидите, Маргарита Прокофьевна, проше пана.

Гершкович улыбнулся, очки блеснули, и глаза сделались у него блестящие, маленькие, смеющиеся.

На следующий день он уезжал. Прохаживаясь по перрону, за несколько минут до отхода поезда Гершкович заметил Маргариту, быстро шедшую к нему с маленьким свертком в руках. В свертке были пирожки, и жирные пятна от них проступили на бумаге.

Лицо у Маргариты было красное, жалкое, грудь волновалась от быстрой ходьбы.

— Привет в Одессу,— сказала она,— привет...

— Спасибо,— ответил Гершкович, взял пирожки, поднял брови, над чем-то подумал и сгорбился.

Раздался третий звонок. Они протянули друг другу руки.

— До свидания, Маргарита Прокофьевна.

— До свидания, Элья Исаакович.

Гершкович вошел в вагон. Поезд двинулся.

## ШАБОС-НАХАМУ[1]

*(Из цикла «Гершеле»)*

Было утро, был вечер — день пятый. Было утро, наступил вечер — день шестой. В шестой день — в пятницу вечером — нужно помолиться; помолившись — в праздничном капоре пройтись по местечку и к ужину поспеть домой. Дома еврей выпивает рюмку водки,— ни бог, ни Талмуд не запрещают ему выпить две,— съедает фаршированную рыбу и кугель

[1] Шабос-нахаму — еврейский праздник.

с изюмом. После ужина ему становится весело. Он рассказывает жене истории, потом спит, закрыв один глаз и открыв рот. Он спит, а Гапка в кухне слышит музыку — как будто из местечка пришел слепой скрипач, стоит под окном и играет.

Так водится у каждого еврея. Но каждый еврей — это не Гершеле. Недаром слава о нем прошла по всему Острополю, по всему Бердичеву, по всему Вилюйску.

Из шести пятниц Гершеле праздновал одну. В остальные вечера — он с семьей сидели во тьме и в холоде. Дети плакали. Жена швыряла укоры. Каждый из них был тяжел, как булыжник. Гершеле отвечал стихами.

Однажды — рассказывают такой случай — Гершеле захотел быть предусмотрительным. В среду он отправился на ярмарку, чтобы к пятнице заработать денег. Где есть ярмарка — там есть пан. Где есть пан — там вертятся десять евреев. У десяти евреев не заработаешь трех грошей. Все слушали шуточки Гершеле, но никого не оказывалось дома, когда дело подходило к расчету.

С желудком пустым, как духовой инструмент, Гершеле поплелся домой.

— Что ты заработал? — спросила у него жена.

— Я заработал загробную жизнь,— ответил он.— И богатый и бедный обещали мне ее.

У жены Гершеле было только десять пальцев. Она поочередно загибала каждый из них. Голос ее гремел, как гром в горах.

— У каждой жены — муж как муж. Мой же только и умеет, что кормить жену словечками. Дай бог, чтобы к Новому году у него отнялся язык, и руки, и ноги.

— Аминь,— ответил Гершеле.

— В каждом окне горят свечи, как будто дубы зажгли в домах. У меня же свечи тонки, как спички, и дыму от них столько, что он рвется к небесам. У всех уже поспел белый хлеб, а мне муж принес дров мокрых, как только что вымытая коса...

Гершеле не обмолвился ни единым словом в ответ. Зачем подбрасывать поленьев в огонь, когда он и без того горит ярко? Это первое. И что можно ответить сварливой жене, когда она права? Это второе.

Пришло время, жена устала кричать. Гершеле отошел, лег на кровать и задумался.

— Не поехать ли мне к рабби Борухл? — спросил он себя.

(Всем известно, что рабби Борухл страдал черной меланхолией и для него не было лекарства лучшего, чем слова Гершеле.)

— Не поехать ли мне к рабби Борухл? Служки цадика дают мне кости, а себе берут мясо. Это правда. Мясо лучше костей, кости лучше воздуха. Поедем к рабби Борухл.

Гершеле встал и пошел запрягать лошадь. Она взглянула на него строго и грустно.

«Хорошо, Гершеле,— сказали ее глаза,— ты вчера не дал мне овса, позавчера не дал мне овса, и сегодня я ничего не получила. Если ты и завтра не дашь мне овса, то я должна буду задуматься о своей жизни».

Гершеле не выдержал внимательного взгляда, опустил глаза и погладил мягкие лошадиные губы. Потом он вздохнул так шумно, что лошадь все поняла, и решил: «Я пойду пешком к рабби Борухл».

Когда Гершеле отправился в путь — солнце высоко стояло на небе. Горячая дорога убегала вперед. Белые волы медленно тащили повозки с душистым сеном. Мужики, свесив ноги, сидели на высоких возах и помахивали длинными кнутами. Небо было синее, а кнуты черные.

Пройдя часть дороги — верст пять,— Гершеле приблизился к лесу. Солнце уже уходило со своего места. На небе разгорались нежные пожары. Босые девочки гнали с пастбища коров. У каждой из коров раскачивалось наполненное молоком розовое вымя.

В лесу Гершеле встретила прохлада, тихий сумрак. Зеленые листы склонялись друг к другу, гладили друг друга плоскими руками и, тихонько пошептавшись в вышине, возвращались к себе, шелестя и вздрагивая.

Гершеле не внимал их шепоту. В желудке его играл оркестр такой большой, как на балу у графа Потоцкого. Путь ему лежал далекий. С боков земли спешила легкая тьма, смыкалась над головою Гершеле и развевалась по земле. Недвижимые фонари зажглись на небе. Земля замолчала.

Настала ночь, когда Гершеле подошел к корчме. В маленьком окошке светился огонек. У окошка в теплой комнате сидела хозяйка Зельда и шила пеленки. Живот ее был столь велик, точно она собиралась родить тройку. Гершеле взглянул на ее маленькое красное личико с голубыми глазами и поздоровался.

— Можно у вас отдохнуть, хозяйка?

— Можно.

Гершеле сел. Ноздри его раздувались, как кузнечные мехи. Жаркий огонь сверкал в печи. В большом котле кипела вода, обдавая пеной белоснежные вареники. В золотистом супе покачивалась жирная курица. Из духовой несся запах пирога с изюмом.

Гершеле сидел на лавке, скорчившись, как роженица перед родами. В одну минуту в его голове рождалось больше планов, чем у царя Соломона насчитывалось жен.

В комнате было тихо, кипела вода, и качалась на золотистых волнах курица.

— Где ваш муж, хозяйка? — спросил Гершеле.

— Муж уехал к пану платить деньги за аренду.— Хозяйка замолчала. Детские ее глаза выпучились. Она сказала вдруг: — Я вот сижу здесь у окна и думаю. И я хочу вам задать вопрос, господин еврей. Вы, наверное, много странствуете по свету, учились у ребе и знаете про нашу жизнь. Я ни у кого не училась. Скажите, господин еврей, скоро ли придет к нам шабос-нахаму?

«Эге,— подумал Гершеле.— Вопросец хорош. Всякая картошка растет на божьем огороде...»

— Я вас спрашиваю потому, что муж обещал мне — когда придет шабос-нахаму, мы поедем к мамаше в гости. И платье я тебе куплю, и парик новый, и к рабби Моталэми поедем просить, чтобы у нас родился сын, а не дочь,— все это тогда, когда придет шабос-нахаму. Я думаю — это человек с того света?

— Вы не ошиблись, хозяйка,— ответил Гершеле.— Сам бог положил эти слова на ваши губы... У вас будет и сын и дочь. Это я и есть шабос-нахаму, хозяйка.

Пеленки сползли с колен Зельды. Она поднялась, и маленькая ее головка стукнулась о перекладину, потому что Зельда была высока и жирна, красна и молода. Высокая грудь ее походила на два тугих мешоч-

ка, набитых зерном. Голубые глаза ее раскрылись, как у ребенка.

— Это я и есть шабос-нахаму,— подтвердил Гершеле.— Я иду уже второй месяц, хозяйка, иду помогать людям. Это длинный путь — с неба на землю. Сапоги мои изорвались. Я привез вам поклон от всех ваших.

— И от тети Песи,— закричала женщина,— и от папаши, и от тети Голды, вы знаете их?

— Кто их не знает? — ответил Гершеле.— Я говорил с ними так, как говорю теперь с вами.

— Как они живут там? — спросила хозяйка, складывая дрожащие пальцы на животе.

— Плохо живут,— уныло промолвил Гершеле.— Как может житься мертвому человеку? Балов там не задают...

Хозяйкины глаза наполнились слезами.

— Холодно там,— продолжал Гершеле,— холодно и голодно. Они же едят, как ангелы. Никто на том свете не имеет права кушать больше, чем ангелы. Что ангелу надо? Он хватит глоток воды, ему довольно. Рюмочку водки вы там за сто лет не увидите ни разу...

— Бедный папаша...— прошептала пораженная хозяйка.

— На Пасху он возьмет себе одну латку. Блин ему хватает на сутки...

— Бедная тетя Песя,— задрожала хозяйка.

— Я сам голодный хожу,— склонив набок голову, промолвил Гершеле, и слеза покатилась по его носу и пропала в бороде.— Мне ведь ни слова нельзя сказать, я считаюсь там из их компании...

Гершеле не докончил своих слов.

Топоча толстыми ногами, хозяйка стремительно несла к нему тарелки, миски, стаканы, бутылки. Гершеле начал есть, и тогда женщина поняла, что он действительно человек с того света.

Для начала Гершеле съел политую прозрачным салом рубленую печенку с мелко порубленным луком. Потом он выпил рюмку панской водки (в водке этой плавали апельсиновые корки). Потом он ел рыбу, смешав ароматную уху с мягким картофелем и вылив на край тарелки полбанки красного хрена, такого

хрена, что от него заплакали бы пять панов с чубами и кунтушами.

После рыбы Гершеле отдал должное курице и хлебал горячий суп с плававшими в нем капельками жира. Вареники, купавшиеся в расплавленном масле, прыгали в рот Гершеле, как заяц прыгает от охотника. Не надо ничего говорить о том, что случилось с пирогом, что могло с ним случиться, если, бывало, по целому году Гершеле в глаза пирога не видел?..

После ужина хозяйка собрала вещи, которые она через Гершеле решила послать на тот свет,— папаше, тете Голде и тете Песе. Отцу она положила новый талес, бутыль вишневой настойки, банку малинового варенья и кисет табаку. Для тети Песи были приготовлены теплые серые чулки. К тете Голде поехали старый парик, большой гребень и молитвенник. Кроме этого, она снабдила Гершеле сапогами, караваем хлеба, шкварками и серебряной монетой.

— Кланяйтесь, господин шабос-нахаму, кланяйтесь всем,— напутствовала она Гершеле, уносившего с собой тяжелый узел.— Или — погодите немного, скоро муж придет.

— Нет,— ответил Гершеле.— Надо спешить. Неужели вы думаете, что вы у меня одна?

В темном лесу спали деревья, спали птицы, спали зеленые листы. Побледневшие звезды, сторожащие нас, задремали на небе.

Отойдя с версту, запыхавшийся Гершеле остановился, скинул узел со спины, сел на него и стал рассуждать сам с собою.

— Ты должен знать, Гершеле,— сказал он себе,— что на земле живет много дураков. Хозяйка корчмы была дура. Муж ее, может быть, умный человек, с большими кулаками, толстыми щеками — и длинным кнутом. Если он приедет домой и нагонит тебя в лесу, то...

Гершеле не стал затруднять себя приисканием ответа. Он тотчас же закопал узел в землю и сделал знак, чтобы легко найти заветное место.

Потом он побежал в другую сторону леса, разделся догола, обнял ствол дерева и принялся ждать. Ожидание длилось недолго. На рассвете Гершеле услышал хлопанье кнута, причмокивание губ и топот

копыт. Это ехал корчмарь, пустившийся в погоню за господином шабос-нахаму.

Поравнявшись с голым Гершеле, обнявшим дерево, корчмарь остановил лошадь, и лицо его сделалось таким же глупым, как у монаха, повстречавшегося с дьяволом.

— Что вы делаете здесь? — спросил он прерывистым голосом.

— Я человек с того света,— ответил Гершеле уныло.— Меня ограбили, забрали важные бумаги, которые я везу к рабби Борухл...

— Я знаю, кто вас ограбил,— завопил корчмарь.— И у меня счеты с ним. Какой дорогой он убежал?

— Я не могу сказать, какой дорогой,— горько прошептал Гершеле.— Если хотите, дайте мне вашу лошадь, я догоню его в мгновенье. А вы подождите меня здесь. Разденьтесь, станьте у дерева, поддерживайте его, не отходя ни на шаг до моего приезда. Дерево это — священное, много вещей в нашем мире держится на нем...

Гершеле недолго нужно было всматриваться в человека, чтобы узнать, чем человек дышит. С первого взгляда он понял, что муж недалеко ушел от жены.

И вправду, корчмарь разделся, встал у дерева. Гершеле сел на повозку и поскакал. Он откопал свои вещи, взвалил их на телегу и довез до опушки леса.

Там Гершеле снова взвалил узел на плечи и, бросив лошадь, зашагал по дороге, которая вела прямо к дому святого рабби Борухл.

Было уже утро. Птицы пели, закрыв глаза. Лошадь корчмаря, понурясь, повезла пустую телегу к тому месту, где она оставила своего хозяина.

Он ждал ее, прижавшись к дереву, голый под лучами восходившего солнца. Корчмарю было холодно. Он переминался с ноги на ногу.

## ВЕЧЕР У ИМПЕРАТРИЦЫ

*(Из петербургского дневника)*

В кармане кетовая икра и фунт хлеба. Приюта нет. Я стою на Аничковом мосту, прижавшись к клодтовым коням. Разбухший вечер двигается с Морской.

По Невскому, запутанные в вату, бродят оранжевые огоньки. Нужен угол. Голод пилит меня, как неумелый мальчуган скрипичную струну. Я перебираю в памяти квартиры, брошенные буржуазией. Аничков дворец вплывает в мои глаза всей своей плоской громадой. Вот он — угол.

Проскользнуть через вестибюль незамеченным — это нетрудно. Дворец пуст. Неторопливая мышь царапается в боковой комнате. Я в библиотеке вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Старый немец, стоя посредине комнаты, закладывает в уши вату. Он собирается уходить. Удача целует меня в губы. Немец мне знаком. Когда-то я напечатал бесплатно его заявление об утере паспорта. Немец принадлежит мне всеми своими честными и вялыми потрохами. Мы решаем — я буду ждать Луначарского в библиотеке, потому что, видите ли, мне надобен Луначарский.

Мелодически тикающие часы смыли немца из комнаты. Я один. Хрустальные шары пылают надо мной желтым шелковым светом. От труб парового отопления идет неизъяснимая теплота. Глубокие диваны облекают покоем мое иззябшее тело.

Поверхностный обыск дает результаты. Я обнаруживаю в камине картофельный пирог, кастрюлю, щепотку чая и сахар. И вот — спиртовая машинка высунула-таки свой голубоватый язычок. В этот вечер я поужинал по-человечески. Я разостлал на резном китайском столике, отсвечивавшем древним лаком, тончайшую салфетку. Каждый кусок этого сурового пайкового хлеба я запивал чаем сладким, дымящимся, играющим коралловыми звездами на граненых стенках стакана. Бархат сидений поглаживал пухлыми ладонями мои худые бока. За окном на петербургский гранит, помертвевший от стужи, ложились пушистые кристаллы снега.

Свет — сияющими лимонными столбами струился по теплым стенам, трогал корешки книг, и они мерцали ему в ответ голубым золотом.

Книги — истлевшие и душистые страницы — они отвели меня в далекую Данию. Больше полустолетия тому назад их дарили юной принцессе, отправлявшейся из своей маленькой и целомудренной страны в свирепую Россию. На строгих титулах, выцветшими чер-

нилами, в трех косых строчках, прощались с принцессой воспитавшие ее придворные дамы и подруги из Копенгагена — дочери государственных советников, учителя — пергаментные профессора из лицея и отец-король и мать-королева, плачущая мать. Длинные полки маленьких пузатых книг с почерневшими золотыми обрезами, детские евангелия, перепачканные чернилами, робкими кляксами, неуклюжими самодельными обращениями к Господу Иисусу, сафьяновые томики Ламартина и Шенье с засохшими, рассыпающимися в пыли цветами. Я перебираю эти истончившиеся листки, пережившие забвение, образ неведомой страны, нить необычайных дней возникает передо мной — низкие ограды вокруг королевских садов, роса на подстриженных газонах, сонные изумруды каналов и длинный король с шоколадными баками, покойное гудение колокола над дворцовой церковью и, может быть, любовь, девическая любовь, короткий шепот в тяжелых залах. Маленькая женщина с притертым пудрой лицом, пронырливая интриганка с неутомимой страстью к властвованью, яростная самка среди преображенских гренадеров, безжалостная, но внимательная мать, раздавленная немкой — императрица Мария Федоровна развивает передо мной свиток своей глухой и долгой жизни.

Только поздним вечером я оторвался от этой жалкой и трогательной летописи, от призраков с окровавленными черепами. У вычурного коричневого потолка по-прежнему спокойно пылали хрустальные шары, налитые роящейся пылью. Возле драных моих башмаков, на синих коврах застыли свинцовые ручейки. Утомленный работой мозга и этим жаром тишины, я заснул.

Ночью — по тускло блистающему паркету коридоров — я пробирался к выходу. Кабинет Александра III-его — высокая коробка с заколоченными окнами, выходящими на Невский. Комнаты Михаила Александровича — веселенькая квартира просвещенного офицера, занимающегося гимнастикой, стены обтянуты светленькой материей в бледно-розовых разводах, на низких каминах фарфоровые безделушки, подделанные под наивность и ненужную мясистость семнадцатого века.

Я долго ждал, прижавшись к колонне, пока не

заснул последний придворный лакей. Он свесил сморщенные, по давней привычке, выбритые щеки, фонарь слабо золотил его упавший высокий лоб.

В первом часу ночи я был на улице. Невский принял меня в свое бессонное чрево. Я пошел спать на Николаевский вокзал. Те, кто бежал отсюда, пусть знают, что в Петербурге есть где провести вечер бездомному поэту.

## ЛИНИЯ И ЦВЕТ

Александра Федоровича Керенского я увидел впервые двадцатого декабря тысяча девятьсот шестнадцатого года в обеденной зале санатории Оллила. Нас познакомил присяжный поверенный Зацареный из Туркестана. О Зацареном я знал, что он сделал себе обрезание на сороковом году жизни. Великий князь Петр Николаевич, опальный безумец, сосланный в Ташкент, дорожил дружбой Зацареного. Великий князь этот ходил по улицам Ташкента нагишом, женился на казачке, ставил свечи перед портретом Вольтера, как перед образом Иисуса Христа, и осушил беспредельные равнины Амударьи. Зацаренный был ему другом.

Итак — Оллила. В десяти километрах от нас сияли синие граниты Гельсингфорса. О Гельсингфорс, любовь моего сердца. О небо, текущее над эспланадой и улетающее, как птица.

Итак — Оллила. Северные цветы тлеют в вазах. Оленьи рога распростерлись на сумрачных плафонах. В обеденной зале пахнет сосной, прохладной грудью графини Тышкевич и шелковым бельем английских офицеров.

За столом рядом с Керенским сидит учтивый выкрест из департамента полиции. От него направо норвежец Никкельсен, владелец китобойного судна. Налево — графиня Тышкевич, прекрасная, как Мария-Антуанетта.

Керенский съел три сладких и ушел со мною в лес. Мимо нас пробежала на лыжах фрекен Кирсти.

— Кто это? — спросил Александр Федорович.

— Это дочь Никкельсена, фрекен Кирсти,— сказал я,— как она хороша...

Потом мы увидели вейку старого Иоганеса.

— Кто это? — спросил Александр Федорович.

— Это старый Иоганес,— сказал я.— Он везет из Гельсингфорса коньяк и фрукты. Разве вы не знаете кучера Иоганеса?

— Я знаю здесь всех,— ответил Керенский,— но я никого не вижу.

— Вы близоруки, Александр Федорович?

— Да, я близорук.

— Нужны очки, Александр Федорович.

— Никогда.

Тогда я сказал с юношеской живостью:

— Подумайте, вы не только слепы, вы почти мертвы. Линия, божественная черта, властительница мира, ускользнула от вас навсегда. Мы ходим с вами по саду очарований, в неописуемом финском лесу. До последнего нашего часа мы не узнаем ничего лучшего. И вот вы не видите обледенелых и розовых краев водопада, там, у реки. Плакучая ива, склонившаяся над водопадом,— вы не видите ее японской резьбы. Красные стволы сосен осыпаны снегом. Зернистый блеск роится в снегах. Он начинается мертвенной линией, прильнувшей к дереву и на поверхности волнистой, как линия Леонардо, увенчан отражением пылающих облаков. А шелковый чулок фрекен Кирсти и линия ее уже зрелой ноги? Купите очки, Александр Федорович, заклинаю вас...

— Дитя,— ответил он,— не тратьте пороху. Полтинник за очки — это единственный полтинник, который я сберегу. Мне не нужна ваша линия, низменная, как действительность. Вы живете не лучше учителя тригонометрии, а я объят чудесами даже в Клязьме. Зачем мне веснушки на лице фрекен Кирсти, когда я, едва различая ее, угадываю в этой девушке все то, что я хочу угадать? Зачем мне облака на этом чухонском небе, когда я вижу мечущийся океан над моей головой? Зачем мне линии — когда у меня есть цвета? Весь мир для меня — гигантский театр, в котором я единственный зритель без бинокля. Оркестр играет вступление к третьему акту, сцена от меня далеко, как во сне, сердце мое раздувается от восторга, я вижу пурпурный бархат на Джульетте, лиловые шелка на Ромео и ни одной фальшивой бороды... И вы хотите ослепить меня очками за полтинник...

Вечером я уехал в город. О Гельсингфорс, пристанище моей мечты...

А Александра Федоровича я увидел через полгода, в июне семнадцатого года, когда он был верховным главнокомандующим российскими армиями и хозяином наших судеб.

В тот день Троицкий мост был разведен. Путиловские рабочие шли на Арсенал. Трамвайные вагоны лежали на улицах плашмя, как издохшие лошади.

Митинг был назначен в Народном доме. Александр Федорович произнес речь о России — матери и жене. Толпа удушала его овчинами своих страстей. Что увидел в ощетинившихся овчинах он — единственный зритель без бинокля? Не знаю...

Но вслед за ним на трибуну взошел Троцкий, скривил губы и сказал голосом, не оставлявшим никакой надежды:

— Товарищи и братья...

## ИИСУСОВ ГРЕХ

Жила Арина при номерах на парадной лестнице, а Серега на черной — младшим дворником. Был промежду них стыд. Родила Арина Сереге на прощеное воскресенье двойню. Вода текет, звезда сияет, мужик ярится. Произошла Арина в другой раз в интересное положение, шестой месяц катится, они, бабьи месяцы, катючие. Сереге в солдаты идтить, вот и запятая. Арина возьми и скажи:

— Дожидаться тебя мне, Сергуня, нет расчета. Четыре года мы будем в разлуке, за четыре года маломало, а троих рожу. В номерах служить — подол заворотить. Кто прошел — тот господин, хучь еврей, хучь всякий. Придешь ты со службы — утроба у мине утомленная, женщина я буду сношенная, рази я до тебя досягну?

— Диствительно,— качнул головой Серега.

— Женихи при мне сейчас находятся: Трофимыч подрядчик — большие грубияне, да Исай Абрамыч, старичок, Николо-Святской церкви староста, слабосильный мужчина,— да мне сила ваша злодейская с души воротит, как на духу говорю, замордовали

совсем... Рассыплюсь я от сего числа через три месяца, отнесу младенца в воспитательный и пойду за них замуж...

Серега это услыхал, снял с себя ремень, перетянул Арину, геройски по животу норовит.

— Ты,— говорит ему баба,— до брюха не очень клонись, твоя ведь начинка, не чужая...

Было тут бито-колочено, текли тут мужичьи слезы, текла тут бабья кровь, однако ни свету, ни выходу. Пришла тогда баба к Иисусу Христу и говорит:

— Так и так, господи Иисусе. Я — баба Арина с номерей «Мадрид и Лувр», что на Тверской. В номерах служить — подол заворотить. Кто прошел — тот господин, хучь еврей, хучь всякий. Ходит тут по земле раб твой, младший дворник Серега. Родила я ему в прошлом годе на прощеное воскресенье двойню...

И все она господу расписала.

— А ежели Сереге в солдаты вовсе не пойтить? — возомнил тут спаситель.

— Околоточный небось потащит...

— Околоточный,— поник головою господь,— я об ем не подумал... Слышишь, а ежели тебе в чистоте пожить?..

— Четыре-то года? — ответила баба.— Тебя послушать — всем людям разживотиться надо, у тебя это давняя повадка, а приплод где возьмешь? Ты меня толком облегчи...

Навернулся тут на господни щеки румянец, задела его баба за живое, однако смолчал. В ухо себя не поцелуешь, это и богу ведомо.

— Вот что, раба божия, славная грешница дева Арина,— возвестил тут господь во славе своей,— шаландается у меня на небесах ангелок, Альфредом звать, совсем от рук отбился, все плачет: что это вы, господи, меня на двадцатом году жизни в ангелы произвели, когда я вполне бодрый юноша. Дам я тебе, угодница, Альфреда-ангела на четыре года в мужья. Он тебе и молитва, он тебе и защита, он тебе и хахаль. А родить от него не токмо что ребенка, а и утенка немыслимо, потому забавы в нем много, а серьезности нет...

— Это мне и надо,— взмолилась дева Арина,— я от их серьезности почитай три раза в два года помираю...

— Будет тебе сладостный отдых, дитя божие Арина, будет тебе легкая молитва, как песня. Аминь.

На том и порешили. Привели сюда Альфреда. Щуплый парнишка, нежный, за голубыми плечиками два крыла колышутся, играют розовым огнем, как голуби в небесах плещутся. Облапила его Арина, рыдает от умиления, от бабьей душевности.

— Альфредушко, утешеньишко мое, суженый ты мой...

Наказал ей, однако, господь, что как в постелю ложиться — ангелу крылья сымать надо, они у него на задвижках, вроде как дверные петли, сымать и в чистую простыню на ночь заворачивать, потому — при каком-нибудь метании крыло сломать можно, оно ведь из младенческих вздохов состоит, не более того.

Благословил сей союз господь в последний раз; призвал к этому делу архиерейский хор, весьма громогласное пение оказали, закуски никакой, а ни-ни, не полагается, и побежала Арина с Альфредом обнявшись по шелковой лестничке вниз на землю. Достигли Петровки,— вон ведь куда баба метнула,— купила она Альфреду (он, между прочим, не то что без порток, а совсем натуральный был), купила она ему лаковые полсапожки, триковые брюки в клетку, егерскую фуфайку, жилетку из бархата электрик.

— Остальное,— говорит,— мы, дружочек, дома найдем...

В номерах Арина в тот день не служила, отпросилась. Пришел Серега скандалить, она к нему не вышла, а сказала из-за двери:

— Сергей Нифантьич, я себе сейчас ноги мыю и просю вас без скандалу удалиться...

Ни слова не сказал, ушел. Это уже ангельская сила начала себя оказывать.

А ужин Арина сготовила купецкий,— эх, чертовское в ней было самолюбие. Полштофа водки, вино особо, сельдь дунайская с картошкой, самовар чаю. Альфред как эту земную благодать вкусил, так его и сморило. Арина в момент крылышки ему с петель сняла, упаковала, самого в постелю снесла.

Лежит у нее на пуховой перине, на драной многогрешной постели белоснежное диво, неземное сияние от него исходит, лунные столбы вперемежку с красными ходят по комнате, на лучистых ногах качаются.

И плачет Арина и радуется, поет и молится. Выпало тебе, Арина, неслыханное на этой побитой земле, благословенна ты в женах!

Полштофа до дна выпили. Оно и сказалось. Как заснули — она на Альфреда брюхом раскаленным, шестимесячным, Серегиным — возьми и навались. Мало ей с ангелом спать, мало ей того, что никто рядом на стенку не плюет, не храпит, не сопит, мало ей этого, ражей бабе, яростной,— так нет, еще бы пузо греть вспученное и горючее. И задавила она ангела божия, задавила спьяну да с угару, на радостях, задавила, как младенца недельного, под себя подмяла, и пришел ему смертный конец, и с крыльев, в простыню завороченных, бледные слезы закапали.

А пришел рассвет — деревья гнутся долу. В далеких лесах северных каждая елка попом сделалась, каждая елка преклонила колени.

Снова стоит баба перед престолом господним, широка в плечах, могуча, на красных руках ее юный труп лежит.

— Воззри, господи...

Тут Иисусово кроткое сердце не выдержало, проклял он в сердцах женщину:

— Как повелось на земле, так и с тобой поведется, Арина...

— Что ж, господи,— отвечает ему женщина неслышным голосом,— я ли свое тяжелое тело сделала, я ли водку курила, я ли бабью душу одинокую, глупую, выдумала...

— Не желаю я с тобой вожжаться,— восклицает господь Иисус,— задавила ты мне ангела, ах ты, паскуда...

И кинуло Арину гнойным ветром на землю, на Тверскую улицу, в присужденные ей номера «Мадрид и Лувр». А там уж море по колено. Серега гуляет напоследях, как он есть новобранец. Подрядчик Трофимыч только что из Коломны приехал, увидел Арину, какая она здоровая да краснощекая.

— Ах ты, пузанок,— говорит, и тому подобное.

Исай Абрамыч, старичок, об этом пузанке прослышав, тоже гнусавит.

— Я,— говорит,— не могу с тобой закон иметь после происшедшего, однако тем же порядком полежать могу...

Ему бы в матери сырой земле лежать, а не то, что как-нибудь иначе, однако и он в душу поплевал. Все точно с цепи сорвались — кухонные мальчишки, купцы и инородцы. Торговый человек — он играет.

И вот тут сказке конец.

Перед тем как родить, потому что время три месяца отчеканило, вышла Арина на черный двор за дворницкую, подняла свой ужасно громадный живот к шелковым небесам и промолвила бессмысленно:

— Вишь, господи, вот пузо. Барабанят по ем, ровно горох. И что это такое — не пойму. И опять этого, господи, не желаю...

Слезами омыл Иисус Арину в ответ, на колени стал спаситель.

— Прости меня, Аринушка, бога грешного, и что я это с тобой исделал...

— Нету тебе моего прощения, Иисус Христос,— отвечает ему Арина,— нету.

## КОНЕЦ СВ. ИПАТИЯ

Вчера я был в Ипатьевском монастыре, и монах Илларион, последний из обитающих здесь монахов, показывал мне дом бояр Романовых.

Московские люди пришли сюда в 1613 году просить на царство Михаила Федоровича.

Я увидел истоптанный угол, где молилась инокиня Марфа, мать царя, сумрачную ее опочивальню и вышку, откуда она смотрела гоньбу волков в костромских лесах.

Мы прошли с Илларионом по ветхим мостикам, заваленным сугробами, распугали ворон, угнездившихся в боярском терему, и вышли к церкви неописуемой красоты.

Обведенная венцом снегов, раскрашенная кармином и лазурью, она легла на задымленное небо севера, как пестрый бабий платок, расписанный русскими цветами.

Линии непышных ее куполов были целомудренны, голубые ее пристроечки были пузаты, и узорчатые переплеты окон блестели на солнце ненужным блеском.

В пустынной этой церкви я нашел железные ворота, подаренные Иваном Грозным, и обошел древние

иконы, весь этот склеп и тлен безжалостной святыни.

Угодники — бесноватые нагие мужики с истлевшими бедрами — корчились на ободранных стенах, и рядом с ними была написана российская богородица: худая баба, с раздвинутыми коленями и волочащимися грудями, похожими на две лишние зеленые руки.

Древние иконы окружили беспечное мое сердце холодом мертвенных своих страстей, и я едва спасся от них, от гробовых этих угодников.

Их бог лежал в церкви, закостеневший и начищенный, как мертвец, уже обмытый в своем дому, но оставленный без погребения.

Один отец Илларион бродил вокруг своих трупов. Он припадал на левую ногу, задремывал, чесал в грязной бороде и скоро надоел мне.

Тогда я распахнул врата Ивана Четвертого, пробежал под черными сводами на площадку, и там блеснула мне Волга, закованная во льды.

Дым Костромы поднимался кверху, пробивая снега; мужики, одетые в желтые нимбы стужи, возили муку на дровнях, и битюги их вбивали в лед железные копыта.

Рыжие битюги, обвешанные инеем и паром, шумно дышали на реке, розовые молнии севера летали в соснах, и толпы, неведомые толпы, ползли вверх по обледенелым склонам.

Зажигательный ветер дул на них с Волги, множество баб проваливалось в сугробы, но бабы шли все выше и стягивались к монастырю, как осаждающие колонны.

Женский хохот гремел над горой, самоварные трубы и лохани въезжали на подъем, мальчишеские коньки стенали на поворотах.

Старые старухи втаскивали ношу на высокую гору — на гору святого Ипатия,— младенцы спали в их салазках, и белые козы шли у старух на поводу.

— Черти,— закричал я, увидев их, и отступил перед неслыханным нашествием.— Не к инокине ли Марфе идете вы, чтобы просить на царство Михаила Романова, ее сына?

— Ну тебя к шуту! — ответила мне баба и выступила вперед.— Зачем играешь с нами на дороге? Нам детей, что ль, от тебя нести?

И, вложившись в сани, она вкатила их на монастырский двор и чуть не сбила с ног потерявшегося отца Иллариона. Она вкатила в колыбель царей московских свои лохани, своих гусей, свой граммофон без трубы и, назвавшись Савичевой, потребовала для себя квартиру № 19 в архиерейских покоях.

И, к удивлению моему, Савичевой дали эту квартиру и всем другим вслед за нею.

И мне объяснили тут, что союз текстильщиков отстроил в сгоревшем корпусе 40 квартир для рабочих Костромской объединенной льняной мануфактуры и что сегодня они переселяются в монастырь.

Отец Илларион, стоя в воротах, пересчитал всех коз и переселенцев; потом он позвал меня чай пить и в молчании поставил на стол чашки, украденные им во дворе при взятии в музей утвари бояр Романовых.

Мы пили чай из этих чашек до поту, бабьи босые ноги топтались перед нами, на подоконниках: бабы мыли стекла на новых местах.

Потом дым повалил изо всех труб, точно сговорился, незнакомый петух взлетел на могилу игумена отца Сиония и загорланил, чья-то гармошка, протомившись в интродукциях, запела нежную песню, и чужая старушонка в зипуне, просунув голову в келью отца Иллариона, попросила у него взаймы щепотку соли ко щам.

Был уже вечер, когда к нам пришла старушонка: багровые облака пухли над Волгой, термометр на наружной стене показывал 40 градусов мороза, исполинские костры, изнемогая, метались на реке,— все же неунывающий какой-то парень упрямо лез по промерзшей лестнице к перекладине над воротами — лез затем, чтобы повесить там пустяковый фонарик и вывеску, на которой было изображено множество букв: СССР и РСФСР, и знак союза текстилей, и серп и молот, и женщина, стоящая у ткацкого станка, от которого идут лучи во все стороны.

**ДОРОГА**

Я ушел с развалившегося фронта в ноябре семнадцатого года. Дома мать собрала мне белья и сухарей. В Киев я угодил накануне того дня, когда Му-

равьев начал бомбардировку города. Мой путь лежал на Петербург. Двенадцать суток отсидели мы в подвале гостиницы Хаима Цирюльника на Бессарабке. Пропуск на выезд я получил от коменданта советского Киева.

В мире нет зрелища унылее, чем Киевский вокзал. Временные деревянные бараки уже много лет оскверняют подступ к городу. На мокрых досках трещали вши. Дезертиры, мешочники, цыгане валялись вперемешку. Старухи галичанки мочились на перрон стоя. Низкое небо было изборождено тучами, налито мраком и дождем.

Трое суток прошло, прежде чем ушел первый поезд. Вначале он останавливался через каждую версту, потом разошелся, колеса застучали горячей, запели сильную песню. В нашей теплушке это сделало всех счастливыми. Быстрая езда делала людей счастливыми в восемнадцатом году. Ночью поезд вздрогнул и остановился. Дверь теплушки разошлась, зеленое сияние снегов открылось нам. В вагон вошел станционный телеграфист в дохе, стянутой ремешком, и мягких кавказских сапогах. Телеграфист протянул руку и пристукнул пальцем по раскрытой ладони.

— Документы об это место...

Первой у двери лежала на тюках неслышная, свернувшаяся старуха. Она ехала в Любань к сыну железнодорожнику. Рядом со мной дремали, сидя, учитель Иегуда Вейнберг с женой. Учитель женился несколько дней тому назад и увозил молодую в Петербург. Всю дорогу они шептались о комплексном методе преподавания, потом заснули. Руки их и во сне были сцеплены, вдеты одна в другую.

Телеграфист прочитал их мандат, подписанный Луначарским, вытащил из-под дохи маузер с узким и грязным дулом и выстрелил учителю в лицо.

У женщины вздулась мягкая шея. Она молчала. Поезд стоял в степи. Волнистые снега роились полярным блеском. Из вагонов на полотно выбрасывали евреев. Выстрелы звучали неровно, как возгласы. Мужик с развязавшимся треухом отвел меня за обледеневшую поленницу дров и стал обыскивать. На нас, затмеваясь, светила луна. Лиловая стена леса курилась. Чурбаки негнувшихся мороженых пальцев

ползли по моему телу. Телеграфист крикнул с площадки вагона:

— Жид или русский?

— Русский,— роясь во мне, пробормотал мужик,— хучь в раббины отдавай...

Он приблизил ко мне мятое озабоченное лицо,— отодрал от кальсон четыре золотых десятирублевки, зашитых матерью на дорогу, снял с меня сапоги и пальто, потом, повернув спиной, стукнул ребром ладони по затылку и сказал по-еврейски:

— Анклойф, Хаим...[1]

Я пошел, ставя босые ноги в снег. Мишень зажглась на моей спине, точка мишени проходила сквозь ребра. Мужик не выстрелил. В колоннах сосен, в накрытом подземелье леса качался огонек в венце багрового дыма. Я добежал до сторожки. Она курилась в кизяковом дыму. Лесник застонал, когда я ворвался в будку. Обмотанный полосами, нарезанными из шуб и шинелей, он сидел в бамбуковом бархатном креслице и крошил табак у себя на коленях. Растягиваемый дымом, лесник стонал, потом, поднявшись, он поклонился мне в пояс:

— Уходи, отец родной... Уходи, родной гражданин...

Он вывел меня на тропинку и дал тряпку, чтобы обмотать ноги. Я добрел до местечка поздним утром. В больнице не оказалось доктора, чтобы отрезать отмороженные мои ноги: палатой заведовал фельдшер. Каждое утро он подлетал к больнице на вороном коротком жеребце, привязывал его к коновязи и входил к нам воспламененный, с ярким блеском в глазах.

— Фридрих Энгельс,— светясь углями зрачков, фельдшер склонялся к моему изголовью,— учит вашего брата, что нации не должны существовать, а мы обратно говорим,— нация обязана существовать...

Срывая повязки с моих ног, он выпрямлялся и, скрипя зубами, спрашивал негромко:

— Куда? Куда вас носит... Зачем она едет, ваша нация?.. Зачем мутит, турбуется...

Совет вывез нас ночью на телеге — больных, не поладивших с фельдшером, и старых евреек в париках, матерей местечковых комиссаров.

---

[1] Беги, Хаим *(евр.)*.

Ноги мои зажили. Я двинулся дальше по нищему пути на Жлобин, Оршу, Витебск.

Дуло гаубичного орудия служило мне прикрытием на перегоне Ново-Сокольники — Локня. Мы ехали на открытой площадке. Федюха, случайный спутник, проделывавший великий путь дезертиров, был сказочник, острослов, балагур. Мы спали под могучим, коротким, задранным вверх дулом и согревались друг от друга в холстинной яме, устланной сеном, как логово зверя. За Локней Федюха украл мой сундучок и исчез. Сундучок выдан был местечковым Советом и заключал в себе две пары солдатского белья, сухари и несколько денег. Двое суток — мы приближались к Петербургу — прошли без пищи. На Царскосельском вокзале я отбыл последнюю стрельбу. Заградительный отряд палил в воздух, встречая подходивший поезд. Мешочников вывели на перрон, с них стали срывать одежду. На асфальт, рядом с настоящими людьми, валились резиновые, налитые спиртом. В девятом часу вечера вокзал вышвырнул меня на Загородный проспект из воющего своего острога. На стене, через улицу, у заколоченной аптеки, термометр показывал 24 градуса мороза. В туннеле Гороховой гремел ветер; над каналом закатывался газовый рожок. Базальтовая, остывшая Венеция стояла недвижимо. Я вошел в Гороховую, как в обледенелое поле, заставленное скалами.

В доме номер два, в бывшем здании градоначальства, помещалась Чека. Два пулемета, две железных собаки, подняв морду, стояли в вестибюле. Я показал коменданту письма Вани Калугина, моего унтер-офицера в Шуйском полку. Калугин стал следователем в Чека; он звал меня в письмах.

— Ступай в Аничков,— сказал комендант,— он там теперь...

— Не дойти мне,— и я улыбнулся в ответ.

Невский Млечным Путем тек вдаль. Трупы лошадей отмечали его, как верстовые столбы. Поднятыми ногами лошади поддерживали небо, упавшее низко. Раскрытые животы их были чисты и блестели. Старик, похожий на гвардейца, провез мимо меня игрушечные резные сани. Напрягаясь, он вбивал в лед кожаные ноги, на макушке у него сидела тироль-

ская шапочка, бечевка связывала бороду, сунутую в шаль.

— Не дойти мне,— сказал я старику.

Он остановился. Львиное, изрытое лицо его было полно спокойствия. Он подумал о себе и повлек сани дальше.

«Так отпадает необходимость завоевать Петербург»,— подумал я и попытался вспомнить имя человека, раздавленного копытами арабских скакунов в самом конце пути. Это был Иегуда Галеви.

Два китайца в котелках, с буханками хлеба под мышками стояли на углу Садовой. Зябким ногтем они отмечали дольки на хлебе и показывали их подходившим проституткам. Женщины безмолвным парадом проходили мимо них.

У Аничкова моста, у Клодтовых коней, я присел на выступ статуи.

Локоть мой подвернулся под голову, я растянулся на полированной плите, но гранит опалил меня, выстрелил мною, ударил и бросил вперед, ко дворцу.

В боковом, брусничного цвета, флигеле дверь была раскрыта. Голубой рожок блестел над заснувшим в креслах лакеем. В морщинистом чернильно-мертвенном лице спадала губа, облитая светом гимнастерка без пояса накрывала придворные штаны, шитый золотом позумент. Мохнатая, чернильная стрелка указывала путь к коменданту. Я поднялся по лестнице и прошел пустые низкие комнаты. Женщины, написанные черно и сумрачно, водили хороводы на потолках и стенах. Металлические сетки затягивали окна, на рамах висели отбитые шпингалеты. В конце анфилады, освещенный точно на сцене, сидел за столом в кружке соломенных мужицких волос Калугин. Перед ним на столе горою лежали детские игрушки, разноцветные тряпицы, изорванные книги с картинками.

— Вот и ты,— сказал Калугин, поднимая голову,— здорово... Тебя здесь надо..

Я отодвинул рукой игрушки, разбросанные по столу, лег на блистающую его доску и... проснулся — прошли мгновения или часы — на низком диване. Лучи люстры играли надо мной в стеклянном водопаде. Срезанные с меня лохмотья валялись на полу в натекшей луже.

— Купаться,— сказал стоявший над диваном Калугин, поднял меня и понес в ванну. Ванна была старинная, с низкими бортами. Вода не текла из кранов. Калугин поливал меня из ведра. На палевых, атласных пуфах, на плетеных стульях без спинок разложена была одежда — халат с застежками, рубаха и носки из витого, двойного шелка. В кальсоны я ушел с головой, халат был скроен на гиганта, ногами я отдавливал себе рукава.

— Да ты шутишь с ним, что ли, с Александром Александровичем,— сказал Калугин, закатывая на мне рукава,— мальчик был пудов на девять...

Кое-как мы подвязали халат императора Александра Третьего и вернулись в комнату, из которой вышли. Это была библиотека Марии Федоровны, надушенная коробка с прижатыми к стенам золочеными, в малиновых полосах шкафами.

Я рассказал Калугину — кто убит у нас в Шуйском полку, кто выбран в комиссары, кто ушел на Кубань. Мы пили чай, в хрустальных стенах стаканов расплывались звезды. Мы заедали их колбасой из конины, черной и сыроватой. От мира отделял нас густой и легкий шелк гардин; солнце, вделанное в потолок, дробилось и сияло, душный жар налетал от труб парового отопления.

— Была не была,— сказал Калугин, когда мы разделались с кониной. Он вышел куда-то и вернулся с двумя ящиками — подарком султана Абдул-Гамида русскому государю. Один был цинковый, другой сигарный ящик, заклеенный лентами и бумажными орденами. «A sa majesté, l'Empereur de toutes les Russies [1] — было выгравировано на цинковой крышке — от доброжелательного кузена...»

Библиотеку Марии Федоровны наполнил аромат, который был ей привычен четверть столетия назад. Папиросы 20 см в длину и толщиной в палец были обернуты в розовую бумагу; не знаю, курил ли кто в свете, кроме всероссийского самодержца, такие папиросы, но я выбрал сигару. Калугин улыбался, глядя на меня.

— Была не была,— сказал он,— авось не считаны... Мне лакеи рассказывали — Александр Третий был

[1] Его величеству, императору всероссийскому *(фр.)*.

завзятый курильщик: табак любил, квас да шампанское... А на столе у него, погляди, пятачковые глиняные пепельницы да на штанах — латки...

И вправду, халат, в который меня облачили, был засален, лоснился и много раз чинен.

Остаток ночи мы провели, разбирая игрушки Николая Второго, его барабаны и паровозы, крестильные его рубашки и тетрадки с ребячьей мазней. Снимки великих князей, умерших в младенчестве, пряди их волос, дневники датской принцессы Дагмары, письма сестры ее, английской королевы, дыша духами и тленом, рассыпались под нашими пальцами. На титулах евангелий и Ламартина подруги и фрейлины — дочери бургомистров и государственных советников — в косых старательных строчках прощались с принцессой, уезжавшей в Россию. Мелкопоместная королева Луиза, мать ее, позаботилась об устройстве детей; она выдала одну дочь за Эдуарда VII, императора Индии и английского короля, другую за Романова, сына Георга сделали королем греческим. Принцесса Дагмара стала Марией в России. Далеко ушли каналы Копенгагена, шоколадные баки короля Христиана. Рожая последних государей, маленькая женщина с лисьей злобой металась в частоколе преображенских гренадеров, но родильная ее кровь пролилась в неумолимую мстительную гранитную землю...

До рассвета не могли мы оторваться от глухой, гибельной этой летописи. Сигара Абдул-Гамида была докурена. Наутро Калугин повел меня в Чека, на Гороховую 2. Он поговорил с Урицким. Я стоял за драпировкой, падавшей на пол суконными волнами. До меня долетали обрывки слов.

— Парень свой,— говорил Калугин,— отец лавочник, торгует, да он отбился от них... Языки знает...

Комиссар внутренних дел коммун Северной области вышел из кабинета раскачивающейся своей походкой. За стеклами пенсне вываливались обоженные бессонницей, разрыхленные, запухшие веки.

Меня сделали переводчиком при Иностранном отделе. Я получил солдатское обмундирование и талоны на обед. В отведенном мне углу зала бывшего

Петербургского градоначальства я принялся за перевод показаний, данных дипломатами, поджигателями и шпионами.

Не прошло и дня, как все у меня было,— одежда, еда, работа и товарищи, верные в дружбе и смерти, товарищи, каких нет нигде в мире, кроме как в нашей стране.

Так началась тринадцать лет назад превосходная моя жизнь, полная мысли и веселья.

## ИВАН-ДА-МАРЬЯ

Сергей Васильевич Малышев, ставший потом председателем Нижегородского ярмарочного комитета, образовал летом восемнадцатого года первую в нашей стране продовольственную экспедицию. С одобрения Ленина он нагрузил несколько поездов товарами крестьянского обихода и повез их в Поволжье, для того чтобы там обменять на хлеб.

В эту экспедицию я попал конторщиком. Местом действия мы выбрали Ново-Николаевский уезд Самарской губернии. По вычислениям ученых этот уезд при правильном на нем хозяйствовании может прокормить всю Московскую область.

Неподалеку от Саратова, на прибрежной станции Увек, товары были перегружены на баржу. Трюм этой баржи превратился в самодельный универсальный магазин. Между выгнутыми ребрами плавучего склада мы прибили портреты Ленина и Маркса, окружили их колосьями, на полках расположили ситцы, косы, гвозди, кожу; не обошлось без гармоник и балалаек.

Там же, на Увеке, нам придали буксир — «Иван Тупицын», названный по имени волжского купца, прежнего хозяина. На пароходе разместился «штаб» — Малышев с помощниками и кассирами. Охрана и приказчики устроились в барже, под стойками.

Перегрузка заняла неделю. В июльское утро «Тупицын», вываливая жирные клубы дыма, потащил нас вверх по Волге, к Баронску. Немцы называли

его Катариненштадт. Это теперь столица области немцев Поволжья, прекрасного края, населенного мужественными немногословными людьми.

Степь, прилегающая к Баронску, покрыта таким тяжелым золотом пшеницы, какое есть только в Канаде. Она завалена коронами подсолнухов и маслянными глыбами чернозема. Из Петербурга, вылизанного гранитным огнем, мы перенеслись в русскую и этим еще более необыкновенную Калифорнию. Фунт хлеба стоил в нашей Калифорнии шестьдесят копеек, а не десять рублей, как на севере. Мы накинулись на булку с ожесточением, которого теперь нельзя передать; в паутинную мякоть вонзались собачьи отточившиеся зубы. Недели две после приезда нас томил хмель блаженного несварения желудка. Кровь, потекшая по жилам, имела — так мне казалось — вкус и цвет малинового варенья.

Малышев рассчитал верно; торговля пошла ходко. Со всех краев степи к берегу тянулись медленные потоки телег. По спинам сытых лошадей двигалось солнце. Солнце сияло на вершинах пшеничных холмов. Телеги тысячами точек спускались к Волге. Рядом с лошадьми шагали гиганты в шерстяных фуфайках, потомки голландских фермеров, переселенных при Екатерине в Приволжские урочища. Лица их остались такими же, как в Саардаме и Гаарлеме. Под патриархальным мхом бровей, в сети кожаных морщин, блестели капли поблекшей бирюзы. Дым трубок таял в голубых молниях, протянувшихся над степью. Колонисты медленно всходили на баржу по трапу; деревянные их башмаки стучали, как колокола твердости и покоя. Товар выбирали старухи в накрахмаленных чепцах и коричневых тальмах. Покупки выносились к бричкам. Доморощенные живописцы рассыпали вдоль этих возков охапки полевых цветов и розовые бычьи морды. Наружная сторона бричек была закрашена обыкновенно синим глубоким тоном. В нем горели восковые яблоки и сливы, тронутые солнечным лучом.

Из дальних мест приезжали на верблюдах. Животные ложились на берегу, расчерчивая горизонт сваливающимися горбами. Торговля наша кончалась к вечеру. Лавка запиралась; охрана, состоявшая из инвалидов, и приказчики разоблачались и прыгали

с бортов в Волгу, подожженную закатом. В далекой степи красными валами ходили хлеба, в небе обрушивались стены заката. Купанье сотрудников продовольственной в Самарскую губернию экспедиции (так назывались мы в официальных бумагах) представляло собой необыкновенное зрелище. Калеки поднимали в воде илистые розовые фонтаны. Охранники были об одной ноге, другие недосчитывали руки или глаза. Они спрягались по двое, чтобы плавать. На двух человек приходилось две ноги, они колотили обрубками по воде, илистые струи втягивались водоворотом между их тел. Рыча и фыркая калеки вываливались на берег; разыгравшись, они потрясали культяпками навстречу несущимся небесам, закидывали себя песком и боролись, уминая друг дружке обрубленные конечности. После купанья мы отправлялись ужинать в трактир Карла Бидермаера. Этот ужин увенчивал наши дни. Две девки с кроваво-кирпичными руками — Августа и Анна — подавали нам котлеты, рыжие булыжники, шевелившиеся в струях кипящего масла и заваленные скирдами жареного картофеля. Для вкуса в деревенскую гороподобную эту еду подбавляли лук и чеснок. Перед нами ставили банки с кислыми огурцами. Из круглых окошечек, вырезанных высоко, у потолка, шел с базарной площади дым заката. Огурцы курились в багровом дыму и пахли, как морской берег. Мы запивали мясо сидром. Обитатели Песков и Охты, обыватели пригородов, обледеневших в желтой моче, мы каждый вечер наново чувствовали себя завоевателями. Окошечки, высеченные в столетних черных стенах, походили на иллюминаторы. Сквозь них просвечивал дворик божественной чистоты, немецкий дворик с кустами роз и глициний, с фиолетовой пропастью раскрытой конюшни. Старухи в тальмах вязали у порогов чулки Гулливера. С пастбищ возвращались стада. Августа и Анна присаживались на скамеечки к коровам. В сумерках мерцали радужные коровьи глаза. Войны, казалось, не было и нет на свете. И все-таки фронт уральских казаков проходил в двадцати верстах от Баронска. Карл Бидермаер не догадывался о том, что гражданская война катится к его дому.

Ночью я возвращался в наш трюм с Селецким, таким же конторщиком, как и я. Он запевал по доро-

ге. Из стрельчатых окон высовывались головы в колпаках. Лунный свет стекал по красным каналам черепицы. Глухой лай собак поднимался над русским Саардамом. Августы и Анны, окаменев, слушали пение Селецкого. Бас его доносил нас до степи, к готической изгороди хлебных амбаров. Лунные перекладины дрожали на реке, тьма была легка; она отступала к прибрежному песку; в порванном неводе загибались светящиеся черви.

Голос Селецкого был неестественной силы Саженный детина, он принадлежал к тому разряду провинциальных Шаляпиных, которых, на счастье наше, рассеяно множество на Руси. У него было такое же лицо, как у Шаляпина — не то шотландского кучера, не то екатерининского вельможи. Он был простоват, не в пример божественному своему прототипу, но голос его, безгранично, смертельно раздвигаясь, наполнял душу сладостью самоуничтожения и цыганского забытья. Кандальные песни он предпочитал итальянским ариям. От Селецкого в первый раз услышал я гречаниновскую «Смерть». Грозно, неумолимо, страстно шло по ночам над темной водой:

...Она не забудет, придет, приголубит,
Обнимет, навеки полюбит,—
И брачный свой, тяжкий, наденет венец.

В мгновенной оболочке, называемой человеком, песня течет, как вода вечности. Она все смывает и все родит.

Фронт проходил в двадцати верстах. Уральские казаки, соединившись с чешским батальоном майора Воженилика, пытались выбить из Николаевска разрозненные отряды красных. Севернее — из Самары — наступали войска Комуча — Комитета членов Учредительного собрания. Распыленные и необученные наши части перегруппировались на левом берегу. Только что изменил Муравьев. Советским главнокомандующим был назначен Вицетис.

Оружие для фронта привозили из Саратова. Раз, а то и два раза в неделю к баронской пристани пришвартовывался бело-розовый самолетский пароход «Иван-да-Марья». Он привозил винтовки и снаряды. Палуба парохода бывала уставлена ящиками с наби-

тыми по трафарету черепами, с надписью под черепами: «Смертельно».

Командовал пароходом Коростелев, испитой человек с льняным висячим волосом. Коростелев был бегун, неустроенная душа, бродяга. Он на парусниках ездил по Белому морю, пешком обошел Россию, побывал в тюрьме и в монастыре на послушании.

Возвращаясь от Бидермаера, мы всегда заходили к нему, если находили у пристани огни «Иван-да-Марьи». Однажды ночью, поравнявшись с хлебными амбарами, с волшебной этой линией синих и коричневых замков, мы увидели факел, пылавший высоко в небе. Мы возвращались с Селецким домой в том размягченном и страстном состоянии, какое может произвести необыкновенная эта сторона, молодость, ночь, тающие огненные кольца на реке.

Волга катилась неслышно. Огней не было на «Иван-да-Марье», корпус парохода темнел мертво, только факел рвался высоко над ним. Пламя металось над мачтой и чадило. Селецкий пел, побледнев и закинув голову. Он подошел к воде и оборвал. Мы взошли на мостики, никем не охраняемые. На палубе валялись ящики и орудийные колеса. Я толкнул дверь капитанской каюты, она открылась. На залитом столе горела без стекла жестяная лампа. Железка, окружавшая фитиль, плавилась. Окна были забиты горбатыми досками. От бидонов, валявшихся под столом, шел серный дух самогона. Коростелев в холщовой рубахе сидел на полу в зеленых струях блевотины. Монашеский волос, склеившись, стоял вокруг его лица. Коростелев, не отрываясь, смотрел с полу на своего комиссара латыша Ларсона. Тот, поставив перед собой желтый картон «Правды», читал его в свете плавящегося керосинового костра.

— Вот ты какой,— сказал с полу Коростелев,— продолжай то, что ты говорил... Мучай нас, если хочешь...

— Зачем я буду говорить,— отозвался Ларсон, повернулся спиной и отгородился своим картоном,— лучше я тебя послушаю...

На бархатном диване, свесив ноги, сидел рыжий мужик.

— Лисей,— сказал ему Коростелев,— водки.

— Вся,— ответил Лисей,— и достать негде...

Ларсон отставил картон и захохотал вдруг, точно дробь стала выбивать:

— Российскому человеку выпить требуется,— латыш говорил с акцентом,— у российского человека душа мало-мало разошлась, а тут достать негде... Зачем тогда Волга называется?..

Худая детская шея Коростелева вытянулась, ноги его в холщовых штанах разбросались по полу. Жалобное недоумение отразилось в его глазах, потом они засияли.

— Мучай нас,— сказал он чуть слышно и вытянул шею,— мучай нас, Карл...

Лисей сложил пухлые руки и посмотрел на латыша сбоку:

— Ишь, Волгу ремизит... Нет, товарищ, ты нашу Волгу не ремизь, не порочь... Знаешь, как у нас песня играется: «Волга-матушка, река царица»...

Мы с Селецким все стояли у двери. Я подумывал об отступлении.

— Вот никоим образом не пойму,— обратился к нам Ларсон, он, видимо, продолжал давнишний спор,— может, товарищи разъяснят мне, как это так выходит, что железо-бетон оказывается хуже березок да осинок, а дирижабли хуже калуцкого дерьма?..

Лисей повертел головой в ваточном воротнике. Ноги его не доставали до полу, пухлыми пальцами, прижатыми к животу, он плел невидимую сеть.

— Что ты, друг, об Калуге знаешь,— успокоительно сказал Лисей,— в Калуге, я тебе скажу, знаменитый народ живет: великолепный, если желаешь знать, народ...

— Водки,— произнес с полу Коростелев.

Ларсон снова запрокинул поросячью свою голову и резко захохотал.

— Мы-ста да вы-ста,— пробормотал латыш, придвигая к себе картон,— авось да небось...

Бурный пот бил на его лбу, в колтуне бесцветных волос плавали масляные струи огня.

— Авось да небось,— он снова фыркнул,— мы-ста да вы-ста...

Коростелев потрогал пальцами вокруг себя. Он двинулся и пополз, забирая вперед руками, таща за собой скелет в холщовой рубахе.

— Ты не смеешь мучить Россию, Карл,— прошептал он, подползши к латышу, ударил его сведенной ручкой по лицу и с визгом стал об него стучаться.

Тот надулся и поверх сползших очков осмотрел всех нас. Потом он обмотал вокруг пальцев шелковую реку волос Коростелева и вдавил его лицом в пол. Он поднял его и снова опустил.

— Получил,— отрывисто сказал Ларсон и отшвырнул костлявое тело,— и еще получишь...

Коростелев, упершись в ладони, приподнялся над полом по-собачьи. Кровь текла у него из ноздрей, глаза косили. Он поводил ими, потом вскинулся и с воем забрался под стол.

— Россия,— выл он, протягивая руки, и колотился,— Россия...

Лопаты босых его ступней выскочили и втянулись. Одно только слово — со свистом и стоном — можно было расслышать в его визге.

— Россия,— выл он, протягивая руки, и колотился головой.

Рыжий Лисей сидел на бархатном диване.

— С полдня завелись,— обернулся он ко мне и Селецкому,— все об Рассее бьются, все Рассею жалеют...

— Водки,— твердо сказал из-под стола Коростелев. Он вылез и стал на ноги. Волосы его, взмокшие в кровавой луже, падали на щеку.

— Где водка, Лисей?

— Водка, друг, в Вознесенском, сорок верст, хошь по воде сорок верст, хошь по земле сорок верст... Там ноне храм, самогон обязан быть... Немцы, что хошь делай, не держат...

Коростелев повернулся и вышел на прямых журавлиных ногах.

— Мы калуцкие,— неожиданно закричал Ларсон.

— Не уважает Калугу,— выдохнул Лисей,— хоть ты што... А я в ей был, в Калуге... В ей стройный народ живет, знаменитый...

За стеной прокричали команду, послышался звук якоря, якорь пошел вверх. Брови Лисея поднялись.

— Никак в Вознесенское едем?..

Ларсон захохотал, откинув голову. Я выбежал из каюты. Босой Коростелев стоял на капитанском мостике. Медный отблеск луны лежал на раскроенном

его лице. Сходни упали на берег. Матросы, кружась, наматывали канаты.

— Дмитрий Алексеевич,— крикнул вверх Селецкий,— нас-то отпусти, мы-то при чем?..

Машины, взорвавшись, перешли на беспорядочный стук. Колесо рыло воду. У пристани мягко разодралась сгнившая доска. «Иван-да-Марья» ворочал носом.

— Поехали,— сказал Лисей, вышедший на палубу,— поехали в Вознесенское за самогоном...

Раскручивая колесо, «Иван-да-Марья» набирал быстроту. В машине нарастала масляная толкотня, шелест, свист, ветер. Мы летели во мраке, не сворачивая по сторонам, сбивая бакены, сигнальные вешки и красные огни. Вода, пенясь под колесами, летела назад, как позлащенное крыло птицы. Луна врылась в черные водовороты. «Фарватер Волги извилист,— вспомнил я фразу из учебника,— он изобилует мелями...». Коростелев переминался на капитанском мостике. Голубая светящаяся кожа обтягивала его скулы.

— Полный,— сказал он в рупор.

— Есть полный,— ответил глухой невидимый голос.

— Еще дай...

Внизу молчали.

— Сорву машину,— ответил голос после молчания.

Факел сорвался с мачты и проволочился по крутящейся волне. Пароход качнулся, взрыв, продрожав, прошел по корпусу. Мы летели во мраке, никуда не сворачивая. На берегу взвилась ракета, по нас ударили трехдхймовкой. Снаряд просвистал в мачтах. Поваренок, тащивший по палубе самовар, поднял голову. Самовар выскользнул из его рук, покатился по лестнице, треснул, и блещущая струя понеслась по грязным ступеням. Поваренок оскалился, привалился к лестнице и заснул. Изо рта его забил смертный запах самогона. Внизу, среди замаслившихся цилиндров, кочегары, голые до пояса, ревели, размахивали руками, валились на пол. В жемчужном свечении валов отражались искаженные их лица. Команда парохода «Иван-да-Марья» была пьяна. Один

рулевой твердо двигал свой круг. Он обернулся, увидев меня.

— Жид,— сказал мне рулевой,— что с детями будет?..

— С какими детями?

— Дети не учатся,— сказал рулевой, ворочая кругом,— дети воры будут...

Он приблизил ко мне свинцовые синие скулы и заскрипел зубами. Челюсти его скрежетали, как жернова. Зубы, казалось, размалываются в песок.

— Загрызу...

Я попятился от него. По палубе проходил Лисей.

— Что будет, Лисей?

— Должен довезти,— сказал рыжий мужик и сел на лавочку отдохнуть.

Мы спустили его в Вознесенском. «Храма» там не оказалось, ни огней, ни карусели. Пологий берег был темен, прикрыт низким небом. Лисей потонул в темноте. Его не было больше часу, он вынырнул у самой воды, нагруженный бидонами. Его сопровождала рябая баба, статная, как лошадь. Детская кофта, не по ней, обтягивала грудь бабы. Какой-то карлик в остроконечной ватной шапке и маленьких сапожках, разинув рот, стоял тут же и смотрел, как мы грузились.

— Сливочный,— сказал Лисей, ставя бидоны на стол,— самый сливочный самогон...

И гонка призрачного нашего корабля возобновилась. Мы приехали в Баронск к рассвету. Река расстилалась необозримо. Вода стекала с берега, оставляя атласную синюю тень. Розовый луч ударил в туман, повисший на клочьях кустов. Глухие крашеные стены амбаров, тонкие их шпили медленно повернулись и стали подплывать к нам. Мы подходили к Баронску под раскаты песни. Селецкий прочистил горло бутылкой самого сливочного и распелся. Тут все было — Блоха Мусоргского, хохот Мефистофеля и ария помешавшегося мельника: «Не мельник я — я ворон»...

Босой Коростелев, перегнувшись, лежал на перильцах капитанского мостика. Голова его с прикрытыми веками поматывалась, рассеченное лицо было закинуто к небу, по нем блуждала неясная детская улыбка. Коростелев очнулся, когда мы замедлили ход.

— Алеша,— сказал он в рупор,— самый полный.

И мы врезались в пристань с полного хода. Доска, помятая нами в прошлый раз, разлетелась. Машину застопорили вовремя.

— Вот и довез,— сказал Лисей, оказавшийся рядом со мной,— а ты, друг, опасывался...

На берегу выстроились уже чапаевские тачанки. Радужные полосы темнели и остывали на берегу, только что оставленном водой. У самой пристани валялись зарядные ящики, брошенные в прежние приезды. На одном из ящиков в папахе и неподпоясанной рубахе сидел Макеев, командир сотни у Чапаева. Коростелев пошел к нему, расставив руки.

— Опять я, Костя, начудил,— сказал он с детской своей улыбкой,— все горючее извел...

Макеев боком сидел на ящике, клочья папахи свисали над безбровыми желтыми дугами глаз. Маузер с некрашеной ручкой лежал у него на коленях. Он выстрелил, не оборачиваясь, и промахнулся.

— Фу ты, ну ты,— пролепетал Коростелев, весь светясь,— вот ты и рассердился...— Он шире расставил худые руки.— Фу ты, ну ты...

Макеев вскочил, завертелся и выпустил из маузера все патроны. Выстрелы прозвучали торопливо. Коростелев еще что-то хотел сказать, но не успел, вздохнул и упал на колени. Он опустился к ободьям, к колесам тачанки, лицо его разлетелось, молочные пластинки черепа прилипли к ободьям. Макеев, пригнувшись, выдергивал из обоймы последний застрявший патрон.

— Отшутились,— сказал он, обводя взглядом красноармейцев и всех нас, скопившихся у сходен.

Лисей, приседая, протрусил с попоной в руках и накрыл ею Коростелева, длинного, как дерево. На пароходе шла одиночная стрельба. Чапаевцы, бегая по палубе, арестовывали команду. Баба, приставив ладонь к рябому лицу, смотрела с борта на берег сощуренными, незрячими глазами.

— Я те погляжу,— сказал ей Макеев,— я научу горючее жечь...

Матросов выводили по одному. За амбарами их встречали немцы, высыпавшие из своих домов. Карл Бидермаер стоял среди своих земляков. Война пришла к его порогу.

В этот день нам выпало много работы. Большое село Фриденталь приехало за товаром. Цепь верблюдов легла у воды. Вдали, в бесцветной жести горизонта, завертелись ветряки.

До обеда мы ссыпали в баржу фридентальское зерно, к вечеру меня вызвал Малышев. Он умывался на палубе «Типицына». Инвалид с зашпиленным рукавом сливал ему из кувшина. Малышев фыркал, кряхтел, подставляя щеки. Обтираясь полотенцем, он сказал своему помощнику, продолжая, видимо, ранее затеянный разговор.

— И правильно... Будь ты трижды хороший человек — и в скитах ты был, и по Белому морю ходил, и человек ты отчаянный,— а вот горючее, сделай милость, не жги...

Мы пошли с Малышевым в каюту. Я обложился там ведомостями и стал писать под диктовку телеграмму Ильичу.

— Москва. Кремль. Ленину.

В телеграмме мы сообщали об отправке пролетариям Петербурга и Москвы первых маршрутов с пшеницей, двух поездов по двадцать тысяч пудов зерна в каждом.

1920—1928.

## ГАПА ГУЖВА

*(Первая глава из книги «Великая Криница»)*

На масляной тридцатого года в Великой Кринице сыграли шесть свадеб. Их отгуляли с буйством, какого давно не было. Обычаи старины возродились. Один сват, захмелев, сунулся пробовать невесту — порядок этот лет двадцать как был оставлен в Великой Кринице. Сват успел размотать кушак и бросил его на землю. Невеста, ослабев от смеха, трясла старика за бороду. Он наступал на нее грудью, гоготал и топал сапожищами. Старику, впрочем, не из чего было тревожиться. Из шести моняк, поднятых над хатами, только две были смочены брачной кровью, остальным невестам досвитки не прошли даром. Одну моняку достал красноармеец, приехавший на побывку, за другой полезла Гапа Гужва. Колотя мужчин по голо-

вам — она вскочила на крышу и стала взбираться по шесту. Он гнулся и качался под тяжестью ее тела. Гапа сорвала красную тряпку и съехала вниз по шесту. На изгорбине крыши стояли стол и габурет, а на столе пол-литра и нарезано кусками холодное мясо. Гапа опрокинула бутылку себе в рот; свободной рукой она размахивала монякой. Внизу гремела и плясала толпа. Стул скользил под Гапой, трещал и разъезжался. Березанские чабаны, гнавшие в Киев волов, воззрились на бабу, пившую водку в высоте, под самым небом.

— Разве то баба,— ответили им сваты,— то черт, вдова наша...

Гапа швыряла с крыши хлеб, прутья, тарелки. Допив водку, она разбила бутылку об выступ трубы. Мужики, собравшиеся внизу, ответили ей ревом. Вдова прыгнула на землю, отвязала дремавшую у тына кобылу с мохнатым брюхом и поскакала за вином. Она вернулась, обложенная фляжками, как черкес патронами Кобыла, тяжело дыша, запрокидывала морду; жеребый ее живот западал и раздувался, в глазах тряслось лошадиное безумие.

Плясали на свадьбах с платочками, опустив глаза и топчась на месте. Одна Гапа разлеталась по-городскому. Она плясала в паре с любовником своим Гришкой Савченко. Они схватывались словно в бою; в упрямой злобе обрывали друг другу плечи; как подшибленные падали они на землю, выбивая дробь сапогами.

Шел третий день великокриницких свадеб. Дружки, обмазавшись сажей и вывернув тулупы, колотили в заслонки и бегали по селу. На улице зажглись костры. Через них прыгали люди с нарисованными рогами. Лошадей запрягли в лохани; они бились по кочкам и неслись через огонь. Мужики упали, сраженные сном. Хозяйки выбрасывали на задворки битую посуду. Новобрачные, помыв ноги, взошли на высокие постели, и только Гапа доплясывала одна в пустом сарае. Она кружилась, простоволосая, с багром в руках. Дубина ее, обмазанная дегтем, обрушивалась на стены. Удары сотрясали строение и оставляли черные, липкие раны.

— Мы смертельные,— шептала Гапа, ворочая багром.

Солома и доски сыпались на женщину, стены рушились. Она плясала, простоволосая, среди развалин, в грохоте и пыли рассыпающихся плетней, летящей трухи и переламывающихся досок. В обломках вертелись, отбивая такт, ее сапожки с красными отворотами.

Спускалась ночь. В оттаявших ямах угасали костры. Сарай взъерошенной грудой лежал на пригорке. Через дорогу в сельраде зачадил рваный огонек. Гапа отшвырнула от себя багор и побежала по улице.

— Ивашко,— закричала она, врываясь в сельраду,— ходим гулять с нами, пропивать нашу жизнь...

Ивашко был уполномоченный рика по коллективизации. Два месяца прошло с тех пор, как начался разговор его с Великой Криницей. Положив на стол руки, Ивашко сидел перед мятой, обкусанной грудой бумаг. Кожа его возле висков сморщилась, зрачки больной кошки висели в глазницах. Над ними торчали розовые голые дуги.

— Не брезговай нашим крестьянством,— закричала Гапа и топнула ногой.

— Я не брезговаю,— уныло сказал Ивашко,— только мне нетактично с вами гулять.

Притоптывая и разводя руками, Гапа прошлась перед ним.

— Ходи с нами каравай делить,— сказала баба,— все твои будем, представник, только завтра, не сегодня...

Ивашко покачал головой.

— Мне нетактично с вами каравай делить,— сказал он,— разве ж вы люди?.. Вы ж на собак гавкаете, я от вас восемь кил весу потерял...

Он пожевал губами и прикрыл веки. Руки его потянулись, нашарили на столе холстинный портфель. Он встал, качнулся грудью вперед и, словно во сне, волоча ноги, пошел к выходу.

— Этот гражданин — чистое золото,— сказал ему вслед секретарь Харченко,— большую совесть в себе имеет, но только Великая Криница слишком грубо с ним обратилась...

Над прыщами и пуговкой носа у Харченки был выделан пепельный хохолок. Он читал газету, задрав ноги на скамью.

— Дождутся люди вороньковского судьи,— сказал

Харченко, переворачивая газетный лист,— тогда воспомянут.

Гапа вывернула из-под юбки кошель с подсолнухами.

— Почему ты должность свою помнишь, секретарь,— сказала баба,— почему ты смерти боишься?.. Когда это было, чтобы мужик помирать отказывался?..

На улице, вокруг колокольни, кипело черное вспухшее небо, мокрые хаты выгнулись и сползли. Над ними трудно высекались звезды, ветер стлался понизу.

В сенях своей хаты Гапа услышала мерное бормотанье, чужой осипший голос. Странница, забредшая ночевать, подогнув под себя ноги, сидела на печи. Малиновые нити лампад оплетали угол. В прибранной хате развешана была тишина; спиртным, яблочным духом несло от стен и простенков. Большегубые дочери Гапы, задрав снизу головы, уставились на побирушку. Девушки поросли коротким, конским волосом, губы их были вывернуты, узкие лбы светились жирно и мертво.

— Бреши, бабуся Рахивна,— сказала Гапа и прислонилась к стене,— я тому охотница, когда брешут...

Под потолком Рахивна заплетала себе косицы, рядками накладывала на маленькую голову. У края печи расставились вымытые изуродованные ее ступни.

— Три патриарха рахуются в свете,— сказала старуха, мятое ее лицо поникло,— московского патриарха заточила наша держава, иерусалимский живет у турок, всем христианством владеет антиохийский патриарх... Он выслал на Украину сорок грецких попов, чтоб проклясть церкви, где держава сняла дзвоны... Грецкие попы прошли Холодный Яр, народ бачил их в Остроградском, к прощеному воскресенью будут они у вас в Великой Кринице...

Рахивна прикрыла веки и умолкла. Свет лампады стоял в углублениях ее ступней.

— Вороньковский судья,— очнувшись сказала старуха,— в одни сутки произвел в Воронькове колгосп... Девять господарей он забрал в холодную... Наутро их доля была идти на Сахалин. Доню моя, везде люди живут, везде Христос славится... Перебули тыи господари ночь в холодной, является стража —

брать их... Видчинияет стража дверь от острога, иа свете полиое утро, девять господарей качаются под балками, иа своих опоясках...

Рахивиа долго возилась, прежде чем улечься. Разбирая лоскутки, она шепталась со своим богом, как шепчутся со стариком, который тут же лежит иа печи, потом сразу и легко задышала. Чужой муж, Гришка Савченко, спал виизу иа лаве. Ои сложился, как раздавленный на самом краю, и выгиул спину; жилетка вздыбилась иа ией, голова его была всунута в подушки.

— Мужицкое кохания.— Гапа встряхнула его и растолкала,— я добре знаю мужицкое це кохаиня... Отворотили рыло — чоловик от жинки и топтаются... Не к себе пришел, ие к Одарке...

Полиочи они катались по лаве, во тьме, с сжатыми губами, с руками, протянутыми через тьму. Коса Гапы перелетала через подушку. На рассвете Гришка вскинулся, застоиал и засиул, оскалившись. Гапе видны были коричневые плечи дочерей, низколобых, губатых, с черными грудями.

— Верблюды такие,— подумала она,— откуда они ко мне?..

В дубовой раме окна двинулась тьма. Рассвет раскрыл в тучах фиолетовую полосу. Гапа вышла во двор. Ветер сжал ее, как студеиая вода в реке. Она запрягла, взвалила иа дровни мешки с пшеницей,— за праздиики мука подбилась у всех. В тумане, в пару рассвета проползла дорога.

На мельнице справились только к следующему вечеру. Весь день шел снег. У самого села, из льющейся прямой стены, навстречу Гапе выныриул коротконогий Юшко Трофим в размокшем треухе. Плечи его, иакрытые снежиым океаиом, раздались и осели.

— Ну, просыпались,— забормотал он, подходя к саням, и поднял черное костистое лицо.

— А именно што?..— Гапа потянула к себе вожжи.

— Ночью вся головка наехала,— сказал Трофим,— бабусю твою законвертовали... Голова рику приехал, секретарь райкому... Ивашку замели, на его должность — вороньковский судья...

Усы Трофима поднялись, как у моржа, снег шевелился иа них. Гапа тронула лошадь, потом сиова потянула вожжи.

— Трофиме, бабусю за што?..

Юшко остановился и протрубил издалека, сквозь веющие, летящие снега.

— Кажуть, агитацию разводила про конец света...

Припадая на ногу, он пошел дальше, и сейчас же широкую его спину затерло небо, слившееся с землей.

Подъехав к хате, Гапа постучала в окно кнутом. Дочери ее торчали у стола в шалях и башмаках, как на посиделках.

— Маты,— сказала старшая, сваливая мешки,— без вас приходила Одарка, взяла Гришку до дому...

Дочери накрыли на стол, поставили самовар. Поужинав, Гапа ушла в сельраду. Там, усевшись на лавках вдоль стен, молчали старики из села Великая Криница. Окно, разбитое во время прошлых споров, заделали листом фанеры, стекло лампы было протерто, к щербатой стене прибили плакат — «Прохання не палить». Вороньковский судья, подняв плечи, читал у стола. Он читал книгу протоколов великокриницкой сельрады; воротник драпового его пальтишка был наставлен. Рядом за столом секретарь Харченко писал своему селу обвинительный акт. Он разносил по разграфленным листам все преступления, недоимки и штрафы, все раны, явные и скрытые. Приехав в село, Осмоловский, судья из Воронькова, отказался созвать сборы, общее собрание граждан, как это делали уполномоченные до него, он не произнес речи и только приказал составить список недоимщиков, бывших торговцев, списки их имущества, посевов и усадеб.

Великая Криница молчала, присев на лавки. Свист и треск харченкиного пера юлил в тишине. Движение пронеслось и замерло, когда в сельраду вошла Гапа. Голова Евдоким Назаренко оживился, увидев ее.

— То есть, первейший наш актив, товарищ судья,— Евдоким захохотал и потер ладони,— вдова наша, всех парубков нам перепортила...

Гапа, щурясь, стояла у двери. Гримаса тронула губы Осмоловского, узкий нос его сморщился. Он наклонил голову и сказал: «Здравствуйте».

— В колгосп первая записалась,— силясь разогнать тучу, Евдоким сыпал словами,— потом добрые люди подговорили, она и выписалась...

Гапа не двигалась. Кирпичный румянец лежал на ее лице.

— ...А кажуть добрые люди,— произнесла она звучным, низким своим голосом,— кажуть, что в колгоспе весь народ под одним одеялом спать будет...

Глаза ее смеялись в неподвижном лице.

— ...А я этому противница, гуртом спать, мы по двох любим, и горилку, батькови нашему черт, любим...

Мужики засмеялись и оборвали, Гапа щурилась. Судья поднял воспаленные глаза и кивнул ей. Он съежился еще больше, забрал голову в узкие рыжие руки и снова погрузился в книгу великокриницких протоколов. Гапа повернулась, статная ее спина зажглась перед оставшимися.

Во дворе, на мокрых досках, расставив колени, сидел дед Абрам, заросший диким мясом. Желтые космы падали на его плечи.

— Что ты, диду? — спросила Гапа.

— Журюсь,— сказал дед.

Дома у нее дочери уже легли. Поздней ночью, наискосок, в хатыне комсомольца Нестора Тягая, ртутным языком повис огонек. Осмоловский пришел на отведенную ему квартиру. На лаву брошен был тулуп, судью ждал ужин — миска простокваши и краюха хлеба с луковицей. Сняв очки, он прикрыл ладонями больные глаза — судья, прозванный в районе «двести шестнадцать процентов». Этой цифры он добился на хлебозаготовках в буйном селе Воронькове. Тайны, песни, народные поверья облекали проценты Осмоловского.

Он жевал хлеб и луковицу и разостлал перед собой «Правду», инструкции райкома и сводки Наркомзема по коллективизации. Было поздно, второй час ночи, когда дверь его раскрылась и женщина, накрест стянутая шалью, переступила порог.

— Судья,— сказала Гапа,— что с блядьми будет?..

Осмоловский поднял лицо, обтянутое рябоватым огнем.

— Выведутся.

— Житье будет блядям или нет?

— Будет,— сказал судья,— только другое, лучшее.

Баба невидящими глазами уставилась в угол. Она тронула монисто на груди.

— Спасыби на вашем слове...

Монисто зазвенело. Гапа вышла, притворив за собой дверь.

Беснующаяся, режущая ночь набросилась на нее, кустарники туч, горбатые льдины с черным блеском в них. Просветляясь, низко неслись облака. Безмолвие распростерлось над Великой Криницей, над плоской, могильной, обледенелой пустыней деревенской ночи.

*Весна, 1930 г.*

## ГЮИ ДЕ МОПАССАН

Зимой шестнадцатого года я очутился в Петербурге с фальшивым паспортом и без гроша денег. Приютил меня учитель русской словесности — Алексей Казанцев.

Он жил на Песках, в промерзшей желтой, зловонной улице. Приработком к скудному жалованью были переводы с испанского; в ту пору входил в славу Бласко Ибаньес.

Казанцев и проездом не бывал в Испании, но любовь к этой стране заполняла его существо — он знал в Испании все замки, сады и реки. Кроме меня, к Казанцеву жалось еще множество вышибленных из правильной жизни людей. Мы жили впроголодь. Изредка бульварные листки печатали мелким шрифтом наши заметки о происшествиях.

По утрам я околачивался в моргах и полицейских участках.

Счастливее нас был все же Казанцев. У него была родина — Испания.

В ноябре мне представилась должность конторщика на Обуховском заводе, недурная служба, освобождавшая от воинской повинности.

Я отказался стать конторщиком.

Уже в ту пору — двадцати лет от роду — я сказал себе: лучше голодовка, тюрьма, скитания, чем сидение за конторкой часов по десять в день. Особой удали в этом обете нет, но я не нарушал его и не нарушу. Мудрость дедов сидела в моей голове: мы рождены

для наслаждения трудом, дракой, любовью, мы рождены для этого и ни для чего другого.

Слушая мои рацеи, Казанцев ерошил желтый короткий пух на своей голове. Ужас в его взгляде перемешивался с восхищением.

На рождестве к нам привалило счастье. Присяжный поверенный Бендерский, владелец издательства «Альциона», задумал выпустить в свет новое издание сочинений Мопассана. За перевод взялась жена присяжного поверенного — Раиса. Из барской затеи ничего не вышло.

У Казанцева, переводившего с испанского, спросили, не знает ли он человека в помощь Раисе Михайловне. Казанцев указал на меня.

На следующий день, облачившись в чужой пиджак, я отправился к Бендерским. Они жили на углу Невского и Мойки, в доме, выстроенном из финляндского гранита и обложенном розовыми колонками, бойницами, каменными гербами. Банкиры без роду и племени, выкресты, разжившиеся на поставках, настроили в Петербурге перед войной множество пошлых, фальшиво величавых этих замков.

По лестнице пролегал красный ковер. На площадках, поднявшись на дыбы, стояли плюшевые медведи. В их разверстых пастях горели хрустальные колпаки.

Бендерские жили в третьем этаже. Дверь открыла горничная в наколке, с высокой грудью. Она ввела меня в гостиную, отделанную в древнеславянском стиле. На стенах висели синие картины Рериха — доисторические камни и чудовища. По углам — на поставцах — расставлены были иконы древнего письма. Горничная с высокой грудью торжественно двигалась по комнате. Она была стройна, близорука, надменна. В серых раскрытых ее глазах окаменело распутство. Девушка двигалась медленно. Я подумал, что в любви она, должно быть, ворочается с неистовым проворством. Парчовый полог, висевший над дверью, заколебался. В гостиную, неся большую грудь, вошла черноволосая женщина с розовыми глазами. Не нужно было много времени, чтобы узнать в Бендерской упоительную эту породу евреек, пришедших к нам из Киева и Полтавы, из степных, сытых городов, обсаженных каштанами и акациями. Деньги оборотистых

своих мужей эти женщины переливают в розовый жирок на животе, на затылке, на круглых плечах. Сонливая, нежная их усмешка сводит с ума гарнизонных офицеров.

— Мопассан — единственная страсть моей жизни,— сказала мне Раиса.

Стараясь удержать качание больших бедер, она вышла из комнаты и вернулась с переводом «Мисс Гарриэт». В переводе ее не осталось и следа от фразы Мопассана, свободной, текучей, с длинным дыханием страсти. Бендерская писала утомительно правильно, безжизненно и развязно — так, как писали раньше евреи на русском языке.

Я унес рукопись к себе и дома в мансарде Казанцева — среди спящих — всю ночь прорубал просеки в чужом переводе. Работа эта не так дурна, как кажется. Фраза рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте, едва ощутимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреваться. Повернуть его надо один раз, а не два.

Наутро я снес выправленную рукопись. Раиса не лгала, когда говорила о своей страсти к Мопассану. Она сидела неподвижно во время чтения, сцепив руки: атласные эти руки текли к земле, лоб ее бледнел, кружевце между отдавленными грудями отклонялось и трепетало.

— Как вы это сделали?

Тогда я заговорил о стиле, об армии слов, об армии, в которой движутся все роды оружия. Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя. Она слушала, склонив голову, приоткрыв крашеные губы. Черный луч сиял в лакированных ее волосах, гладко прижатых и разделенных пробором. Облитые чулком ноги с сильными и нежными икрами расставились по ковру.

Горничная, уводя в сторону окаменевшие распутные глаза, внесла на подносе завтрак.

Стеклянное петербургское солнце ложилось на блеклый неровный ковер. Двадцать девять книг Мопассана стояли над столом на полочке. Солнце таю-

щими пальцами трогало сафьяновые корешки книг — прекрасную могилу человеческого сердца.

Нам подали кофе в синих чашечках, и мы стали переводить «Идиллию». Все помнят рассказ о том, как голодный юноша-плотник отсосал у толстой кормилицы молоко, тяготившее ее. Это случилось в поезде, шедшем из Ниццы в Марсель, в знойный полдень, в стране роз, на родине роз, там, где плантации цветов спускаются к берегу моря...

Я ушел от Бендерских с двадцатью пятью рублями аванса. Наша коммуна на Песках была пьяна в этот вечер, как стадо упившихся гусей. Мы черпали ложкой зернистую икру и заедали ее ливерной колбасой. Захмелев, я стал бранить Толстого.

— Он испугался, ваш граф, он струсил... Его религия — страх... Испугавшись холода, старости, граф сшил себе фуфайку из веры...

— И дальше? — качая птичьей головой, спрашивал меня Казанцев.

Мы заснули рядом с собственными постелями. Мне приснилась Катя, сорокалетняя прачка, жившая под нами. По утрам мы брали у нее кипяток. Я и лица ее толком не успел разглядеть, но во сне мы с Катей бог знает что делали. Мы измучили друг друга поцелуями. Я не удержался от того, чтобы зайти к ней на следующее утро за кипятком.

Меня встретила увядшая, перекрещенная шалью женщина, с распустившимися пепельно-седыми завитками и отсыревшими руками.

С этих пор я всякое утро завтракал у Бендерских. В нашей мансарде завелась новая печка, селедка, шоколад. Два раза Раиса возила меня на острова. Я не утерпел и рассказал ей о моем детстве. Рассказ вышел мрачным, к собственному моему удивлению. Из-под кротовой шапочки на меня смотрели блестящие испуганные глаза. Рыжий мех ресниц жалобно вздрагивал.

Я познакомился с мужем Раисы — желтолицым евреем с голой головой и плоским сильным телом, косо устремившимся к полету. Ходили слухи о его бли-

зости к Распутину. Барыши, получаемые им на военных поставках, придали ему вид одержимого. Глаза его блуждали, ткань действительности порвалась для него. Раиса смущалась, знакомя новых людей со своим мужем. По молодости лет я заметил это на неделю позже, чем следовало.

После нового года к Раисе приехали из Киева две ее сестры. Я принес как-то рукопись «Признания» и, не застав Раисы, вернулся вечером. В столовой обедали. Оттуда доносилось серебристое кобылье ржанье и гул мужских голосов, неумеренно ликующих. В богатых домах, не имеющих традиций, обедают шумно. Шум был еврейский — с перекатами и певучими окончаниями. Раиса вышла ко мне в бальном платье с голой спиной. Ноги в колеблющихся лаковых туфельках ступали неловко.

— Я пьяна, голубчик.— И она протянула мне руки, унизанные цепями платины и звездами изумрудов.

Тело ее качалось, как тело змеи, встающей под музыку к потолку. Она мотала завитой головой, бренча перстнями, и упала вдруг в кресло с древнерусской резьбой. На пудреной ее спине тлели рубцы.

За стеной еще раз взорвался женский смех. Из столовой вышли сестры с усиками, такие же полногрудые и рослые, как Раиса. Груди их были выставлены вперед, черные волосы развевались. Обе были замужем за своими собственными Бендерскими. Комната наполнилась бессвязным женским весельем, весельем зрелых женщин. Мужья закутали сестер в котиковые манто, в оренбургские платки, заковали их в черные ботики; под снежным забралом платков остались только нарумяненные пылающие щеки, мраморные носы и глаза с семитическим близоруким блеском. Пошумев, они уехали в театр, где давали «Юдифь» с Шаляпиным.

— Я хочу работать,— пролепетала Раиса, протягивая голые руки,— мы упустили целую неделю...

Она принесла из столовой бутылку и два бокала. Грудь ее свободно лежала в шелковом мешке платья; соски выпрямились, шелк накрыл их.

— Заветная,— сказала Раиса, разливая вино,— мускат восемьдесят третьего года. Муж убьет меня, когда узнает...

Я никогда не имел дела с мускатом 83 года и не задумался выпить три бокала один за другим. Они тотчас же увели меня в переулки, где веяло оранжевое пламя и слышалась музыка.

— Я пьяна, голубчик... Что у нас сегодня?

— Сегодня у нас «L'aveu»...

— Итак, «Признание». Солнце — герой этого рассказа, le soleil de France...[1] Расплавленные капли солнца, упав на рыжую Селесту, превратились в веснушки. Солнце отполировало отвесными своими лучами, вином и яблочным сидром рожу кучера Полита. Два раза в неделю Селеста возила в город на продажу сливки, яйца и куриц. Она платила Политу за проезд десять су за себя и четыре су за корзину. И в каждую поездку Полит, подмигивая, справляется у рыжей Селесты: «Когда же мы позабавимся, ma belle?» [2] — «Что это значит, мсье Полит?» Подпрыгивая на козлах, кучер объяснил: «Позабавиться — это значит позабавиться, черт меня побери... Парень с девкой — музыки не надо...»

— Я не люблю таких шуток, мсье Полит,— ответила Селеста и отодвинула от парня свои юбки, нависшие над могучими икрами в красных чулках.

Но этот дьявол Полит все хохотал, все кашлял,— когда-нибудь мы позабавимся, ma belle,— и веселые слезы катились по его лицу цвета кирпичной крови и вина.

Я выпил еще бокал заветного муската. Раиса чокнулась со мной.

Горничная с окаменевшими глазами прошла по комнате и исчезла.

Ce diable de Polyte...[3] За два года Селеста переплатила ему сорок восемь франков. Это пятьдесят франков без двух. В конце второго года, когда они были одни в дилижансе и Полит, хвативший сидра перед отъездом, спросил по своему обыкновению: «А не позабавиться ли нам сегодня, мамзель Селеста?» — она ответила, потупив глаза: «Я к вашим услугам, мсье Полит...»

Раиса с хохотом упала на стол. Ce diable de Polyte...

[1] Солнце Франции *(фр.)*.

[2] Красавица *(фр.)*.

[3] Этот пройдоха Полит... *(фр.)*

Дилижанс был запряжен белой клячей. Белая кляча с розовыми от старости губами пошла шагом. Веселое солнце Франции окружило рыдван, закрытый от мира порыжевшим козырьком. Парень с девкой, музыки им не надо...

Раиса протянула мне бокал. Это был пятый.

— Mon vieux [1], за Мопассана...

— А не позабавиться ли нам сегодня, ma belle.

Я потянулся к Раисе и поцеловал ее в губы. Они задрожали и вспухли.

— Вы забавный,— сквозь зубы пробормотала Раиса и отшатнулась.

Она прижалась к стене, распластав обнаженные руки. На руках и на плечах у нее зажглись пятна. Изо всех богов, распятых на кресте, это был самый обольстительный.

— Потрудитесь сесть, мсье Полит...

Она указала мне на косое синее кресло, сделанное в славянском стиле. Спинку его составляли сплетения, вырезанные из дерева с расписными хвостами. Я побрел туда спотыкаясь.

Ночь подложила под голодную мою юность бутылку муската 83 года и двадцать девять книг, двадцать девять петард, начиненных жалостью, гением, страстью... Я вскочил, опрокинул стул, задел полку. Двадцать девять томов обрушились на ковер, страницы их разлетелись, они стали боком... и белая кляча моей судьбы пошла шагом.

— Вы забавный,— прорычала Раиса.

Я ушел из гранитного дома на Мойке в двенадцатом часу, до того, как сестры и муж вернулись из театра. Я был трезв и мог ступать по одной доске, но много лучше было шататься, и я раскачивался из стороны в сторону, распевая на только что выдуманном мною языке. В туннелях улиц, обведенных цепью фонарей, валами ходили пары тумана. Чудовища ревели за кипящими стенами. Мостовые отсекали ноги идущим по ним.

Дома спал Казанцев. Он спал сидя, вытянув тощие ноги в валенках. Канареечный пух поднялся на его голове. Он заснул у печки, склонившись над «Дон-Кихотом» издания 1624 года. На титуле этой

[1] Дружок *(фр.)*.

книги было посвящение герцогу де Броглио. Я лег неслышно, чтобы не разбудить Казанцева, придвинул к себе лампу и стал читать книгу Эдуарда де Мениаль — «О жизни и творчестве Гюи де Мопассана».

Губы Казанцева шевелились, голова его сваливалась.

И я узнал в эту ночь от Эдуарда де Мениаль, что Мопассан родился в 1850 году от нормандского дворянина и Лауры де Пуатевен, двоюродной сестры Флобера. Двадцати пяти лет он испытал первое нападение наследственного сифилиса. Плодородие и веселье, заключенные в нем, сопротивлялись болезни. Вначале он страдал головными болями и припадками ипохондрии. Потом призрак слепоты стал перед ним. Зрение его слабело. В нем развилась мания подозрительности, нелюдимости и сутяжничество. Он боролся яростно, метался на яхте по Средиземному морю, бежал в Тунис, в Марокко, в Центральную Африку — и писал непрестанно. Достигнув славы, он перерезал себе на сороковом году жизни горло, истек кровью, но остался жив. Его заперли в сумасшедший дом. Он ползал там на четвереньках... Последняя надпись в его скорбном листе гласит:

«Monsieur de Maupassant va s'animaliser» («Господин Мопассан превратился в животное»). Он умер сорока двух лет. Мать пережила его.

Я дочитал книгу до конца и встал с постели. Туман подошел к окну и скрыл вселенную. Сердце мое сжалось. Предвестие истины коснулось меня.

### НЕФТЬ

«...Новостей много, как всегда... Шабсовичу дали премию за крекинг, ходит весь в «заграничном», начальство получило повышение. Узнав о назначении, все прозрели: парень вырос... По сему случаю встречаться с ним я перестала. «Выросши», парень почувствовал, что знает истину, которая от нас, обыкновенных смертных, скрыта, и напустил на себя такую стопроцентность и ортодоксальность (ортобокс, как

говорит Харченко), что никуда не сдвинешь... Удивелись мы дня два тому назад, он спросил, почему я не поздравляю. Я ответила: кого поздравлять — его или советскую власть?.. Он понял, вильнул, сказал: «Звоните...» Об этом немедленно пронюхала супруга. Вчера — звонок: «Клавдюша, мы теперь прикреплены к ГОРТ, если тебе нужно что из белья...» Я ответила, что надеюсь дожить до мировой революции со своей собственной книжкой...

Теперь — о себе. Да будет тебе известно — я управделами Нефтесиндиката. Намечалось давно, я отказывалась. Мои доводы — неспособность к канцелярской работе и затем желание поступить в Промакадемию... Вопрос четыре раза стоял на бюро, пришлось согласиться, теперь не раскаиваюсь... Отсюда ясная картина предприятия, кое-что удалось сделать, организовала экспедицию на нашу часть Сахалина, усилила разведку, много занимаюсь Нефтяным институтом. Зинаида при мне. Она здорова, скоро родит, перипетий было много... О беременности Зинаида сказала своему Максу Александровичу (я зову его Макс и Мориц) поздно, пошел четвертый месяц. Он изобразил восторг, запечатлел на Зинаидином лбу ледяной поцелуй и потом дал понять, что ему предстоит великое научное открытие, мысли его далеки от действительной жизни, нельзя себе вообразить что-нибудь более неприспособленное к семейной жизни, чем он, Макс Александрович Шоломович, но, конечно, он не задумается от всего отказаться и прочее, и прочее, прочее... Зинаида, будучи женщиной двадцатого столетия, заплакала, но характер выдержала... Ночью она не спала, задыхалась, вытягивала шею. Чуть свет, непричесанная, страшная, в старой юбке помчалась в Гипромез, наговорила ему, что она просит забыть вчерашнее, ребенка она уничтожит, но никогда этого людям не простит... Все это происходит в коридоре Гипромеза, в толкучке. Макс и Мориц краснеет, бледнеет, бормочет:

— Надо созвониться, встретиться...

Зинаида не дослушала, полетела ко мне и объявила:

— Завтра на работу не выйду!

Меня взорвало, сдерживаться не сочла нужным и левиты прочитала ей по-настоящему... Подумать

только — девке четвертый десяток, красотой не блещет, хороший мужик на нее не высморкается, подвернулся этот Макс и Мориц (и то не на нее, а на чужую расу, на предков-аристократов полез), запопала от него штучку, держи, расти... Метисы от евреев очень хороши получаются, мы знаем, — погляди, какой экземпляр у Ани, — да и когда рожать, если не теперь, когда мускулы живота еще действуют, когда можно еще плод этот выкормить?! На все один ответ: «Я не могу, чтобы у моего ребенка не было отца», то есть девятнадцатое столетие продолжается, папаша-генерал выйдет из кабинета с иконой и проклянет (или без иконы — не знаю, как там проклинали), девки стащат младенца в воспитательный или на деревню к кормилке.

— Вздор, Зинаида, — говорю я ей, — другие времена, другие песни, обойдемся без Макса и Морица...

Не успела я договорить, позвали на собрание. К тому времени остро стал вопрос о Викторе Андреевиче. Тут подоспело решение ЦК о том, чтобы в отмену прежнего варианта пятилетки довести в 1932 году добычу нефти до 40 миллионов тонн. Разработать материалы поручили плановикам, то есть Виктору Андреевичу. Он заперся у себя, потом вызывает меня и показывает письмо. Адресовано президиуму ВСНХ. Содержание: слагаю с себя ответственность за плановый отдел. Цифру в сорок миллионов тонн считаю произвольной. Больше трети предположено взять с неразведанных областей, что означает делить шкуру медведя, не только не убитого, но еще не выслеженного... Далее, с трех крекинг-установок, действующих сегодня, мы перескакиваем, согласно новому плану, к ста двадцати в последнем году пятилетки. Это при дефиците металла и при том, что сложнейшее производство крекингов у нас не освоено... Кончалось письмо так: подобно всем смертным я предпочитаю стоять за высокие темпы, но сознание долга... и прочее и прочее. Прочитала. Он спрашивает:

— Посылать или нет?

Я говорю:

— Виктор Андреевич, доводы ваши и вся установка для меня неприемлемы, но я не считаю себя вправе советовать скрывать свои взгляды...

Письмо он отослал. ВСНХ — на дыбы. Назначили собрание. От ВСНХ приехал Багриновский. На стене укрепили карту Союза с новыми месторождениями, с трубчатками, нефте- и продуктопроводами; как сказал Багриновский:

— Страна с новым кровообращением...

На собрании молодые инженеры из типа «всеядных» требовали поставить Виктора Андреевича на колени. Я выступила, говорила сорок пять минут. «Не сомневаясь в знаниях и доброй воле профессора Клоссовского и даже преклоняясь перед ним, мы отвергаем фетишизм цифр, в плену которых он находится»,— вот мысль, которую я защищала.

— Отвергнем таблицу умножения как правило государственной мудрости... На основании голых цифр можно ли было сказать, что мы выполним нефтяную пятилетку по части добычи в два с половиной года?.. На основании голых цифр можно ли было сказать, что мы с 1931 года увеличим экспорт в девять раз и выйдем на второе место после Соединенных Штатов?

После меня выступил Мурадьян с критикой направления нефтепровода Каспий — Москва. Виктор Андреевич молча делал заметки. На щеках его выступил старческий румянец, румянец венозной крови... Мне было жалко, я не дослушала, ушла к себе. Зинаида все сидит в кабинете, сцепив руки.

— Будешь рожать,— спрашиваю,— или нет?

Она смотрит и не видит, голова пошатывается, говорит, и в словах нет звука.

— Нас двое, Клавдюша,— говорит она мне,— я и мое горе, точно горб приклеили... И как скоро все забывается, вот уж и не помню, как живут люди без несчастья...

Говорит она это, нос вытянулся еще больше, покраснел, мужицкие скулы (у дворян бывают такие скулы) выперли... Макс и Мориц, думаю, не больно бы воспламенился, увидев тебя такую... Я раскричалась, прогнала ее на кухню картошку чистить... Не смейся, приедешь — и тебя заставим. На проектировку Орского завода дали такие сроки, что конструкторская и чертежники сидят день и ночь, на обед Васена начистит им картошки с селедкой, изжарит яичницу— и снова трубят... Ушла она на кухню. Через минуту

слышу крик. Прибегаю — Зинаида моя на полу, пульса нет, глаза закатились... Измучились мы с ней нельзя сказать как: Виктор Андреевич, Васена и я. Вызвали доктора. Сознание вернулось к ней ночью, она потрогала мою руку,— ты знаешь Зину, необыкновенную ее нежность... Я вижу: все перегорело в ней за эти часы и все родилось вновь... Времени упускать было нельзя.

— Зинуша,— говорю я,— мы позвоним Розе Михайловне (она у нас по-прежнему по этим делам придворная), что ты раздумала, что ты не придешь... Можно мне позвонить?

Она сделала знак, что можно, иди. На диване возле нее сидел Виктор Андреевич, все пульс щупал. Я отошла, слушаю он говорит:

— Мне 65 лет, Зинуша, тень от меня на землю все слабее ложится. Я ученый, старый человек, и вот бог (все — бог!) так сделал, что последние пять лет моей жизни совпадают с этой,— ну, вы знаете с чем — с пятилеткой... Теперь мне уж до самой смерти не передохнуть, не подумать о себе... И если бы по вечерам не приходила моя дочь и не хлопала меня по плечу, если бы сыновья не писали мне писем, я был бы так грустен, что и сказать нельзя... Родите, Зинуша, мы с Клавдией Павловной возьмем шефство.

Старик бормочет, я звоню Розе Михайловне, что вот, мол, душечка Роза Михайловна, Мурашова обещалась прийти завтра, так вот она раздумала... В телефон молодцеватый голос:

— Блестяще, что раздумала, совершенно чудно...

Придворная наша — все та же: розовая шелковая кофточка, английская юбка, завив, душ, гимнастика, хахали...

Перевезли Зинаиду домой, я уложила ее потеплее, заварила чаю. Спали мы вместе,— тут и поплакали, вспомнили, что не надо было, все обговорили, так, перемешав слезы, и заснули... Мой «черт» сидел тихонько, работал, переводил с немецкого техническую книгу. Ты бы, Даша, «черта» не узнала — он присмирел, съежился, притих. Меня это мучает... Целый день гнет спину в Госплане, вечером — переводы.

— Зинаида родит,— я ему говорю.— Как назвать мальчика? (О девочке никто не помышляет).— Реши-

ли — Иваном,— Юрии и Леониды надоели... Будет он парень, наверное, сволочеватый, с острыми зубами, зубов — на шестьдесят человек. Горючего мы ему наготовили, будет катать барышень куда-нибудь в Ялту, в Батум,— не то, что нас — на Воробьевы горы... До свидания, Даша. «Черт» напишет отдельно. Как твои дела?

*Клавдия.*

...Строчу у себя на службе, над головой грохот, с потолка валится штукатурка. Дом наш, оказывается, еще крепок, к прежним четырем этажам мы пристраиваем еще четыре. Москва вся разрыта, в окопах, завалена трубами, кирпичами, трамвайные линии перепутаны, ворочают хоботом привезенные из-за границы машины, трамбуют, грохочут, пахнет смолой, дым идет, как над пожарищем... Вчера на Варварской площади видела одного парня... Рожа широкая, красная бритая голова блестит, косоворотка без пояса, на босу ногу сандалии. Прыгали мы с ним с кочки на кочку, с горы на гору, вылезали, снова проваливались...

— Вот она, когда сражения пошла,— он мне говорит.— Теперь, барышня, в Москве самый фронт, самая война...

Рожа добрая, улыбается, как ребенок. Так его и вижу перед собой...»

## УЛИЦА ДАНТЕ

От пяти до семи гостиница наша «Hôtel Danton»[1] поднималась в воздух от стонов любви. В номерах орудовали мастера. Приехав во Францию с убеждением, что народ ее обессилел, я немало удивился этим трудам. У нас женщину не доводят до такого накала, далеко нет. Мой сосед Жан Бьеналь сказал мне однажды:

— Mon vieux, за тысячу лет нашей истории мы сделали женщину, обед и книгу... В этом никто нам не откажет...

[1] Отель Дантон *(фр.)*.

В деле познания Франции Жан Бьеналь, торговец подержанными автомобилями, сделал для меня больше, чем книги, которые я прочитал, и города, которые я видел. Он спросил при первом знакомстве о моем ресторане, о моем кафе, о публичном доме, где я бываю. Ответ ужаснул его.

— On va refaire votre vie...[1]

И мы ее переделали. Обедать мы стали в харчевне скотопромышленников и торговцев вином — против Halles aux vins[2].

Деревенские девки в шлепанцах подавали нам омаров в красном соусе, жаркое из зайца, начиненного чесноком и трюфелями, и вино, которого нельзя было достать в другом месте. Заказывал Бьеналь, платил я, но платил столько, сколько платят французы. Это не было дешево, но это была настоящая цена. И эту же цену я платил в публичном доме, содержимом несколькими сенаторами возле Gare St. Lazare[3]. Бьеналю стоило большего труда представить меня обитательницам этого дома, чем если бы я захотел присутствовать на заседании палаты, когда свергают министерство. Вечер мы кончали у Porte Mailot в кафе, где собираются устроители матчей бокса и автомобильные гонщики. Учитель мой принадлежал к той половине нации, которая торгует автомобилями; другая их обменивает. Он был агентом Рено и торговал больше всего с румынскими дельцами, самыми грязными из дельцов. В свободное время Бьеналь обучал меня искусству купить подержанный автомобиль. Для этого, по его словам, нужно было отправиться на Ривьеру к концу сезона, когда разъезжаются англичане и бросают в гаражах машины, послужившие два или три месяца. Сам Бьеналь разъезжал на облупившемся «рено», которым он управлял, как самоед управляет собаками. По воскресеньям мы отправлялись на прыгающем этом возке за сто двадцать километров в Руан есть утку, которую там жарят в собственной ее крови. Нас сопровождала Жермен, продавщица перчаток в магазине на Rue Royale[4]. Их дни с Бьена-

---

[1] Нужно переделать вашу жизнь... *(фр.)*

[2] Винный рынок *(фр.)*.

[3] Вокзал Сент Лазар *(фр.)*.

[4] Королевская улица *(фр.)*.

лем были среда и воскресенье. Она приходила в пять часов. Через мгновенье в их комнате раздавались ворчание, стук падающих тел, возглас испуга, и потом начиналась нежная агония женщины:

— Oh, Jean...[1]

Я высчитывал про себя: ну, вот вошла Жермен, она закрыла за собой дверь, они поцеловали друг друга, девушка сняла с себя шляпу, перчатки и положила их на стол, и больше, по моему расчету, времени у них не оставалось. Его не оставалось на то, чтобы раздеться. Не произнесши ни одного слова, они прыгали в своих простынях, как зайцы. Постонав, они помирали со смеху и лепетали о своих делах. Я знал об этом все, что может знать сосед, живущий за дощатой перегородкой. У Жермен были несогласия с мосье Анриш, заведующим магазином. Родители ее жили в Туре, она ездила к ним в гости. В одну из суббот она купила себе меховую горжетку, в другую субботу слушала «Богему» в Гранд-Опера. Мосье Анриш заставлял своих продавщиц носить гладкие костюмы tailleur[2]. Мосье Анриш энглезировал Жермен, она стала в ряды деловых женщин, плоскогрудых, подвижных, завитых, подкрашенных пылающей коричневой краской, но полная щиколотка ее ноги, низкий и быстрый смех, взгляд внимательных и блестящих глаз и этот стон агонии — oh, Jean! — все оставлено было для Бьеналя.

В дыму и золоте парижского вечера двигалось перед нами сильное и тонкое тело Жермен; смеясь, она откидывала голову и прижимала к груди розовые ловкие пальцы. Сердце мое согревалось в эти часы. Нет одиночества безвыходнее, чем одиночество в Париже.

Для всех пришедших издалека этот город есть род изгнания, и мне приходило на ум, что Жермен нужна нам больше, чем Бьеналю. С этой мыслью я уехал в Марсель.

Прожив месяц в Марселе, я вернулся в Париж. Я ждал среды, чтобы услышать голос Жермен.

Среда прошла, никто не нарушил молчания за стеной. Бьеналь переменил свой день. Голос женщины раздался в четверг, в пять часов, как всегда. Бьеналь

---

[1] О, Жан... *(фр.)*

[2] Английский дамский костюм *(фр.)*.

дал своей гостье время на то, чтобы снять шляпу и перчатки. Жермен переменила день, но она переменила и голос. Это не было больше прерывистое, умоляющее oh, Jean... и потом молчание, грозное молчание чужого счастья. Оно заменилось на этот раз домашней хриплой возней, гортанными выкриками. Новая Жермен скрипела зубами, с размаху валилась на диван и в промежутках рассуждала густым протяжным голосом. Она ничего не сказала о мосье Анриш, а прорычав до семи часов, собралась уходить. Я приоткрыл дверь, чтобы встретить ее, и увидел идущую по коридору мулатку с поднятым гребешком лошадиных волос, с выставленной вперед большой, отвислой грудью. Мулатка, шаркая ногами в разносившихся туфлях без каблуков, прошла по коридору. Я постучал к Бьеналю. Он валялся на кровати без пиджака, измятый, посеревший, в застиранных носках.

— Mon vieux, вы дали отставку Жермен?..

— Cette femme est folle [1],— ответил он и стал ежиться,— то, что на свете бывает зима и лето, начало и конец, то, что после зимы наступает лето и наоборот,— все это не касается мадемуазель Жермен, все это песни не для нее... Она навьючивает вас ношей и требует, чтобы вы ее несли... куда? никто этого не знает, кроме мадемуазель Жермен...

Бьеналь сел на кровати, штаны обмялись вокруг жидких его ног, бледная кожа головы просвечивала сквозь слипшиеся волосы, треугольник усов вздрагивал. Макон по четыре франка за литр поправил моего друга. За десертом он пожал плечами и сказал, отвечая своим мыслям:

— ...Кроме вечной любви, на свете есть еще румыны, векселя, банкроты, автомобили с лопнувшими рамами. Oh, j'en ai plein le dos... [2]

Он повеселел в кафе де-Пари за рюмкой коньяку. Мы сидели на террасе под белым тентом. Широкие полосы были положены на нем. Перемешавшись с электрическими звездами, по тротуару текла толпа. Против нас остановился автомобиль, вытянутый, как мина. Из него вышел англичанин и женщина в собольей накидке. Она проплыла мимо нас в нагретом

[1] Эта женщина сумасшедшая *(фр.)*.
[2] О, у меня достаточно хлопот... *(фр.)*

облаке духов и меха, нечеловечески длинная, с маленькой фарфоровой светящейся головой. Бьеналь подался вперед, увидев ее, выставил ногу в трепаной штанине и подмигнул, как подмигивают девицам с Rue de la Gaîte[1]. Женщина улыбнулась углом карминного рта, наклонила едва заметно обтянутую розовую голову и, колебля и волоча змеиное тело, исчезла. За ней, потрескивая, прошел негнущийся англичанин.

— Ah, canaille![2] — сказал им вслед Бьеналь.— Два года назад с нее довольно было аперитива...

Мы расстались с ним поздно. В субботу я назначил себе пойти к Жермен, позвать ее в театр, поехать с ней в Шартр, если она захочет, но мне пришлось увидеть их — Бьеналя и бывшую его подругу — раньше этого срока. На следующий день вечером полицейские заняли входы в отель Дантон, синие их плащи распахнулись в нашем вестибюле. Меня пропустили, удостоверившись, что я принадлежу к числу жильцов мадам Трюффо, нашей хозяйки. Я нашел жандармов у порога моей комнаты. Дверь из номера Бьеналя была растворена. Он лежал на полу в луже крови, с помутившимися и полузакрытыми глазами. Печать уличной смерти застывала на нем. Он был зарезан, мой друг Бьеналь, и хорошо зарезан. Жермен в костюме tailleur и шапочке, сдавленной по бокам, сидела у стола. Здороваясь со мной, она склонила голову, и с нею вместе склонилось перо на шапочке...

Все это случилось в шесть часов вечера, в час любви; в каждой комнате была женщина. Прежде чем уйти — полуодетые, в чулках до бедер, как пажи,— они торопливо накладывали на себя румяна и черной краской обводили рты. Двери были раскрыты, мужчины в незашнурованных башмаках выстроились в коридоре. В номере морщинистого итальянца, велосипедиста, плакала на подушке босая девочка. Я спустился вниз, чтобы предупредить мадам Трюффо. Мать этой девочки продавала газеты на улице Сен-Мишель. В конторке собрались уже старухи с нашей улицы, с улицы Данте: зеленщицы и консьержки, торговки каштанами и жареным картофелем, груды зобастого,

[1] Улица Веселья *(фр.)*.
[2] А, каналья *(фр.)*.

перекошенного мяса, усатые, тяжело дышавшие, в бельмах и багровых пятнах.

— Voila que n'est pas gai,— сказал я, входя,— quel malheur! [1]

— C'est l'amour, monsieur... Elle l'aimait...[2]

Под кружевцем вываливались лиловые груди мадам Трюффо, слоновые ноги расставились посреди комнаты, глаза ее сверкали.

— L'amore,— как эхо сказала за ней синьора Рокка, содержательница ресторана на улице Данте.— Dio cartiga quelli, chi non conoseono l'amore... [3]

Старухи сбились вместе и бормотали все разом. Оспенный пламень зажег их щеки, глаза вышли из орбит.

— L'amour,— наступая на меня, повторила мадам Трюффо,— c'est une grosse affaire, l'amour... [4]

На улице заиграл рожок. Умелые руки поволокли убитого вниз, к больничной карете. Он стал номером, мой друг Бьеналь, и потерял имя в прибое Парижа. Синьора Рокка подошла к окну и увидела труп. Она была беременна, живот грозно выходил из нее, на оттопыренных боках лежал шелк, солнце прошло по желтому, запухшему ее лицу, по желтым мягким волосам.

— Dio,— произнесла синьора Рокка,— tu non perdoni quelli, chi non ama...[5]

На истертую сеть Латинского квартала падала тьма, в уступах его разбегалась низкорослая толпа, горячее чесночное дыхание шло из дворов. Сумерки накрыли дом мадам Трюффо, готический фасад его с двумя окнами, остатки башенок и завитков, окаменевший плющ.

Здесь жил Дантон полтора столетия тому назад. Из своего окна он видел замок Консьержери, мосты, легко переброшенные через Сену, строй слепых домишек, прижатых к реке, то же дыхание восходило к нему. Толкаемые ветром, скрипели ржавые стропила и вывески заезжих дворов.

---

[1] Вот кому невесело. Какой ужас! *(фр.)*

[2] Это любовь, сударь... Она любила его... *(фр.)*.

[3] Любовь. Бог наказывает тех, кто не знает любви... *(ит.)*.

[4] Любовь — это великое дело, любовь... *(фр.)*.

[5] Господи, ты не прощаешь тем, кто не любит *(ит.)*.

В двадцать втором году в Винницком районе была разгромлена банда Гулая. Начальником штаба был у него Адриян Сулак, сельский учитель. Ему удалось уйти за рубеж в Галицию, вскоре газеты сообщили о его смерти. Через шесть лет после этого сообщения мы узнали, что Сулак жив и скрывается на Украине. Чернышову и мне поручили поиски. С мандатами зоотехников в кармане мы отправились в Хощеватое, на родину Сулака. Председателем сельрады оказался там демобилизованный красноармеец, парень добрый и простоватый.

— Вы тут кувшина молока не расстараетесь,— сказал он нам,— в том Хощеватом людей живьем едят...

Расспрашивая о ночлеге, Чернышов навел разговор на хату Сулака.

— Можно,— сказал председатель,— у цей вдовы и хатына есть...

Он повел нас на край села, в дом, крытый железом. В горнице, перед грудой холста, сидела карлица в белой кофте навыпуск. Два мальчика в приютских куртках, склонив стриженые головы, читали книгу. В люльке спал младенец с раздутой, белесой головой. На всем лежала холодная монастырская чистота.

— Харитина Терентьевна,— неуверенным голосом сказал председатель,— хочу хороших людей к тебе постановить.

Женщина показала нам хатыну и вернулась к своему холсту.

— Ця вдова не откажет,— сказал председатель, когда мы вышли,— у ней обстановка такая...

Оглядываясь по сторонам, он рассказал, что Сулак служил когда-то у желто-блакитных, а от них перешел к папе римскому.

— Муж у папы римского,— сказал Чернышов,— а жена в год по ребенку приводит...

— Живое дело,— ответил председатель, увидел на дороге подкову и поднял ее,— вы на эту вдову не глядите, что она недомерок, у ней молока на пятерых хватит. У ней молоком другие женщины заимствуются...

Дома председатель зажарил яичницу с салом и поставил водки. Опьянев, он полез на печь. Оттуда мы услышали шепот, детский плач.

— Ганночко, божусь тебе,— бормотал наш хозяин,— божусь тебе, завтра до вчительки пойду...

— Разговорились,— крикнул Чернышов, лежавший рядом со мной,— людям спать не даешь...

Всклокоченный председатель выглянул из-за печи; ворот его рубахи был расстегнут, босые ноги свисали книзу.

— Вчителька в школе трусов на развод давала,— сказал он виновато,— трусиху дала, а самого нет... Трусиха побыла, побыла, а тут весна, живое дело, она и подалась в лес. Ганночко,— закричал вдруг председатель, оборачиваясь к девочке,— завтра до вчительки пойду, пару тебе принесу, клетку сделаем...

Отец с дочерью долго еще переговаривались за печкой, он все вскрикивал «Ганночко», потом заснул. Рядом со мной на сене ворочался Чернышов.

— Пошли,— сказал он.

Мы встали. На чистом, без облачка, небе сияла луна. Весенний лед затянул лужи. На огороде Сулака, заросшем бурьяном, торчали голые стебли кукурузы, валялось обломанное железо. К огороду примыкала конюшня, внутри ее слышался шорох, в расщелинах досок мелькал свет. Подкравшись к воротам, Чернышов налег на них, запор поддался. Мы вошли и увидели раскрытую яму посреди конюшни, на дне ее сидел человек. Карлица в белой кофте стояла над краем ямы с миской борща в руках.

— Здравствуй, Адриян,— сказал Чернышов,— ужинать собрался?..

Упустив миску, карлица бросилась ко мне и укусила за руку. Зубы ее свело, она тряслась и стонала. Из ямы выстрелили.

— Адриян,— сказал Чернышов и отскочил,— нам тебя живого надо...

Сулак внизу возился с затвором, затвор щелкнул.

— С тобой как с человеком разговаривают,— сказал Чернышов и выстрелил.

Сулак прислонился к желтой оструганной стене, потрогал ее, кровь вылилась у него изо рта и ушей и он упал.

Чернышов остался на страже. Я побежал за председателем. В ту же ночь мы увезли убитого. Мальчики шли рядом с Чернышовым по мокрой, тускло блиставшей дороге. Ноги мертвеца в польских башмаках, подкованных гвоздями, высовывались из телеги. В головах у мужа неподвижно сидела карлица. В затмевающемся свете луны лицо ее с перекосившимися костями казалось металлическим. На маленьких ее коленях спал ребенок.

— Молочная,— сказал вдруг Чернышов, шагавший по дороге,— я тебе покажу молоко...

## СУД

***(Из записной книжки)***

Мадам Бляншар, шестидесяти одного года от роду, встретилась в кафе на Boulevard des Italiens [1] с бывшим подполковником Иваном Недачиным. Они полюбили друг друга. В их любви было больше чувственности, чем рассудка. Через три месяца подполковник бежал с акциями и драгоценностями, которые мадам Бляншар поручила ему оценить у ювелира на Rue de la Paix [2].

— Accès de folie passagère [3],— определил врач припадок, случившийся с мадам Бляншар. Вернувшись к жизни, старуха повинилась невестке. Невестка заявила в полицию. Недачина арестовали на Монпарнасе в погребке, где пели московские цыгане. В тюрьме Недачин пожелтел и обрюзг. Судили его в четырнадцатой камере уголовного суда. Первым прошло автомобильное дело, затем предстал перед судом шестнадцатилетний Раймонд Лепик, застреливший из ревности любовницу. Мальчика сменил подполковник. Жандармы вытолкнули его на свет, как выталкивали когда-то Урса на арену цирка. В зале суда французы, в небрежно сшитых пиджаках, громко кричали друг на друга, покорно раскрашенные женщины обмахивали веерами заплаканные лица. Впереди них — на воз-

[1] Итальянский бульвар *(фр.)*.
[2] Улица Мира *(фр.)*.
[3] Припадок временного безумия *(фр.)*.

вышении, под мраморным гербом республики,— сидел краснощекий мужчина с галльскими усами, в тоге и в шапочке.

— Eh bien, Nedatchine [1],— сказал он, увидев обвиняемого,— eh bien, mon ami [2].— И картавая, быстрая речь опрокинулась на вздрогнувшего подполковника.

— Происходя из рода дворян Nedatchine,— звучно говорил председатель,— вы записаны, мой друг, в геральдические книги Тамбовской провинции... Офицер царской армии — вы эмигрировали вместе с Врангелем и сделались полицейским в Загребе... Разногласия по вопросу о границах государственной и частной собственности,— звучно продолжал председатель, то высовывая из-под мантии носок лакированного башмака, то снова втягивая его,— разногласия эти, мой друг, заставили вас расстаться с гостеприимным королевством югославов и обратить взор на Париж... В Париже...— Тут председатель пробежал глазами лежавшую перед ним бумагу,— в Париже, мой друг, экзамен на шофера такси оказался крепостью, которой вы не смогли овладеть... Тогда вы отдали запас неизрасходованных сил отсутствующей в заседании мадам Бляншар...

Чужая речь сыпалась на Недачина, как летний дождь. Беспомощный, громадный, с повисшими руками — он возвышался над толпой, как грустное животное другого мира.

— Voyons [3],— сказал председатель неожиданно,— я вижу со своего места невестку почтенной мадам Бляншар.

Наклонив голову, к свидетельскому столу пробежала, трясясь, жирная женщина без шеи, похожая на рыбу, всунутую в сюртук. Задыхаясь, подымая к небу короткие ручки, она стала перечислять названия акций, похищенных у мадам Бляншар.

— Благодарю вас, мадам,— перебил ее председатель и кивнул сидевшему налево от суда сухощавому человеку с породистым и впалым лицом. Слегка приподнявшись, прокурор процедил несколько слов и сел, сцепив руки в круглых манжетах. Его сменил адво-

[1] Итак, Недачин... *(фр.)*.
[2] Итак, друг мой *(фр.)*.
[3] Ну вот *(фр.)*.

кат, натурализовавшийся киевский еврей. Он обиженно, словно ссорясь с кем-то, закричал о Голгофе русского офицерства. Невнятно произносимые французские слова крошились, сыпались у него во рту и к концу речи стали похожи на еврейские. Несколько мгновений председатель молча, без выражения смотрел на адвоката и вдруг качнулся вправо — к иссохшему старику в тоге и в шапочке, потом он качнулся в другую сторону к такому же старику, сидевшему слева.

— Десять лет, друг мой,— кротко сказал председатель, кивнув Недачину головой, и схватил на лету брошенное ему секретарем новое дело.

Вытянувшись во фронт, Недачин стоял неподвижно. Бесцветные глазки его мигали, на маленьком лбу выступил пот.

— T'a encaisse dix ans [1],— сказал жандарм за его спиной,— c'est fini, mon vieux [2].— И, тихонько работая кулаками, жандарм стал подталкивать осужденного к выходу.

## МОЙ ПЕРВЫЙ ГОНОРАР

Жить весной в Тифлисе, иметь двадцать лет от роду и не быть любимым — это беда. Такая беда приключилась со мной. Я служил корректором в типографии Кавказского Военного округа. Под окнами моей мансарды клокотала Кура. Солнце, восходившее за горами, зажигало по утрам мутные ее узлы. Мансарду я снимал у молодоженов-грузин. Хозяин мой торговал на восточном базаре мясом. За стеной, осатанев от любви, мясник и его жена ворочались как большие рыбы, запертые в банку. Хвосты обеспамятевших этих рыб бились о перегородку. Они трясли наш чердак, почернелый под отвесным солнцем, срывали его со столбов и несли в бесконечность. Зубы их, сведенные упрямой злобой страсти, не могли разжаться. По утрам новобрачная Милиет спускалась за лавашом. Она так была слаба, что держалась за

[1] Тебе дали десять лет *(фр.)*.
[2] Все кончено, дружок *(фр.)*.

перила, чтобы не упасть. Ища тонкой ногой ступеньку, Милиет улыбалась неясно и слепо, как выздоравливающая. Прижав ладони к маленькой груди, она кланялась всем, кто ей встречался на пути — зазеленевшему от старости айсору, разносчику керосина и мегерам, продававшим мотки бараньей шерсти, мегерам, изрезанным жгучими морщинами. По ночам толкотня и лепет моих соседей сменялись молчанием, пронзительным, как свист ядра.

Иметь двадцать лет от роду, жить в Тифлисе и слушать по ночам бури чужого молчания — это беда. Спасаясь от нее,— я кидался опрометью вон из дому, вниз к Куре, там настигали меня банные пары тифлисской весны. Они накидывались с размаху и обессиливали. С пересохшим горлом я кружил по горбатым мостовым. Туман весенней духоты загонял меня снова на чердак, в лес почернелых пней, озаренных луной. Мне ничего не оставалось кроме как искать любви. Конечно, я нашел ее. На беду или на счастье, женщина, выбранная мною, оказалась проституткой. Ее звали Вера. Каждый вечер я крался за нею по Головинскому проспекту, не решаясь заговорить. Денег для нее у меня не было, да и слов — неутомимых этих пошлых и роющих слов любви — тоже не было. Смолоду все силы моего существа были отданы на сочинение повестей, пьес, тысячи историй. Они лежали у меня на сердце, как жаба на камне. Одержимый бесовской гордостью,— я не хотел писать их до времени. Мне казалось пустым занятием — сочинять хуже, чем это делал Лев Толстой. Мои истории предназначались для того, чтобы пережить забвение. Бесстрашная мысль, изнурительная страсть стоят труда, потраченного на них, только тогда, когда они облачены в прекрасные одежды. Как сшить эти одежды?..

Человеку, взятому на аркан мыслью, присмиревшему под змеиным ее взглядом, трудно изойти пеной незначащих и роющих слов любви. Человек этот стыдится плакать от горя. У него недостает ума, чтобы смеяться от счастья. Мечтатель — я не овладел бессмысленным искусством счастья. Мне пришлось поэтому отдать Вере десять рублей из скудных моих заработков.

Решившись, я стал однажды вечером на страже у дверей духана «Симпатия». Мимо меня небрежным

парадом двигались князья в синих черкесках и мягких сапогах. Ковыряя в зубах серебряными зубочистками, они рассматривали женщин, крашенных кармином, грузинок с большими ступнями и узкими бедрами. В сумерках просвечивала бирюза. Распустившиеся акации завывали вдоль улиц низким, осыпающимся голосом. Толпа чиновников в белых кителях колыхалась по проспекту: ей навстречу летели с Казбека бальзамические струи.

Вера пришла позже, когда стемнело. Рослая, белолицая — она плыла впереди обезьяньей толпы, как плывет богородица на носу рыбачьего баркаса. Она поравнялась с дверьми духана «Симпатия». Я качнулся, двинулся.

— В какие Палестины?

Широкая розовая спина двигалась передо мною. Вера обернулась.

— Вы что там лепечете?..

Она нахмурилась, глаза ее смеялись.

— Куда бог несет?..

Во рту моем слова раскалывались, как высохшие поленья. Переменив ногу, Вера пошла со мною рядом.

— Десятка — вам не обидно будет?..

Я согласился так быстро, что это возбудило ее подозрения.

— Да есть ли они у тебя, десять рублей?..

Мы вошли в подворотню, я подал ей мой кошелек. Она насчитала в нем двадцать один рубль, серые глаза ее щурились, губы шевелились. Золотые монеты она положила к золотым, серебряные к серебряным.

— Десятку мне,— отдавая кошелек, сказала Вера,— пять рублей прогуляем, на остальные живи. У тебя когда получка?..

Я ответил, что получка через четыре дня. Мы вышли из подворотни. Вера взяла меня под руку и прижалась плечом. Мы пошли вверх по остывающей улице. Тротуар был засыпан ковром увядших овощей.

— В Боржом бы от этакой жары...

Бант охватывал Верины волосы. В нем лились и гнулись молнии от фонарей.

— Ну и дуй в Боржом...

Это я сказал — «дуй». Для чего-то оно было мною произнесено — это слово.

— Пети-мети нет,— ответила Вера, зевнула и забыла обо мне. Она забыла обо мне потому, что день ее был сделан и заработок со мной был легок. Она поняла, что я не подведу ее под полицию и не заберу ночью денег вместе с серьгами.

Мы дошли до подножия горы святого Давида. Там, в харчевне, я заказал люля-кебаб. Не дожидаясь пищи, Вера пересела к группе старых персов, обсуждавших свои дела. Опершись на стоящие палки, кивая оливковыми головами, они убеждали кабатчика в том, что для него пришла пора расширить торговлю. Вера вмешалась в их разговор. Она стала на сторону стариков. Она стояла за то, чтобы перевести харчевню на Михайловский проспект. Кабатчик, ослепший от рыхлости и осторожности, сопел. Я один ел мой люля-кебаб. Обнаженные Верины руки текли из шелка рукавов, она пристукивала по столу кулаком, серьги ее летали между длинных выцветших спин, оранжевых бород и крашеных ногтей. Люля-кебаб остыл, когда она вернулась к столику. Лицо ее горело от волнения.

— Вот не сдвинешь его с места, ишака этого... На Михайловском с восточной кухней, знаешь, какие дела можно поднять...

Мимо столика, один за другим, проходили знакомые Веры — князья в черкесках, немолодые офицеры, лавочники в чесучовых пиджаках и пузатые старики с загорелыми лицами и зелеными угрями на щеках. Только в двенадцатом часу ночи попали мы в гостиницу, но и там у Веры нашлись нескончаемые дела. Какая-то старушка снаряжалась в путь к сыну в Армавир. Оставив меня, Вера побежала к отъезжающей и стала тискать коленями ее чемодан, увязывать ремнями подушки, заворачивать пирожки в масляную бумагу. Плечистая старушка в газовой шляпёнке, с рыжей сумкой на боку, ходила по номерам прощаться. Она шаркала по коридору резиновыми ботиками, всхлипывала и улыбалась всеми морщинами. Час — не меньше — ушел на проводы. Я ждал Веру в прелом номере, заставленном трехногими креслами, глиняной печью, сырыми углами в разводах.

Меня мучили и таскали по городу так долго, что самая любовь моя показалась мне врагом, прилипчивым врагом...

В коридоре шаркала и разражалась внезапным хохотом чужая жизнь. В пузырьке, наполненном молочной жидкостью, умирали мухи. Каждая умирала по-своему. Агония одной была длительна, предсмертные содрогания порывисты; другая умирала, трепеща чуть заметно. Рядом с пузырьком на потертой скатерти валялась книга, роман из боярской жизни Головина. Я раскрыл ее наугад. Буквы построились в ряд и смешались. Предо мною, в квадрате окна, уходил каменистый подъем, кривая турецкая уличка. В комнату вошла Вера.

— Проводили Федосью Маврикиевну,— сказала она.— Поверишь, она нам всем, как родная была... Старушка одна едет, ни попутчика, никого...

Вера села на кровать, расставив колени. Глаза ее блуждали в чистых областях забот и дружбы. Потом она увидела меня, в двубортной куртке. Женщина сцепила руки и потянулась.

— Заждался, небось... Ничего, сейчас сделаемся...

Но что собиралась Вера делать — я так и не понял. Приготовления ее были похожи на приготовления доктора к операции. Она зажгла керосинку и поставила на нее кастрюлю с водой. Она положила чистое полотенце на спинку кровати и повесила кружку от клизмы над головой, кружку с белой кишкой, болтающейся по стене. Когда вода согрелась, Вера перелила ее в клизму, бросила в кружку красный кристалл и стала через голову стягивать с себя платье. Большая женщина с опавшими плечами и мятым животом стояла передо мной. Расплывшиеся соски слепо уставились в сторону.

— Пока вода доспеет,— сказала моя возлюбленная,— подь-ка сюда, попрыгунчик...

Я не двинулся с места. Во мне оцепенело отчаяние. Зачем променял я одиночество на это логово, полное нищей тоски, на умирающих мух и трехногую мебель...

О, боги моей юности!.. Как непохожа была будничная эта стряпня на любовь моих хозяев за стеной, на протяжный, закатывающийся их визг...

Вера подложила ладони под груди и покачала их.

— Что сидишь невесел, голову повесил?.. Поди сюда...

Я не двинулся с места. Вера подняла рубаху к животу и снова села на кровать.

— Или денег пожалел?

— Моих денег не жалко...

Я сказал это рвущимся голосом.

— Почему так — не жалко?.. Или ты вор?..

— Я не вор.

— Нинкуешь у воров?..

— Я мальчик.

— Я вижу, что не корова,— пробормотала Вера. Глаза ее слипались. Она легла и, притянув меня к себе, стала шарить по моему телу.

— Мальчик,— закричал я,— ты понимаешь, мальчик у армян...

О, боги моей юности!.. Из двадцати прожитых лет — пять ушло на придумывание повестей, тысячи повестей, сосавших мозг. Они лежали у меня на сердце, как жаба на камне. Сдвинутая силой одиночества, одна из них упала на землю. Видно, на роду мне было написано, чтобы тифлисская проститутка сделалась первой моей читательницей. Я похолодел от внезапности моей выдумки и рассказал ей историю о мальчике у армян. Если бы я меньше и ленивей думал о своем ремесле,— я заплел бы пошлую историю о выгнанном из дому сыне богатого чиновника, об отце-деспоте и матери-мученице. Я не сделал этой ошибки. Хорошо придуманной истории незачем походить на действительную жизнь; жизнь изо всех сил старается походить на хорошо придуманную историю. Поэтому и еще потому, что так нужно было моей слушательнице — я родился в местечке Алешки, Херсонской губернии. Отец работал чертежником в конторе речного пароходства. Он дни и ночи бился над чертежами, чтобы дать нам, детям, образование, но мы пошли в мать, лакомку и хохотунью. Десяти лет я стал воровать у отца деньги, подросши убежал в Баку, к родственникам матери. Они познакомили меня с армянином Степаном Ивановичем. Я сошелся с ним, и мы прожили вместе четыре года...

— Да лет-то тебе сколько было тогда?..

— Пятнадцать...

Вера ждала злодейств от армянина, развратившего меня. Тогда я сказал:

— Мы прожили четыре года. Степан Иванович оказался самым доверчивым и щедрым человеком из всех людей, каких я знал, самым совестливым и благородным. Всем приятелям он верил на слово. Мне бы за эти четыре года изучить ремесло,— я не ударил пальцем о палец... У меня другое было на уме — биллиард... Приятели разорили Степана Ивановича. Он выдал им бронзовые векселя, друзья представили их ко взысканию...

Бронзовые векселя... Сам не знаю, как взбрели они мне на ум. Но я сделал правильно, упомянув о них. Вера поверила всему, услышав о бронзовых векселях. Она закуталась в шаль, шаль заколебалась на ее плечах.

...Степан Иванович разорился. Его выгнали из квартиры, мебель продали с торгов. Он поступил приказчиком на выезд. Я не стал жить с ним, с нищим, и перешел к богатому старику, церковному старосте...

Церковный староста — это было украдено у какого-то писателя, выдумка ленивого сердца, не захотевшего потрудиться над рождением живого человека.

Церковный староста — сказал я, и глаза Веры мигнули, ушли из-под моей власти. Тогда, чтобы поправиться, я вдвинул астму в желтую грудь старика, припадки астмы, сиплый свист удушья в желтой груди. Старик вскакивал по ночам с постели и дышал со стоном в бакинскую керосиновую ночь. Он скоро умер. Астма удавила его. Родственники прогнали меня. И вот — я в Тифлисе, с двадцатью рублями в кармане, с теми самыми, которые Вера пересчитала в подворотне на Головинском. Номерной гостиницы, в которой я остановился, обещал мне богатых гостей, но пока он приводит только духанщиков с вываливающимися животами... Эти люди любят свою страну, свои песни, свое вино и топчут чужие души и чужих женщин, как деревенский вор топчет огород соседа...

И я стал молоть про духанщиков вздор, слышанный мною когда-то... Жалость к себе разрывала мне сердце. Гибель казалась неотвратимой. Дрожь горя и вдохновения корчила меня. Струи леденящего пота потекли по лицу, как змеи, пробирающиеся по траве, нагретой солнцем. Я замолчал, заплакал и отвернулся. История была кончена. Керосинка давно потухла.

Вода закипела и остыла. Резиновая кишка свисала со стены. Женщина неслышно пошла к окну. Передо мной двигалась ее спина, ослепительная и печальная. В окне, в уступах гор, загорался свет.

— Чего делают,— прошептала Вера не оборачиваясь,— боже, чего делают...

Она протянула голые руки и развела створки окна. На улице посвистывали остывающие камни. Запах воды и пыли шел по мостовой... Голова Веры пошатывалась.

— Значит — бляха... Наша сестра — стерва...

Я понурился.

— Ваша сестра — стерва...

Вера обернулась ко мне. Рубаха косым клочком лежала на ее теле.

— Чего делают,— повторила женщина громче.— Боже, чего делают... Ну, а баб ты знаешь?..

Я приложил обледеневшие губы к ее руке.

— Нет... Откуда мне их знать, кто меня допустит?

Голова моя тряслась у ее груди, свободно вставшей надо мною. Оттянутые соски толкались о мои щеки. Раскрыв влажные веки, они толкались, как телята. Вера сверху смотрела на меня.

— Сестричка,— прошептала она, опускаясь на пол рядом со мной,— сестричка моя, бляха...

Теперь скажите, мне хочется спросить об этом, скажите, видели ли вы когда-нибудь, как рубят деревенские плотники избу для своего же собрата-плотника, как споро, сильно и счастливо летят стружки прочь от обтесываемого бревна?.. В ту ночь тридцатилетняя женщина обучила меня своей науке. Я узнал в ту ночь тайны, которых вы не узнаете, испытал любовь, которой вы не испытаете, услышал слова женщины, обращенные к женщине. Я забыл их. Нам не дано помнить это.

Мы заснули на рассвете. Нас разбудил жар наших тел, жар, камнем лежавший в кровати. Проснувшись, мы засмеялись друг другу. Я не пошел в этот день в типографию. Мы пили чай на майдане, на базаре старого города. Мирный турок налил нам из завернутого в полотенце самовара чай, багровый, как кирпич, дымящийся, как только что пролитая кровь. В стенках стакана пылало дымное пожарище солнца. Тягучий крик ослов смешивался с ударами котельщи-

ков. Под шатрами на выцветших коврах были выставлены в ряд медные кувшины. Собаки рылись мордами в воловьих кишках. Караван пыли летел на Тифлис — город роз и бараньего сала. Пыль заносила малиновый костер солнца. Турок подливал нам чаю и на счетах отсчитывал баранки. Мир был прекрасен для того, чтобы сделать нам приятное. Когда испарина бисером обложила меня — я поставил стакан донышком вверх. Расплачиваясь с турком,— я придвинул к Вере две золотых пятирублевки. Полная ее нога лежала на моей ноге. Она отодвинула деньги и сняла ногу.

— Расплеваться хочешь, сестричка?..

Нет, я не хотел расплеваться. Мы уговорились встретиться вечером, и я положил обратно в кошелек два золотых — мой первый гонорар.

Прошло много лет с тех пор. За это время много раз получал я деньги от редакторов, от ученых людей, от евреев, торгующих книгами. За победы, которые были поражениями, за поражения, ставшие победами, за жизнь и за смерть они платили ничтожную плату, много ниже той, которую я получил в юности от первой моей читательницы. Но злобы я не испытываю. Я не испытываю ее потому, что знаю, что не умру, прежде чем не вырву из рук любви еще один — и это будет мой последний — золотой.

*1922—1928*

## КОЛЫВУШКА

*(Из книги «Великая Старица»)*

Во двор Ивана Колывушки вступило четверо — уполномоченный РИКа Ивашко, Евдоким Назаренко, голова сельрады, Житияк, председатель колхоза, только что образовавшегося, и Адриян Моринец. Адриян двигался так, как если бы башня тронулась с места и пошла. Прижимая к бедру переламывающийся холстинный портфель, Ивашко пробежал мимо сараев и вскочил в хату. На потемневших прялках, у окна, сучили нитку жена Ивана и две его дочери. Повязанные косынками, с высокими тальмами и чистыми ма-

ленькими босыми ногами — они походили на мнашек. Между полотенцами и дешевыми зеркалами висели фотографии прапорщиков, учительниц и горожан на даче. Иван вошел в хату вслед за гостями и снял шапку.

— Сколько податку платит? — вертясь, спросил Ивашко.

Голова Евдоким, сунув руки в карманы, наблюдал за тем, как летит колесо прялки.

Ивашко фыркнул, узнав, что Колывушка платит двести шестнадцать рублей.

— Бильш не сдужил?..

— Видно, что не сдужил...

Житняк растянул сухие губы, голова Евдоким все смотрел на прялку. Колывушка, стоявший у порога, мигнул жене; та вынула из-за образов квитанцию и подала уполномоченному РИКа.

— Семфонд?..— Ивашко спрашивал отрывисто, от нетерпения он ерзал ногой, вдавливая ее в половицы.

Евдоким поднял глаза и обвел ими хату.

— В этом господарстве,— сказал Евдоким,— все сдано, товарищ представник... В этом господарстве не может того быть, чтобы не сдано...

Беленые стены низким, теплым куполом сходились над гостями. Цветы в ламповых стеклах, плоские шкафы, натертые лавки — все отражало мучительную чистоту. Ивашко снялся со своего места и побежал с вихляющим портфелем к выходу.

— Товарищ представник,— Колывушка ступил вслед за ним,— распоряжение будет мне или как?..

— Довидку получишь,— болтая руками, прокричал Ивашко и побежал дальше.

За ним двигался Адриян Моринец, нечеловечески громадный. Веселый виконавец Тымыш мелькнул у ворот,— вслед за Ивашкой. Тымыш мерил длинными ногами грязь деревенской улицы.

— У чому справа, Тымыш?..

Иван поманил его и схватил за рукав. Виконавец, веселая жердь, перегнулся и открыл пасть, набитую малиновым языком и обсаженную жемчугами.

— Дом твой под ремaнент забирают...

— А меня?..

— Тебя на высылку...

И журавлиными своими ногами Тымыш бросился догонять начальство.

Во дворе у Ивана стояла запряженная лошадь. Красные вожжи были брошены на мешки с пшеницей. У погнувшейся липы посреди двора стоял пень, в нем торчал топор. Иван потрогал рукой шапку, сдвинул ее и сел. Кобыла подтащила к нему розвальни, высунула язык и сложила его трубочкой. Лошадь была жереба, живот ее оттягивался круто. Играя, она ухватила хозяина за ватное плечо и потрепала его. Иван смотрел себе под ноги. Истоптанный снег рябил вокруг пня. Сутулясь, Колывушка вытянул топор, подержал его в воздухе, на весу, и ударил лошадь по лбу. Одно ухо ее отскочило, другое прыгнуло и прижалось; кобыла застонала и понесла. Розвальни перевернулись, пшеница витыми полосами разостлалась по снегу. Лошадь прыгала передними ногами и запрокидывала морду. У сарая она запуталась в зубьях бороны. Из-под кровавой, льющейся завесы вышли ее глаза. Жалуясь, она запела. Жеребенок повернулся в ней, жила вспухла на ее брюхе.

— Помиримось,— протягивая ей руку, сказал Иван,— помиримось, дочка...

Ладонь в его руке была раскрыта. Ухо лошади повисло, глаза ее косили, кровавые кольца сияли вокруг них, шея образовала с мордой прямую линию. Верхняя губа ее запрокинулась в отчаянии. Она натянула шлею и двинулась, таща прыгавшую борону. Иван отвел за спину руку с топором. Удар пришелся между глаз, в рухнувшем животном еще раз повернулся жеребенок. Описав круг по двору, Иван подошел к сараю и выкатил на волю веялку. Он размахивался широко и медленно, разбивая машину, и поворачивал топор в тонком плетении колес и барабана. Жена в высокой тальме появилась на крыльце.

— Маты,— услышал Иван далекий голос,— маты, он все погубляет...

Дверь открылась; из дому, опираясь на палку, вышла старуха в холстинных штанах. Желтые волосы облегали дыры ее щек, рубаха висела как саван на плоском ее теле. Старуха ступила в снег мохнатыми чулками.

— Кат,— отнимая топор, сказала она сыну,— ты отца вспомнил?.. Ты братов, каторжников, вспомнил?..

Во двор набрались соседи. Мужики стояли полукругом и смотрели в сторону. Чужая баба рванулась и завизжала.

— Примись, стерво,— сказал ей муж.

Иван стоял, упершись в стену. Дыхание его, гремя, разносилось по двору. Казалось, он производит трудную работу, вбирая в себя воздух и выталкивая его.

Дядька Колывушки, Терентий, бегая вокруг ворот, пытался запереть их.

— Я человек,— сказал вдруг Иван окружившим его,— я есть человек, селянин... Неужто вы человека не бачили?..

Терентий, толкаясь и приседая, прогнал посторонних. Ворота завизжали и съехались. Раскрылись они к вечеру. Из них выплыли сани, туго, с перекатом, уложенные добром. Женщины сидели на тюках, как окоченевшие птицы. На веревке, привязанная за рога, шла корова. Воз проехал краем села и утонул в снежной, плоской пустыне. Ветер мял снизу и стонал в этой пустыне, рассыпая голубые валы. Жестяное небо стояло за ними. Алмазная сеть, блестя, оплетала небо.

Колывушка, глядя прямо перед собой, прошел по улице к сельраде. Там шло заседание нового колхоза «Видродження». За столом распластался горбатый Житняк.

— Перемена нашей жизни, в чем она есть, ця перемена?

Руки горбуна прижимались к туловищу и снова уносились.

— Селяне, мы переходим к молочно-огородному направлению, тут громаднейшее значение... Батьки и деды наши топтали чоботами клад, в настоящее время мы его вырываем. Разве это не позор, разве ж то не ганьба, что, существуя в яких-нибудь шестидесяти верстах от центрального нашего миста — мы не поладили господарства на научных данных? Очи наши были затворены, селяне, утекать мы утекали сами от себя... Что такое обозначает шестьдесят верст, кому это известно?.. В нашей державе это обозначает час времени, но и цей малый час есть человеческое наше имущество, есть драгоценность...

Дверь сельрады раскрылась. Колывушка в литом полушубке и высокой шапке прошел к стене. Пальцы Ивашки запрыгали и врылись в бумаги.

— Посбавленных права голоса,— сказал он, глядя вниз на бумаги,— прохаю залишить наши сборы...

За окном, за грязными стеклами, разливался закат, изумрудные его потоки. В сумерках деревенской избы в сыром дыму махорки слабо блестели искры. Иван снял шапку, корона черных его волос развалилась.

Он подошел к столу, за которым сидел президиум,— батрачка Ивга Мовчан, голова Евдоким и безмолвный Адриян Моринец.

— Мир,— сказал Колывушка, протянул руку и положил на стол связку ключей,— я увольняюсь от вас, мир...

Железо, прозвенев, легло на почернелые доски. Из тьмы вышло искаженное лицо Адрияна.

— Куда ты пойдешь, Иване?..

— Люди не приймают, может, земля примет...

Иван вышел на цыпочках, ныряя головой.

— Номер,— взвизгнул Ивашко, как только дверь закрылась за ним,— самая провокация... Он за обрезом пошел, он никуда, кроме как за обрезом, не пойдет...

Ивашко застучал кулаком по столу. К устам его рвались слова о панике и о том, чтобы соблюдать спокойствие. Лицо Адрияна снова втянулось в темный угол.

— Не,— сказал он из тьмы,— мабуть, не за обрезом, представник.

— Маю пропозицию...— вскричал Ивашко.

Предложение состояло в том, чтобы нарядить стражу у Колывушкиной хаты. В стражники выбрали Тымыша, виконавца. Гримасничая, он вынес на крыльцо венский стул, развалился на нем, поставил у ног своих дробовик и дубинку. С высоты крыльца, с высоты деревенского своего трона Тымыш перекликался с девками, свистал, выл и постукивал дробовиком. Ночь была лилова, тяжела, как горный цветной камень. Жилы застывших ручьев пролегали в ней; звезда спустилась в колодцы черных облаков.

Наутро Тымыш донес, что происшествий не было. Иван ночевал у деда Абрама, у старика, заросшего

дикнм мясом. С вечера Абрам протащился к колодцу.

— Ты зачем, днду Абрам?..

— Самовар буду ставить,— сказал дед.

Они спалн поздно. Над хатами закурился дым; их дверь все была затворена.

— Смылся,— сказал Ивашко на собрании колхоза,— заплачем, чи шо?.. Как вы мыслнте, селяне?..

Житняк, раскннув по столу трепещущие острые локти, записывал в книгу прнметы обобществленных лошадей. Горб его отбрасывал движущуюся тень.

— Чем нам теперь глотку запхнешь,— разглагольствовал Жнтняк между делом,— нам теперь все на свете нужно... Дождевиков нскусственных надо, распашников надо пружнннных, трактора, насосы... Это есть ненасытность, селяне... Вся наша держава есть ненасытная...

Лошадн, которых запнсывал Житняк, все были гнедые и пегие, по нменам их звали «мальчнк» и «жданка». Житняк заставлял владельцев расписываться против каждой фамилин.

Его прервал шум, глухой н дальний топот... Прибой накатывался н плескал в Великую Старнцу. По разломившейся улнце повалила толпа. Безногие катнлись впереди нее. Невидимая хоругвь реяла над толпой. Добежав до сельрады, люди сменили ноги н построились. Круг обнажился среди них, круг вздыбленного снега, пустое место, как оставляют для попа во время крестного хода. В кругу стоял Колывушка в рубахе навыпуск под жилеткой, с белой головой. Ночь посеребрила цыганскую его корону, черного волоса не осталось в ней. Хлопья снега, слабые птицы, уносимые ветром, пронеслись под потеплевшим небом. Старик со сломанными ногами, подавшись вперед, с жадностью смотрел на белые волосы Колывушки.

— Скажи, Иване,— поднимая руки, произнес старик,— скажи народу, что ты маешь на душе...

— Куда вы гоните меня, мнр,— прошептал Колывушка, ознраясь,— куда я пойду... Я рожденный среди вас, мнр...

Ворчанье проползло в рядах. Разбрасывая людей, Моринец выбрался вперед.

— Нехай робит,— вопль не мог вырваться из могучего его тела, низкий голос дрожал,— нехай робит... Чью долю он заест?..

— Мою,— сказал Житняк и засмеялся. Шаркая ногами, он подошел к Колывушке и подмигнул ему.

— Цию ночку я с бабой переспал,— сказал горбун,— как вставать — баба оладий напекла, мы, как кабаны, нашамались с нею, аж газ пущали...

Горбун умолк, смех его оборвался, кровь ушла из его лица.

— Ты к стенке нас ставить пришел,— сказал он тише,— ты тиранить нас пришел белой своей головой, мучить нас — только мы не станем мучиться, Ваня... Нам это — скука в настоящее время — мучиться.

Горбун придвигался на тонких вывороченных ногах. Что-то свистело в нем, как в птице.

— Тебя убить надо,— прошептал он, догадавшись,— я за пистолью пойду, унистожу тебя...

Лицо его просветлело, радуясь, он тронул руку Колывушки и кинулся в дом за дробовиком Тымыша. Колывушка, покачавшись на месте, двинулся. Серебряный свиток его головы уходил в клубящемся пролете хат. Ноги его путались, потом шаг стал тверже. Он повернул по дороге на Ксеньевку.

С тех пор никто не видел его в Великой Старице.

*Весна, 1930 г.*

# ВОСПОМИНАНИЯ, ПОРТРЕТЫ, СТАТЬИ

## НАЧАЛО

Лет двадцать тому назад, находясь в весьма нежном возрасте, расхаживал я по городу Санкт-Петербургу с липовым документом в кармане и — в лютую зиму — без пальто. Пальто, надо признаться, у меня было, но я не надевал его по принципиальным соображениям. Собственность мою в ту пору составляли несколько рассказов — столь же коротких, сколь и рискованных. Рассказы эти я разносил по редакциям, никому не приходило в голову читать их, а если они кому-нибудь попадались на глаза, то производили обратное действие. Редактор одного из журналов выслал мне через швейцара рубль, другой редактор сказал о рукописи, что это сущая чепуха, но что у тестя его есть мучной лабаз и в лабаз этот можно поступить приказчиком. Я отказался и понял, что мне не остается ничего другого, как пойти к Горькому.

В Петрограде издавался тогда интернационалистический журнал «Летопись», сумевший за несколько месяцев существования сделаться лучшим нашим ежемесячником. Редактором его был Горький. Я отправился к нему на Большую Монетную улицу. Сердце мое колотилось и останавливалось. В приемной редакции собралось самое необыкновенное общество из всех, какое только можно себе представить: великосветские дамы и так называемые «босяки», арзамасские телеграфисты, духоборы и державшиеся особняком рабочие, подпольщики-большевики.

Прием должен был начаться в шесть часов. Ровно в шесть дверь открылась, и вошел Горький, поразив меня своим ростом, худобой, силой и размером громадного костяка, синевой маленьких и твердых глаз, заграничным костюмом, сидевшим на нем мешковато,

но изысканно. Я сказал: дверь открылась ровно в шесть. Всю жизнь он оставался верен этой точности, добродетели королей и старых, умелых, уверенных в себе рабочих.

Посетители в приемной разделялись — на принесших рукописи и на тех, кто ждал решения участи.

Горький подошел ко второй группе. Походка его была легка, бесшумна, я бы сказал — изящна, в руках он держал тетради; на некоторых из них его рукой было написано больше, чем рукой автора. С каждым он говорил сосредоточенно и долго, слушал собеседника с всепоглощающим жадным вниманием. Мнение свое он высказывал прямо и сурово, выбирая слова, силу которых мы узнали много позже, через годы и десятилетия, когда слова эти, прошедшие в душе нашей длинный, неотвратимый путь, сделались правилом и направлением жизни.

Покончив с авторами, уже знакомыми ему, Горький подошел к нам и стал собирать рукописи. Мельком он взглянул на меня. Я представлял тогда собой румяную, пухлую и неперебродившую смесь толстовца и социал-демократа, не носил пальто, но был вооружен очками, замотанными вощеной ниткой.

Дело происходило во вторник. Горький взял тетрадку и сказал:

— За ответом — в пятницу.

Неправдоподобно звучали тогда эти слова... Обычно рукописи истлевали в редакциях по нескольку месяцев, а чаще всего — вечность.

Я вернулся в пятницу и застал новых людей: как и в первый раз, среди них были княгини и духоборы, рабочие и монахи, морские офицеры и гимназисты. Войдя в комнату, Горький снова взглянул на меня беглым своим мгновенным взглядом, но оставил меня напоследок. Все ушли. Мы остались одни — Максим Горький и я, свалившийся с другой планеты, из собственного нашего Марселя (не знаю, нужно ли пояснять, что я говорю об Одессе). Горький позвал меня в кабинет. Слова, сказанные им там, решили мою судьбу.

— Гвозди бывают маленькие,— сказал он,— бывают и большие — с мой палец.— И он поднес к моим глазам длинный, сильно и нежно вылепленный палец.— Писательский путь, уважаемый пистолет

(с ударением на о), усеян гвоздями, преимущественно крупного формата. Ходить по ним придется босыми ногами, крови сойдет довольно, и с каждым годом она будет течь все обильнее... Слабый вы человек — вас купят и продадут, вас затормошат, усыпят, и вы увянете, притворившись деревом в цвету... Честному же человеку, честному литератору и революционеру пройти по этой дороге — великая честь, на каковые нелегкие действия я вас, сударь, и благословляю...

Надо думать, в моей жизни не было часов важнее тех, которые я провел в редакции «Летописи». Выйдя оттуда, я полностью потерял физическое ощущение моего существа. В тридцатиградусный, синий, обжигающий мороз я бежал в бреду по громадным пышным коридорам столицы, открытым далекому темному небу, и опомнился, когда оставил за собой Черную Речку и Новую Деревню...

Прошла половина ночи, и тогда только я вернулся на Петербургскую сторону, в комнату, снятую накануне у жены инженера, молодой, неопытной женщины. Когда со службы пришел ее муж и осмотрел мою загадочную и юную персону, он распорядился убрать из передней все пальто и галоши и закрыть на ключ дверь из моей комнаты в столовую.

Итак, я вернулся в свою новую квартиру. За стеной была передняя, лишенная причитавшихся ей галош и накидок, в душе кипела и заливала меня жаром радость, тиранически требовавшая выхода. Выбирать было не из чего. Я стоял в передней, чему-то улыбался и неожиданно для себя открыл дверь в столовую. Инженер с женой пили чай. Увидев меня в этот поздний час, они побледнели, особенно у них побелели лбы.

«Началось»,— подумал инженер и приготовился дорого продать свою жизнь.

Я ступил два шага по направлению к нему и сознался в том, что Максим Горький обещал напечатать мои рассказы.

Инженер понял, что он ошибся, приняв сумасшедшего за вора, и побледнел еще смертельнее.

— Я прочту вам мои рассказы,— сказал я, усаживаясь и придвигая к себе чужой стакан чая,— те рассказы, которые он обещал напечатать...

Краткость содержания соперничала в моих творениях с решительным забвением приличий. Часть из них, к счастью благонамеренных людей, не явилась на свет. Вырезанные из журналов, они послужили поводом для привлечения меня к суду по двум статьям сразу — за попытку ниспровергнуть существующий строй и за порнографию. Суд надо мной должен был состояться в марте 1917 года, но вступившийся за меня народ в конце февраля восстал, сжег обвинительное заключение, а вместе с ним и самое здание Окружного суда.

Алексей Максимович жил тогда на Кронверкском проспекте. Я приносил ему все, что писал, а писал я по одному рассказу в день (от этой системы мне пришлось впоследствии отказаться, с тем, чтобы впасть в противоположную крайность). Горький все читал, все отвергал и требовал продолжения. Наконец, мы оба устали, и он сказал мне глуховатым своим басом:

— С очевидностью выяснено, что ничего вы, сударь, толком не знаете, но догадываетесь о многом... Ступайте-ка посему в люди...

И я проснулся на следующий день корреспондентом одной неродившейся газеты, с двумястами рублей подъемных в кармане. Газета так и не родилась, но подъемные мне пригодились. Командировка моя длилась семь лет, много дорог было мною исхожено и многих боев я был свидетель. Через семь лет, демобилизовавшись, я сделал вторую попытку печататься и получил от него записку: «Пожалуй, можно начинать...»

И снова, страстно и непрерывно, стала подталкивать меня его рука. Это требование — увеличивать непрестанно и во что бы то ни стало число нужных и прекрасных вещей на земле — он предъявлял тысячам людей, им отысканных и взращенных, а через них и человечеству. Им владела не ослабевавшая ни на мгновенье, невиданная, безграничная страсть к человеческому творчеству. Он страдал, когда человек, от которого он ждал много, оказывался бесплоден. И счастливый, он потирал руки и подмигивал миру, небу, земле, когда из искры возгоралось пламя...

В 1898 году в издательстве Дороватовского и Чарушникова появилась книга рассказов автора со странным именем — Максим Горький. Все было ново и сильно в этой книге: герои ее, вышибленные из жизни, но недвусмысленно ей угрожающие; изобразительные средства, полные движения, силы, красок. Во всей литературе дворян и разночинцев не найдем мы столько описаний солнца, сверкающего моря, лета и зноя — сколько в первых рассказах Горького. Они принесли ему славу, молниеносно распространившуюся на оба континента, славу, редко выпадавшую на долю человека. Радикальная Россия, пролетариат всего мира нашли своего писателя. Скрывшийся за псевдонимом — он оказался нижегородским цеховым малярного цеха Алексеем Пешковым. С первого же появления своего в литературе бывший булочник, грузчик стал в ряды разрушителей старого мира. Книги его, с такой небывалой, почти физической силой толкавшие на борьбу за социальную справедливость, зажегшие в миллионах эксплуатируемых людей действенную жажду красоты и полноты жизни — сделали Горького массовым, любимым, истинно народным писателем. Ни один литератор нашей эпохи не нанес обществу угнетателей таких действительных ударов, как он, ни одному литератору не удалось в такой мере, как ему, стать участником и строителем нового мира. Близкий друг Ленина — Горький сорок лет с неукротимым мужеством боролся с капитализмом, самодержавием и в последние годы своей жизни — с фашизмом. Великих сил потребовала эта борьба. Они были у Горького. Нищий, задерганый мальчишка, украдкой от хозяев читавший по ночам книги, Горький, учась всю жизнь, достиг вершины человеческого знания. Образованность его была всеобъемлюща. Она опиралась на память, являвшуюся у Горького одной из самых удивительных способностей, когда-либо виденных у человека. В мозгу его и сердце — всегда творчески возбужденных — впечатались книги, прочитанные за шестьдесят лет, люди, встреченные им,— встретил он их неисчислимо много,— слова, коснувшиеся его слуха, и звук этих слов, и блеск улыбок, и цвет неба... Все это он взял с жад-

ностью и вернул в живых, как сама жизнь, образах искусства, вернул полностью. Четыре десятилетия грызла его неизлечимая болезнь, ни разу не одержав победы над его духом; в последний раз он победил ее на одре смерти. Громадностью сделанного им мы обязаны тому, что он первый исполнил свою заповедь — превратить труд подневольный в непрерывную и радостную жизнь творчества. Им написано триста двадцать пять художественных произведений, среди них много романов, повестей, пьес и около тысячи публицистических статей; им основаны десятки журналов, газет, сборников, ставших возбудителями революционной и созидательной энергии русского народа. Работа его духа не знала остановок, уныния, падений. Сын рабочего класса — точный, неутомимый мастер,— он всю жизнь настойчиво передавал свой опыт другим. Все, что есть лучшего в советской литературе, открыто и взращено им. Переписка его, превосходящая по объему и непосредственным результатам эпистолярное наследие Вольтера и Толстого, по существу, является удесятеренным собранием его сочинений. Письма Горького, проникшие в самые глухие и скудные углы, обращенные вначале к отдельным лицам и группам, станут скоро достоянием человечества и зеркалом одной из самых плодотворных жизней на земле.

Перед нами образ великого человека социалистической эпохи. Он не может не стать для нас примером — настолько мощно соединены в нем опьянение жизнью и украшающая ее работа.

## ФУРМАНОВ

Товарищи, я не мог собрать материала к этому вечеру, я не готовился к нему, и на эту трибуну меня привела только настоятельная потребность быть сегодня здесь и участвовать в воспоминаниях.

Два дня тому назад я приехал из Крыма. Вместе с одним французским писателем мы были у Горького, и перед нами предстало зрелище необычайной жизни большого человека. Этот старый человек работает героически, лежа на столе с подушками кислоро-

да. В истории человечества было мало таких героических примеров.

И снова Горький, как всегда, говорил о нашей жизни, говорил о том, что мы плохо пишем, что мало учимся, что, написав одну книгу, мы успокаиваемся или пишем все хуже и хуже, оттого что знания наши малы, что уважение к самому лучшему читателю мира не велико.

Когда он говорил об этом, я подумал: вот грешные человеческие привычки. Я стал в своей памяти перебирать праведников и грешников. Скажу откровенно, что грешников я нашел очень много, а вот настоящего праведника только одного: того человека, который умер десять лет тому назад и в честь которого мы сегодня собрались.

Мне много вечеров пришлось провести с Фурмановым в Нащекинском переулке. Шли разговоры о его книге. Книжка, разошедшаяся в сотнях тысяч экземпляров, не удовлетворяла Фурманова в полной мере. Рост его был велик; с каждым месяцем способности этого писателя увеличивались. И если бы вы знали, какая любовь к слову, к самому изысканному сочетанию слов жила в этом человеке, как он прислушивался к звуку греческих поэтов, римских поэтов. В эти моменты я смотрел на него растроганный и потрясенный, он казался мне воплощением пролетария, овладевающего искусством поэзии.

Вспомните его жизнь, он никогда не шел по линии наименьшего сопротивления. До революции он боролся с царизмом, после революции он пошел на фронт, после фронта он выбрал самый опасный участок, участок борьбы с поэзией, с искусством. Я на своем веку не видел борьбы более страшной и напряженной. Поражала та быстрота, с которой он овладевал искусством. Пожалуй, и это привело его к могиле.

Два дня тому назад в этом же зале вспоминали Багрицкого. Я тоже знал его и скажу, что стихи его с каждым годом становятся все живее, потому что он нес правду.

Но подумайте о Фурманове в этом направлении. На наших глазах два года тому назад совершилось событие небывалое в истории литературы и искусства: страницы книги Фурманова распахнулись, и из них вышли живые люди, настоящие герои нашей страны, настоящие дети нашей страны.

Когда я смотрел эту картину, я думал вот о чем. Мне казалось, что режиссеры, поставившие картину, не отличаются гениальной способностью, что у нас есть режиссеры, обладающие большими способностями, большей виртуозностью. Я не мог сказать, чтобы актеры играли как-то особенно в этой картине. У нас много хороших актеров. Я себя спросил, в чем громадная сила этой картины, почему же о ней не было никаких споров, почему впервые в нашу страну пришло то подлинное искусство, которое отразилось в наших сердцах, почему наши сердца так сжимались, когда мы смотрели «Чапаева»? Я уверен, что это происходило потому, что эта картина не сделана на фабрике, она сделана всей страной. Потому, товарищи, и сумели сделать средние люди такую гениальную картину, что она сделана всей страной, она заражена воздухом нашей страны, она основана на том уровне искусства, к которому мы пришли, на том понимании, на тех чувствах героизма, доброты, мужества и революционности, которые живут в нашей стране.

Что все это значит, товарищи? Это значит, что дело умершего Чапаева было продолжено всей нашей страной. Восемь лет она читала «Чапаева», и что произошло после этих восьми лет? Наша страна созданием этого фильма ответила Чапаеву, как она поняла его, как она его почувствовала. Вы знаете, товарищи, впечатление, произведенное этой картиной. Я считаю, что каждый человек, в котором бьется советское сердце, честное и неподкупное, каждый человек, который страстно, напряженно, целомудренно, без суеты и подвоха стремится овладеть истинными вершинами искусства и науки, каждый наш рабфаковец, комсомолец, студент и красноармеец, которые к литературе, к искусству, к науке относятся с такой же строгостью и страстью, с какой относился Фурманов, является прямым продолжателем его дела. Для меня создание «Чапаева» страной является показателем, как лучшие наши люди продолжают его делать.

Товарищи, конечно, очень счастлив и велик писатель, чье дело продолжают миллионы и десятки миллионов людей первой рабочей страны мира. Несомненно, что это дело велико и непобедимо и потому счастлив и велик Фурманов, который начал это дело.

Усилие, иаправлеииое иа создаиие прекрасных вещей, усилие постояииое, страстиое, все разгорающееся — вот жизиь Багрицкого. Оиа была — подъем непрерывиый. Среди первых его стихов попадались слабые, с годами ои писал все строже. Воодушевлеиие его поэзии возрастало. Страсть, в ией заключеииая, усиливалась, потому что усиливалась работа Багрицкого иад мыслью и чувством. Работу эту ои исполиял честно, с упрямством и веселостью.

Писаиие Багрицкого — ие физиологическая способиость, а увеличенные против иормы сердце и мозги, увеличеииые против того, что мы считаем иормой и что будет бедиейшим прожиточным миιимумом сердца в будущем.

Я помию его юиошей в Одессе.

Ои опрокидывал на собеседника громады стихов — своих и чужих. Он ел ие по-иашему, одежду его составляли шаровары и кофта, повадка у него была шумная, ио с остаиовками.

В те годы, когда стаидарт указывался обстоятельствами, Багрицкий был похож иа самого себя и ни иа кого больше.

Слава Фраисуа Виллоиа из Одессы виушала к иему любовь, оиа ие виушала доверия. И вот — охотничьи его рассказы стали пророчеством, ребячливость — мудростью, потому что ои был мудрый человек, соедииивший в себе комсомольца с Беи-Акибой.

Ему ничего не пришлось ломать в себе, чтобы стать поэтом чекистов, рыбоводов, комсомольцев. Говорят, ои испытал кризисы подобно другим литераторам. Я ие заметил этого.

Любовь к справедливости, к изобилию и веселью, любовь к звучиым, умным словам — вот была его философия. Оиа казалась поэзией революции.

Как хорошая стройка,— ои всегда был в поэтических лесах. Оии меиялись иа нем, и эту работу вечиого обновления ои делал мужествеино, иеподкупио, открыто.

От иего — умирающего — шел ток жизии. Сердца людей, впавших в тревогу, тяиулись к иему. Жизиью своей ои говорил иам, что поэзия есть дело иасущиое, иеобходимое, ежедиевное.

По пути к тому, чтобы стать членом коммунистического общества, Багрицкий прошел дальше многих других...

Я вспоминаю последний наш разговор. Пора бросить чужие города, согласились мы с ним, пора вернуться домой, в Одессу, снять домик на Ближних Мельницах, сочинять там истории, стариться... Мы видели себя стариками, лукавыми, жирными стариками, греющимися на одесском солнце, у моря — на бульваре, и провожающими женщин долгим взглядом...

Желания наши не осуществились. Багрицкий умер 38 лет, не сделав и малой части того, что мог.

В государстве нашем основан ВИЭМ — Институт экспериментальной медицины. Пусть добьется он того, чтобы бессмысленные эти преступления природы не повторялись больше.

## УТЕСОВ

Утесов столько же актер — сколько пропагандист. Пропагандирует он неутомимую и простодушную любовь к жизни, веселье, доброту, лукавство человека легкой души, охваченной жаждой веселости и познания. При этом — музыкальность, певучесть, нежащие наши сердца; при этом — ритм дьявольский, непогрешимый, негритянский, магнетический; нападение на зрителя яростное, радостное, подчиненное лихорадочному, но точному ритму.

Двадцать пять лет исповедует Утесов свою оптимистическую, гуманистическую религию, пользуясь всеми средствами и видами актерского искусства, — комедией и джазом, трагедией и опереттой, песней и рассказом. Но до сих пор его лучшая, ему «присущая» форма не найдена и поиски продолжаются, поиски напряженные.

Революция открыла Утесову важность богатств, которыми он обладает, великую серьезность легкомысленного его искусства, народность, заразительность его певучей души. Тайна утесовского успеха — успеха непосредственного, любовного, легендарного, — лежит в том, что советский наш зритель находит

черты народности в образе, созданном Утесовым, черты родственного ему мироощущения, выраженного зажигательно, щедро, певуче. Ток, летящий от Утесова, возвращается к нему, удесятеренный жаждой и требовательностью советского зрителя. То, что он возбудил в нас эту жажду, налагает на Утесова ответственность, размеров которой он, может быть, и сам не сознает. Мы предчувствуем высоты, которых он может достигнуть: тирания вкуса должна царить на них. Сценическое создание Утесова — великолепный этот, заряженный электричеством парень и опьяненный жизнью, всегда готовый к движению сердца и бурной борьбе со злом — может стать образцом, народным спутником, радующим людей. Для этого содержание утесовского творчества должно подняться до высоты удивительного его дарования.

### В. ОДЕССЕ КАЖДЫЙ ЮНОША...

В Одессе каждый юноша — пока он не женился — хочет быть юнгой на океанском судне. Пароходы, приходящие к нам в порт, разжигают одесские наши сердца жаждой прекрасных и новых земель.

Вот семь молодых одесситов. У них нет ни денег, ни виз. Дать бы им паспорт и три английских фунта — и они укатили бы в недосягаемые страны, названия которых звонки и меланхоличны, как речь негра, ступившего на чужой берег.

Вот семь молодых одесситов. Они читают колониальные романы по вечерам, а днем они служат в самом скучном из губстатбюро. И потому что у них нет ни визы, ни английских фунтов — поэтому Гехт пишет об уездном Можайске, как о стране, открытой им и не изведанной никем другим, а Славин повествует о Балте, как Расин о Карфагене. Душевным и чистым голосом подпевает им Паустовский, попавший на Пересыпь, к мельнице Вайнштейна, и необыкновенно трогательно притворяющийся, что он на тропиках. Впрочем, и притворяться нечего. Наша Пересыпь, я думаю, лучше тропиков.

Третий одессит — Ильф. По Ильфу, люди — замысловатые актеры, подряд гениальные.

Потом Багрицкий, плотояднейший из фламандцев. Он пахнет как скумбрия, только что изжаренная моей матерью на подсолнечном масле. Он пахнет, как уха из бычков, которую на прибрежном ароматическом песку варят малофонтанские рыбаки в двенадцатом часу июльского неудержимого дня. Багрицкий полон пурпурной влаги, как арбуз, который когда-то в юности мы разбивали с ним о тумбы в Практической гавани у пароходов, поставленных на близкую Александрийскую линию.

Колычев и Гребнев моложе других в этой книге. У них есть о чем порассказать, и мы от них не спасемся. Они возьмут свое и расскажут о диковинных вещах.

Тут все дело в том, что в Одессе каждый юноша — пока он не женился — хочет быть юнгой на океанском судне. И одна у нас беда,— в Одессе мы женимся с необыкновенным упорством.

## РАБОТА НАД РАССКАЗОМ

Когда я начинал работать, писать рассказы, я, бывало, на две-три страницы нанижу в рассказе сколько полагается слов, но не дам им достаточно воздуха. Я прочитывал слова вслух, старался, чтобы ритм был строго соблюден, и вместе с тем так уплотнял свой рассказ, что нельзя было перевести дыхания.

В рассказах молодых писателей, которые я прочел, дело обстоит лучше.

Рассказы эти хороши тем, что написаны просто. Здесь нет претензий, вычурности, но стиля своего маловато, удара и страсти мало.

Я считаю, что нужно было подробней описать фабрику, больше показать ее специфику, для того чтобы ощущалась присущая ей атмосфера. Конечно, не надо запутывать рассказ всякими техническими словами, но ритмику фабричной жизни следует показать более ярко.

В описании у автора какие-то не свои слова, не им рожденные. Такие же фразы мы уже не раз читали.

Возьмем, например, такую фразу: «Дымились сочные тополя». Ведь это уже было сказано; я уверен,

что автор не продумал этих слов. Он не вспомнил как следует описываемого им вечера, его краски, небо. А если бы он подумал об этом, если бы почувствовал всю красоту вечера, то нашел бы неповторимые слова для его описания.

Я вовсе не говорю, что нужно находить такие слова, которыми можно огорошить читателя. Я вовсе не требую особой вычурности, такой, чтобы все ахнули и сказали: «Написал, мол, такое, чего никто другой не придумает». Но нужно изменять затрепанные образы или дополнять их своими словами.

Мне не нравится и такая фраза: «Мысленно выругала Тоня подругу» — та́к уже много раз говорили.

Русский язык еще сыроват, и русские писатели находятся, в смысле языка, в более выгодном положении, чем французские. По художественной цельности и отточенности французский язык доведен до предельной степени совершенства и тем осложняет работу писателей. Об этом с грустью говорили мне молодые французские писатели. Чем заменить сухость, блеск, отточенность старых книг,— разве что шумовым оркестром?

Мы не находимся в таком положении. Нам следует искать страстные, но простые и новые слова. А вот такая фраза: «Мысленно выругала Тоня подругу»,— несомненно, встречалась.

Возьмите Горького. Изучение его важно, оно много даст для понимания техники рассказа и новеллы. Я говорю о Горьком не в том смысле, что ему надо слепо подражать, а потому, что он создает рассказы, которые при сплаве с ритмом нашей жизни дают изумительные результаты.

Возьмите его маленькие рассказы в полторы-две страницы, они летят, летят как песня. Кто помнит его рассказ «Едут»?

Рассказ «Едут» очень короток. Всем надо его прочесть. Но вернемся к Меньшикову.

Вот у него такая фраза: «Колхоз вырос уверенно и скоро». Слова «уверенно и скоро», может быть, и хорошие слова, но в данном случае они становятся плохими, общими.

Или вот такая фраза: «Прошумела, проканонадила революция». Я люблю новые слова, но это слово какое-то неуклюжее, неудобное.

Или такая фраза: «И когда тоска проходила...» Это не раз повторялось, затрепано. Я должен сказать, что мне в этом рассказе больше нравится то, чего в нем нет, чем то, что в нем есть. В нем нет пошлости — это хорошо, и это чрезвычайно важно.

Я опять вернусь к Горькому. В основе его статей о литературе лежит борьба с пошлостью, являющейся в наших условиях, в условиях нашей литературы, могучим орудием враждебных нам сил.

Мы хотим наши мысли, желания и устремления сделать достоянием миллионов людей. Но если слова и фразы затрепаны, если у автора нет мужественного отношения к словам и фразам, то они превращаются в силу, отравляющую наше сознание. Это важно понять.

Наша литература не похожа на западную,— в частности, на литературу Франции. О чем там пишут? Полюбил молодой человек девушку — ничего из этого не вышло. Хотел работать — тоже ничего не вышло. В результате застрелился.

У нас пишут не так. Нашему автору — о чем бы он ни писал — совершенно ясно, что дело идет о величайшей переделке людей, о ломке старого мира. И, о чем бы он ни повествовал, он будет говорить именно об этом. А об этом нельзя говорить пошло, что у нас, к сожалению, часто бывает.

Если о революционных сдвигах говорить разухабисто, без чувства ответственности, то тем самым можно только помочь контрреволюции чувств.

Вот этого дефекта в рассказах Меньшикова нет. И это очень хорошо.

Но вместе с тем у него мыслей маловато, нет удара, нет настоящей внутренней мускулатуры в словах. Вы здесь не видите внутренней жизни автора, не видите основы под его словами. Они плавают на поверхности.

Я оптимист в области литературы и уверен, что мы дадим еще не виданные произведения. Они родятся на основе совмещения великолепной техники со страстностью, с ритмом нашей эпохи.

Нам нужны теперь небольшие рассказы. У десятков миллионов новых читателей досуга мало, и поэтому они требуют небольших рассказов. Нужно признать, что у нас романы пишутся слабо. У наших авто-

ров еще не хватает темперамента и своих мыслей на триста страниц. Получаются десятки тетрадей, исписанных механически.

Меньшиков. Скажите, каким путем вы избавлялись от литературщины? Как вы находили свое лицо?

Бабель. В детстве я учился плохо. В семнадцать лет на меня «нашло», я стал много читать и учиться. В течение одного года изучил три языка, прочел много книг. До сих пор я в значительной степени питаюсь этим багажом.

Теперь настало время коренным образом этот багаж обновить и дополнить. В наши дни из писателя, мало знающего, полагающегося на нутро, ничего не выйдет. Конечно, забота о самостоятельности писателя должна быть постоянной.

Только теперь я начинаю подходить к профессионализму. Прежде чем что-нибудь написать, я проверяю себя. Не надо прибавлять к сотням тысяч напечатанных плохих страниц еще одну страницу болтовни.

Вы спрашиваете меня: можно ли написать рассказ в короткий срок? Если вам, например, сейчас скажут: «Поезжайте во Францию и напишите о ней очень быстро хороший рассказ»,— вы, наверное, этого сделать не сможете. Но если бы у вас были определенно сложившийся взгляд, жизненный опыт, собственная оценка явлений, вы бы смогли написать такой рассказ.

Представьте себе, что Ленин, который не являлся специалистом-писателем, пожелал бы исследовать быт какой-либо американской народности. Он пошел бы в рабочие кварталы, на фабрики, заводы, в банки, в исследовательские институты и проверил бы свои, всей жизнью накопленные, мысли и убеждения, и именно под этим углом он написал бы так же блестяще об опыте какого-нибудь народа, как писал и другие, знакомые нам исследования.

Меньшиков. Как вы пишете: сразу или работаете подолгу над каждой фразой?

Бабель. Раньше я как бы декламировал фразу за фразой, проверял все на слух, потом садился, писал без помарки и сразу же сдавал в редакцию. Все прежние мои рассказы, которые вы читали, написаны без помарок, можно сказать, по памяти. Потом я из-

менил метод. Вот пришла мне мысль, и я ее записываю. Затем надолго откладываю. Проходит два-три месяца, опять к ней возвращаюсь, и так это иногда несколько лет продолжается. У меня особая какая-то любовь к переделкам. Есть такие люди, которые напишут вещь и больше не могут ее видеть. У меня иначе: написать мне трудно, а переделывать нравится.

Все то, что я говорю сейчас, можно, конечно, принять к сведению, а работать каждый должен по-своему. Я знаю людей, которые могут писать только при абсолютной тишине. А вот Илья Эренбург любит писать на вокзале. Это все равно что работать рядом с шумящим авиамотором. Все лучшее, что Эренбургом создано, написано в кафе, куда он приходит каждое утро. Великолепный образец высокого профессионализма и стиля в работе дает Горький. Вот у него, мне кажется, учиться надо.

Почему я мало печатал в последние годы? Все старался переломить себя, научиться писать длинно. Затея была гордая, но неправильная. Теперь вернулся к самому себе и выбираю из груды заготовленного материала (у меня хватило вкуса его не печатать) годное.

Работникам в области литературы думать — дело не лишнее, а сейчас в особенности. Нельзя вливать новое вино в старые мехи. Идеям, рожденным пролетарской революцией, идеям нового человека, тесно в кацавейке Баранцевича, Рышкова или Потапенко.

Надо упорно работать и над формой и над содержанием, памятуя о высоком звании писателя в Советской стране.

## О РАБОТНИКАХ НОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Товарищи, нас сюда привело восстание читателя, бунт читательской публики.

В театре я иногда ловлю себя на том, что смотрю не на сцену, а на зрителя. Интереснее, лучше, содержательнее; прекрасные лица. В них такая жажда хорошего слова, такая сила восприятия, такая юность и страстность, что становится жалко и стыдно, когда слушаешь какие-нибудь жеваные слова со сцены.

Я думал про себя: до каких пор они будут слушать? Оказывается, зритель взбунтовался, его восстание и привело нас сюда.

Конечно, значение этого движения далеко выходит за пределы частных личных случаев. Можно соглашаться, можно не соглашаться с теми способами нанесения увечий различным товарищам, которые иногда практикуются нашей критикой, но по существу этих увечий должен сказать, что я с ними согласен (*смех*). Речь идет о деле громадном.

Есть обновленный 170-миллионный народ, большая часть которого лишь десяток, два десятка лет тому назад научилась грамоте. Появились десятки миллионов новых читателей, которым начинать с Джойса и Пруста невозможно. В руководстве великим, небывалым этим движением возможны ошибки; на редакциях и критиках наших лежит историческая ответственность. Я не собираюсь заступаться за них.

В той путанице, которую критики наши сейчас разбирают, часто они сами повинны, часто суждения их по своей неожиданности напоминают атмосферические явления. Но все это имеет малое, второстепенное значение. Значение имеет то, что 170-миллионный народ, строящий новую культуру, провозвестник и создатель нового общества, говорит нам, что ему не хватает книг и что значительная часть тех, которые есть,— плохи. Заявление, важность которого и обязательность для нас нельзя переоценить. Исходя из этого, надо, чтобы совещание наше стало совещанием производственным.

Я не умею говорить о теориях, мне хотелось бы сказать о конкретных случаях.

Все мы здесь сидящие бесталанного человека даровитым не сделаем, из пошляка и приспособленца — создателя новой культуры тоже не сделаем. Устрашить бы их — и то хорошо.

Мы говорим о людях доброй воли и способностей, которые могут и хотят работать,— и говорим конкретно. Добрых намерений на всех наших литературных совещаниях высказано было много, добрыми намерениями вымощен ад и наша литература (*смех*). Признаний Советской власти тоже мы выслушали немало. По-моему, речь теперь должна идти о том — признает ли Советская власть тех, кто ее признает (*аплодисменты*).

Что должны мы делать для поднятия своей квалификации и как это делать? Вот вопрос, который каждый из нас должен себе задать.

Возьму случай с товарищем Бабелем — случай, известный мне лучше других. Мне трудно тут не присоединиться к хору жалующихся на товарища Бабеля. Жить с ним так долго, как я это делаю, нелегко. Человек он тяжелого характера. Случай этот может быть для нас конкретным литературным примером.

Меня упрекают в малой продуктивности. В ранней юности мною было напечатано несколько рассказов, встреченных с интересом, после чего я замолчал на семь лет. Потом снова стал печататься, и кончилось это тем, что мне разонравилось то, что я делал; показалось, что я начинаю повторяться.

Мне перестало нравиться то, что я делал, и у меня возникло законное желание делать по-другому.

Я не могу связать слово «ошибка» с тем чувством недовольства собой, которое я испытывал, и вообще считаю, что в вопросе о так называемой литературной ошибке напущено много туману и что дело серьезнее, чем мы думаем.

Можно понять ошибку в арифметике. Можно понять ошибку в политике. Нам объяснили, что они редко бывают случайными и как надо их исправлять.

Ошибка в литературе — это же и есть литератор. Людовик XIV сказал когда-то: «Королевство — это я». Литератор мог бы сказать: «Ошибка — это я». И тут надо принять далеко идущие меры по отношению к себе.

Я стараюсь держаться конкретных рамок, и поэтому мне кажется просто неуместным говорить о деталях. В начале моей работы было у меня стремление писать коротко и точно, был у меня, я думал, свой способ выражать чувства и мысли. Потом я остыл в этой страсти и убедил себя, что писать надо плавно, длинно, с классической холодностью и спокойствием. И я исполнил свое намерение, уединился, исписал столько бумаги, сколько полагается графоману. *(Смех)*.

В числе моих пороков есть свойство, которое, пожалуй, надо сохранить. Я считаю, что нужно быть себе предварительной цензурой, а не последующей. Поэтому, написав, я дал сочиненному отлежаться, и ког-

да прочитал со свежей головой, то, по совести, не узнал себя: вяло, скучно, длинно, нет удара, неинтересно.

И тогда снова — в который раз — как сказано у Горького, я решил идти в люди, объехал много тысяч километров, видел множество дел и людей.

Я себе ответил на этот вопрос так, что работу мне надо продолжать с гораздо большей настойчивостью, чем это было раньше. Чтобы не удариться в область «добрых намерений», я не стану распространяться. Подождем дел моих... Постараюсь, чтобы ждать было недолго.

Не может быть хорошей литературы, если собрание литераторов не будет собранием могучих, сильных, страстных и разнообразных характеров. Объединенные одной целью и страстной любовью к строительству социализма, они должны создать новую социалистическую культуру.

Здесь было выступление Серебрянского, правильно отметившего, что мало говорили о Фурманове и Островском. Книги Фурманова и Островского с громадным увлечением читаются миллионами людей. О них можно сказать, что они формируют душу. Огненное содержание побеждает несовершенство формы. Книга Островского — одна из советских книг, которую я с биением сердца дочитал до конца, а ведь написана она неискусно, и отношусь я к разряду скорее строгих читателей.

В ней сильный, страстный, цельный человек *(аплодисменты)*, знающий, что он делает, говорит полным голосом. Вот что нужно нам всем — вот образец, который мы обязаны переработать в себе в соответствии с особенностями каждого из нас.

Мысль моя была такова — совершаются мировой важности события, рождаются люди еще не виданные, совершаются вещи небывалые, и, пожалуй, один только фактический материал может потрясать в наше время.

И вот я постарался изложить этот фактический материал, написал, отложил его, прочитал и увидел — неинтересно *(смех)*.

Это начало становиться серьезным. Пришло время пересмотра и решения. И я понял, что первое мое желание было желание каким-то особенным объекти-

визмом, техникой и формой подменить то, чем был я. Вторым внутренним моим расчетом было то, что за меня будет говорить Советская страна, что события наших дней так удивительны, что мне и делать особенно нечего — они сами за себя говорят. Нужно только правильно их изложить, и это будет важно, потрясающе, интересно для всего мира. И вот — не вышло. Получилось неинтересно. Тогда я понял окончательно, что книга — это есть мир, видимый через человека. В моем построении человека и не было,— он ушел от самого себя. Надо было к нему вернуться; у меня, как у литератора, никаких других инструментов, кроме как мои чувства, желания и склонности, не было и не могло быть; в наших условиях высокой ответственности нужна ничем не ограниченная добросовестность к себе.

Так пришел я к убеждению, что для того, чтобы хорошо писать, нужно чувства мои, мечты, сокровенные желания довести до их предела, довести до полного голоса, сказать себе со всей силой, что я есть, очистить себя, пойти полным ходом, и только тогда видно будет, дело я затеял или нет, товар это или не товар. И тут, товарищи, впервые за несколько лет я почувствовал легкость в работе и прелесть ее. Только будучи самим собой, с величайшей силой и искренностью развивая свои способности и чувства, можно подвергнуть себя решительной проверке. Человеческий мой характер, работа моя, то, чему я хочу учить и к чему я хочу вести,— является ли это частью созидания социалистической культуры, работником которой я являюсь? Вот в чем заключается эта проверка. Представитель ли я тех людей, новых людей нашей страны, с жадностью смотрящих на сцену, ждущих и требующих нового, страстного, сильного слова?

## СОДЕРЖАНИЕ

### КОНАРМИЯ



### КОНАРМЕЙСКИЙ ДНЕВНИК 1920 ГОДА



### ПУБЛИЦИСТИКА

*Газета «Новая жизнь» 1918 года*

*Газета «Красный кавалерист» 1920 года*



*Газета «Заря Востока» 1922 года*



## ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ



## РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ



## ВОСПОМИНАНИЯ, ПОРТРЕТЫ, СТАТЬИ

**Бабель И.**

**Б 12** Конармия. Рассказы, дневники, публицистика / Сост. А. Н. Пирожкова-Бабель.— М.: Правда, 1990. 480 с. Библиотека журнала «Знамя».

ISBN 5—253—00059—3

В сборник произведений Исаака Бабеля (1894—1940) вошли книга новелл «Конармия», рассказы разных лет, а также публицистические статьи, очерки и воспоминания о современниках — деятелях культуры и искусства 20—30-х годов. В книгу впервые включены ранее не издававшиеся «Конармейские дневники» И. Бабеля, во многом дополняющие его рассказы и очерки времени гражданской войны и вводящие в творческую лабораторию автора знаменитой «Конармии».

Б $\frac{4702010200-2170}{080(02)-90}$ 2170—90 84 Р 7

*Литературно-художественное издание*

**Исаак Эммануилович Бабель**

КОНАРМИЯ

Составитель
Антонина Николаевна Пирожкова-Бабель
Редактор «Библиотеки» В. Ф. Кравченко
Оформление художника А. И. Неровного
Художественный редактор В. В. Масленников
Технический редактор Л. Ф. Молотова

ИБ 2170

Сдано в набор 09.10.89. Подписано к печати 15.05.90.
Формат 84x108[1]/32. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 25,00. Усл. кр.-отт. 25,42. Уч.-изд. л. 25,19.
Тираж 400 000 экз. (1-й завод: 1—200 000).
Заказ № 0087. Цена 2 р. 30 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда» 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства Удмуртского обкома КПСС, 426000, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 10-й км.

2 р. 30 к.


ИСААК БАБЕЛЬ
КОНАРМИЯ